Борис Полевой

6

Борис Полевой

6

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

БОРИС ПОЛЕВОЙ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ
ТОМАХ**

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ШЕСТОЙ

•

ДОКТОР ВЕРА

•

АНЮТА

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

Р2
П49

Комментарии
Н. ЖЕЛЕЗНОВОЙ

Оформление художника
А. РЕМЕННИКА

П $\frac{4702010200-150}{028(01)-83}$ подписное

ДОКТОР ВЕРА

ПОВЕСТЬ
В НЕНАПИСАННЫХ
ПИСЬМАХ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ДО...

Однажды на исходе зимы с группой друзей возвращался я из путешествия по Америке. В Париже мы пересели на советский лайнер. Как только он, набрав высоту, пробил облака, вырвался на насыщенный солнцем простор и лег на курс, я сразу почувствовал себя дома. Черт знает, так уж, должно быть, мы все устроены, что, очутившись за рубежом, как бы хорошо нас там ни принимали, какие бы диковинки нам ни показывали, мы вскоре начинаем скучать по родине, по самому советскому воздуху, по нашему особому, интересному и нелегкому бытию. И хотя позади были десятки тысяч миль Соединенных Штатов, невиданные нами до тех пор города, любопытные знакомства, беседы, споры с умными людьми иного, не нашего мира, все мы, сразу забыв об этом, жадно накинулись на душистый черный хлеб из бортового пайка и на наши газеты: мы их не видели, как нам казалось, давным-давно.

Газеты посвящены Дню Советской Армии. Со страниц смотрят люди в военной форме — солдаты, офицеры, генералы, маршалы. Читаю статьи, очерки, а внизу, под белой шкурой облаков, прошитой косыми солнечными лучами, плывет Европа — самый тесный, самый возделанный и обжитый кусок земли, который люди, смотрящие сегодня со страниц, спасали и спасли от величайшей из бед, когда-либо угрожавших человечеству.

Перебирая газеты, я добрался до «Медицинского работника». И тут как-то сразу бросилось в глаза: «Гор. Калинин...» Мой родной город! Что же там произошло? Заглавие статьи: «Родина помнит». Подпись: «Подполковник медицинской службы Н. Вишневский». Начал читать — и в ушах вдруг зазвучали полузабытые голоса моей юности. Рассказывалось о женщине-враче, знакомом мне человеке. С мужем ее я дружил в молодые годы. Да и самое ее знал когда-то тоненькой курносой девушкой с большими серыми глазами. И судьба этой женщины, трудная, даже на определенном этапе трагическая, была мне известна.

Ничего нового, в сущности, я в статье не нашел. Обо всем, что в ней писалось, земляки уже рассказывали. Но одно дело — узнавать пусть и самые обыкновенные вещи на родине, в неторопливой беседе за стаканом чая, и совсем другое, когда эта история врывается в самолет, несущий тебя над чужими странами. То, что дома казалось обыденным, вдруг обернулось необычным и удивительным. И по-новому зазвучала одиссея женщины-солдата, совершившей в войну такое, что теперь, из мирного сегодня, кажется почти невероятным.

Тогда, в самолете, я дал себе слово описать эту историю. Теперь она перед вами. Но должен предупредить вас, читатель,— повесть «Доктор Вера», хотя и выросла из жизненного материала, не биографический очерк, не хроника свершившегося. Я прошу мою землячку, если ей в руки попадет эта книга, не прикладывать к ней точную мерку своей хорошей жизни и не судить меня строго за то, что я по-своему рассказываю о событиях, которые она пережила.

Вот что я почел долгом сообщить вам, читатель, до того, как вы откроете книгу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Ты знаешь, Семен, все эти последние ночи меня мучает странный, навязчивый сон. Стоит прилечь, закрыть глаза, как я тотчас же ясно вижу какой-нибудь уголок Верхневолжска... Красное кирпичное здание моей школы, по-осеннему голые тополя школьного сада и острые ажурные шпили моста, выглядывающие из-за них... Высокая набережная над Волгой, старинные чугунные решетки и почему-то обязательно скамья, на которой мы с тобой однажды встретили поднявшееся солнце. Помнишь, когда усатый милиционер, которому ты дал закурить, сказал, подмигнув: не знаю, мол, что уж и пожелать вам, молодые люди, спокойной ночи или доброго утра. Или видится земляной вал над речкой Тьмою, где мы с тобой ночью слушали сумасшедшего соловья, неведомо как и зачем залетевшего в самый город. Но чаще и явственнее всего я вижу нашу Восьмиугольную площадь — зеленые шары подстриженных лип и памятник Ленину, возле которого мы с Домкой всегда ожидали, когда наш папка появится из своего горкома, чтобы по пути домой прогуляться с нами по набережной.

Словом, вижу, Семен, нечто очень знакомое, и над этим уголком города в небе стаей, почти теснясь, плывут бескрылые машины, похожие на огромных толстых гусениц. Делают круги, снижаются. И вот уже от этих гусениц отделяются и летят, будто семена, сорванные с одуванчика летом, серые и тоже бесформенные существа.

Ниже, ниже... Вот они уже приземлились... Нет, это не гитлеровские парашютисты. Это вообще и не люди, а что-то неведомое и по-непонятному страшное. Может быть, жители другой планеты? Я почему-то не могу их как следует рассмотреть, но чувствую — надвигается неотвратимое. Меня охватывает ужас: скорее к детям! Дети одни! Бежать, бежать к ним!.. А ноги точно бы влипли в землю, не оторвешь, не пошевелишь.

Между тем серые существа уже скользят по улицам, заползают в окна и двери. Дети! Дети же!.. Нету сил сдвинуться с места. Ужас, нет, даже не ужас, а тоска обреченности охватывает меня. Я просыпаюсь в слезах,

просыпаюсь и не могу понять, где я, что со мной... Что-то стучит, и от этого знакомого, двойного, ритмичного стука все кругом содрогается. Потом догадываюсь — это же сердце мое стучит. До меня доходят разнотонный надсадный храп, стоны, сонные бормотания. Из тьмы вырисовывается круглое старушечье лицо с морковным румянцем на щеках. Маленькая проворная ручка, точно бы соля, крестит меня. Пухлые губки бормочут:

— Свят, свят, свят! Вера Николаевна, да проснитесь же вы, Христа ради! Опять дурным голосом вопите...

Все становится на свои места. Я вижу весь свой угол. Он отгорожен составленными рядком шкафами от палаты тяжелых, «зашкафник», как именует его наш сын. Вижу рядом курчавую головенку Стальки, а на другом конце кровати розовую физиономию Домки: мы спим втроем и располагаемся валетом... Здесь же они, со мной, мои дорогие! С ними ничего не случилось.

— Да проснитесь же, проснитесь скорее, бог с вами!

Да, да, я уже проснулась... Но липкий сон этот еще тут, в душной полутьме, пропахшей карболкой и лизолом. Чтобы окончательно от него отвязаться, я встаю, надеваю тапки, халат, напяливаю шапочку, укрываю получше ребят и иду в беспокойную полутьму палат, слыша за собой частые шаркающие шажки и вздохи тети Фени — нашей старой хирургической няни.

Почему меня так волнует этот сон? То, что происходит наяву, не менее страшно. Сырые, холодные подвалы огромного бомбоубежища битком набиты человеческими страданиями. Раненых, обожженных везут, несут днем и ночью. Тебе, Семен, и не представить, что делается сейчас в Верхневолжске. Тревога за тревогой. Нас, правда, первое время не очень бомбили. Говорили даже, будто Гитлер хотел сохранить наш город, чтобы разместить в нем войска по пути к Москве. Но в последние дни он, должно быть, раздумал. Его самолеты налетают то и дело. Ну, от них все-таки нас как-то защищают истребители, зенитки. А вот на днях немцы прорвались к городу со стороны аэродрома. Установили там артиллерию. Это куда опаснее. От снаряда в убежище не спрячешься.

Но хуже всего неопределенность. В сводках — враг остановлен на подступах к Верхневолжску. Несет существенные потери в живой силе и технике... Подбито... Уничтожено... Партизаны, действующие в лесах Верхневолжска... А вот старуха, которую привезли вчера с раз-

дробленной ногой, утверждает: «Гитлер» уже подошел к самому противотанковому рву... И эта спешная эвакуация госпиталей, а главное — санитарные маршруты проходят теперь наш город, не останавливаясь даже на пересортировку. Мы-то, медики, знаем, что это значит...

Прошлые сутки, пока Дубинич обивал пороги, добывая машины, чтобы вывезти самых тяжелых, я не отходила от операционного стола. Чтобы не свалиться с ног, подхлестывала себя кофеином. Грохот. Все наши подвалы трясутся, свет то и дело гаснет. Больные стонут. Ужас! Но вот, отоперировав, положили на каталку последнего. Кажется, можно и прилечь. Легла, — куда там, просто повалилась на койку. И ты понимаешь, Семен, тут же подумала: где-то там, в нашем «зашкафнике», подстерегает меня проклятый сон. Испугалась и не могла уснуть...

Но то был все-таки сон, а вот сейчас это ощущение неведомой, неотвратимой беды томит меня наяву. Я стою у въезда на мост. Красиво изогнувшись, он навис над черной водой, по которой густыми круглыми лепешками медленно плывет сало. Невдалеке горит что-то большое, — кажется, городской театр. В отсветах пожара, сквозь редкий, косо летящий снег, я вижу, как мимо меня к мосту и дальше, в Заречье, глухо гудя, громыхая колесами, гусеницами, топоча по деревянному настилу, движется живой поток, такой густой, что, не сходя с места, я все время ощущаю, будто плыву ему навстречу.

Семен, родной, ты знаешь, сколько мне пришлось пережить в последние годы. Но поверь, что такое ощущение полной беззащитности перед неотвратимой бедой я знала лишь в том сне.

Чистая, то затихающая, то разгорающаяся перестрелка доносится со стороны фабричного района. Гитлеровские стервятники гудят над головой. То близкие, то далекие разрывы встряхивают под ногами мокрый асфальт... Зарево над всем городом. Липкий розовый, точно бы кровью пропитанный снег и этот человеческий поток... Кажется, перерублена аорта, и кровь, пульсируя, вытекает из города, агонизирующего в освещенной багровыми огнями полутьме.

Всем своим существом я рвусь к этим людям, бегущим за реку. Но мне нельзя. Там, в городе, в огромных сырых подвалах бомбоубежища, мои раненые и мои дети. И к раненым мне нельзя. Мы договорились с

Дубиничем, что вот здесь, на подъезде к мосту, я встречу машины, которые он за нами пришлет. Так мы условились. Кто же мог утром думать, что начнется этот стихийный исход из города и мост окажется запруженным? И вот я жду. Сколько жду — не знаю. Мне кажется, очень давно.

А люди идут и идут в штриховке косо летящего, багрового снега. Несут детей. Волокут мешки, чемоданы. Ведут увешанные узлами велосипеды. Толкают детские коляски, приседающие под тяжестью пожитков. На лица лучше не глядеть. И все-таки, Семен, они счастливцы по сравнению со мной. Через несколько минут река отделит их от того неведомого и страшного, что где-то уже тут, близко. А я? А раненые? А Сталька и Домка? Да где же, где этот окаянный Дубинич с машинами?..

Ну да, теперь ясно: это горит наш театр. Пожар разошелся. Свет его, пробивая багровую пелену падающего снега, выхватывает уже из тьмы контуры Заречья. Мне кажется, что недалеко от моста, справа, под насыпью, среди деревцев молоденького бульвара, я вижу несколько крутых грузовиков. Наверное, это машины, посланные за нами. Если бы это так! На душе становится немного легче; схлынет поток — они прорвутся. Тут недалеко, за какой-нибудь час эвакуируем всех своих больных и раненых. Мария Григорьевна — баба толковая, наверное, все уже подготовила. Дубинич, конечно, скотина. Он должен был с первым эшелоном отправить меня с ранеными и ребятами... Нет, может быть, он и скотина, но все-таки не настолько, чтобы совсем забыть о нас... Наверное, и сам мается там, за мостом, с машинами...

— Вера Николаевна! — зовет меня кто-то.

Я оглядываюсь. Мимо в толпе как бы плывут, раскачиваясь, три ломовые подводы. На одной из них гора чемоданов, рюкзаков, баулов, узлов. Все это затянуто брезентовым полотнищем, на котором намалеван розовый куст. Вокруг подвод, держась за грядки, плетутся мужчины, женщины. Их франтоватые одежды как-то не идут к тоскливому выражению измученных лиц. Эти люди знакомы и незнакомы. Где я их видела? Ах, вот что — это же артисты нашего театра. Ну конечно! Вон там поверх их пожитков осанистый старик в боярской шапке. Любимец города, комик Лавров. Он сидит спиной к лошади, прижимая к себе одной рукой картину в золо-

ченой раме, другой — закутанную в шаль маленькую старушку. Взгляд его прикован к зареву. Из глаз текут слезы.

— Почему вы стоите, Вера Николаевна? Уходите, уходите сейчас же! Немцы во дворе «Большевички».— Это говорит мне высокий, представительный мужчина, фамилию которого я не могу вспомнить, но знаю, что он играл Вершинина в «Бронепоезде» и что когда-то во время моего дежурства его привезли прямо из театра и я тут же оперировала его по поводу гнойного аппендицита.

Почему я здесь стою? Ах, вот кто мне поможет.

— Голубчик, вы, конечно, помните Дубинича? Ну, такой русый, курчавый. Когда вы у нас лежали, он заведовал хирургическим. Он там, за рекой, застрял у моста с машинами. Найдите его, скажите, пусть пробивается. Сейчас же, немедленно. У меня около шестидесяти лежачих, и еще привезли. Скажите,— тут такая каша, я ничего не могу... Отыщете? Скажете?.. Передайте — жду его здесь, как мы с ним условились.

Почему этот актер смотрит на меня так испытующе?

— Вы остаетесь? — спрашивает он, будто не слыша моей просьбы.

— Что же мне делать?

— Наш Винокуров тоже остался. У него книги, уникальная, видите ли, библиотека... Мы до последней минуты не теряли надежды,— может, уговорим, одумается. Я стучал ему в дверь ногой, он даже не открыл.— В этих словах яростное презрение к этому Винокурову, а может быть, увы, и ко мне...

— Поймите, я не могу, не имею права.

Налетевший ветер откинул полу пальто. Актер увидел больничный халат, должно быть поверил мне, ярость погасла в его глазах. Мясистое его лицо стало тоскливым.

— Кира Владимировна, вы помните Киру Владимировну Ланскую, жену Винокурова? Она погибла. Дежурила с щипцами на крыше театра, сбрасывала зажигалки. Упала фугаска, и взрывной волной сбросило вниз. Даже тело впопыхах не отыскали... А какой был талант! — Он вдруг схватил меня за руку.— Идемте, идемте с нами. Пусть с больными останутся другие, вам нельзя. Понимаете, вам нельзя оставаться. Пошли! — Он все сильнее тянул меня за руку. — Ваш муж выдавал мне когда-то

партбилет. Я вас здесь не могу оставить. Слышите, доктор!

Семен, когда он помянул тебя, я сразу подумала: а как бы ты поступил на моем месте, какой бы дал мне совет? И я угадала. Я вырвала руку и отбежала к гранитному парапету. От моего рывка у актера слетела шапка. Пока он нагибался, на нее кто-то наступил, по ней прошло колесо тележки. Он поднял шапку и, не отряхнув грязный снег, надел.

— Умоляю, найдите Дубинича, передайте ему...

Актер посмотрел на меня тем сожалеюще-понимающим взглядом, каким старые больничные сиделки смотрят на умирающего, и, обгоняя поток беженцев, заторопился вслед за своими. Контуры моста и все Заречье уже начали вырисовываться в кровавой полутьме потрясаемого заревами утра.

Тут я заметила: поток поредел. Люди уже не идут, а бегут. Пожилые солдаты в мятых шинелях, в пилотках, надвинутых на уши, как чепцы, торопят, размахивая флажками и вяло матерясь. Я ждала. Теперь-то уж машины могут прорваться. Машин не было... Мимо с ревом пронесся большой крытый грузовик. Где-то на середине опустевшего моста он остановился. Из-под брезентового шатра торопливо выпрыгивали красноармейцы. Они стали выгружать какие-то ящики, коробки и прилаживать их к стальным фермам. Молодой командир в новеньком и потому пронзительно белом полушубке возбужденным голосом отдавал команды. Я сразу прикинула — эта огромная машина может поднять человек сорок, всех, кто не в состоянии самостоятельно двигаться. Вот кто нас выручит. Бросилась к командиру. Красноармеец с флажком преградил было мне дорогу, но я оттолкнула его и добежала до старшего лейтенанта.

— Машина, умоляю, мне нужна ваша машина... Тут недалеко, всего пять минут... Ради всего святого, дайте машину, у меня раненые, много раненых...

Занятый своими бойцами, он не слышал, а может быть, делал вид, что не слышит меня. Тогда, собравшись с духом, я попыталась улыбнуться ему той самой улыбкой, от которой, как когда-то ты говаривал, «снег тает».

— Товарищ командир, неужели вы так бессердечны, что откажете в пустяке молодой женщине?

Не знаю уж, за кого он меня принял и как понял мою просьбу, но в светлых, совсем мальчишеских глазах

было столько тоскливой злости, что мне стало жутко. И будто хлыстом замахнулся: «А, иди ты!» Но, должно быть увидев халат, выбившийся из-под пальто, сдержался и только произнес:

— Уходите прочь. Немедленно! Сейчас моста не будет.

На миг я остановилась в нерешительности. Солнце уже поднялось, и оттого, что выпавший ночью снег точно бы покрыл все ватой и простынями, кругом стало светло, как в операционной. На этой стерильной белизне вырисовывалось над рекой здание речного вокзала, похожее на именинный торт, и отчетливо чернели опустевшие русла схлынувшего человеческого потока, уходящего в Заречье. Само Заречье казалось даже пустынным, лишь у моста люди в военном и в штатском копали ямы, строя, по-видимому, укрепления. Несколько крытых грузовиков действительно стояло недалеко от моста. Пусть Дубинич струсил, пусть эти грузовики не наши,— есть же там какое-то начальство. Да и шоферы — разве кто-нибудь посмеет отказаться эвакуировать нашу несчастную больницу?

Все это мгновенно пронеслось у меня в голове. Завернув полы пальто, я что есть мочи бросилась на тот берег. И тут услышала бухающие шаги, тяжелое дыхание за спиной.

— Стой! Куда?.. Стой, застрелю... Ошалела?

Это тот красноармеец, который давеча загораживал мне дорогу. Он запыхался от бега. Он едва может передохнуть, но, передохнув, выплюнул мне в лицо целый ком брани и толкнул меня в спину прикладом:

— Назад... Бегом! Не видишь...

И действительно, солдаты, возившиеся у ящиков и коробок, торопливо лезли в машину. Как, уже? Животный, нерассуждающий страх понес меня обратно. Я уже выбежала на дамбу, где простояла всю ночь, когда услышала раскатистый грохот.

Что-то сильно толкнуло, и я упала лицом в грязный, истоптанный снег.

2

Мне кажется, Семен, я тут же вскочила. Но, может быть, это не так. Во всяком случае, когда, поднявшись на ноги, я оглянулась, ядовито-желтое, акрихиновое облако, взметнувшееся в небо, уже рассеивалось, и,

будто проявляясь на фотобумаге, все четче виднелось кружево прекрасного и гордого нашего моста, на фоне которого, помнишь, по обычаю, снимаются на память всем классом выпускники городских школ в день расставания. Это кружево было оборвано, скомкано. Стальные лохмотья опускались почти до самой воды.

Вибрирующий звон в ушах. Тупое покалывание. Кажется, будто отлежала все тело. И эта противная слабость, вяжущая движения, заставляющая дрожать ноги, руки. Ставлю диагноз: контузия, но легкая. Ловлю себя на том, что с опаской смотрю на голубое, как всегда после снегопадов, небо: где они, эти страшные машины моих снов? Небо чисто. В промежутках между орудийным громом слышно даже, как в школьном саду чирикают пичуги. Подташнивает. Еле стою. Кажется, не могу двигаться, а кругом — ни души. Жуткое ощущение безнадежного одиночества перед неведомой опасностью, так мучившее в снах, охватывает меня наяву с новой силой.

Площадь перед школой вспорота, покрыта рябинами воронок. Дыбится скрученный штопором трамвайный рельс. Голубеет детская коляска, набитая узлами, и возле нее полузасыпанные обрывки человеческих тел. Вдруг бросается в глаза оторванный угол школы. Точно сцена, открылся на втором этаже класс, в котором я когда-то училась. Рядок парт, доска на стене. На ней, кажется, даже что-то написано мелом. А у двери, ведущей в коридор, портрет,— наверное, портрет Тимирязева, висевший тут и в мои времена. Вдруг вспоминается: в этой школе учился наш Домка... Домка, дети, раненые! Они же там, в этих подвалах. Может быть, поступили новые, требуют немедленной помощи...

Да что ж ты стоишь, дура?! Туда, к ним, скорее туда! Сначала, преодолевая вяжущую слабость, я еле двигаю ногами, потом иду, потом бегу. Бегу что есть сил по пустому городу, все время слыша где-то впереди звук своих шагов. Бегу, ничего не видя, пока не перехватывает дыхание... Уф, мочи нет! Прильнула всем телом к чугунному столбу. Штопорами свисают с него оборванные трамвайные провода. Они слегка позванивают. Или это звенит в ушах? Только бы не задохнуться, преодолеть тоскливую безнадежность, лишающую воли и сил. И тут я соображаю — а ведь недаром там, на мосту, актер говорил: «Вам нельзя оставаться». «Вам» он по-

вторил дважды и как-то особенно подчеркнул. Этого мерзавца Винокурова он тоже не зря помянул. И взгляд у него был настороженный, испытующий... Семен, ему ведь известно, что с тобой произошло и где ты находишься! И, конечно, он прав. Ты ж понимаешь, что м н е, именно м н е нельзя было оставаться у немцев. Полгорода знает: Трешникова — жена осужденного, сосланного. Если я даже героически погибну, как эта Ланская, о которой актер рассказывал, все равно будут говорить — нарочно осталась с немцами. Этот человек — я спасла ему жизнь, а ведь и он, может быть, так думал.

Удар пушки. Знакомое потрескивающее шуршание в небе. Мы уже опытные. Я знаю: раз я это шуршание услышала, снаряд уже перелетел. Еще, еще. И пусть попадет, пусть, так лучше. Как Ланская: миг — и ничего... А какая была артистка!.. Опять тяжелый снаряд. Ну, ну, что же ты, падай на меня... Нет, перелетел, раскидал деревянный дом недалеко от Больничного городка. И тут будто игла в нерв: стой! Ты хочешь смерти, а больные! А твои дети!.. Ведь снаряды ложатся недалеко от них.

Отталкиваюсь от чугунного столба. Бегу что есть силы и уж не помню, как добираюсь до руин больничных зданий. Ныряю в пролом забора. Дорожка, протоптанная за эти дни, прямо через больничный парк приводит меня к входу в наши подземелья. Вчера тут все кипело, ревели сирены машин, стучали костыли, скрипели носилки. Стоны, ругательства, плач, успокаивающий шепот сестер. Теперь даже следы этой тягостной суматохи прикрыло мокрым снегом. У бетонного лаза, ведущего в подземелье, вижу одинокую фигуру. Это наша сестра-хозяйка Мария Григорьевна Фельдъегерева, женщина широкая в кости, с худым, бледным, как у большинства старых текстильщиц, лицом.

Что это она? Держит в руках моток проволоки и неторопливо прикручивает над входом флаг. Странный флаг — наволочку, прибитую к ручке от щетки, на которой, должно быть с помощью стрептоцида, изображен красный крест. На звук шагов обернулась, деловито отложила флаг и обыденно сказала:

— Я ж им говорила — Вера Николаевна обязательно вернется.

Бросилась к ней. Уткнулась в ее худое плечо, замерла, боясь даже пошевелиться.

— Мария Григорьевна, милая... Что же это? Как же это?

Она слегка отстранилась, лицо сурово, но спокойно.

— Что есть, то есть. Теперь, Вера Николаевна, не слезы лить, не себя терзать, а думать надо, как нам дальше жить, что делать будем.

Удивительный человек эта наша Мария Григорьевна. Скупа на слова, суха. Я ни разу не видела, как она улыбается. И сейчас вот ни слова утешения. Отстранилась, опять занялась флагом. Но поразительно — именно это подействовало на меня, как валерьянка.

— Немец — что ж, тоже ведь люди. Я так считаю, он нас не тронет. На что им наши больные да раненые?

Глуховатый, неторопливо-спокойный, как всегда, голос звучит как-то даже неправдоподобно в это окаянное утро.

— Тут без вас еще троих приволокли. Двое легкие, мы их с Фенькой самосильно обработали, а третий парнишка — этот тяжелый. Мать его на тачке приволокла. В живот осколок угодил. Температура.— И, одернув полотнище самодельного флага, советует: — Вам бы его прямо на стол, этого Василька... А?

Почему она так спокойна? Катастрофа же, в городе фашисты. Мы одни среди этого зверья. А она достала откуда-то из-под пальто чистую марлечку, тянется ко мне.

— Дайте вам глаза вытру. Негоже, чтобы врач к больным зареванным появлялся.— Вытирает мне лицо и даже слюнит марлечку, чтобы снять грязь со щеки.

— А мои? — вдруг вспоминаю я.

— Что с ними станется? — с полуслова понимает Мария Григорьевна.— Тут вертелись, а обстрел начался — отправила их вниз, мастерить второй флаг.

И тут:

— Вера!

Как-то сразу возникли Сталька и Домка. Оба, как у нас говорят текстильщики, «раздеткой», в одних своих белых халатах. Бросились ко мне, повисли на шее. И хотя мне, единственному врачу этой забытой больницы, конечно же нельзя показывать малодушия, я прижимаю их к себе и даю волю слезам.

3

На мгновение все забывается — и сон, и явь, и страшные мысли. Ничего нет, лишь эти два теплых родных существа. Но только на мгновение. Кто-то резко дергает меня за рукав:

— Пока тут со своими лижешься, Василек-то помрет.

Это кричит мне в ухо маленькая женщина с худым, угловатым личиком. На этом личике большие синие глаза. Они смотрят с нетерпеливым гневом.

— Это мать...— начинает Мария Григорьевна.

Но мне не надо пояснять. Я догадалась, знаю, это та женщина, которая привезла на тачке раненого сына. И она, конечно, права в своем гневном нетерпении.

— Сейчас, сейчас, минуточку... Ступайте к нему...

По требованию Марии Григорьевны покорно отираю лицо снегом, сушу полою халата и, приведя себя, насколько это возможно, в порядок, спускаюсь в наше подземелье.

Еще в первые дни войны мы, наивные тогда люди, изобразили на крышах зданий Больничного городка огромные, красные кресты, видимые с любой высоты. Должно быть, именно они и указали цель гитлеровским стервятникам. Наш Больничный городок, которым мы в Верхневолжске так гордились, был разрушен крупным налетом. От него мало что осталось. В ту ночь мы почти непрерывно оперировали. Страшная ночь. На моих руках умер наш учитель, хирург Кайранский. Погибло много медицинского персонала. Хирургический корпус был обрушен, но филиал его, размещенный в подвале бомбоубежища, уцелел. Массивные бетонные потолки выдержали. Вот тут-то и было оборудовано наше новое хирургическое отделение для жертв бомбежек и пожаров. Оборудовали его даже неплохо. Вентиляторы очищали воздух, горело электричество, да и чувствовали мы себя здесь, под руинами, как-то безопаснее, ибо, как утверждал известный тебе Сергей Дубинич, по какой-то там теории вероятности, что ли, бомба не могла попасть вторично в одну и ту же цель.

Что касается до меня, то я понемногу привыкла к нашим подвалам, где нам удалось организовать некое подобие больничного стационара. Здесь нелегко работать. Не то что в военных госпиталях. Народ в своем большинстве гражданский, необстрелянный, незакаленный,

нервный. Во время налетов, когда земля начинала дрожать, в отсеках подвалов, которые мы по привычке называем палатами, поднималась такая кутерьма, что даже Дубиничу с его внушительной внешностью и сочным юмором с трудом удавалось утихомиривать людей.

Но в это утро подвалы поразили меня тишиной. Такой тишиной, что отчетливо было слышно, как потрескивают светильники, которые мы понаделали в банках из-под мази Вишневского. Натолкнувшись на эту тишину, будто на невидимую стену, я остановилась.

— Ну как, что там? Приедут, что ли, за нами? — раздался из тьмы мужской голос, в котором еще звучала надежда.

— Чего пушки-то умолкли, а? Неужто опять отступили?

Стало понятно: знают. Знают или догадываются. Но, догадываясь, обманывают себя, боясь верить страшной правде. Я не новичок в медицине и все-таки всегда мучаюсь, когда приходится сообщать родственникам больного тяжелые вести, а тут такое... Остановившись как бы на грани этой настороженной тишины, я никак не могу подыскать нужные слова. Слишком уж они страшны. И вот раздается бесстрастный, тусклый голос Марии Григорьевны Фельдъегеревой.

— Вера Николаевна ждала машины, пока мост не взорвали. Не прорвались к нам машины.— И тут же добавляет: — Доктор говорит — видела, наши за рекой окопались. Дальше не пустят... Говорит, Сибирь и Урал на выручку подходят...

Откуда она взяла? Разве я это ей говорила? Но уже женский голос со звенящими истерическими нотками кричит из-за брезентов, которыми мы отгородили женское отделение:

— Драпанули и нас немцам бросили? Мы что, угары, что ли? В помойку нас?

Другая женщина уже голосила сквозь судорожные рыдания:

— Горькие мы, горькие-гореванные! Что же теперь с нами будет-та?.. Да фашист нас по жилочкам расщипает, по косточкам растащит, судьба наша окаянная...

Кто-то, выбранившись в сердцах, вздыхает:

— «Ни пяди своей земли не отдадим никому...» Не отдали...

Но голос этот сразу же тонет в грозном шуме:

— Ну, ну, на кого замахиваешься! Заткнись, паникер!.. Эй, кто там поближе, дай ему по шее!

А за брезентом в женском отделении причитают, как над покойником:

— Бедные мы, несчастные, на горе, на муки нас мать родила...

— Доктор, как же это?.. Выходит, верно, Гитлеру оставили?

Ты бы, Семен, конечно, знал, как ответить, что им сказать, а я, что я им отвечу, когда у самой слезы перехватывают дыхание... Чувствую, еще немного — сама примусь голосить, как та женщина, что причитает за занавеской. Но опять звучит спокойный, тусклый голос:

— У немцев ведь и Тельман был, сколько за него голосовало... Чай, не всех Гитлер в свою веру перекрестил. Культурная небось нация, что им больные да увечные.

Это опять Мария Григорьевна. С удивлением смотрю на эту высокую, худую, обычно такую скупую на слова женщину. Гитлеровцы — звери, утерявшие все человеческое. В памяти бесчисленные примеры садистских неистовств, сожженные деревни, повешенные раскачиваются на фонарных столбах, тела мирных людей, раздавленных танками. Сколько всего этого мы видели на газетных фотографиях... «Культурная нация»! Да как она решилась произнести это?.. Одернуть ее?.. Но, в сущности, это единственная для всех нас надежда... Как быть? И тут, Семен, я вдруг с холодной ясностью осознаю, что никто уже мне не посоветует, не растолкует, не поможет, что все мы очутились в каком-то ином, опасном мире, где люди не чувствуют локтя соседа, и отныне должны в нем жить, решать и действовать на свой страх и риск.

— Я уж флаги с красным крестом у входа вывесила, пусть знают — больница.

— Они вон как раз по красным крестам-то и сыпанули бомбы, — слышится насмешливый мужской голос.

Кто-то все настойчивее тянет меня за руку:

— Докторица, миленькая, иди же ты скорее. Васька-то, Василек-то мой...

Это та худенькая женщина с угловатым личиком. Она толкает меня в дальний конец подвала, где в полутьме белеет стена нашей операционной.

— Правильно, Вера Николаевна, ступайте мойте руки. Там уж Федосья его к операции готовит.

И я иду, будто распоряжение это исходит не от молчаливой и тихой нашей сестры-хозяйки, а от самого Дубинича — грозы и любимца хирургического отделения.

После того как нас разбомбили и мы обосновались в этих огромных подвалах бомбоубежища, угол последнего отсека отгородили от палаты дощатой переборкой и, покрасив все в белый цвет, организовали там операционную.

Рабочих нам не дали,— откуда их было взять, когда фабрики и заводы спешно готовились к эвакуации. Но Мария Григорьевна пошла по старым общежитиям текстильщиков, именуемых в наших краях «спальнями» или «казармами», и отыскала среди пенсионеров и плотников, и слесарей, и монтеров, и сантехников. Они провели к нам воду, восстановили отопление, протянули электрическую сеть и даже опустили над операционным столом великолепную лампу-рефлектор.

...Раненый уже был перенесен с каталки на стол. Это рослый подросток с таким же, как у матери, угловатым лицом и с такими же васильковыми глазами. Лежа неподвижно, он не стонал, даже не охал, но губы у него были искусаны в кровь, а в глазах, почти округлившихся, было такое страдание, что я невольно отвела взгляд.

— Милая, спаси. Одни мы с ним, никого у нас нет. Спаси, хорошая, дорогая...

Искусанные губы паренька шевелятся. Что он произносит — не слышно, но по движению их я угадываю укоризненное: «Мама!»

Умница эта тетя Феня. У нее все готово: облачилась в операционный халат, вымыла руки, повязала лицо маской. Выставив вперед локти, она движется на мать.

— Кыш, кыш! Сюда, как в алтарь, чужим входить негоже. Кыш, тебе говорят, тут все стерильное. Еще уронишь в Васькину рану какую-нибудь микробу.

Женщина подчиняется, выходит. Война уже произвела тетю Феню из операционных нянь в хирургическую сестру. Сейчас, когда нас, настоящих медиков, осталось двое, она смело встает к столу на место ассистента, проворно готовит больного к операции. Натирая щетками

руки, искоса слежу за ней. Ловко, очень ловко обрабатывает она операционное поле. Молодец! У меня даже легчает на душе, возвращается уверенность, и я уже могу сосредоточиться.

Внешнее пальпаторное обследование немного успокаивает. Рана не кажется тяжелой: небольшой осколок разорвал ткани брюшины, прошел насквозь. Удивительно, но, кажется, он даже не задел кишок. Когда мы входим в брюшную полость, это подтверждается, но все так залито кровью, что приходится долго повозиться, заглушая кровотечение.

Третьим в операционной мой Домка. С тех пор как я перешла на казарменное положение и мы переселились из своей комнаты сюда, в подземную нашу больницу, он исправно исполнял обязанности санитара. Дубинич подарил ему старый халат, шапочку и торжественно наименовал его братом милосердия. Сейчас «брат милосердия» подсвечивает нам, высоко подняв ацетиленовую лампу. С больничной жизнью он свыкся, научился довольно ловко менять и даже накладывать повязки. Но на операции он впервые. Вид живого разрезанного тела, скользких пульсирующих внутренностей — все это его поразило. Я вижу в просвете его маски расширенные глаза, пот, выступивший на переносице. Слышу прерывистое дыхание. Только бы не брякнулся в обморок, не уронил лампу, только бы в разгар операции нам не очутиться в темноте. Нет, кишки действительно не задеты. Уф какое счастье! И поврежденные сосуды, кажется, удалось перехватить, хотя кровь еще откуда-то поступает.

— Ну, Василек, как ты себя чувствуешь?

— Ничего.

— Больно?

— Не очень.

Совсем другое говорят его синие, широко раскрытые глаза.

Но все-таки операция наладилась, идет все легче. Я уже могу различать голоса, доносящиеся из-за переборки. И вдруг отчетливо слышу: «А может, это вредительство? Может, она нарочно и подстроила, чтобы мы все к Гитлеру попали?» Кто-то коротко отвечает: «Вот и дурак». Но тот, кому это адресовано, не унимается. «А может, дурак-то не я, а как раз ты. Муж у нее сидит? Сидит. Может, она за мужа-то своего, за тюрзака, нам и мстит?..» Да это же обо мне... Руки разом слабнут,

теряют уверенность. Заставляю себя нарочито громко спросить тетю Феню:

— Давление?.. Пульс?..

А себе говорю: не слушай, не смей слушать! Но не слушать уже не могу. И слышу, как тонкий, с истерическими нотками голос уже из женского отделения кричит: «Верно, верно! Они ведь хитрые. Они какую хочешь шкуру напялят. Говорили ж, что кто-то ночью с крыши фонариком самолет на Больничный городок навел. Вон развалины-то кругом. Кто? Кого чужого на крышу пустят?» Ой, как дрожат руки!.. Но тут кто-то сердито прерывает: «Таранта ты, таранта, глупый разум! С детьми, с детьми она же здесь. Какая бы мать детьми рисковать стала». И опять этот ужасный женский голос частит: «Вот-вот, дети-то — оно и не случайно, с дедом-то их, чай, в куацию не пустила. И ты на меня не гавкай. Ишь Гитлер какой!» — «Кто — я Гитлер?». Новые и новые голоса. Я уже знаю — началась одна из тех истерических перебранок, какие порой вспыхивают в госпиталях и какие, я это тоже знаю, так трудно гасить. Но операция. Она требует все больше внимания. Поврежденные сосуды, кажется, зажаты. Откуда же кровь?.. Теперь я вижу только эту раскрытую кровоточащую рану, клеенчатые, лоснящиеся внутренности, пульсирующие шнурки сосудов и эту темную густую жидкость, неведомо откуда выступающую. Откуда? Что повреждено?..

Ужасный разговор, доносящийся до меня через переборку, теперь воспринимается как что-то постороннее, меня не касающееся, будто работает репродуктор, который позабыли выключить. Даже о том страшном, что произошло утром, перестаю думать. Что же кровоточит?

Найти поврежденный сосуд помогает моя помощница:

— Вон она откуда, кровушка, бьет...

Верно! Правильно! Ай да тетя Феня! Кайранский шутил про нее: «Это моя левая рука». У меня ей, как видно, суждено стать правой рукой. Быстро перехватываем поврежденную вену кохером и облегченно вздыхаем. Операционное поле очищено от крови, и я могу с головой погрузиться в операцию.

Как говаривал Кайранский, хирург должен не только быстро войти в живот оперируемого, но еще быстрее из него выйти. Стараюсь исполнить этот завет. Операция идет к благополучному, как мне кажется, концу, и я уже начинаю чувствовать ту сладкую усталость, которая

всегда приходит после напряженной и удачной работы.

— Ну как, Василек?

— Ничего... Больно стало... Будто кто-то тянет, тянет.

— Это, милачок, хорошо, что больно,— частит тетя Феня.— Это, Васютка, значит, жизнь в тебе кипит, хворь из тебя выходит... Знаешь, милачок, кто тебе операцию делал? Бога благодари, доктор Трешникова Вера Николаевна тебе операцию делала. Всего тебя распорет и зашьет, ты и не заметишь.

— Иглу, кетгут...

— Сейчас, Вера Николаевна, сейчас.

Тут как-то особённо, резко скрипнув блоком, бухает вдали входная дверь. В палатах, где только что бушевал спор, вновь настает та тишина, которая утром показалась мне страшнее любой истерики. Торопливо застучали об асфальтовый пол ноги в тяжелых подкованных сапогах. Слышатся отрывистые фразы на чужом языке. Немцы! Шаги все ближе. Свет начинает дрожать. Это лампа заходила в руке у Домки.

— Свети лучше,— машинально произношу я, заставляя себя не отрывать глаз от операционного поля.— Тетя Феня, зажим!

Вспотевшее лицо старухи лоснится, ее быстрые, навыкате глаза так и бегают в щели маски.

— Крючок... Не этот, побольше... Чего вы копаетесь?

У Домки, будто от холода, клацают зубы.

— Ма!

— Свети как следует. Держи лампу так, чтобы не было тени от рук... Тетя Феня, конец кетгута.

Я говорю это громко и, кажется, спокойно, но если бы ты, Семен, знал, чего стоит мне это спокойствие.

— Вот, Вера Николаевна, вот.— У тети Фени срывающийся голос. Шепотом, будто открещиваясь от нечистой силы, она частит: — Свят, свят, свят!

Внимание, Вера, внимание! Ты не можешь, ты не смеешь отвлекаться! И вдруг отчетливо, как при вспышке молнии, вижу тот страшный день, когда немецкие бомбардировщики накрыли наш Больничный городок. В этот день Кайранский оперировал у себя наверху, а мы с Дубиничем — тут, в бомбоубежище. И вот удар, от которого все содрогнулось. Мы оглохли от грохота. Шум. Крики. Вопли. Мрак, погас свет. Зажгли запасные

ацетиленовые лампы и продолжали оперировать. Некогда даже было подняться, узнать, что там, наверху, почему стало вдруг тихо.

И вот носилки. Их ставят прямо на резервный стол. На носилках Кайранский,— халат окровавлен, на руках еще перчатки. Даже марлевую маску он не снял, и видный нам кусок лица белее этой маски. Дубинич бросился к нему, расстегнул халат. Мы видим: обе ноги оторваны. Хлещет кровь. Действуя почти инстинктивно, мы начинаем искать и перехватывать оборванные сосуды и даже не заметили, как старик пришел в себя. Вдруг слышим:

— Коллеги, вы что же, не видите — это бесполезная возня. Все кончено... Оставьте меня. Там много тех, кому вы можете помочь.

Мы, конечно, продолжали делать, что могли. И он из последних сил, гаснущим голосом кричит:

— Довольно! Не смейте! — И совсем тихо: — Феня, мне морфий, двойную дозу...

Несколько пострадавших стонали на носилках. Мы не посмели ослушаться. Глотая слезы, мы занялись ими и даже не видели, как он отходил.

И вот сейчас, когда топот подкованных сапог, гулко разносящийся в настороженной тишине палат, приближался, передо мной возникло лицо старика Кайранского, его сердитые, требовательные глаза. Я стискиваю зубы и продолжаю операцию.

Топот замер возле простыни, отделявшей операционную. Тишина. Голос Марии Григорьевны, спокойный и решительный:

— Сюда нельзя, тут операция.

Но отлетает откинутая резким движением простыня — и перед нами немецкие солдаты в глубоких рогатых, надвинутых на глаза касках, как раз таких, какие мы привыкли видеть на карикатурах Кукрыниксов. Подшлемники возле ртов мокры. Зеленоватые шинели с поднятыми воротниками грязны и измяты. Лица солдат красные и потные. Они, должно быть, только что из боя. Это угадывается и по шальным глазам. Вот тот, высокий,— он, кажется, какой-то чин. У него худое обветренное лицо. С виду оно спокойно, но глаза, как бы живущие сами по себе, так и бегают по полутемным углам операционной. И где-то в глубине их мне чудится настороженность. Может быть, даже страх.

Мгновение мы смотрим друг на друга в упор. Что чувствую я, советская женщина, при виде этих первых живых гитлеровцев? Ничего особенного. Только гнев на людей, посмевших ворваться в верхней, грязной одежде в комнату, где все стерильное, где больной с открытой раной лежит на столе. По привычке хирурга я стою с поднятыми вверх руками. Ловлю себя на этом и опускаю руки.

Но прежде чем я решаюсь что-то сказать и сделать, толстенькая тетя Феня, этот беленький добродушный шарик, катится на офицера, нацелив ему в грудь локти, которые она выставила вперед. Старуха налетает на него, как клушка на ястреба, сыпя из-под маски:

— Сгинь, сгинь, рассыпься... С ума сошел! В операционную в верхнем! Сгинь отсюда!..

Офицер как-то инстинктивно пятится к двери. Солдаты переглядываются. Один из них, коренастый, рыжеватый, начинает каким-то ужасно медленным движением снимать с шеи ремень короткого ружья, похожего на пистолет. Я бросаюсь к офицеру и, отведя назад руки в стерильных перчатках, говорю, стараясь смотреть ему прямо в беспокойные глаза:

— Уйдите. Вы же видите, здесь идет операция. О-пе-ра-ция... Немедленно уйдите.

И представь, Семен, он меня, должно быть, понял. Не выдержал взгляда, опустил глаза. Что-то буркнул солдатам. Те, как мне показалось, даже с облегчением, бухая сапогами, заспешили прочь из операционной, и офицер, выходя, даже козырнул в мою сторону. Шаги удаляются. Взвизгивает блок, захлопывая тяжелую дверь. И сразу, точно плотина прорвалась, зашумели, загомонили в палатах, а я будто пришла в себя после обморока, и мне задним числом стало так страшно, что закружилась голова...

— Положь скальпель, слышишь, положь скальпель.

Это тетя Феня наступала на Домку. А тот, держа лампу в левой руке правой, как нож, сжимает большой скальпель. Он весь трясся.

— Если бы он... я бы его... Я бы ему всю рожу... Попробовал бы...

Мамочки! Неужели же он... Что-то белое и холодное касается моего лица. Это тетя Феня, смочив вату в спирту, водит ею по моему лбу.

— Кто, кто там? — еле слышно шепчет больной.

— А, так тут один... Зашел... заблудился,— отвечает старуха, охлаждая мне лицо прохладной ватой и будто смывая все боли, мороки и тревоги.

Придя в себя, быстро заканчиваю операцию и, взглянув на часы, вижу, что провозились мы всего час с небольшим. Но он, этот час, показался мне длиннее суток. Уже без меня тетя Феня и Домка перекладывают оперированного па каталку и вывозят в палату.

Полутьма. Мне вдруг страшно захотелось уснуть хоть не надолго, хоть на минутку. Но я почему-то думаю — надо же кончить операцию. Последний шов. «Иглу, кетгут...» — шепчут губы.

— Вера Николаевна, ступайте к себе,— это голос Марии Григорьевны.— Прилягте, усните.

Что такое? Открываю глаза — операционная. В полутьме тетя Феня собирает в кастрюльку инструменты. Потом передо мной возникает какая-то тень. Кто-то трясет меня за плечи. Требовательно, почти яростно, уставились в меня синие глаза.

— Доктор, он будет жить, Василек мой?

Маленькая, кудрявая головенка Стальки жмется ко мне.

— Ма, ты устала, пойдем, пойдем спать.

— Вы посмотрите его, посмотрите. Он прямо полыхает, мечется,— требуют синие глаза...

Встряхиваюсь. Иду в палату. Василька положили с краю. Лицо у него белее наволочки, но оно спокойно, это измученное, еще больше обострившееся, мальчишеское лицо. Пульс? Пульс еще слаб, но ничего угрожающего.

Я смотрю в требовательные глаза матери. Ничего не говорю, только смотрю. Но она поняла, бросилась на колени и тянет мою руку к губам.

4

Еле доплелась к себе в «зашкафник». Села на койку, сбросила туфли, чуть прикорнула у стены и, должно быть, уснула. Нет, не уснула, а просто забылась, потому что в следующее мгновение очень отчетливо услышала разговор:

— Ну куда ты, девка, прешься, Вера же спит.

— А вовсе и не спит, вон сидит, и глаза открыты.— В щели между шкафами мне виден черный хитрый Сталькин глаз.— И я по делу. Эта тетка шумит, у Василька жар, стонет он.

— Ну и что? Это всегда так. Местная анестезия кончилась, стало больно... Пусть Вера спит, я сам поговорю с теткой. Я ей объясню. Надо же Вере отдохнуть.

Глаз между шкафов скрылся, и я вижу, как мимо щели мелькают два белых халата. Эх, Семен, Семен, видел бы ты, как выросли наши ребята, какие они стали заботливые и как они мне тут помогают! Нет, я не преувеличиваю. Помогают. С месяц назад, когда начались бомбежки и раненых можно было ждать в любой час, а врачей стало не хватать, мне пришлось перейти на казарменное положение. Но ты же представляешь, как далеко от нашей квартиры до Больничного городка. Могла ли я часто вырываться к детям? Думаю, ты меня не осудишь за то, что я заперла нашу комнату и перетащила детей в госпиталь. Тут для нас отгородили угол: койка, тумбочка, шкаф, столик. Дежурства мои стали круглосуточными. Ребятам, конечно, было скучно. Стали понемножку нам помогать. Из Домки — а он у нас теперь уже мужичок — получился, честное слово, неплохой санитар. А Сталька, разве ж она, при ее непоседливости могла отстать от брата? Нашла себе дело: разносит градусники, записывает температуру, оправляет тяжелым постели. Видел бы ты, с каким важным и озабоченным видом она выносит «утку» или судно! Вообще она у нас брезгуша, но тут откуда что берется... Мария Григорьевна сшила Стальке из какой-то ветоши белый халатик, больные и раненые именуют ее «сестричка», и она этим бесконечно горда.

Наша строгая Громова, заместившая погибшего Кайранского, однажды дала мне за них выговор: «Мы сами можем работать сутками — это наш долг, но кто вам дал право эксплуатировать детей?» А я думаю — ты бы меня одобрил. Ведь сейчас и на заводах ребята точат снаряды. Твой отец рассказывал, что в цехе для них скамеечки у станков поставили — росту не хватает... Нет, по-моему, труд никогда не портил человека. А как они оба вымахали за этот месяц! Хорошие ребята у нас растут, Семен...

Вот и сейчас я вышла к Васильку и вижу — оба стоят возле койки и тут же его мать. Спорят. Она кричит им что-то, должно быть обидное.

— Тридцать семь и пять,— докладывает мне Домка, как-то очень терпеливо слушая кричащую женщину.— Пульс — восемьдесят пять.

— Вот-вот, сама там дрыхнет, а детки тут в жизнь человеческую, как в игрушку, играют... А он, бедный, стонет, может, ему последний час пришел..— дребезжащим голосом кричит мать Василька.— Я на вас жаловаться буду, я письмо на вас напишу.

— Кому? — умудренно спрашивает Домка.

Женщина смолкает, должно быть пораженная тем небывалым обстоятельством, что жаловаться-то действительно некому и некуда.

— Ступай найди тетю Феню. Пусть приготовит шприц.

— Вас понял,— отвечает Домка, подражая летчику из какой-то кинокартины, и, сделав налево кругом, отправляется выполнять распоряжение.

Хотя халат Дубинича ему почти впору и со спины он в нем совсем взрослый, в сущности, он мальчишка и недалеко ушел от ребят, с которыми должен был бы учиться в шестом классе. Измеряю температуру, подсчитываю пульс. Нет, все точно, Домку можно не проверять. Мать успокоилась, присела на койку и, привалившись к спинке, сразу задремала. Мне вдруг тоже захотелось спать.

— Железо и то устает,— говорит Мария Григорьевна и решительно ведет меня под руку через погруженные во тьму палаты в наш зашкафный уголок.

Привела, усадила. Сняла с меня шапочку, расстегнула халат.

— Спите, надо будет — разбужу.

Я посмотрела на часы — они стояли.

— Сколько же сейчас может быть времени?

— А кому оно нужно теперь, время? — Мария Григорьевна взбила подушку.— Нам с вами оно теперь ни к чему. Будем жить как кроты: круглые сутки — ночь,— и гадать, когда наши вернутся.

В ровном, обычно бесцветном, голосе ее прорвалась тоска. Не оглядываясь, она мягко толкнула меня к подушке, и я будто сразу провалилась в темную теплую воду.

Но снилось хорошее — берег нашей Тьмы, цветущие черемухи. Ты, Семен, босой, в косоворотке, и будто бы я тоже босая. Бежим мы по влажному заливному лужку, и прохладная трава хлещет меня по голым ногам. Ты все хочешь меня догнать, а я не даюсь, увертываюсь, хохочу, и мне необыкновенно хорошо. Ты все-таки догнал бы меня, наверное, и я хотела этого, ждала, но...

— ...Вера Николаевна, Вера Николаевна,— кто-то раскачивал меня за плечо.— Проснитесь, матушка, дело.

Еще не открыв глаза, я по уютному запаху хлеба, чистой одежды и еще чего-то очень домашнего догадываюсь, что рядом тетя Феня. Но сон так хорош, солнечный день, река, луг все еще живут во мне, и не хочется уходить от этого.

— Проснитесь, без вас не раскумекаешь, беда...

Беда! Это слово в последнеее время мы слышим слишком часто. Оно как бы реет в воздухе... Беда! Я сразу скидываю ноги с кровати.

— Что, что там? Что-нибудь с этим, с Васильком?

— Нет, Василек спит, мать возле него. Пришел тут какой-то бородатый. Начальника госпиталя требует, со мной и говорить не стал. Грозится.

— Немец?

— Нет, вроде наш.

— А кто?

— Не говорит. Вертлявый, будто из цыган, подавай ему начальника — и все.— Тетя Феня оглянулась на занавеску, отгораживающую вход, и зашептала: — Карманы у него оттопыренные. Он все за них хватается. Жутко аж, хотя что ж нам бояться — голому разбой не страшен.

Я обулась, надела халат. Милый сон еще жил во мне. Перед глазами маячило твое, Семен, широкое, круглое лицо, разгоряченное бегом, твои маленькие, хитро прищуренные глазки, твои губы, в уголках которых всегда, даже когда ты сердишься, живут смешинки. Ты был еще со мною, и, вероятно, поэтому я спокойно пошла на встречу с незнакомцем с оттопыренными карманами, хотя хорошего, конечно, в нашем положении ждать нечего и неоткуда.

Входная дверь терялась в темноте, и когда точно бы из нее выступила невысокая фигура, мне показалось, будто она возникла из-под земли. Четко виднелись лишь

бинты на голове этого человека да странно поблескивали белками, точно бы источали свет, его глаза.

— Феня, принесите лампу,— распорядилась я.

— Не надо, зачем освещать мою запущенную внешность?

— Вы кто?

— Если я скажу, что медведь, вы все равно не поверите.

— А ты не охальничай, не охальничай,— зачастила тетя Феня, рассыпая слова, как горошек.— Просил начальника — вот тебе начальник, говори что и уходи с богом.

Старуха подняла свечу. Из тьмы выступило смуглое лицо, на три четверти заросшее молодой бородкой, густой и черной.

— Вы, тетенька, шаривари не затевайте. По личному вопросу мы вам слово дадим в конце.— И с силой, которую в этом невысоком человеке трудно было даже предполагать, незнакомец поднял тетю Феню под локти и отставил в сторону. От него веяло чем-то тревожным, настораживающим.

— Ранены? Переменить повязку?

— Успеется.— Он снизил голос: — Я не о себе. Посмотрел на тетю Феню, театрально удивился: — Как, тетечка, вы еще здесь? А ну, погуляйте по воздуху, посчитайте звездочки, нам с начальником тет-на-тет потолковать надо.

У меня радостно всколыхнулось сердце. Наверно, он из-за реки, от наших.

— Тетя Феня, проведайте оперированного.

Все — и это ночное вторжение, и странная, вывихнутая какая-то речь незнакомца, и даже его лицо с плюшевой бородкой — все настораживало. Но старуха права, голому нечего бояться разбоя. Что может быть хуже того, что с нами уже произошло в это роковое шестнадцатое октября?

Я поставила перед незнакомцем табуретку:

— Садитесь.

— Комфорт для следующего раза. Это, так сказать, частный визит.— Он перешел на шепот: — Доктор, слушайте сюда. В одном месте лежит один человек. Он срочно нуждается в медицинской помощи.

Я рассердилась: «в одном месте», «один человек» — что это за иксы и игреки?

— Вы пришли в советский госпиталь и разговариваете с советским врачом.

— В городе, который, между прочим, временно занят немецко-фашистскими оккупантами,— насмешливо уточнил обладатель плюшевой бородки и продолжал своим противным, ерническим тоном: — На меня ваше лечебное заведение произвело исключительно хорошее впечатление, и я, пожалуй, привезу сюда моего любимого дядюшку, Вера Николаевна.

— Вы меня знаете?

— У нас общие знакомые.— И посерьезнел: — Прошу приготовить через час коечку. И тихо, не надо сенсаций. Они не для этого сезона.

Он бесшумно исчез, будто растворился во тьме: ни дверь не стукнула, ни ступеньки не скрипнули. Велела Фене приготовить койку.

— Должно быть, из циркачей,— сыпанула горошек слов тетя Феня.— Ишь ты — «шаривари». Это у них язык такой особенный. А ручищи железные. Поднял — и болтай ногами, как кукла. Вы его поостерегитесь. У моего брата двое из цирковых на квартире стояли — всем угодникам поклоны клал, чтобы только поскорее съехали...— И вдруг Феня, жалостно глядя на меня, вздохнула.— Эх, Вера Николаевна, Вера Николаевна, сколько на вас бед-то сразу свалилось...

— Разве только на меня? А остальные? А вы...

— Я что, меня, голубка моя, жизнь-то покатала-помотала, а вам-то с непривычки каково?

Мне «с непривычки»? Эх, тетя Феня, тетя Феня, добрая душа! Вас катало и мотало, а меня?.. Но все-таки надо же заснуть. Я обязана выспаться. Ведь теперь каждую минуту может начаться то страшное, чего я боюсь во сне и наяву...

Не хотелось будить ребят. Не раздеваясь, я прикорнула на коротком клеенчатом диванчике в отсеке, оборудованном под приемный покой. Закрыла поплотнее глаза, мечтая снова увидеть тебя во сне. Но ты не вернулся, и сон не пришел. Старуха, сама того не ведая, бросила горсть соли на рану, которая давно уже начала зарубцовываться, но, честно говоря, не зажила, а может быть, и никогда не заживет.

Эх, Семен, как же мне тебя не хватает! Как нужен мне ты, ты весь, твой ум, твоя твердость, твое знание людей, весь ты, крепкий, мускулистый, полный веселой

добродушной энергии!.. Мне нелегко живется. Говоря честно, среди забот и дел я иногда днями не вспоминаю тебя. А вот сейчас почему-то вдруг вспомнился и не идет из головы последний вечер, который мы провели вместе.

Помнишь, как это было? Они приехали за тобой, а ты неожиданно задержался на собрании на «Большевичке». Не застав, они извинились и что-то там бормотали, что зашли на минуточку, посоветоваться с тобой насчет организации каких-то там политкружков, что ли. Время было такое, что я сразу все поняла, и мне стоило большого труда сделать вид, что я поверила в эту явную как говорят урки, «туфту». Но мне удалось, и я проследила из-за шторы, как их машина отошла от подъезда и скрылась за углом. Семен, ты ведь совсем не подготовил меня к этому, все свалилось мне на голову, как льдина, сорвавшаяся с крыши в оттепельный день. Когда в ту пору исчезал кто-нибудь из наших друзей по комсомолу, выросший в крупного работника, и я, чуть не плача, говорила тебе, что не могу поверить в вину того-то и того-то, ты, правда отвернувшись или глядя себе под ноги, выдавливал: «Черт его знает, всякое случается. За Васькой я ничего не знаю. Но вон на процессах-то что открывается!» Или грубо обрывал меня: «Ну что ты пристаешь? Зря не возьмут, а возьмут невинного —выпустят. Нечего психовать...» Ты до последнего дня верил или делал вид, что веришь в то, что все идет правильно, что кругом враги и их надо искоренять быстро и беспощадно. Впрочем, во сне ты иногда выкрикивал знакомые имена, и я не могла понять — с гневом или с болью.

И вот очередь дошла до тебя. Я это сразу поняла. Да и ты, как мне кажется, не слишком удивился, когда по соседскому телефону я отыскала тебя на «Большевичке» и стала просить, чтоб ты вернулся домой через черный ход. Ты так и сделал.

Как врезался в память этот вечер! Ты старался казаться спокойным. Пробовал даже шутить. Помнишь? «Ехать так ехать»,— сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост». Ужасная шутка!.. Но тебе не удалось скрыть, что ты растерян и потрясен. Я оказалась даже деловитее. У меня был уже план.

— Вчерашнюю зарплату я не трогала,— сказала я.— Есть еще то, что мы отложили на путевки. Забирай все

деньги и уезжай. Уезжай в Москву, там разберутся.

И помнишь, Семен, что ты мне ответил:

— Коммунист не может бежать от советских органов, даже если они в данную минуту в отношении его допускают ошибку. Перед партией я чист. Невиновному у нас нечего бояться.

Ты велел мне опустить шторы и спокойно, будто собираясь в командировку, стал всовывать в портфель белье, умывальные принадлежности, зубной порошок, пачки «Беломора». А я? Я не в силах была помогать. Смотрела и даже не плакала. Собрав портфель, ты сказал: «Давай присядем». Сели. Ты закурил было папиросу, но тут же, скомкав, отбросил ее. Прошел в детскую. Постоял над Сталькиной кроваткой, усмехнулся: «Вот курчавка, вся в тебя. Мамкина дочка!» А над кроватью Домки: «А вот этот уж мой. Ишь какой подосиновик!» И тут вздохнул. Это запомнилось потому, что вздыхать — это не в твоем характере. «А славный у нас парнишка растет!» И чуть спустя: «Ты им, пожалуй, скажи, что батька, мол, в спешную командировку на Дальний Восток уехал. А впрочем...» — и махнул рукой.

Потом подошел ко мне, взял за руки и, смотря в глаза, будто гипнотизируя, произнес:

— Вера, я большевик-ленинец. Я никогда и ни в чем не погрешил перед партией. Что бы там тебе ни говорили, это так.— Помолчал.— И бате это передай...— Вздохнул.— Бедный старикан, рабочая косточка, вот переживать-то будет.— Потом упрямо, сердито встряхнул головой.— Разберутся... Рано или поздно во всем разберутся... Иначе не может быть.— И мне показалось, что ты улыбнулся. Да, да, улыбнулся, а может быть, эта улыбка, всегда жившая у тебя на губах, сама, непрошеная, вылезла на свет божий.

Я тогда испугалась этой улыбки. Испугалась и опять стала упрашивать тебя добраться до первой от города станции, сесть в поезд, уехать в Москву. Поступил же так Токарев, которого кто-то предупредил, что выписан ордер на его арест. Добрался до столицы, бросился в свой наркомат, и нарком отправил его в Ташкент, в длительную командировку.

— Сделай так. Сделай. Ну, ради меня, ради детей.

Ты даже рассердился.

— Секретарь горкома бежит от советских органов... Да как я тогда коммунистам в глаза смотреть буду? — Будто отрубил: — Нет.— И вдруг решил: — Вера, я сам пойду т у д а. Так будет правильно. Раз человек явился сам, это лучшее доказательство его невиновности... Ну, а в случае... Тогда пишите прямо Иосифу Виссарионовичу. Отвезите в Москву и сдайте в экспедицию в Кремле.— И встал.— Ну, я пошел.

До меня даже не сразу дошло, что это значит «я пошел», а когда дошло, портфель выпал из рук и пачки с «Беломором» рассыпались по полу. Притворно сердито ты сказал: «Ну вот, помогла, чем могла»,— и с какой-то тягостной, преувеличенной старательностью принялся их собирать. Собрал, положил в портфель на кресло, прижал меня к себе. Обнявшись, зашли мы еще раз в детскую, постояли над спящим Домкой. Ты сказал: «В нашу никитинскую породу. И волосом, и характером рыжий. Мой след на земле». Я прижалась, будто хотела слиться с тобой, раствориться в тебе, но тебя, такого всегда чуткого и отзывчивого на мою ласку, со мной уже не было. Ты мягко расцепил мои руки.

— Верка, помни, что я говорю: правда победит. Она все победит.— И потом — я это особенно хорошо помню — добавил: — Ты у меня хороший парень, Верка. Из хорошего теста. Жди.— Это были последние слова, с которыми ты скрылся за дверью.

Я бросилась к окну, но разглядеть тебя не смогла — во дворе было темно. Ты и запомнился таким, каким был в дверях,— твердый, верящий. Таким ты представляешься мне и сейчас, в этом душном подвале, на фоне бетонных сводов, на которых, будто листья древнего папоротника на каменном угле, отпечатались шершавые доски опалубки.

Ты видишь, Семен, я помню твой наказ и, вопреки всему страшному, что случилось и что сейчас творится в городе, надеюсь и жду. А как мне было нелегко, родной. Я ведь не знаю даже, дошел ли ты тогда сам или тебя взяли по дороге. Ту ночь я, конечно, не спала, а на заре разбудила ребят, сказала о внезапном твоем отъезде на Дальний Восток и повела к деду, в ваш никитинский домик. Павла Петровича я подняла с постели. Он сидел на крыльце, босой, в нательной расстегнутой рубахе, с редкими, рыжеватыми, всклокоченными волосами, с помятым со сна лицом. Слушая меня, он стругал ка-

кую-то щепку, будто бы весь уйдя в это занятие, и это меня злило. Ведь я говорила ему о сыне, о нашей страшной семейной беде. А он молчал. Его округлое, полное лицо ничего не выражало, кроме разве сосредоточенности на никчемном обстругивании какой-то никому не нужной щепки.

— Это дела партийные, Вера,— сказал он наконец, поднимая ее и стряхивая с колен кудрявую стружку.— Коммунисты в них и без нас с тобой разберутся.— Помолчал, посмотрел куда-то вверх, на прикрепленную к березе скворечню, где навстречу вернувшемуся скворцу-папе жадно гомонило в домике его потомство.— Сколько врагов-то сидит, может, кто нарочно Семеху и оговорил. Враг — он на все пускается.— Он бережно огладил оструганную щепочку своими короткими, поросшими рыжим пухом пальцами. Только теперь это была уже не щепка, а маленькая деревянная ложечка для соли или горчицы. И вдруг он яростно изломал эту ложечку. Помолчал, тяжело дыша.— Разберутся. Не такие клубки распутывали. Что внуков к нам привела, правильно. Пусть тут перебудут. Нечего им у тебя там... Татьяна за ними присмотрит, она свободная, в школе каникулы.

Где-то недалеко, совсем рядом, в утреннем нежном воздухе захрипел слабенький гудочек. Старик встрепенулся, оживился, будто даже обрадовался.

— Зовет. Пора. Пройди в дом, Татьяна тебя чаем напоит. Ей потихоньку про Семеху скажешь, а ребятам пока — ни-ни. Уехал, мол, батька на Дальний Восток по партийной мобилизации, слышишь, Вера?.. Нет, не может быть, чтобы за ним что-нибудь было. Вернется.

Торопливо, деловито старик стал подниматься на крыльцо. Завод рядом. Между первым и вторым гудком полчаса. Я преградила ему дорогу.

— А Семен? Надо же что-то делать? Он говорил — письмо товарищу Сталину отвезти в Москву, сдать в Кремль.

Старик остановился в дверях.

— Что ж, у Иосифа Виссарионовича других дел, кроме нашей беды, нету? — И брюзгливо, как это он частенько изъясняется: — Что ж, в Верхневолжске и правда перевелась? Найдем правду... Оклеветали, оговорили его враги за то, что сердцем чист, партии предан. Яснее ясного.

Тяжело ступая босыми ногами, он скрылся в сенях. Я все еще стояла у крыльца, когда он вышел, уже в спецовке, надвинув на глаза свою кепочку с пуговкой, и я поразилась, как он вдруг постарел, как побледнели у него щеки и погасли глаза.

— В больницу свою придешь — сразу же в партком. И сообщи. Слышишь? — сказал он голосом, которому безуспешно старался придать бодрость.— Чтоб от тебя от самой узнали, понимаешь? Виноват там, не виноват — не рассуждай, взяли и все. Партийная организация должна первой обо всем узнавать. Ну бывай.— И ушел, как-то расслабленно подволакивая ноги.

А ребята, ничего не зная, шумели с Татьяной в доме. Ты же знаешь, как они любят свою молодую веселую тетку. И этот шум, смех и даже то, с какой охотой они согласились пожить у деда, не улучшило моего настроения. Признаюсь, Семен, после этого разговора невзлюбила я твоего папашу. Все будто бы у него правильно: и самообладание сохранил, и советы дал, и ребят приютил, но все не то, не то. Не этого я от него ждала. Вот Татьяна — другое дело. Усадила ребят завтракать, выбежала ко мне:

— Что там у вас, почему в такую рань? Что с батей? Сряжается на завод, и слезы текут. Спросила, в чем дело,— обругал предпоследним словом. Верочка, что?

Увела меня к себе в мезонинчик, и наплакались мы с ней вдоволь. И от этого мне вроде бы легче стало, и нервы в порядок пришли. А как они мне понадобились в этот день, мои нервы!

Тяжкий разговор в парткоме. Эти вопрошающие взгляды хороших людей, моих товарищей, в которых сочувствие мешалось с настороженностью, эта невидимая, но очень ощутимая пленка, которая как бы сразу отделила меня от всего, в чем я продолжала жить. Я — та же и не та, прежняя и какая-то уже другая. Даже когда главный хирург Валентина Леопольдовна Громова, у которой мы с Дубиничем когда-то стажировали, высокая, костистая старуха с сизыми пальцами, изъеденными дезинфекциями, демонстративно пожала мне руку, с вызовом глядя на окружающих, и на всю ординаторскую провозгласила: «Вы, Вера, отличный хирург и прекрасный человек, и таким вы для меня и останетесь»,— но даже это резануло меня, ибо, вопреки словам, подтверждало, что и в ее глазах я уже не прежняя.

Ты исчез для нас. Исчез, будто умер, с той только разницей, что близкие знают, где могила умершего, могут прийти поплакать, повспоминать. Мы ничего не знали, а потом Татьяна потихоньку передала мне конверт, надписанный незнакомым почерком, в который чья-то добрая рука вложила письмо на обертке махорочного пакета, то самое, что ты бросил из поезда.

Известие, что тебе как-то и с кем-то удалось послать письмо товарищу Сталину, возбудило новые надежды. Но дошло ли оно? Может быть, так же застряло, как и те, что посылала я. Но надежда не угасла. Сколько он получает таких писем? При его занятости скоро ли дойдет очередь до наших. Надежда живет. И знаешь, Семен, о чем я сейчас подумала: вот тебя реабилитируют, ты вернешься в родные края, отыщешь где-то в эвакуации отца, Татьяну, и они тебе вдруг скажут: «А Вера-то с детьми осталась у немцев». Представляю, как тебя это потрясет. Но ведь ты же не поверишь, что осталась нарочно? Ведь нет? Я же не верю в твою вину...

Помнишь, как-то мы с тобой ездили к Домке в пионерский лагерь. Пошли собирать голубику, забрались в болото, и нас накрыл туман. Мы запутались и бродили до вечера. Выбившись из сил, я висела у тебя на руке, еле переставляя ноги. Мне все казалось, что мы просто кружим по лесу. Но ты авторитетно говорил: «Ничего подобного»,— и уверял, будто во всей этой сырой, белесой, сочащейся влагой мгле видишь на небе какую-то звезду. Ты шел на нее, на эту звезду, и вел меня. Мы выбрались на дорогу, и лагерь оказался недалеко. Тогда я эту звезду так и не разглядела. А теперь вижу ее во мраке.

Вокруг много людей. У меня есть друзья. Но ближе тебя никого нет. И вот стало привычкой мысленно беседовать с тобою. Вырвется свободная минута — и я как бы пишу тебе письмо, рассказываю обо всем, что меня занимает, радует, гнетет, ищу твоего сочувствия, совета. Не думай, родной, что я забываю, что с тобою и где ты. Ты всегда со мной, все время во мне. И вот сейчас, когда мне, наверное, даже тяжелее, чем тебе, мне нужны твой опыт, твое мужество, твоя помощь. Мысленно писать тебе каждый день письма я приучилась давно. Теперь я буду обращаться к тебе за поддержкой и советом.

Ах, если бы ты знал, как мне тяжело и как мне тебя не хватает вот здесь, у нас, в наших подземных норах,

в городе, по которому — ведь это подумать только — ходят фашисты. От одной мысли этой можно сойти с ума. Но мне нельзя сходить с ума. Я не имею на это права. У меня на руках столько больных и раненых.

5

Нет, больше не уснуть. Ну, а если не спать, лучше что-то делать. Обитатели наших подземелий, как это ни странно, после всех переживаний спят. Даже Василек перестал стонать, а мать его так и уснула, сидя на полу и положив голову на его койку.

Вместо трех медицинских постов, какие у нас были позавчера, сейчас один. На дежурстве Мария Григорьевна. Она сидит возле раскаленной печки-времянки и скатывает старые бинты, которые днем успела-таки выстирать, прокипятить и высушить. Ее хмурое лицо резко озарено светом раскаленной печки. Оно кажется даже не бледным, а зеленоватым. Такие лица у текстильщиц, долго работавших в отбельном цехе, и румянец на них пробивается разве что в праздник после одной-двух рюмок. И в самом деле, наша Мария Григорьевна Фельдъегерева проработала в отбельной «Большевички» с самой революции. В позапрошлом году фабричный треугольник торжественно проводил ее на пенсию. Но, хотя квартира Фельдъегеревых полна внуков, дома она не усидела. Сразу же по объявлении войны пошла на курсы сестер Красного Креста, окончила их как раз, когда начались бомбежки и мы стали формировать свою больницу для жертв воздушных налетов.

Дубинич не хотел было ее брать, во-первых, из-за возраста и, во-вторых, потому, что искренне полагал, что внешность женского медперсонала должна радовать глаз больных и что это тоже немаловажный лечебный фактор. Внешность Марии Григорьевны глаз явно не радует. Но пожилая, невзрачная женщина эта добилась, чтобы ее зачислили временно на место сестры-хозяйки. Задолго до конца испытательного срока она стала хозяйкой не по должности, а по существу, и хозяйкой рачительной, придирчивой, во все вникающей, все умеющей, грозой нерях, болтушек и, как у нас говорят, «трепачей».

Признаюсь, и я поначалу побаивалась ее глухого голоса, требовательных глаз, всегда поджатых губ. А вот

сейчас вижу над ворохом бинтов ее грубоватый, высвеченный нежным огнем профиль, и оттого, что она рядом, мне становится как-то покойнее, хотя по улицам нашим ходят гитлеровцы.

Присаживаюсь к ее столику.

— Ну как?

— Тихо. Как смену от Федосьи приняла, никто ни разу и не покричал. Васятка вон и тот спит... Вы уж, Вера Николаевна, на матку его, на Зинку-то эту, не сердитесь. Вовсе ошалела баба от горя. Безмужняя она, всего и свету в окне — парнишка.— Вздохнула.— Что, сон не идет? Ну, так скатывайте бинты, чего попусту сидеть.

Беру бинт. Расправляю. Начинаю скатывать.

— Вам тетя Феня говорила: тут парень какой-то заросший приходил... Как вы думаете, о ком он заботится?

— Доставит — узнаем, чего зря голову ломать. Катайте, катайте бинты, это ведь как семечки грызть...

И действительно, однообразное занятие это успокоило. Даже самая страшная мысль, которая, как азотная кислота, разъедает мне душу, мысль о том, что я, жена человека, осужденного по таким статьям, вместе с детьми оказалась у немцев, даже эта мысль притупляется.

— Подсчитала я тут харчи наши. Маловато. На теперешний состав от силы недели на три хватит,— размышляет вслух Мария Григорьевна. А руки работают, работают. Работают, как умные, ловкие механизмы, действующие сами по себе.— Что делать станем?.. К гитлеровцам за харчами не сунешься? Нет. Стало быть, самим добывать... Где? Знать бы точно, когда там наши соберутся с силами и дадут им по шее. И дадут ли, прежде чем нас голодуха за горло схватит... Ведь далеко не ушли. На Волге уперлись. Слышите их разговор?

Действительно, из-за реки глухо доносилась отдаленная канонада. Мария Григорьевна не утешает, нет. Просто раздумывает вслух. И как мне дороги это ее спокойствие, ее исполненное веры «дадут по шее». В этом она не сомневается. И в том, что скоро дадут, не сомневается тоже. Даже вон продукты хочет рассчитать... Но в самом деле, как же быть с продуктами, медикаментами, инструментами? Кто нас снабдит? Каюсь, в горячке страшных этих событий я даже и не подумала об этом. А эта женщина, оказывается, уже и позаботилась.

— Ну, с бельем мы пока выйдем,— продолжает Мария Григорьевна.— Тут мы с Федосьей вечером в развалинах до кастелянской ходок отыскали. Цело белье, хоть водой и плесенью тронуто. Посмотрели — сойдет, если проветрить и высушить. Вот только помногу вешать сразу нельзя. Как раз немца приманишь. Он, говорят, до барахла ух жаден. Придется помаленьку. Но с бельем не беспокойтесь, с бельем обойдемся, а вот харчи...

Закатала бинт, отложила в аккуратную стопку. Взялась за другой. За этим нехитрым делом я позабыла даже и о немцах и о незваном госте с плюшевой бородкой. Катаем бинты и обсуждаем дела, будто на утренней врачебной летучке. У меня ведь не меньше проблем: на шестьдесят раненых один врач, две сестры, из которых одна хозяйка, а другая всего-навсего хирургическая няня... Вместо трех — единственный санитарный пост.

— Это тоже большой вопрос,— соглашается Мария Григорьевна.— Однако это дело обходимое. Я, может, вы слышали, вдовой за вдовца вышла. У него трое мальцов, у меня одна девчонка. Четверо. Двоих вместе народили — шестеро... Семья. Сам работал, и я работала. У нас так дело было налажено — старшие за младшими ходили, стирать, стряпать, штопать мне помогали. И вот всех подняла. Сейчас двое в пехоте, один летчик, а дочка санинструктор в санбате, все воюют, а младшие с дедом в эвакуации. Насчет людей, Вера Николаевна, не бойтесь, в большой семье один одному помогает. Ходячие вон и сейчас уголь носят, печки топят, столярничают, тетки, что покрепче, посуду моют, кухарят. У нас основной вопрос какой? Автоклав,— в тазах много ли накипятишь?.. Все думаю: а ведь тут, под развалинами, где-то четыре лежат. Красавцы. Неужели ни один не уцелел? Вот все мечтаю: откопать бы да и к нашим печам приспособить.

Она катает свой бинт, а я свой. Продукты, штаты, автоклав... Неужели она уже свыклась с тем, что город оккупирован?

— Вот вы давеча в палате сказали: «Немцы люди». Вы в это верите?

— Не звери ж. Были ж давеча, никому ничего не отгрызли... Я вот прикинула: какой расчет им нас обижать — хворые, калечные, к чему их убивать? Сами помрем. Однако,— собеседница понижает голос и вместе с бинтами приближается ко мне,— однако тех, кто командиры и по-

литсостав, надобно нам остричь. Форму-то их, вы уж извините, Вера Николаевна, без вашего разрешения, пока вы Васятку оперировали, мы тут сожгли.

— Как сожгли? — чуть не вскрикиваю я.

— В печах,— спокойно отвечает собеседница.— А что, как немец догадается, что у нас тут половина солдаты, да еще ком- и политсостав... Другой разговор с нами поведет. Вот тут уж, верно, нам несдобровать.

А как же мы их оденем, когда поправятся?

— Тут, как Федосья наша говорит, бог даст день, бог даст и хлеб... Что-нибудь придумаем... Люди помогут.

— Какие люди?

— Как какие? Наши же, советские.

Все это произносится так обдуманно, что и у меня появляется надежда, что все действительно преодолимо.

— Вы просто золото, Мария Григорьевна.

— Самоварное,— поправляет она и, отложив скатанный бинт, потягивается так, что суставы трещат.

— Все вы знаете, все умеете.

— Вам бы, Вера Николаевна, мою жизнь прожить, с шестью детьми да с мужем, которого в получку от пивной хоть паровозом оттаскивай, тоже научились бы сметану из камня выжимать. Федосья вон говорит: «Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет». Споем и мы нашу песню... Прилегли бы вы малость. После бинтов небось уж и в сон клонит.

Я иду в свой угол, но лечь не удается. У входа шум, осторожные шаги, приглушенные голоса. Как-то уж механически спешу навстречу этому шуму. Мария Григорьевна опередила меня и, оказавшись первой у входа, поднимает ацетиленовую лампу.

— Тише вы! Спят же люди.

6

Первым в проеме двери появляется наш знакомый с плюшевой бородкой. В паре с высокой, крупной теткой, закутанной в темный платок, он тащит носилки. Кто на них — не видно. Он закрыт с головой пестрым стеганым одеялом, искусством набирать которые из разноцветных лоскутков славятся старые текстильщицы. Из-под одеяла видны ноги в растоптанных валенках с толстыми подошвами. Все — и носилки и люди — густо облеплено мягким снегом,

— Антифашистская погодка,— произносит плюшевая борода и, сорвав с головы шапку, принимается осторожно сбивать снег с пестрого одеяла.— Ну, начальнички, койка готова? Командуйте, куда нести.

Женщина в шали боязливо вглядывается в тьму палат, и тут я замечаю странность в ее одежде — все ей мало, узко, коротко. Руки торчат чуть не по локти, юбка не скрывает колен и так узка, что вот-вот треснет по швам. А на крупных ногах — хромовые командирские сапожки. Прошу мне посветить, приподнимаю одеяло. На носилках — пожилой человек с измученным лицом, тоже точно бы выросший из всей своей одежды. Он так высок, что на носилках не уместился. Ноги свисают с полотнища. Совершенно неподвижен, будто мертв, но глаза открыты и смотрят из глубины темных впадин измученно, страдальчески. Присев возле него на корточки, спрашиваю:

— Вы меня слышите?

Он закрывает глаза, и я понимаю: слышит.

— Что с вами? Что вы чувствуете?

Молчит, лишь кривая усмешка трогает угол его большого рта. Я без труда расшифровываю: неужели, мол, сами не видите?

— Что с ним произошло? Кто он? Откуда?

— Стало быть, порядок прежний? — насмешливо отвечает плюшевая борода.— Анкеточка? Возраст? Пол? Национальность? Состоял ли в других партиях? Нет ли родственничков за границей?

— Он тяжело контужен,— отвечает женщина тоненьким детским голоском, таким неожиданным при ее массивной фигуре.

Теперь она сбросила шаль на плечи и оказалась молодой рыжей девицей с розовым, как у всех рыжих, лицом, густо побрызганным по лбу и переносью крупными веснушками.

— Старший санинструктор Антонина Садикова,— рекомендуется она мне и даже пристукивает каблуками хромовых своих сапожек.

— Антон,— с усмешкой поправляет плюшевая борода.— Царь-девица, дайте ей точку опоры — и она одной рукой выжмет все ваше лечебное заведение.— И вдруг, остановившись, тоже вытягивается. — Виноват. — Это уже явно в ответ на взгляд, брошенный в его сторону с носилок.

Действительно, в пожилом человеке с измученным, длинноносым лицом, обметанным неопрятной платиновой щетиной, есть что-то значительное, внушающее невольное уважение. Большой рот полуоткрыт. Крупные растрескавшиеся губы запеклись. Серые, широко посаженные глаза лихорадочно сверкают. Без термометра ясно — жар. Он облизывает воспаленные губы, выжимает ломкую, вымученную улыбку и что-то рокочет таким глубоким басом, будто звуки вылетают из глубины кувшина.

Но слов не разобрать.

— Что вы говорите? Где болит?

Наклоняюсь, почти приставляю ухо к его губам. И разбираю:

— Диагноз Антона правильный — контузия, обостренная гриппом. Лежу вот.— И улыбается измученно и даже виновато.

Койку мы приготовили в первом отсеке, недалеко от моего «зашкафника». Когда перекладываем новичка с носилок, убеждаюсь, что плюшевая борода прав, девица, которую они именуют мужским именем, поражает всех силой. Она без напряжения и очень ловко подхватывает больного, поднимает на руки, держит, пока Мария Григорьевна откидывает одеяло, а потом бережно, не выказав при этом особого напряжения, опускает на простыни.

— Ух ты! — восхищенно произносит Домка, который, конечно, уже вертится тут в своем халате, стараясь чем-нибудь помочь.

— Вот тебе и «ух ты», товарищ врач,— подмигивает ему плюшевая борода, от которого сильно попахивает водкой.— Она унтерман, не понимаешь? В цирк ходил когда-нибудь? Ну вот, так она в цирке четырех мужчин под куполом на перше носила.

— Вы из цирка? — Домка с жадным интересом смотрит на рыжую царь-девицу.

— Ага,— с детским простодушием, детским голоском подтверждает она.

— А вы тоже циркач? — обращается Домка к плюшевой бороде.

— Не циркач, а цирковой, товарищ доктор. Один-Мудрик-один. Ар-р-ригинальный номер... Жонглер с гранатами.— К моему ужасу, неведомо откуда у него в руках оказываются четыре металлические бутылки защитного цвета, и он начинает перебрасывать их из руки в руку. Все четыре. Летая, они успевают по нескольку раз

перевернуться и возвращаются к нему. Черные глаза его при этом смотрят мне прямо в лицо победно и нагло. Дескать, видела?

— Это настоящие гранаты? — шепотом спрашивает Домка, восторженно следя за сложными поворотами зеленых бутылок, летающих и кувыркающихся в воздухе.

— Давай, доктор, десяток фрицев. Ставь на тридцать шагов. Попробуем... Один-Мудрик-один!.. Смертный аттракцион. Спросите Антона — она опилки нюхала, знает в цирковой работе толк.

И тут я с ужасом начинаю понимать, что он не врет, этот ловкий человек, не спускающий с меня своих наглых глаз, что в руках у него настоящие гранаты, что каждая из них таит смерть.

— Перестаньте сейчас же! — с ужасом кричу ему.

Он улыбается. Гранаты мелькают в бешеном темпе. Да он, наверное, совсем пьян. Мне вдруг представляется: промах, одна из этих бутылок грохается об асфальтовый пол, рвется, все летит в воздух — Домка, Сталька, этот контуженый, царь-девица, я... Уже плохо соображая, что делаю, бросаюсь к этому Мудрику.

— Не смейте! Вон отсюда!

Он нагло смотрит на меня — глаза в глаза, зрачки в зрачки, а гранаты летают, крутятся.

— Не жильтесь, доктор, пупок развяжется.

Не знаю, что со мной произошло, Семен, я, как ты помнишь, и на детей никогда руку не поднимала. А тут размахнулась и влепила этому типу пощечину, да такую, что будто ладонь обожгла. Гранаты сразу, точно по волшебству, все четыре, оказались у него в руках. Мгновение он стоял оторопелый, потом, тихо ступая, угрожающе двинулся на меня. Но я не отошла, я даже не опустила глаз, и он остановился, попятился, этот Мудрик. И вдруг как-то шутовски выпалил:

— «Ха-ха-ха!» — добродушно вскричал старый граф, думая обратное.— Рывком напялил свою барашковую шапку.— Ну, доктор, считайте, что ваш ангел-хранитель — стахановец, а у чертей сегодня выходной.— Он преувеличенно театрально раскланялся.— Всеобщий комплимент.— И, будто сходя с арены, легким шагом направился к выходу.

— Вовчик! — Антонина рванулась было за ним, но в эту минуту контуженый, лишившись сознания, застонал, заскрипел зубами, и она бросилась к его койке.

— Как вы могли, как вы посмели! — шептали пухлые, пестрые от веснушек губы царь-девицы. В глазах, меж длинных медных ресниц, стояли слезы. Они смотрели на меня с ненавистью, эти зеленые, русалочьи глаза. Рука же моя еще чувствовала ожог пощечины. Мне стало не по себе.

Я уже раскаялась. Он же ничего плохого, в сущности, не сделал... Домка в своем докторском халате и Сталька, вылезшая из кровати в одной рубашонке, со страхом глядели на меня. Но если бы хоть одна из гранат грянула об асфальтовый пол? Если бы они взорвались в воздухе, как бы могло обернуться это озорство? Чем-то жутким попахивало от наигранного веселья этого Мудрика. Ой, как скверно все вышло! Вон и Мария Григорьевна и даже мой старый друг тетя Феня с осуждением смотрят на меня. Так тебе и надо, Верка!

Делаем контуженому обезболивающую инъекцию. Он успокаивается, затихает. Антонина сама вызывается остаться на посту до утра. Я соглашаюсь. Надо же дать выспаться тете Фене и Марии Григорьевне. Столик дежурного переносим к койке вновь поступившего. Он спит. Я тоже прилегла. Но сон не идет, в щели между шкафами мне видно освещенное притушенным светильником лицо новой дежурной, ее обильные, пышные волосы. С лица еще не сошло выражение детского удивления и обиды.

Кто же такая эта девушка, согласившаяся остаться у нас медсестрой? Она очень сноровисто помогала мне осматривать вновь поступившего, ловко, без всяких указаний сделала ему инъекцию. Она необыкновенно простодушна. Я уже знаю, что она дочь циркового артиста и сама циркачка, но до того, как попасть на арену, мечтала, оказывается, поступить в медицинский институт и, по ее выражению, «потерпела фиску», что, кажется, означает на ее языке фиаско. В начале войны окончила курсы медицинских сестер, «теперь поступаю в ваше распоряжение». Но о военной службе, даже о том, кого они к нам принесли, упорно не говорит: контуженый — и все тут. Но я поняла, что это какой-то большой военный. Как его имя, какого он звания, как оказался на оккупированной территории — об этом ни слова. Не отвечает на вопросы, будто не слышит их.

Вижу в освещенную щель: она встала, наклонилась, — должно быть, поправляет на больном одеяло. Исчезла

из виду. Щегольские ее сапожки скрипят, удаляясь. Догадываюсь — обходит палаты. Нет, эта девица для нас клад. Теперь количество медперсонала возросло на двадцать пять процентов. Нас уже четверо. Четверо не трое. Если бы не эта дурацкая моя выходка... И как это ты, Верка, сорвалась? Впрочем, что сделано, то сделано. Ну а если бы этот сумасшедший нас тут взорвал?

...А немцы? Вот уж день прошел — и ни один к нам не сунулся, кроме тех, что вперлись во время операции. Но то не в счет, то солдаты, им было некогда. А другие? Что они с нами сделают? Что нас ждет? Хоть бы детей куда спрятать...

Нет, Верка, нет, не думай об этом! Надо спать. Завтра голова должна быть ясной. Спокойной ночи, Семен!

7

Солнце не проникает в наши подвалы. Время здесь измеряется ритмом больничной жизни, который довольно точен.

Когда я проснулась, из дальнего угла первого отсека, где за дощатой переборкой Мария Григорьевна расположила судомойку, доносилось позвякивание алюминиевой посуды. По этому да еще по пресному запаху овсяной каши, висевшему в воздухе, я догадалась, что больные уже позавтракали, а я безнадежно проспала обход.

— Вы так вчера измаялись, рука не поднялась вас разбудить,— оправдывалась Мария Григорьевна.

— А больные? Как Василек? Как этот вновь поступивший? — Я соскочила с кровати и быстро оделась.

— Без вас обход сделали — все в порядке...

— Как? Кто обошел?

Бледное лицо Марии Григорьевны не умеет улыбаться, но усмешка, даже лукавая усмешка, звучит в голосе:

— Новость, Вера Николаевна, нашего полку прибыло. Лекарь объявился.

— Какой лекарь? Откуда?

— Сейчас увидите.— И она кричит куда-то за шкафы: — Иван Аристархович, начальник госпиталя кличет!

Эта Мария Григорьевна, кажется, может заменить всю громоздкую медицинскую иерархию — от сестры-хозяйки до заведующего горздравом. Даже вон должности раздает — начальник госпиталя... Но прежде чем я успеваю

улыбнуться этой мысли, простыня, исполняющая у нас обязанности двери, зашевелилась, откинулась, и передо мной возник пожилой человек с лицом моржа из школьного учебника: морщины вокруг тупого, толстого носа, седые, жесткие, свисающие вниз усы, большие круглые глаза. Он в халате, из бокового кармана торчит старозаветный стетоскоп. Такими у нас давно уже не пользуются.

— Честь имею. Кхе, кхе... Лекарь Наседкин, кхе...— бормочет он.

Странное чувство переживаю я: удивление, радость, настороженность, благодарность и испуг — все сразу. Да, и испуг... Ты коренной верхневолжец и помнишь эту купеческую фамилию — Наседкины. И его самого, этого дядьку, конечно, помнишь. Ну, знакомый твоего отца, старый брюзга, никогда ни с чем не согласный. Осенью они с Петром Павловичем в ночь под выходные дни ездили по грибы и всегда меж собою спорили и бранились... И отец твой ему в сердцах выпаливал: «Ох, Иван Аристархович, недалеко яблочко от яблони укатилось, папашины дрожжи в тебе бродят. Сомнительный ты человек». А тот, бывало, только кхекает в усы... Помнишь?

И вот этот «сомнительный человек» передо мной.

— Пришел предложить услуги. Работа, надеюсь, кхе, кхе, найдется?

Старик стоял, держа в руках акушерский чемоданчик, и как-то странно посматривал на меня.

— О чем говорить, Иван Аристархович! Вы уж утренний обход сделали?

Это я выпалила разом, торопясь победить в себе какую-то подлую настороженность.

— Без анкетки, значит, принимаете? Непривычно.— Под тяжелыми его усами мне почудилась насмешливая, даже недобрая улыбка.— А вы обо мне все знаете?

— Ну, кто же вас не знает, Иван Аристархович! Скольких вы людей от смерти спасли.— Это опять выручает Мария Григорьевна.

— И меня в том числе. От кори. В двадцать седьмом году,— подтверждаю я, хватаясь за это давнее воспоминание. Ибо действительно когда-то болела я тяжелой формой поздней кори, и мама не раз говорила, что спас меня этот человек.

— Вас?.. Не помню... Ну, не важно. Так принимаете? Анкета моя вам действительно известна?

— Что же, Иван Аристархович, вас тоже забыли, как старого Фирса в пьесе «Вишневый сад»?

— Нет. Остался сознательно,— твердо отвечает он.

— Как? С немцами?

— Почему с немцами? Со своими, с русскими. Не все же ушли. Надо кому-нибудь и о тех, кто остался, заботиться.— И снова уже настойчиво повторяет: — Вы — начальник госпиталя, принимаете меня на работу, и я еще раз спрашиваю: известна вам моя анкета?

Ну кому же из верхневолжских медиков не известно об этом человеке, являющемся своего рода достопримечательностью нашего фабричного района! Знаю я, конечно, и о том, почему, рекомендуясь, он говорит о себе не «врач», а «лекарь».

Он и в самом деле не врач, а фельдшер, не имеющий врачебного диплома, но на всех трех фабриках нашего текстильного города Иван Аристархович Наседкин знаменит не меньше, чем самые выдающиеся врачи. И когда лечение не ладится или затягивается, как это было когда-то со мной, здесь советуют: «Сходите-ка к Аристархычу». К нему идут, и он действительно помогает. Не знаю, что уж тут действует: истинная, кстати сказать — обширная, медицинская практика или не менее важное при многих болезнях самовнушение. Только лечения его, обычно самые простецкие, не выходящие за рамки старой фармакопеи, часто оказываются более действенными, чем новейшие открытия медицины и модные лекарства.

О лечебных методах, применяемых им, в городе ходило немало анекдотов. Так, директору текстильного треста Токареву, персоне в наших масштабах весьма важной, он рекомендовал от полноты... колоть по утрам дрова. Полкубометра зараз. А заведующему горздравотделом, хирургу по специальности, однако, как и мы все, хирурги, побаивавшемуся операционного стола, он от язвы желудка рекомендовал... кислую капусту и рассол. Тот даже обиделся: «Я достаточно зарабатываю и могу позволить себе самую дорогую диету». Иван Аристархович будто бы улыбнулся в свои моржовые усы. «Ешь капусту, язва сама заштопается». И килограммы у Токарева действительно убавились, а язва у заведующего горздравотделом «заштопалась».

И историю этого человека мы, верхневолжцы, тоже знали. Сын верхневолжского богатея, крупного мельника, домовладельца и торговца мукой, в дни первой мировой

войны он был военным фельдшером. Частенько заменял на фронте в горячие дни врачей, делал даже сложные операции. Еще на фронте он женился на землячке, сестре милосердия, бывшей акушерке из нашего города. После Октябрьской революции в потрепанной офицерской форме он вернулся в Верхневолжск. Мельница, магазин и большой дом, принадлежавшие Наседкиным, к тому времени уже были национализированы. Он поселился в домике родителей жены на окраинной Красной слободке, занялся практикой и понемногу заслужил известность.

Происхождение сильно портило ему биографию. О том, что он сын богатого купца, нет-нет да и вспоминали, даже когда-то по ошибке лишили избирательных прав. И хоть это было быстро исправлено, он этого не забывал. К тому же слыл он человеком строптивым, имеющим на все свое мнение и не стесняющимся при случае заявлять его в глаза и большим начальникам.

Давно, еще после гражданской войны, город охватила эпидемия какого-то особого острого гриппа, именовавшегося у нас «испанкой». Врачи сбились с ног, и Наседкина пригласили в фабричную больницу на врачебную должность. Временно, на эпидемию. Он не отказался и с тех пор так и работал, получая ставку врача, но самолюбиво именуя себя лекарем.

Вот какой была «анкета» этого человека. Я ее, конечно, знала. К уже известным добавился теперь еще один пункт: он, по его же словам, сознательно остался в оккупированном городе. И все-таки я обрадовалась: ведь сам собой решался вопрос о врачах. Может быть, Семен, я все-таки поступила легкомысленно? Но ведь ты же советовал думать о человеке хорошее, пока он не докажет, что он плох. Ведь так? Не знаю уж, как ты бы на это посмотрел, но я сказала старику:

— Я знаю вашу анкету, Иван Аристархович, и я очень рада, что вы к нам пришли.

Он молча протянул руку. Рука у него крепкая, сухая, жесткая. Пожатие сильное, мужественное.

Он провел у нас весь день. За ужином, хлебая из миски наш суп из полбы, в котором лишь для запаха варились несколько воблин, блюдо, к великому огорчению Марии Григорьевны уже получившее в госпитальном фольклоре наименование «суп рататуй», я прямо спросила его: как же это он решился все-таки остаться у немцев?

— Вера Николаевна, повторяю: не у немцев, а с русскими.— Он без стеснения облизал ложку.— Ваш прекрасный Дубинич так драпанул, что и вас впопыхах позабыл. Лучше это? Ведь город-то, Вера Николаевна, голубушка, не совсем пустой. Без медицины людям разве можно? Не царские времена, мы наших людей медициной избаловали.

— Но ведь это же, наверное, страшно, Иван Аристархович,— взять вот так и решиться остаться с врагом. Я случайно, вынужденно осталась и теперь вот самые сильные наркотики глушу и ни разу как следует не уснула.

— И напрасно, голубушка, напрасно. Страшно — это когда из корысти подлость делаешь, а если у вас руки чистые... А больной — он везде больной. Его лечить надо.

— И вы не боитесь?

— А чего пугаться? Гитлер вон к Москве прорывается. Это страшно. А насчет меня, как индивидуума,— свои мне не очень доверяли, это верно. А немцы? Какое, Вера Николаевна, голубушка, немцам дело до старика лекаря без диплома. Очень я им нужен.

Он говорил, будто думал вслух, но мне, Семен, чувствовались в его словах не то горькие, не то насмешливые нотки.

Как раз когда мы с Наседкиным вели этот разговор, произошло то, чего я со страхом ждала все это время.

— Пришли,— выпалила тетя Феня, вкатываясь в наш «зашкафник».

— Кто пришел?

— Они.

— Кто они? — спросила я упавшим голосом, хотя сразу же поняла, о ком идет речь.

— Фрицы. Трое. Главный-то рыжий, и усы что у таракана-прусака... Прусак вас и требует.

Мгновение я, точно парализованная, не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Ну что, что случилось, Вера? — Немцы — ну и что? Пришли — ну и что? Самое страшное произошло вчера — они оккупировали наш город. Должны же они рано или поздно появиться у нас. Все это было верно. Но само сознание, что они тут, рядом, что мне надо с ними говорить,— все это просто ошеломило. Я растерялась.

— Идите,— твердо сказал Наседкин. Он взял меня под руку и повел.

Тетя Феня бормотала мне вслед:

— Ничего, Вера Николаевна, ничего, богат бог милостью...

Солдаты стояли по обе стороны двери — мордастые, рыжие, стояли, расставив ноги и положив руки на эти короткие свои ружья, автоматы, что ли. Тот, которого старуха назвала Прусаком, суетливо вышагивал по маленькой каморке приемного покоя. Действительно, он чем-то, этой суетливостью, что ли, напоминал тех рыжих усатых тараканчиков, с которыми наши санитарные врачи вели долгую борьбу в рабочих общежитиях и которых у нас звали прусаками. Он был жидкого сложения, но на незначительной физиономии его бросался в глаза толстенький, какой-то подвижной носик и палевые усы, подкрученные на концах шильцем.

— Вы, пани докторка, есть шпитальлейтерин... э-э... шеф немочници? — спросил он, остановившись перед самым моим носом. Не представившись, даже не поздоровавшись, он начал медленно, то и дело спотыкаясь, лепить фразы из славянских и немецких слов. По общему смыслу я понимала, что он там выквакивает. Но он говорил такие дикие вещи, что не верилось, что именно это он и хочет сказать... Прошлое ушло безвозвратно. Мы включены в сферу Нового порядка, провозглашенного фюрером. Советы разбиты, германские пушки обстреливают Москву. Красная Армия бежит за Урал... Я должна это усвоить и приспосабливаться к новой жизни под эгидой Великой Германии. Чем скорее я это сделаю, тем лучше для меня.

Он, этот тараканчик, то и дело подвинчивая свои усики, явно рисуясь, корчил передо мной важную персону. Иногда останавливался и спрашивал: «Ви то поняль?..» Судорожно жмурился, дергал носиком-хоботком, и мне вдруг подумалось, что передо мной не человек, а существо с какой-то иной планеты, существо, в котором нет человеческого, которое живет по каким-то иным, своим законам, непонятным для нас... Те, кто не хочет нас понять, недостойны жить в мире Нового порядка, те, кто противится, будут уничтожены беспощадно... Бред, страшный бред, но я слушала всю эту тарабарщину. Что мне оставалось делать? В заключение он мне объявил, что какой-то там их чин, комендант, что ли, я как

следует уж и не поняла, разрешил нашей, как он выразился, «немочнице», то есть больнице, продолжать существовать и что меня пока что — он это «пока» подчеркнул — оставляют на положении «шпитальлейтерин», то есть, вероятно, начальницы больницы. Так я, во всяком случае, поняла. Затем мне было приказано к завтрашнему утру составить список больных и персонала. Точно в указанный срок. Потом, не снимая верхней одежды, он вместе с обоими солдатами отправился по палатам. Пальцем, будто скот, пересчитывал больных, заглядывал под койки. Что-то записывал. Иногда наклонялся над тем или другим больным, дергал носиком:

— Ви нет есть большевик? Нет комиссар? Юде, еврей?..

Я шла за ним и уже не во сне, а наяву переживала такое мне знакомое состояние тоскливой безнадежности, с той только разницей, что от него нельзя уже было избавиться, проснувшись.

В заключение было сказано, что «пани шпитальлейтерин» за все, что здесь происходит, отвечает перед Германским вермахтом, и для наглядности он показал перстом, как мне придется висеть на веревке в случае каких-нибудь нарушений закона. Затем он вручил мне большой жесткий пакет с сердитым расплющенным орлом в уголке и приказал расписаться на конверте.

— Бефель! — строго произнес Прусак, и носик его дернулся как-то особенно многозначительно...

Но что значит слово «бефель» и что содержалось во врученной мне бумаге, узнать мне не удалось. В приемный покой вкатилась тетя Феня:

— Иван Аристархович просит в операционную.

Что такое? Что там еще? Я сунула бумагу в карман халата и побежала. Оказывается, пока я объяснялась с немцами, на санках женщины привезли какую-то ткачиху Пашу. Занесло ее на огороженный немцами участок во дворе «Большевички», ну, часовой и пальнул. Разве они нас за людей считают? Два ранения, оба навылет. Много крови. Когда я вошла, она уже лежала на столе; Антонина готовила больную, а Наседкин тер щетками руки.

— Я тут похозяйничал без вас,— нельзя ждать.

— Серьезно?

— Если задета аорта, скверно. Кровища вон как хлещет. Пальпаторно тут ничего не узнаешь. Давайте скорей...

Переоблачаясь, я с благодарностью думала, как все-таки хорошо, что рядом этот спокойный, уверенный старик.

— В ту войну они все-таки еще людьми были. А эти...— Наседкин даже свистнул.

— О ком вы? — не сразу поняла я.

— Об этом сверхчеловеке. О Прусаке. Ну, пошли, пошли, пани шпитальлейтерин!

Когда вчера мы оперировали с тетей Феней, мне удалось отключиться даже от страшного разговора, доносившегося из-за переборки. А сейчас вот этот проклятый Прусак не идет из головы, я никак не могу сосредоточиться. Вместо того чтобы активно оперировать, я ассистирую Наседкину, стремлюсь угадывать его мысли, предупреждать его движения. Но это нелегко. Я привыкла помогать Кайранскому. Стиль у него был иной. Работал легко, увлекался, иногда даже начинал напевать. Наседкин только кхекает да изредка ворчит утробным голосом на тетю Феню:

— Наркотиков не жалей, надо снять боль... Э, перестаралась, Христова невеста, смазала всю картину!

Тетя Феня шариком катается по операционной, и наконец и я перестаю думать о немцах и ощущаю давно не приходившее ко мне чувство уверенности. Вспоминаю Кайранского: «У хирурга должны быть глаза орла, сердце льва и пальцы леди». Пальцы леди! А у меня перед глазами большие коротконалые, совсем не «хирургические» руки. Они, эти руки, точно сами безмолвно разговаривают с моими руками. Постепенно он, я, тетя Феня как бы сливаемся в один организм, у которого шесть рук и тридцать пальцев.

В отличие от мужественного, терпеливого Василька, оперируемая нервна и малодушна. Ее стоны иногда переходят в крик, даже в вой. Она дергается, рвется. Работаем молча, только слышатся утробные команды:

— Показания?

— Сто... Восемьдесят шесть...

— Крючок. Не этот, поменьше.

Все, все ушло — ни бед, ни печалей. Весь мир сдвинулся в это маленькое поле живой, разъятой, пульсирующей ткани, где легко и ловко хозяйничают коротконалые руки. Ничего не вижу, только этот омытый пóтом лоб женщины, болезненно вздрагивающие веки, разъятую рану, трепещущее, как птица, сердце, пульсирующие

сосуды. Странно это,— хотя мы повозились немало, мне кажется, что все было окончено необыкновенно быстро. Вот уже Наседкин выпрямился, потянулся так, что захрустели кости.

— Иглу... Кетгут...

Тетя Феня торопливо катается на своих коротеньких ножках. Со мной она прямо-таки словоточит, а тут все молча, слова не проронит.

— Уф, конец! — Наседкин выпрямляется, еще раз победно оглядывает крупные стежки ровного шва и выходит в предоперационную.— Федосья, цигарку!

Тетя Феня, работавшая когда-то с ним и знающая его повадки, достает у него из кармана кисет, бумажку, сыплет табак, слюнит, сгибает самокрутку в этакую трубочку, вставляет ему в рот и зажигает.

Старик стоит, опираясь плечом о стену, и, жадно затягиваясь, начинает разоблачаться. Втроем укладываем больную на каталку. Она пришла в себя, удивленно смотрит вокруг, должно быть не понимая, что с ней.

— Ну, Пелагая батьковна, замуж будешь выходить, на свадьбу позовешь. Зашили мы твои дырки на совесть. И фрица благодари — он тебя аккуратно прострелил, ничего серьезного не задел. Вот какой добрый фриц попался. Федосье вон накажи за его здоровье молебен справить...

— Спасибо,— шепчут бледные губы.

— Счастливочко.

Тетя Феня и Домка увозят каталку с больной, а у меня все еще не прошло радостное ощущение удачи.

— Как все здорово у вас, Иван Аристархович!

— Руки,— самодовольно произносит он. И разводит пальцы, как два веера.— У вас — диплом, голова, а у меня — руки.— И усмехается в моржовые усы.— А вы меня брать не хотели.

— Иван Аристархович, с чего вы взяли? — бормочу я, чувствуя, как кровь бросается мне в лицо.

— Не краснейте, я привык.— Он прислюпил свою цигарку и остатки табака ссыпал в кисет. При этом я опять обратила внимание, что пальцы у него толстые, короткие, а руки-лапы кажутся неуклюжими. А вот во время операции я просто влюбилась в эти его руки. И мне теперь стыдно гнусной подозрительности, которую я испытала утром, когда этот человек предложил нам

свои услуги. Ну какое мне дело, была ли у его отца мельница двадцать пять лет назад? Да, Семен, человека надо ценить не по тому, что о нем говорят, и не по тому, что записано в его анкете, а по тому, что и как он делает. Ведь так? Я же помню твои слова: коммунизм — это расцвет человеческой личности в коллективе, это взаимная помощь, взаимное доброжелательство, взаимное доверие. Ну, и общая ненависть к врагу, конечно. Против этого кто спорит, но к врагу, именно к врагу, только к врагу.

Наседкин пробыл у нас до ужина. Напяливая свою старомодную шубу на полысевшем хорьковом меху с тощими хвостиками, он спросил:

— Ну, так когда начинаем рабочий день, товарищ шпитальлейтерин?

— Как обычно, в девять, Иван Аристархович.

— В девять? — Он подумал.— В девять поздно. Приду в восемь. Счастливо оставаться.— И ушел, спокойный, деловитый, обычный, унося с собой свой акушерский чемоданчик.

Только тут, сунувшись за носовым платком и почувствовав в кармане что-то холодное и жесткое, я вспомнила об этом самом «бефеле», оставленном Прусаком. Это официальная бумага городской комендатуры, напечатанная на русском языке. «Бефель» — приказ. Оказывается, я теперь не только шпитальлейтерин, но и шефарцт, то есть главный врач гражданского госпиталя, и мне, на основе распоряжения какого-то там имперского уполномоченного, надлежит содержать вверенный мне госпиталь в чистоте и порядке, тщательно регистрировать каждого поступающего, а в случае, если среди них окажутся большевики и особенно комиссары, а также люди еврейской или цыганской крови, я обязана немедленно сообщать об этом в третий отдел штадткомендатуры. Жалкое оборудование наше, которое мы насобирали в руинах, оказывается, собственность какого-то вермахта, и я за сохранность тоже отвечаю. Ну, а в конце большими буквами напечатано: «З а неисполнение данного приказа, равно как и любого его пункта, вы будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени».

Вот, Семен, как обстоят дела. Ты знаешь, что я решила? Спрятать эту бумагу и никому из наших не показывать. Зачем говорить людям, что они живут под топором? Вот только я-то знаю, что надо мной висит топор... Ну, ничего, ничего, как-нибудь.

Наркотиков у нас чертовски мало. Но я полагаю, что сегодня имею право на двойную дозу. Надо ж мне уснуть.

8

Знаешь, Семен, кем оказался тот, кого принесли на носилках той ночью? Эта Антониница так мне тогда и не сказала. Но он сам рекомендовался:

— Сухохлебов Василий Харитонович. Полковник.

У него тяжелая контузия. Очень мучается. Стараемся с помощью наркотиков держать его в состоянии полусна. Впрочем, у него не поймешь, спит или бодрствует. Но я уже научилась различать: когда бодрствует, лежит тихо, с закрытыми глазами, а во сне начинает метаться, стонет, командует: «Выбросьте роту из резерва на правый фланг...», «Аэродром не сдавать, держать до последнего...», «Левого соседа на провод...». Впрочем, и бодрствуя он иногда, забывшись, разговаривает сам с собой. Такая у него, должно быть, привычка. Но тогда уж слов не разберешь.

Странные у него отношения с этой Антониной. Все свободное время она вертится около его койки, ловит каждое движение, то подушку поправит, то одеяло подоткнет. Он относится к ней с ласковой шутливостью, как и к моим ребятам. На меня она волком смотрит, должно быть из-за этого парня, из-за Мудрика, которому я влепила пощечину. Тетя Феня, это наше госпитальное Совинформбюро, уже как-то прознала, что он будто бы суженый Антонины. Впрочем, что она вкладывает в понятие «суженый», так и осталось не установленным.

А я сейчас вдруг поймала себя на странной мысли, что этот Сухохлебов напоминает тебя, Семен.

Вообще-то трудно себе и представить двух более непохожих людей, чем вы. Ты — коренастый, плотный, как гриб подосиновик. У тебя широкое, полное лицо. Сухохлебов высок, костист да еще к тому же носат. Кажется, взяли его когда-то за голову и за ноги и долго тянули,

а потом потащили за нос. Руки у него длинные, худые, на них обозначились вспухшие вены.

У тебя, Семен, как у всех блондинов, отдающих в рыжину, кожа светлая, даже розовая, а у него смугловатая, тусклая, покрытая сероватой щетиной, а на лбу и у глаз морщины. Но когда он улыбается,— а он, несмотря на тяжелое свое состояние, улыбается нередко,— морщины укладываются так уютно и весело, что он сразу будто молодеет.

Внешне вы совсем разные люди и все же чем-то похожи. А чем — не знаю и понять не могу. Он молчалив, но его не назовешь нелюдимым. Наоборот, со всеми ходячими он уже в дружбе. Ребята наши в нем души не чают. А вот разговорить его трудно: «да», «нет» — и все. Наседкин после обхода присаживается на его койку именно «помолчать». Молчать они могут долго, думая каждый о своем, причем вот в эти-то минуты Сухохлебов и начинает разговаривать сам с собой.

Понемножку и Антонина, кажется, начала опускать свои иголки. Рассказала мне, что он командовал их дивизией, в составе которой они с боями отступали от границы. Дивизия имела приказ оборонять наш город, заняла оборону, но, так как укрепиться не успела, понесла большие потери. Выясняется, что и город наш не бежал в панике, как мне мерещилось, когда я стояла у моста, наблюдая беженцев. Дивизия Сухохлебова, прикрывая отход, все-таки задержала немцев где-то у аэродрома и пионерских лагерей, в тех самых местах, Семен, где мы с тобой гуляли по выходным с ребятишками. Теперь я поняла, почему там грохотала артиллерия. Пока Сухохлебов там сражался, за реку подтягивались свежие части. Они-то и остановили немцев. Вот какова, оказывается, была картина. Там, у аэродрома, где-то на командном пункте, Сухохлебова и засыпал разорвавшийся рядом снаряд. Его откопали, привели в себя, но эвакуировать не успели, танки немцев уже ворвались в город. Антонина и этот Мудрик, воевавшие с ним с самой Латвии, спрятали его в каком-то сарае, а ночью перенесли на «Большевичку», в одну из рабочих спален, а оттуда к нам.

Антонина — санинструктор из его медсанбата, а этот Мудрик — какой-то разведчик и будто бы даже «язычник», то есть специалист по ловле «языков». Впрочем, эта Антонина, несмотря на свою детскую внешность, не

так уж проста. О Мудрике явно что-то недоговаривает. Но какое мне, в сущности, до этого дело?

Мудрик появляется у нас не часто. Он обитает где-то в городе, куда мы без крайней надобности не выходим, и, по-видимому, ведет ночную жизнь, о которой нам ничего не известно. Во всяком случае, у нас он появляется только с темнотой, с наступлением комендантского часа. Меня он всячески избегает. Тихо проскользнет к койке Сухохлебова и шушукается с ним. Потом отправляется к Марии Григорьевне, с которой у него тоже завелись дела. Она припрятывает для него миску нашего знаменитого «супа рататуй», хлеб, берет в стирку и штопку его белье, и я догадываюсь, что не без помощи этого ловкача у нас стали появляться в рационе, хотя и в микродозах, хотя лишь для самых тяжелых, такие продукты, как сливочное масло, колбаса и даже яйца.

Я тоже стараюсь его не замечать. Но вчера из-за своих шкафов невольно подслушала его разговор с тетей Феней.

— Да скажи, Христа ради, откуда это у тебя, мил человек? Мы и вкус его позабыли, шоколада,— допрашивала снедаемая любопытством старуха.

— А мы, почтеннейшая, цирковые иллюзионисты, оригинальнейший жанр. Мы берем шляпу системы цилиндр, ставим на стол — айн, цвай, драй, как говорит фюрер,— и вынимаем из-под нее кролика, отличного кролика... Полтора кило мяса, не считая ушей.

— Так что же ты, работаешь у них, что ли? — допытывается неутомимое наше Совинформбюро.

— «Работаешь»? Мне больно слышать такие слова, мамаша. Знаете, какие стихи однажды про меня написал в городе Николаеве один мастер-куплетист в стенгазете «Лонжа»: «В еде он очень был проворен, ну, а в труде наоборот»... «Работаешь»? Нет, почтеннейшая, Гитлер с Вовчика Мудрика не разжиреет. Ловкость рук — и никакого мошенства.

С Антониной у него тоже своеобразные отношения. Иногда, спустившись к нам, он, не заходя в палату, свистит с порога в три такта — два коротких и третий длинный, оттянутый, что-то вроде «фю-фю — фью-у-у!». Тем же негромким свистом откликается Антонина. Если она не на дежурстве, быстро одевается и исчезает с ним.

— Это у них особый свист,— пояснила мне Сталька, страшная сплетница, обладающая к тому же способ-

ностью запоминать чужие фразы и даже передавать их с соблюдением интонации.— Международный язык мастеров цирка.— И тут же довольно ловко воспроизвела: — Фю-фю — фью-у-у!

Мы с Мудриком почти не встречаемся, а когда он попадается мне навстречу и разминуться невозможно, он насмешливо вытягивается, бросает руку к козырьку и проходит мимо гусиным шагом, будто перед знаменем. Больные помирают со смеху: аблаум! Но я не сержусь. Чувствую себя виноватой. Да и вообще он, кажется, славный парень. Как-то попробовала даже перед ним извиниться.

— Не надо слов,— остановил он меня величественным, театральным жестом.— Начальников надо уважать: рабочий и крестьянин трудятся двумя руками, интеллигенция — тремя пальцами и головой, а начальство — одним перстом указующим. Это ценить надо.— И, картинно откозыряв, сделал налево кругом.

Мария Григорьевна в этом Мудрике души не чает, тетя Феня следит за ним с обожанием, а Антонина услышит его свист и вспыхивает, как костер. Так, что огромные ее веснушки перестают быть заметными. И если при этом она занята, уйти с ним нельзя, все у нее начинает из рук валиться.

Я составила расписание дежурств: три сестры, по восемь часов каждая. Оно висит на стене моего «кабинета», пришпиленное к одному из шкафов. Когда у Антонины ночное дежурство, мы этого «фю-фю» не слышим. Ну, а когда она свободна, ее не удержишь. Неизвестно только, как они избегают немецких патрулей. Возвращается она ночью, и я слышу, как, стараясь пробраться незаметной, натыкается в темноте на койки, гремит табуреткой и как потом стонет сетка койки под тяжестью этой массивной девицы. Сухохлебов добродушно поддразнивает Антонину Мудриком, и у той не только лицо, но шея и руки краснеют...

И все же, чем же этот Сухохлебов похож на тебя, Семен? Наш Домка — неплохой шахматист. На кружочках от пластыря он нарисовал шахматные фигурки, и вот сейчас они разыгрывают очередную партию. Домка, видимо, попал в трудное положение — хмурится, трет лоб, сопит. Вот Сухохлебов сделал какой-то ход, мальчишка удивленно смотрит на доску. Вскочил. В сердцах плюет на пол. Проиграл. Сухохлебов улыбается всеми своими

морщинками, потирает руки. Счастлив, будто выиграл не у мальчишки, а у какого-нибудь Капабланки или Ботвинника, что ли... Постойте, граждане, а может быть, вот эта самая улыбка, которая, не трогая губ, все время живет в уголках его большого рта, и делает его похожим на тебя, Семен? Ну да, ну да! Ты тоже этак вот незаметно улыбаешься.

Конечно же общее у вас — юмор. Вчера было так: тетя Феня, чрезвычайно гордая тем, что Сухохлебов называет ее не «няня», а «сестрица», пожаловалась ему на запоры, которые в последнее время мучают больных. Торчавший рядом брат милосердия с высоты своего медицинского авторитета изрек: «Каков стол, таков и стул». И когда до Сухохлебова дошел медицинский смысл этого изречения, он так захохотал, что под ним застонала койка. Хохотал звонко, по-мальчишески, взахлеб, вытирая с глаз слезы. Это умение смеяться и, смеясь, радоваться — это тоже твое, Семен.

Ну вот, теперь я раскусила, а то все смотрю на этого дядьку, даже перед больными стыдно.

И все-то он видит, во всем разбирается. Вот, например, сегодня. Пришла Мария Григорьевна расстроенная. Докладывает: скверное дело — из кладовки пропадает сливочное масло, которое мы бережем для самых тяжелых и выдаем им микродозами, чтобы подольше растянуть. Ломаем головы, кто способен на такую подлость. Сегодня она подкараулила: Зина Богданова, мать Василька. Застали на месте, когда та отрезала кусок от бруса. Меня это просто потрясло. Мы ей доверились, приняли к себе сиделкой, кормим наравне со всеми, а она... Главное — в такое время. Я велела ей сейчас же убираться из госпиталя. Немедленно. Тете Фене, попробовавшей было заступиться, тоже попало. Узнал об этом Сухохлебов, подозвал меня и мягко сказал:

— А вы, доктор Вера, поинтересовались, куда она это масло девает?

— Да для Васятки, для Васятки своего,— ворвалась в разговор тетя Феня.— Я сама видела, как она его подкармливала. Говорит, будто на какие-то там серьги выменяла... Серьги? Были у нее когда-нибудь серьги?

— Ну вот видите,— только и произнес Сухохлебов.

Мне стало страшно стыдно.

— Тетя Феня,— попросила я,— она на «Большевичке», кажется, в сорок восьмой живет? Сходите за ней, поищите.

— А и ходить некуда, она вон, во дворе, возле двери плачет.

— Как во дворе? С тех пор? В такой мороз? — Мне стало даже страшно.

— А как же, мать ведь,— подтвердила старуха.— Сучку вон и то от больного щенка палкой не отгонишь.

А когда Зинаиду вернули, замерзшую, тихую, будто окаменевшую, честное слово, я почувствовала себя виноватой. И вдвойне виноватой оттого, что сыну ее все хуже, что мучает его сильный жар, и мы с Наседкиным боимся — не начался ли у него перитонит.

...За эти дни мы не то чтобы свыклись с нашим положением,— свыкнуться с ним нельзя,— но как-то приспособились, что ли.

После появления Прусака немцы будто забыли о нас. Приезжал только на следующее утро какой-то солдат на мотоцикле за списком больных и персонала и укатил. Должно быть, им не до нас, что ли.

Этот самый «бефель» лежит у меня в чемодане под бельем, и я понемножку уже забываю о топоре, висящем у меня над головой.

Все мы, даже тот паникер, что подозревал, будто я нарочно оставила госпиталь у врага, даже он верит теперь, что оккупация эта ненадолго. Немецкое радио целые дни дует марши и врет, что их генералы будто бы уже рассматривают в бинокль Москву. Никто у нас им не верит. Столицы им не видать. Об этом и разговоров уже в палатах не слышно. Лежат и гадают, когда нас освободят. Через месяц? Через два? К новому году? Мне все вспоминается та звезда, которую ты видел на небе, когда мы заблудились в тумане возле пионерского лагеря. Вот я теперь тоже вижу такую звезду и даже не верю, а знаю, что нашествие это как эпидемия — пока всех косит, но будет ей скоро конец. Я даже как-то перестала думать о том, что будет со мной после освобождения. Будь что будет, лишь бы скорее шли наши. Лишь бы возвращалось свое, родное, без чего, как видно, нашему человеку просто невозможно жить.

9

Тетя Феня вчера изрекла: человек не скотина, ко всему привыкает. Горько, чудовищно, но в общем-то верно. Мы вроде бы даже как-то свыклись с нашим кротовым существованием, и мне кажется, что тут, в темных наших подвалах, нам удается сохранить свой, советский микроклимат.

Мария Григорьевна, Феня, Антонина, те из выздоравливающих, кто уже двигается, совершают вылазки по разным хозяйственным делам. Сестра-хозяйка даже ходила в комендатуру, относила извещение о новых больных. Их четверо. Не очень серьезные случаи, но трое из них военные, один даже политрук роты, так что «бефель» снова нарушен и у меня есть все основания быть наказанной «по немецким законам военного времени». Я это знаю, но ни на мгновение не колебалась, принимать их или не принимать.

А вот из госпиталя выходить боюсь. Просто физически боюсь солдат в чужой форме на наших улицах. Боюсь, что первый же патруль задержит меня, застрелит на месте или оправдаются эти упорные слухи, что ведутся облавы на молодых женщин и девушек, их будто бы хватают для офицерских домов терпимости. Ребятам тоже строго-настрого запретили выходить. Лишь иногда с темнотой мы выбираемся из подвала подышать свежим воздухом.

Новости нам приносит Наседкин. Ровно в восемь он появляется у нас, тщательно обмахивает веником валенки, сдирает с усов сосульки, греет руки над печкой. Затем достает из чемоданчика свой всегда безукоризненно наглаженный халат, шапочку, переобувается из валенок в тапки. Переодевшись, направляется прямо к койке Сухохлебова, и оттуда я слышу его кхеканье.

— Ну как ночь провели, голубчик?

— Да ничего, Иван Аристархович, спасибо. Ну, а как на улице?

Несколько минут они шушукаются. Потом Наседкин с Антониной отправляются в обход палат, и уже Сухохлебов рассказывает нам, что произошло в городе и, как мы все говорим, «на воле», то есть за линией фронта.

Не знаю, откуда у него эти новости и верны ли они, но известия в последнее время не так уж плохи. Впрочем, и по звуку артиллерийской перестрелки, время от време-

ни доносящейся до нас, мы понимаем, что в наших краях все попытки гитлеровцев прорваться за реку «терпят фиску», как выражается наша Антонина. Их туда не пустили. Обещанный Гитлером парад немецких войск на Красной площади явно сорвался, хотя они еще и кричат, будто обстреливают Москву из дальнобойных пушек.

— Нет, Москвы им не видать,— говорит Сухохлебов, потирая руки.— Скоро такое начнется...— прибавляет он и так многозначительно смолкает, будто не старый лекарь, а сам Верховный Главнокомандующий сообщил ему о своих замыслах.

Все понимают: знать он об этом, конечно, не может. Но в его неистовой убежденности, что именно так и будет,— огромная сила. Даже самые заядлые брюзги и истерики, какие у нас, увы, имеются, даже они не пытаются спорить. Ему просто верят, и вера эта действует как живая вода.

— Откуда это у вас? Вы же не сходите с койки и не можете быть информированы больше, чем любой из нас,— спросила я его как-то.

Морщинки веселыми лучиками побежали от уголков его глаз.

— Я знаю столько же, сколько и вы, добрейший наш доктор Вера. Ничуть не больше. Но как-никак я кадровый военный. Это раз. И я большевик — это два. Старый, много повидавший большевик. Вот и все мои тайны. Вы, врач, по разным известным вам признакам ставите больным диагноз. Вот и я пытаюсь.

Не знаю уж кто, Наседкин, Мудрик или любезнейшая Антонина, возвращаясь из своих ночных вояжей, приносят ему новости, но только он осведомлен и о том, что происходит в городе. Тоже в общем-то неплохо: из-под Москвы на запад непрерывно идут поезда и автоколонны с ранеными немцами. В последние дни их транспортируют даже самолетами. Под сортировочные госпитали заняли все больницы, здание обкома, облисполкома, общежитие педагогического института, школы. Мертвых не успевают даже хоронить. Их так и везут куда-то на машинах через город, навалом, будто дрова. И мы радуемся. Радуемся даже тому, что недавно наша авиация накрыла и уничтожила помещение трамвайного парка, которое, говорят, в этот день было тесно набито санитарными машинами. Радуемся, что кто-то в городе запалил их продовольственные склады и что неизвестный человек,

которого так и не поймали, ранил военного коменданта прямо у него в кабинете и что комендант, по рассказам, отдал богу душу по пути к санитарному самолету.

Нет, вести ободряющие. Действуют они на моих подопечных гораздо эффективнее, чем самые сильные успокаивающие средства, которых, к слову сказать, у нас давно уже не хватает. Однажды после ухода Наседкина Сухохлебов показал мне листовку. Она была явно отклеена со стены, заскорузла от клейстера, разорвана. Но все же можно разобрать и сообщение Советского Информбюро и заметку в конце сводки, в которой говорилось, что советская авиация массированным налетом в районе станции В. разбомбила четыре эшелона с живой силой и техникой противника. Мы вспомнили, как позапрошлую ночь глухо рокотало в южной части города и как зарево там распахнулось на полнеба. Сразу поняли, что это за таинственный город В. Поняли и порадовались: нет, мы не забыты.

Заскорузлый от клейстера листок этот до самого вечера гулял по палатам, с койки на койку, из рук в руки, и даже Даша, прядильщица с «Большевички», у которой роговицы опалены при тушении зажигалок и которая ходит с глазной повязкой, долго щупала этот листок. И, конечно, благодаря этому листку день у нас прошел тихо — ни одной истерики, ни одной ссоры, ни одной перебранки. Казалось, даже раны и ожоги не так сильно мучили в этот день, и самые нетерпеливые спокойно переносили перевязки. Сказала об этом Сухохлебову. Он улыбнулся куда-то внутрь себя.

— Ну что же, мы материалисты, нам в чудеса верить не положено. А в силу слова верьте сколько угодно. Хорошее большевистское слово — сила вполне материальная.

А вот меня листовка эта не успокоила. Наоборот, взволновала. Кругом борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. На фронте и тут вот, в тылу врага. Кто-то зажигает склады, кто-то стреляет в коменданта, взрывает эшелоны, портит мосты. А я вот сижу в своих подвалах, боюсь на улицу нос высунуть. Стыдно признаться, Семен, но я еще не решилась даже дойти до домика твоего отца, не знаю, цел ли он, хотя до него от нас десять минут ходу. Боюсь, просто боюсь. И вот сейчас листовка эта лежит передо мной, прижатая к столу какой-то

склянкой. Лежит как живой упрек моему малодушию и трусости. Я боюсь выйти на улицу, трясусь при виде какого-нибудь вшивого фрица, все время думаю об этом проклятом «бефеле», который приходится все время нарушать, о наказании, которое меня за это ждет, если все откроется. Я даже вздрагиваю и сжимаюсь, когда хлопает блок входной двери.

Но почему, почему, Семен, у тебя, человека мужественного, волевого, такая трусливая жена?

10

Впрочем, с немцами, которые с недавних пор надзирают за нашим госпиталем, я все-таки научилась держаться, мне кажется, правильно.

Теперь они появляются у нас дважды в неделю, с точностью будто на работу,— ровно в одиннадцать. Они из санитарного отдела комендатуры. Обычно их трое — двое офицеров и солдат, не знаю уж, зачем они его с собой таскают. Старший из них — капитан, доктор Краус, медик, высокий сутуловатый, лысый, в очках без оправы и с золотыми оглобельками, заправленными за большие, оттопыренные уши. Тетя Феня окрестила его «Толстолобик». И действительно, шишковатый лоб его необыкновенно высок и как бы нависает над лицом. Это неторопливый человек с усталыми глазами, тихим голосом. Во рту или в руке у него всегда трубка, но я не помню, чтобы он хоть раз ее курил. Второй — уже известный нам Прусак, препротивная личность в лейтенантском звании, в присутствии Крауса ведущая себя смирно, даже подобострастно. Солдаты меняются.

Появляются они всегда одинаково, будто совершают какой-то ритуал. Стук, распахивается дверь. Настороженно вглядываясь в полутьму, грохоча сапогами, входит солдат и, застывая у двери, кладет руки на автомат. За ним, сгибаясь, чтобы не удариться лбом о косяк, появляется Толстолобик и, наконец, соблюдая почтительную дистанцию,— Прусак. Солдат так и остается у двери, а офицеры направляются ко мне. Краус наклоняет голову и начинает говорить, а Прусак, вероятно опережая его, переводит все одну и ту же фразу:

— Господин доктор Краус свидетельствует свое уважение доктору пани лекарке Вере и выражает надежду,

что она чувствует себя хорошо, потому что у нее отличный вид и превосходный цвет лица.

Толстолобик еще раз кланяется, но мне смешно. Краус умнее и интеллигентнее этого пошлого приветствия, должно быть однажды и навсегда вызубренного Прусаком.

Затем задается вопрос о поступлениях. Поступления теперь редки. Это жертвы бомбежек, пожаров. Осколочные ранения. Ожоги. Вчера ночью, правда, привели раненого летчика. Его прятали где-то в рабочем общежитии, но рана воспалилась, потребовались медицинская помощь и квалифицированный уход. Я помню, конечно, этот «бефель», но появление новичка меня уже не испугало: семь бед — один ответ. Уничтожили его одежду, нижнее белье, постригли беднягу ужасной нашей машинкой, после чего голова его стала похожа на облезлую шапку. Сочинили для него легенду.

Легенда — это уже сухохлебовское нововведение. Он настоял, чтобы каждый военный сочинил для себя легенду, объясняющую, где он работал в городе, как сюда попал, где был ранен, кем доставлен. Эти легенды вызубриваются назубок, и Сухохлебов сам экзаменует усвоение. Он почему-то придает этому особое значение, хотя пока что ни одному из наших ни разу не приходилось пускать эти легенды в ход.

Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что Толстолобик вообще не интересуется, откуда и кто новые больные. Прусак же обычно весь настораживается. Подскакивает к койке новичка и, глядя на него в упор, задает тоже известный всем нам вопрос:

— Большевик? Комиссар? Еврей? — Лицо его при этом морщится, а носик так и ходит.

Получив в ответ три уверенных «нет», он некоторое время с сомнением смотрит в лицо спрошенного, потом многозначительно кивает головой и передает свое резюме Толстолобику. Иногда что-то в этих «нет», должно быть, кажется ему подозрительным. Он сообщает Толстолобику о своих сомнениях, но тот брезгливо отмахивается. Потом они, набросив халаты, обходят палаты, причем Толстолобик идет явно скучая, зато Прусак с подчеркнутым усердием заглядывает в лица больных, под кровати, на кухню, в кладовку. К этому рвению своего подчиненного Толстолобик относится с подчеркнутым прене-

бережением. Вообще они, должно быть, не терпят и побаиваются друг друга.

Может быть, мне только кажется, но я начинаю думать, что этот Краус, немолодой немецкий врач, немножко симпатизирует мне. Однажды он зашел в «зашкафник», присел на табурет, достал из кармана бумажник, вынул фотографию, показал мне. На ней изображены крупная женщина и два рослых симпатичных парня. Моих школьных познаний немецкого хватило лишь на то, чтобы понять: жена и сыновья, оба солдаты, и слава богу, один сейчас во Франции, а другой — в Африке, в войсках генерала Роммеля, а не здесь, в этой холодной и страшной стране.

Уходя, Толстолобик вынул из подсумка две плитки шоколада, протянул Стальке и Домке. Политичный Домка сделал вид, что не заметил, отвернулся, ковыряя сучок на тыльной стороне шкафа. Сталька оттолкнула руку, протягивающую шоколад. Я испугалась. Толстолобик вздохнул, покачал головой и вышел из нашего «зашкафника», оставив шоколад на столе.

— Ауфвидерзеен, фрау Вера!

— До свидания, господин Краус!

Тут, Семен, я должна тебе признаться в дрянном поступке: я не вернула шоколад и не сказала никому, даже Сухохлебову, об этом злосчастном подарке. Очень хотелось побаловать ребят этим лакомством. Но они у нас народ твердый, заставили меня разделить плитки на мельчайшие дольки. Сталька раздавала потом по крошке всем нашим подземным жителям.

Первую дольку конечно же получил Сухохлебов. Просто понять не могу, чем этот человек приворожил ребят. Не только моих, но и бедного Василька, койку которого, по его просьбе, даже поставили теперь рядом с Сухохлебовым. Вот и еще одно сходство между вами. Тебя ведь, Семен, дети тоже любили.

— Нам вас, Василий Харитонович, сам господь бог послал,— брякнула ему как-то тетя Феня.

— Ну что ж, не очень, конечно, четкая формулировка, Федосья Ивановна, но раз не отдел кадров, то, может быть, и господь бог, шут его знает,— согласился он.

И все-то он понимает. До всего ему дело. Тут как-то Мария Григорьевна посокрушалась о плохом питании, и возникла у них идея организовать целую экспедицию. Я уже говорила, что хирургический корпус вместе с кух-

ней и кладовыми, где хранились запасы, разрушен, но не сгорел. Вот и посокрушались они, сколько продуктов завалено в этих кладовых.

— А какие продукты? — поинтересовался Сухохлебов.

— Да разные. Крупы, горох. Консервов не больно много, но и консервы были. Ящиков десять. И масло постное — чуть начатая бочка... Мало ли... Вот, все пропало,— и она даже слюнки с шумом подтянула.

— А почему пропало? Консервы-то не гниют,— сказал Сухохлебов и даже приподнялся на локте.— Раз не было пожара, целы консервы. А что, если попытаться раскопать?

Мария Григорьевна некоторое время сидела молча, пожевывая губами. Она не умеет у нас быстро решать. Посидела вот так. Потом встала и сказала:

— Попробуем.— И ушла.

Этим же вечером экспедиция, сколоченная из выздоравливающих, начала раскопки. Разбирали камни несколько ночей. Трудились все, даже моя Сталька таскала битые кирпичи. И ведь докопались: несколько кулей муки, консервы, бочонок повидла, бутыли с постным маслом, порядочно крупы и гороху. Правда, все это сильно подмокшее и тронутое мышами. Но в нашем положении не до качества.

Когда все эти трофеи перенесли в чулан с толстой железной дверью, предназначенный для хранения противопожарных инструментов, я, поглядев на богатства, вздохнула с облегчением. Голод, приближение которого мы ощущали, всякий раз наблюдая, как день ото дня знаменитый «суп рататуй» становится все жиже, отступил. Ну хоть ненадолго. Хотя бы на несколько недель.

Теперь, вдохновленные этим успехом, оба они мечтают о новой операции. Сухохлебов вспомнил, что в их дивизии в обозе были лошади. Были кони и в разведвзводе. Почти все перебиты. В октябре в этот год уже встала река. Стало быть, мороженая конина и до сих пор лежит в снегу, замерзшая, занесенная метелями. Мороженая конина? Ну что же, в нашем положении и это пища. И вот у них имеется проект — разрубить эти туши, привезти и засолить. Плохо? Да нет, прекрасно. Просто прекрасно!

Видишь, Семен, и радости у меня появились. И я уже не паникую, а верю, что мы продержимся, дождемся своих. На чем основана эта вера? Да всерьез ни на чем,

Просто много у нас хороших людей и тут, под землей, на крохотном клочке, где мы сохраняем свои порядки, и в городе, по которому шагают гитлеровские патрули.

Вот Наседкин,— сколько его обижали. Кому бы, как не ему, может быть, и припомнить сейчас все обиды или, вспомнив отцовское дело, начать хапать и богатеть. Ну как же, один медик на весь район! Последнее отдадут, лишь приди к больному. А он вон с точностью, будто ему номерок вешать, идет каждый день пешком к нам в госпиталь, где ничего не получает, кроме миски знаменитого нашего супа, горстки каши да кусочка хлеба с повидлом.

Или Мудрик. Как я его оскорбила. Другой бы носа не показал. Занят какими-то своими, не знаю уж, чистыми или нечистыми, делами, но, являясь к Сухохлебову и к своей крале, никогда не забудет что-нибудь принести для нашего госпиталя. Прошмыгнет через палаты, сунет Марии Григорьевне и исчезнет. Тут как-то, опередив Антонину, я вышла из своего «зашкафника» на его тихое «фю-фю — фью». Он усмехнулся. Бросил к моим ногам рюкзак, в котором громыхнуло что-то тяжелое.

— Гостинец вашим доходягам. Не побрезгуйте.

В мешке были... коробки с отличными конфетами нашего довоенного производства. Я даже вскрикнула:

— Откуда?!

— Со склада, фрау Вера, со склада трофеев. Под расписочку, с расчетом на том свете угольками.— И он картинно поклонился, как артист, выполнивший любимый публикой номер.— Заметьте: Мудрик никогда не удалялся с манежа без хлопка...

Он еще больше оброс, борода из плюшевой стала каракулевой. Глаза увеличились и как-то лихорадочно сверкали в углубившихся впадинах. Должно быть, нелегко приходилось ему.

— Володя, не надо, не рискуйте. Мы тут откопали немного продуктов, обойдемся без ваших гостинцев. Не надо рисковать...

— А вы красивая,— вдруг брякнул он, смотря мне прямо в глаза.

— Не будете лезть в петлю? Обещаете?

— Я на лонже жить не умею,— как-то посерьезнев, сказал он.

— А что такое лонжа?

— Спросите на досуге у Антона, она вам объяснит.

— И все-таки не рискуйте. Не будете, да? — Я притронулась к его рукаву. Мне действительно было жаль эту слишком уж удалую голову.— Ну, я прошу вас.

Он отдернул руку, отодвинулся, и я опять услышала это противное балаганное:

— «Ха-ха-ха!» — вскричал старый граф, думая обратное...

А потом он сидел у койки Сухохлебова. Они о чем-то секретничали. Лицо у него было серьезное, он озабоченно тер ладонью свою каракулевую бороду.

Мудрик внезапно появляется и внезапно исчезает. Я очень боюсь, как бы его не принесло, когда здесь немцы. Кто знает, что может выкинуть этот отчаянный парень.., Впрочем, вряд ли есть такая опасность. Он ходит бесшумно, как кошка, и чутье у него, должно быть, тоже кошачье.

И еще, Семен, скажу тебе по секрету: беспокоит меня этот Толстолобик. Я его просто боюсь. Нет, не какого-то подвоха с его стороны. Это интеллигентный человек и совсем не похож на гитлеровца. Слишком уж явно стал он проявлять ко мне свои симпатии. Для госпиталя это, вероятно, полезно, но вот для меня... Сейчас вон Сталька, эта курчавая обезьянка, уморительно изображает его:

— Яволь, фрау Вера... Ауфвидерзеен, фрау Вера... Натюрлих, натюрлих...

Все, даже Сухохлебов, покатываются со смеху, а мне вдруг становится страшно. «Фрау Вера!» Если до наших дойдет, как адресуется к твоей жене немецко-фашистский оккупант, если там узнают о наших дружеских беседах, о шоколадках, которые он оставляет моим детям... Я знаю, ты мне веришь, ты бы меня понял. Но ведь ты у меня особенный, и не ты будешь судить мои поступки.

«Фрау Вера»! Да, это звучит просто угрожающе.

11

Семен, я в смятении. Две новости принес сегодня Наседкин — страшную и странную.

Страшная такова: в город прибыли новые немецкие части — рослые, упитанные солдаты, один к одному. Не в пример тем, которых мы до сих пор видели, хорошо, тепло обмундированы. Шинели у них не серо-зеленые,

а черные. На фуражках череп и кости. Наседкин говорит, эту эмблему носили в ту мировую войну русские головорезы из батальонов смерти. Что-то в этом роде и, наверное, гораздо хуже, на гитлеровский манер. Чтобы разместить их штаб, немецкий же госпиталь был срочно вытряхнут из здания облисполкома. Они разместились в верхних этажах, а в стенах первого пробили широкие ходы, и в залах у них гараж. Эти черные сразу же развернулись: начали прочесывать рабочие районы, говорят — похватали массу людей. Их куда-то увозят в закрытых машинах с металлическими кузовами. Целыми семьями будто бы берут.

Сухохлебов пояснил: «Это войска СС». Больше он ничего не сказал и только попросил меня запретить выздоравливающим без разрешения выходить из госпиталя днем. И все. Но потом я слышала, как он что-то обеспокоенно бормотал, разговаривая сам с собой.

Не знаю уж, в связи ли с появлением немцев в черном или просто время пришло, но только я и весь наш персонал получили через Прусака приказ в двухдневный срок явиться в какой-то там третий отдел штадткомендатуры, зарегистрировать свои паспорта и получить «аусвайсы» — это что-то вроде видов на жительство.

Передавая мне это распоряжение, Прусак как-то особенно значительно дергал носиком и несколько раз повторил:

— Ви отвечайт. Шпитальлейтерин отвечайт...

Едва он успел убраться, как состоялась наша первая встреча с представителем «новой гражданской администрации», о которой столько трещит немецкая газетенка «Русское слово»: ее недавно стали издавать в нашем городе какие-то паршивцы. Ввалился омерзительнейший тип в роскошном романовском полушубке явно с чужого плеча, со старой шашкой на ремне. Представился: полицай здешнего околотка. Так, между прочим, и сказал — не «полицейский», а «полицай».

— Извещение получила? — спросил он меня.— То-то. Чтобы мне все явились как часы. Кто отфилонит, с тем в гестапе говорить будут. Поняла?

От него несло луком и водочным перегаром. Огляделся, высмотрел на стене местечко и, сопя от усердия, принялся с помощью липких бумажных ленточек наклеивать

какое-то объявление с гитлеровским орлом наверху. Наклеивал и все с опаской косился на больных. Десятки глаз разглядывали из полутьмы его полушубок, повязку, шапку. В палате стояла тишина.

— Начальничек, следи, чтоб какая большевистская сволочь не сорвала. Ответишь...

Палата молчала, и тишина эта была выразительней любых слов. Полицай отступил к двери и уже оттуда закричал:

— Эй, доходяги! Вам подфартило, имеете шанс. Комиссары, командиры, жидобольшевики есть? Стучите в комендатуру. Оплата сдельная: по десять косых за голову — хошь деньгами, хошь шамовкой... Поняли? Можно и мне сообщить,— фарт пополам, не в церкви, без обману. Поняли?

Палата продолжала молчать. Было так тихо, что хриплый голос отдавался в углах, хотя эхо в наших подвалах раньше, кажется, не водилось.

— Можно и письменно, втихаря, без всякого шухеру,— прибавил полицай, оглядываясь, продолжая пятиться к двери, словно опасаясь, как бы кто не пальнул в него.

Тут кто-то уронил табуретку, и этот «представитель новой администрации», даже не оглянувшись на звук, втянул голову в плечи и метнулся к двери, путаясь в своей шапке. И вот тут, Семен, мне довелось услышать такие ругательства, каких не слышала и в детстве, хотя и выросла я на берегу, у дровяной пристани, а гонщики и катали, как ты знаешь, великие виртуозы по части брани.

Потом я прочла вывешенную им бумагу:

«ИЗВЕЩЕНИЕ

На основании приказа Рейхскомиссара сим довожу до сведения всех обывателей города Верхневолжска, что:

Параграф первый. Люди, которые будут прямо или косвенно поддерживать и укрывать членов большевистских банд, именующих себя партизанами, военнопленных беглецов, саботажников и бродяг, предоставлять им пищу, кров или иную помощь, будут караться смертью, и имущество их будет немедленно конфисковаться.

Параграф второй. Лица, кои своим своевременным сообщением в третий отдел штадткомендатуры или через полицию помогут германским военным властям поймать или уничтожить члена любой большевистской банды, а также иных искомых любой из перечисленных категорий, получат немедленно тысячу рублей наличными или, по желанию, продуктами питания в соответствующем эквиваленте.

На основании распоряжения Рейхскомиссара Отто Кирхнер — штадткомендант, штурмбанфюрер СС».

Прочла я это извещение и, признаюсь, как-то вся сжалась. Ведь это о нас, ведь это прямо нам, мне адресовано. Новое? Нет. Все это уже было в этом проклятом «бефеле», который я спрятала в чемодане с детским бельем. Но о том знаю лишь я одна. А это — у всех на виду... Нехорошо, очень нехорошо так думать, но вдруг все-таки кто-нибудь из наших соблазнится и донесет... Разные люди, иных я просто и не знаю... Ну хоть кто-то один...

Он уже давно бежал, этот «представитель новой администрации», совсем не страшный, скорее комичный, похожий на персонаж из какой-то, не помню уже какой, оперетты, а я все не могла успокоиться... Может быть, кто-то лежит и уже прикидывает, сколько можно заработать, предав нас: в семье не без урода, паршивая овца все стадо сгубит... Сколько таких пословиц... Нет, нет, об этом лучше не думать. Побежала, конечно, к Сухохлебову, но об этих своих терзаниях и ему сказать не решилась. Завела разговор о регистрации: как нам быть?

— Обязательно зарегистрируйтесь. Точно и в срок. Какие тут могут быть сомнения? — тихо басил он.— Комендатура имеет список персонала, зачем попусту дразнить гусей? Может быть, можно будет достать эти штуки для раненых? И для меня тоже? — Он хитро подмигнул.— Только моя фамилия теперь Карлов. Карлов Анатолий Дмитрич, агроном из пригородного совхоза «Первая пятилетка».— И, заметив мое удивление, достал из-под подушки паспорт, старенький, потертый по углам и, несомненно, настоящий паспорт, с фотографии которого смотрело его характерное, носатое лицо.

Он подмигнул ребятам, как всегда толкавшимся поблизости.

— А ну, кто я есть?

Оба ответили:

— Дядя Толя.

— Агроном Карлов.

— Ну вот, видите, и имя прижилось.— Сухохлебов улыбался.— Ну, а чего задумалась доктор Вера? Рано или поздно должны же они были взяться за упорядочение комендантских дел. Они и раньше бы взялись за это, да, видать, Москва очень отвлекает.— И вздохнул: — Москва, Москва, нелегко тебе приходится...

О полицае, об извещении, что белеет на стене и прямо-таки притягивает мои глаза, я так и не поговорила. Не спросила даже, что означает превращение Сухохлебова в Карлова и откуда взялся паспорт. И все-таки почему-то успокоилась. Решили: завтра с утра пойдут регистрироваться Мария Григорьевна, тетя Феня и Антонина. Вернутся — расскажут, что и как, а на следующий день пойду я. Впрочем, я не совсем успокоилась: что там ни говори, а страшное это дело, по выражению Мудрика, «дергать черта за хвост».

Так вот эта первая новость, а вторая такая, Семен, что я, вот честное слово, до сих пор и не поверила в нее. Не хочу, не могу поверить.

Утром, по обыкновению своему выкуривая перед обходом толстенную цигарку, Иван Аристархович как-то нехотя, с трудом выдавил из себя:

— А ведь я сегодня, Вера Николаевна, вашего свекра встретил.

— Павла Петровича? Не может быть!

Я точно знала, что задолго до исхода из города он вместе со своим ремесленным училищем отплыл на одной из барж, отправлявшейся вниз по Волге, в глубь страны. Перед эвакуацией зашел в госпиталь прощаться. Говорил, уезжает вместе со своей «ремеслухой», предлагал захватить внуков. И все еще сокрушался: все мягкое он закопал, а вот домишко не на кого оставить, пораскрадут все. Жалел, что поросенка приходится забить, а он весу еще не набрал. А какой боровок к рождеству бы вырос... Знаешь, ведь есть, есть в нем эта черта, которую я никогда не любила. Но остаться у немцев? Как это мож-

но? Кадровый слесарь, любивший всегда хвастать: «Я — российский пролетарий». Нет, нет...

— Вы с кем-нибудь спутали, Иван Аристархович.

— Спутал? Нет, голубушка, Вера Николаевна, то-то и оно, что не спутал. Мы с ним нос к носу встретились, где трамвай в снегу стоит. Смутился он. Стоит и молчит. Спрашиваю: «Что хоть делаешь-то?» Отвечает «Слесарю. А ты?» Отвечаю: «Тоже вот по специальности — людей лечу». Спрашиваю: «Завод твой в эвакуации, где ж ты слесаришь?» Еще пуще смутился. «А, какое тут слесарство, горе одно, дома ковыряюсь — лудить, паять, ведра починять. Жрать-то надо». Тут я, Вера Николаевна, голубка моя, не стерпел и за все двадцать пять лет моих обид на нем отыгрался. «А я, говорю, частной инициативой не занимаюсь. Я — в советском госпитале». Он встрепенулся: «У нее?» — «У нее». На том и разошлись.— Толстая цигарка даже потрескивала от жадных затяжек, из-под прокуренных моржовых усов валил едкий дым.— Так-то, Вера Николаевна, голубушка. Вот ведь как бывает.

— А о внуках спросил?

Наседкин курил. Ясно было — неприятно ему об этом рассказывать. Не оборачиваясь, стоя спиной, так, что я сзади видела лишь кончики его усов, отвечал глухо:

— Не совру, не спросил.— И перевел разговор: — Ну, а Васятка-то наш как?.. Плох? Да, бедный малый. Осмотрим, да и решать надо.— И пошел по палатам, сопровождаемый Антониной.

Странно, дико все это, Семен. Если бы ты и в самом деле мог слышать меня, я бы тебе эту новость, пожалуй, и не сообщила. Каждый день наблюдаю, как беда сплачивает людей, поднимает их. Едва получат возможность вставать с койки, давай им какую-нибудь работу. Те, что не встают, и то чистят картошку, выбирают из крупы или гороха мышиный помет, мало ли... Эта Паша, которую мы с Наседкиным недавно оперировали, в тот же день лежа скручивала бинты. Зинаида Богданова, что масло крала, днем мается у койки сына, а ночью моет посуду, стирает... А тут Петр Павлович с его всегдашним: «Мы, старые пролетарии...» Домишко, поросенка пожалел... Нет, нет, Семен, я все-таки в это не верю. Преодолею завтра свои страхи, схожу к нему, на худой конец хоть уговорю его отремонтировать автоклав,

который наши откопали в развалинах. Руки у него золотые, это у него не отнимешь.

Новости так меня взволновали, что никак не могу успокоиться! В палатах тихо, слышно, как Паша, скатывая бинты, что-то насвистывает да Антонина, моя полы, на какой-то особый, неизвестный мне, печальный мотив выкрикивает тонким голоском частушки:

Дайте девочке винтовку,
Дайте серого коня,
Я убью злодея Гитлера,
И кончится война.

Странная все-таки девица. Теперь со мной свыклась, и я все про нее знаю. Она из Латвии, из того края, где живут русские крестьяне, но еще девочкой попала в цирк: «с детства опилки нюхала», как она выражается. Занималась акробатикой. Ловкость и невероятная сила выдвинули ее в группе гимнастов «четыре-Ригас-четыре» в «унтерманы». Она стала «нижним человеком», держащим на себе трех партнеров, выделывающих при этом в воздухе разные штуки.

Когда Латвия воссоединилась с Советским Союзом, девушка попыталась поступить в медицинский институт. Провалилась, а в первые дни войны пошла, как она по-старинному говорит, в «сестры милосердия».

Ах, товарки санитарки,
Белые косыночки,
Осторожнее кладите
Вову на носилочки...

Голосишко тоненький, почти детский и очень смешно контрастирует с ее большой, прекрасно развитой, сильной фигурой. Огромный ребенок. Она чирикает, как воробей, должно быть совершенно не сознавая своей женской привлекательности и не замечая, как мужчины жадно провожают ее взглядами. В речи ее случаются смешные выражения. Так, рассказывая о рижском кладбище, она сообщила, что там очень красивые «фамильярные склепы». Про Наседкина, которого она побаивается, она заявила, что он «страдает мантией величия», а сейчас вот, испрашивая у меня разрешения помыть полы, сказала: «А то у нас прямо Авдеевы конюшни».

Но как работает! Подоткнула халат чуть ли не до подмышек, засучила рукава, поддернула юбку и вот уже

больше часа, не разгибая спины, гоняет воду огромной тряпкой по шершавому асфальтовому полу. В одиночку передвигает койки, даже вместе с больным, если тот не может подняться. В полутьме розовеют ее большие стройные ноги.

У миленочка мово
Поговорочка на «о»,
Он на «о», и я на «о»,
Значит, буду я яво...

Может быть, все это рассчитано? Нет, нет, чепуха! Это действительно простодушнейшее существо...

Сегодня решили мы с Наседкиным вновь вскрыть брюшину у Василька, хотя он и очень слаб. Другого выхода нет. Он весь пылает, почти не выходит из забытья. На мать страшно смотреть. Она не кричит, не бранится, даже не заговаривает. Только смотрит на нас своими васильковыми глазами. Ну лучше бы уж бранилась. Итак, решено — сегодня операция, завтра с утра веду детей к деду, а потом иду регистрироваться в комендатуре.

Вот твердо все решила, и на душе стало спокойнее.

12

Утром, не давая себе раздумывать и колебаться, я вышла из наших подвалов на волю. Вышла и сразу же зажмурилась. Честное слово, Семен, вот дожила до тридцати с лишним лет и не знала, что на свете может быть такая красота. Собственно, ничего, конечно, особенного. Сколько раз ждал ты меня в нашем больничном парке перед хирургическим и легко представишь все, что открылось передо мной. Только вместо нашего больничного здания — руины, кирпичные холмы, заваленные снегом, и над этими холмами, как последний гнилой зуб во рту старика, осколок стены, почему-то устоявшей при взрыве. И тоже покрытый кристаллической изморозью.

И все-таки красота утра потрясла меня. Все в густом инее. Деревья сверкают, искрятся, будто их окунули в перенасыщенный соляной раствор, и все они обросли кристаллами. И сугробы сверкают. А тугие спирали оборванных проводов похожи на елочную канитель. Я просто не узнала знакомой картины. Так же вот порой преображается на глазах молоденькая хорошенькая сиделка,

пришедшая из дома кое в чем и переодевшаяся в белую больничную одежду.

Кстати, по совету Сухохлебова, для этого первого своего выхода я тоже надела белую госпитальную косынку. Мы накроили их из ветхих простыней по дореволюционной русской выкройке, чтобы концы спускались на плечи, а на лбу оказывался маленький красный крест. Сухохлебов в шутку ли, всерьез ли утверждает, что этот традиционный наряд армии милосердия предохранит нас на улице от многих неприятных случайностей. Ну что же, проверим, ведь рано или поздно придется выбираться из наших подвалов. Ребята тоже взволновались. То, что мы идем к деду, Стальку страшно порадовало, а Домка задумался и ничего не говорит. Мне даже кажется, что он весь как-то насторожен.

Когда первое очарование от этого сияющего дня прошло, глаза привыкли к белизне и острому сверканию инея, меня поразил вид неузнаваемо изменившихся улиц, заметенных снегом, заваленных сугробами, которые никто с начала зимы, должно быть, так и не разметал. Военные машины пробили на проезжей части широкую колею, и не по тротуарам, а именно по этой колее и брели редкие прохожие. Они не одеты, а закутаны. Даже на мужчинах платки или шали. Лица коричневые, белеют лишь щеки, нос да часть лба.

Мы прошли трамвайную остановку, обошли по сугробу вросший в снег вагон с прицепом и, бредя по колее, стали обгонять пожилую женщину и девочку, которые старались вытащить заехавшие в снег сани; к ним был привязан большой, продолговатый, завернутый в простыню предмет. Я-то, разумеется, сразу поняла, что это, и, хотя старуха и девочка выбились из сил, хотела было скорее провести ребят мимо, но Домка тут же принялся помогать, вытолкнул сани в колею, и, когда выпрямился, я увидела его расширенные испугом глаза.

— Что это, тетя?

Старуха ответила спокойно и будто даже безразлично:

— Нашу мамку везем. Померла наша мамка, хоронить едем.

— Отмаялась,— это сказала девочка, ровесница нашей Стальки, и в устах ее как-то очень странно прозвучало старушечье это слово.

— Пособили бы, если по пути,— попросила женщина.

Домка впрягся в сани, и они бойко побежали по накатанной колесами колее.

— Простудилась она еще на окопах, наша мамка,— рассказывала старуха, семеня за санями.— Все кашляла, все кашляла. К врачу бы, а где сейчас найдешь вашего брата? — старуха покосилась на мою косынку.— Свои ушли, а кому до нас теперь дело? Да всех и не перелечишь. Войди вон в любую спальню, хоть на «Ворошиловке», хоть на «Большевичке»,— все кругом дохают, не то что лечить, хоронить некому, так мертвяки в своих каморках на постелях и лежат, благо холодно, тлен не трогает.

Эта сверкающая, щедрая русская зима и мертвые где-то в своих домах, на своих постелях... Нет, в наших подвалах, видать, не так-то уж и плохо. Помогаю Домке тянуть сани, а сама смотрю вперед: вон он на углу, домик нашего деда. Окна не замерзли, не смотрят бельмами, как в большинстве домов на этой улице. И над трубой в неподвижном воздухе стоит дымок, пушистый, как лисий хвост... Живут...

Ну что ж, вот мы и дошли. Отдаем старухе веревку и все трое невольно провожаем глазами сани.

От колеи к калитке ведет отчетливая, хорошо протоптанная и даже расчищенная лопатой дорожка. Над калиткой вывеска под стеклом: «Слесарная мастерская. П. П. Никитин». А по фасаду продолговатая: «Ремонт примусов, кастрюль, бидонов, ведер, стенных часов, патефонов». Просто под горло подкатило негодование. Дом свой пожалел, поросенка. Приспособился... Ремонт кастрюль и примусов...

Нет, Семен, слушай дальше. Слушай и знай, что в этом моем мысленном рассказе я вполне объективна, ничего не прибавляю и не убавляю. Немало мне приходилось в жизни разочаровываться, но тут... Ты слушай, слушай.

Когда мы открыли калитку, в доме звякнул колокольчик. Знаешь, точь-в-точь такой, какие прибивали когда-то торгаши над дверями своих лавчонок. Поднялись по чисто выметенному крыльцу и в окошко увидели за цветами круглую физиономию твоего отца.

Он отпер дверь. Сталька бросилась к нему с криком: «Деда!», но Домка остановился на крыльце, и мне пришлось почти силой втолкнуть его в прихожую. Он все-таки вошел, но поклонился деду как постороннему и

сразу же уставился на старенький радиоприемник, изрыгавший какие-то марши.

Нет, нет, я и мысленно не хочу ничего преувеличивать. Старик обрадовался, и больше, конечно, детям, чем мне... Но на его мясистом лице дрожала какая-то совсем не свойственная ему, этакая растерянная, блудливая улыбочка. Забыв даже, что ему следовало хотя бы для приличия удивиться нашему появлению, он бормотал:

— Вот и ладно, вот и хорошо. Входите, входите, гости дорогие. С морозцу чайку попьем.— И подмигнул Стальке.— У меня еще с лета варенье, малиновое да крыжовенное, Татьяна наварила... Ты чего, Дамир, стоишь? Раздевайся... Ух ты, какой молодец, выше матери вымахал!.. Вера, ты уж сама раздень Стальку, не умею я с вами, с бабами... Да вы садитесь, садитесь, вот стул.

Он старался вести себя так, как будто мы недавно виделись и теперь вот заглянули по пути. В этом была стыдная фальшь. А в приемнике между тем музыка прервалась и какой-то жестяной, слишком уж чисто выговаривающий слова голос начал по-русски:

— Главная ставка фюрера, третье ноября. Наши армии нанесли Советам новый мощный удар на западных подступах к Москве. Передовые панцирные части уже пробились к городу, и танкисты видят из своих башен в бинокли кресты и шпили русской столицы...

Петр Павлович, поначалу, должно быть, забывший о радио, рванулся к приемнику, выключил его.

— Вот брехуны, вот брехуны! Это ж придумать надо — видят кресты.— И засуетился: — А вы садитесь, сейчас самовар вздую... Ты, Сталька, поди, и не знаешь, что это за машина такая — самовар? Электричества-то нет, вот и пришлось старую технику реабилитировать... Уж как хорошо-то, что вы меня отыскали... А я-то думал, вы уж — тю-тю..., за Уралом шанежки лопаете.

Мне стало стыдно, но я ничего не сказала. А Сталька — знаешь ведь, какая она у нас...

— А вот и соврал, деда,— бухнула она.— Ты же знал, что мы здесь, рядом.

Старик покраснел так, что на подбородке и на щеках обозначились его светлые волосы.

— Врет он, старый хрыч, Аристархыч... Был лишенцем и сейчас в душе лишенец.

— А откуда же вы узнали, что это он нам о вас рассказывал? — ломким, петушиным баском выкрикнул

Домка, называя деда на «вы». Он не отводил глаз от патентного свидетельства, висевшего на стене в черной аккуратной рамке. В свидетельстве говорилось, что «ремесленнику Никитину Петру Павловичу, слесарю высшей квалификации, отдел коммерции и промыслов бургомистрата города Верхневолжска разрешает вести на дому слесарное дело». Были какие-то подписи, печать, и сверху типографским способом был отштампован злой гитлеровский орел, державший в когтях венок со свастикой. Вот этот-то орел, должно быть, и приковал Домкин взгляд.

От этого орла мальчишка не мог отвести глаз. Теперь он вперил их в лицо деда.

Тут стукнуло кольцо калитки. В сенях пронзительно задребезжал ветхозаветный колокольчик. Открылась дверь, и появилась какая-то старая, а может быть и не старая, но старообразная, обмотанная платками женщина. Она прижимала к себе большой, продолговатый, завернутый в скатерть предмет, который при каждом ее движении издавал мелодичный глубокий звон.

— Часы вот вам принесла. Старорежимные, хорошие, фирмы Беккер. Примите.

— Ступай, ступай, никаких часов я не беру. Ишь чего выдумала! — засуетился старик, виновато оглядываясь на нас и стараясь оттеснить посетительницу за дверь.

— Ну как же так, у хозяйки нашей Огурцовой Ксении Николаевны третьего дня взяли. Хорошую цену дали. Уж возьмите, чудные часы, как бьют! Я бы разве продала? Родилась, выросла под их бой, а что поделаешь, есть-то надо. Картошка вон на рынке почем,— женщина умоляюще сложила руки.— Ну возьмите, у меня мама уж и не встает...

Ой, что я пережила, Семен!

— Да ступай ты со своими часами! — заорал Петр Павлович срывающимся голосом.— Сказано — не беру никаких часов. Прочти на вывеске: слесарь — лужу, паяю, починяю. Понятно?

Но беда, наверно, сильно прижала эту маленькую женщину. Она упорствовала, чуть не плача.

— Ну зачем вы неправду-то говорите? Вон, вон они, круглые. Это хозяйки моей, Огурцовой, часы. Что я, их не знаю? — Действительно, недалеко от окна, в стороне от верстака с тисочками и маленького токарного станка, рядом с кучей ржавой ерунды, стояло на полу несколько

часов, в том числе круглые столовые, в светлой оправе из карельской березы. Женщина указывала на них.— Взяли ж, а почему мои?.. Я совсем дешево. Ну, сколько сами дадите.— Она задела часами за верстак, и они издали громкий, многоголосый, органный стон.— Мне хоть на картошечку.— И женщина вдруг грохнулась на колени, протягивая руки.

— Ступай, ну, ступай! — упрашивал старик, силой поднимая ее с полу.— Не могу я, на торговлю другой патент нужен. Что мне, из-за тебя головой рисковать?

Женщина поднялась. Неприязненно посмотрела на меня, сделала понимающее лицо.

— Ну что ж, верно, верно... Я после зайду. А часы уж, извините, оставлю, тяжело мне таскать.

И в окно сквозь жирный, с водянистыми стеблями вечноцветущий кустик, стоявший на подоконнике, который в наших краях почему-то зовут «ванька-мокрый», мы увидели, как она положила часы на перильца крыльца и побрела к калитке. Тут, ничего не сказав, Домка сорвался с места и, вылетев на улицу, хлопнул калиткой так, что с ворот посыпался снег.

— И с дедом не попрощался! — горько сказал старик.

— И я не попрощаюсь. Думаешь, буду я с тобой, с буржуем, чай пить? — Эти слова вылетели у Стальки. Не глядя на растерявшегося деда, она дергала меня за руку.— Пойдем, ма, пойдем. Не надо нам его варенья, ни малинового, ни крыжовенного.

Что там скрывать, Семен, сцена с часами и меня потрясла. Нэпманов я еще смутно помню, но ростовщиков и скупщиков видела разве только в театре. И узнать в этой роли твоего почтенного папашу, видеть, как он, всегда кичившийся своей «рабочей костью», скупает по дешевке вещи у людей, оказавшихся в беде, видеть у него на стене патент со свастикой,— да, это было, пожалуй, самым страшным из того, что пришлось мне пережить с тех пор, как в город вошли немцы. Для сына отец всегда отец, но я никогда не найду для него оправдания. Да и какой он мне родственник? Знать его не знаю. Эта мысль как-то сразу меня успокоила, и я деловито повела беседу.

— Я, собственно, Петр Павлович, по делу к вам, как к специалисту. У нас в госпитале — вы же знаете о нем — так вот, в госпитале не пущен автоклав. Мы откопали его в развалинах, но он испорчен. Нужно отремон-

тировать, приспособить к печному отоплению и наладить... Платить мне, правда, пока нечем, но...

— Вера, зачем ты так? — почти простонал он.

— Так как же, Петр Павлович? Мы бы были вам очень благодарны. Могли бы дать за труд немного продуктов.

— Завтра приду,— сказал он.

Я встала. Он опять жалко забормотал:

— Уходишь? Ну как знаешь. А то заходила бы,— один живу, по людям скучаю.

Один... И опять соврал. В прихожей под вешалкой стоял чей-то костыль. Ну, взял какого-нибудь инвалида в подмастерья, какое мне, в конце концов, дело... Врать-то зачем? Мы двинулись к двери. Старик шел за нами.

— Вера, тут у меня кое-какие харчишки... возьми для ребят... Сталька, вот тебе баночка с вареньем. Дай я тебе сейчас заверну.

У девочки загорелись было глаза, но все-таки она героически отстранилась.

— Не надо... Не надо нам никаких харчишек...— И дернула меня за рукав:— Ма, пойдем.

Мы вышли. Старик, не одеваясь, в косоворотке, в тапках на босу ногу, стоял на крыльце.

— Вера, в случае чего заходи... И ребята... А насчет автоклава — это я вам соображу.— Нечаянно он толкнул часы, лежавшие на перилах, и в морозной тишине раскатился их мелодичный утробный звон. Под этот звон и хлопнула за нами калитка.

— Ну что же вы! — сказал Домка. Весь посинев от холода, он подпрыгивал, греясь.

— Ма, мы к нему больше не пойдем? Ма же...— настойчиво скулила Сталька, дергая меня за руку.

Мы все трое почти бежали из вашего дома, где тепло и светло, где уютно пахло геранью, хлебом и еще чем-то вкусным, в вонючие наши подвалы, в наш настоящий дом.

Остаток дня и вечер были очень тяжелыми. Четверым было худо. Мы снова оперировали Василька. Увы, перитонит! До глубокой ночи я просидела у его койки. Малый весь пылает. Откачали много гноя, сделали, что могли. А что мы тут можем? Все наши сульфамиды кончились. Нет простого стрептоцида. Я даже рискнула попросить у Толстолобика. Обещал. Но немцы уже про-

пустили одно число. Их нет... А Василек — молодчина — терпит, ни стона, ни звука, ни жалобы. Мать его в состоянии какого-то транса. Вот и сейчас сидит у него на койке, держит его руку и смотрит ему в глаза. Ой, хоть бы утро скорее! Завтра, может быть, Толстолобик все-таки принесет наконец обещанное... Как это ужасно — понимать, что человек угасает, видеть, как жизнь уходит из него, точно знать диагноз и быть бессильной хоть чем-нибудь помочь. Передо мной и сейчас вот глаза его матери — синие, безумные...

Ох, хоть бы заснуть поскорее!

13

Васильку, кажется, лучше. Это общее наше с Иваном Аристарховичем заключение. Температура спала. Но он очень слаб. Пульс еле прощупывается. Он ничего не ест. Были немцы. Толстолобик осмотрел Василька и подтвердил наш диагноз. Потихоньку от Прусака сунул мне несколько коробочек какого-то сульфамидного препарата, название которого мне неизвестно. Говорит — хороший. И еще я заметила — Толстолобик нервничал. Должно быть, у них под Москвой все-таки неважно. Уходя, он довольно свирепо потребовал, чтобы мы привели в порядок, как он выражается, «скорбные листы». Потом, когда Прусак поотстал, вполголоса выпалил целую, должно быть заранее заготовленную им, фразу по-русски:

— Это есть важно, доктор Вера. Как будет... О, ферляйхт зо? Порядок...— И повторил: — Порядок, большой сейчас порядок.

Уже по тому, что он не воспользовался переводчиком и решил, по-видимому, сделать это предупреждение непосредственно, я поняла, что это почему-то действительно для нас важно, что-то нам угрожает. Поняла и встревожилась...

Ну, а регистрация в комендатуре и получение видов на жительство, этих самых «аусвайсов»? Еще вчера, вернувшись в госпиталь от Петра Павловича, мы увидели всех трех наших сестер в роскошных «старорежимных» косынках. Стояли окруженные всеми, кто мог ходить. Целая толпа.

— А они, бог с ними, как в газете на картинках,— горошком сыпала тетя Феня.— Картузы домиком, сапоги ведерком, и все на одно лицо. Здоровенные мужики на

машинках тюкают. А драться — нет, греха на душу не положу, не совру, не дерутся. И слова похабного от них не слыхала. Один даже мне на скамью показал: дескать, садись, тетка, чего стоишь? Обходительный.

— Ладно, раскудахталась — «обходительный»,— оборвала ее Мария Григорьевна.— На скамью ей показал... А они наших людей во дворе горкома под вой моторов каждую ночь в расход списывают. Это тоже обходительные? Скольких похватали... Что не рассказываешь?

— А то мы не видели, про то слышали... А город — матерь божия! Весь, будто кладбище, занесен, и возле тропок на главной улице кучи человечьего. Кучи, все кучи... Это удивляться можно, откуда при немцах столько дерьма. Едят мало, а кругом кучи,— частит тетя Феня, быстро перестроив повествование.— И откуда только берется?

Город действительно тонул в обильных снегах, и действительно возле узеньких тропок, протоптанных вдоль улиц, перед слепыми домами, где еще теплилась жизнь, много мерзлого кала. Стены желтели от мочи. На Советской я обгоняла людей, несших воду в ведрах, кастрюльках прямо с Волги. Прохожих почти не было. Только по проезжей части с ревом, покачиваясь, двигались одна за другой пестро раскрашенные машины, да, гремя подкованными каблуками по мерзлой земле, шагали патрули.

Семен! Я уже говорила тебе, что в ночь исхода наш Верхневолжск напоминал смертельно раненного, у которого кровь хлестала из артерий. Ну, а сегодня он походил на покойника,— нет, даже не на покойника, а на полураспотрошенный труп в анатомичке. И люди бродили по нему, как последние осенние мухи.

День был морозный, хрусткий, звонкий, и это как бы подчеркивало трупный распад.

Тут и там видела я небольшие, уже обветренные объявления. Было слишком холодно, чтобы их разглядывать. Но я споткнулась возле трамвайного столба и чуть носом не ткнулась в такое объявление. Невольно прочла. И лучше бы уж не читала. «В ночь на 20 октября злонамеренным лицом был тяжело ранен при исполнении обязанностей офицер Вермахта. Так как это уже не первый случай, по моему приказу было расстреляно 25 (двадцать пять) мужчин. Во избежание повторений этого требую еще раз сообщить германской администрации о всех подозрительных лицах и случаях...» И все та же

подпись: «Отто Кирхнер, штадткомендант, штурмбанфюрер СС». А ведь я иду туда, в комендатуру. И не могу не идти. Обязана идти...

Странно,— на всем пути от Больничного городка до Восьмиугольной площади, где в помещении центральной сберкассы сейчас их штадткомендатура, я не встретила ни одного знакомого. А может быть, встретила и не узнала. Большинство жителей ходит сейчас, как выразилась Сталька, «неумыткой». Лица у всех коричневые. На них, будто у негров, выделяются зубы и белки глаз. Это я разглядела в приемной, помещавшейся в зале, где я когда-то каждый месяц сдавала членские комсомольские взносы.

Регистрация шла в несколько очередей, по группам букв алфавита и, надо отдать немцам справедливость, организована была неплохо. Я быстро нашла очередь и стала понемногу продвигаться к своему оконцу. Не привыкли мы к таким молчаливым очередям. Все как бы стеснялись друг друга. Никто не разговаривал... Нет, не все, конечно, были на одно лицо, как это мне показалось сначала. Вон дебелая девка, изуродовавшая избытком помады и краски свое простое и даже миловидное лицо. Вон какой-то попишка комсомольского возраста с жиденькой, мочальной бородкой... Что это? Кажется, инженер Блитштейн с «Большевички». Я его когда-то оперировала. Откуда он взялся? Может быть, это все-таки не он? Лицо скрыто за поднятым воротником... Нет, он. Как же ты, голубчик, остался? И зачем пришел сюда на регистрацию? Ведь эти черномундирные немцы просто охотятся на евреев...

Все томятся, опустив головы. Тишина прерывается лишь покашливанием, сморканием да громким стуком пишущих машинок за перегородкой. И ведь действительно тетя Феня права — странно видеть мужчин-военных за этим женским у нас делом... Вдруг покашливание и сморкание как-то разом стихли. Что-то произошло. Оглянулась и вижу в дверях — кого бы ты думал, Семен? Киру Владимировну Ланскую. Ту самую актрису, которую оплакали ее друзья. Живая, здоровая, она, близоруко щурясь, смотрит на всех этих голодных, потерявших свой облик людей в жеваных одеждах и царственно улыбается. Она нисколько не изменилась. На ней серая

каракулевая дошка, пуховый белый платок, прикрывая пышные русые волосы, свободно спадает на плечи. На руке, которой она придерживает платок у горла, лайковая перчатка. Ланская обводит взором прищуренных глаз таблички у столов регистрации. Кто-то озябший, закутанный в плед вышел из очереди и поясняет:

— Вам сюда, Кира Владимировна. Вот тут ваша буковка.

— Ах, мерси! Я совсем слепая стала,— произносит она глубоким контральто.

Тут взгляды наши встретились. Ланская узнала меня, улыбнулась, подошла, взяла за руку.

— Милая, и вы здесь? Вот сюрприз! Что же вы тут делаете? — Большие серые глаза снисходительно-ласковы.— Впрочем, что я спрашиваю, ваша косынка — ваш ответ. Кстати, она вам очень к лицу. Вы в ней совсем юная и страшно хорошенькая... Работаете в их госпитале?.. Пристают? Хамят?

У нее огромное обаяние. Я сразу поверила в ее улыбку и в ее участие, потянулась к ней. Но что-то,— может быть, именно этот ее слишком уж свежий вид,— все-таки настораживало.

— Я слышала, вы упали с крыши...

— Слышали? Да? От кого? — оживленно спросила она.— Впрочем, меня то и дело об этом спрашивают. Мы, актеры,— романтики, любим присочинить... Нет, просто у меня подвернулась нога, и меня увели во время налета. Видите, и сейчас хромаю. За мной наблюдает главный хирург их госпиталя.— И шепотом: — такой сверхважный сухарь. Говорят, ученый, но я не верю, вероятно, обычный армейский костоправ. Интересно, пошла бы мне ваша косынка? — И совсем без перехода, тихо: — Сейчас мы с вами быстро устроим эту дурацкую процедуру, зарегистрируемся, получим «аусвайсы» — и отсюда прямо ко мне. Лады? Ах, как я изголодалась по хорошим людям среди этих механических обезьян! Вы посмотрите мою ногу, а я вас угощу французским коньяком «камю». Идет?.. Вы знаете, эти сверхчеловеки, покорители Европы, хлобыщут здесь только французские и испанские вина. Именно хлобыщут или глушат, если угодно, потому что ни черта в них не смыслят... А насчет очереди — сейчас, ейн момент.

Окруженная густым косметическим благоуханием, сопровождаемая удивленными, неприязненными взглядами,

Ланская подошла к барьеру, поманила одного из писарей, попросила доложить коменданту... Слишком уж она выделялась в этой печальной, однообразной толпе, из-за перегородки ее заметили. Машинки перестали стрекотать. Тут и там выставились любопытные физиономии. Просьба ее, вероятно не совсем обычная, была, однако, тотчас же выполнена. Из боковой двери, ведущей в кабинет начальника сберкассы, появился немолодой, наголо обритый офицер в очках. Сухо кивнул мне, учтиво, как знакомой, откозырял Ланской, сделал ей знак пройти за перегородку.

— О нет, господин лейтенант, я не одна. Со мной моя подруга, доктор... доктор...

— Трешникова,— тихо подсказала я, уже понимая, что попала в скверную историю.

Зная, что мне не следует идти туда, я попыталась вернуться в очередь.

— Нет, нет, Кира Владимировна, вы уж идите. Я тут со всеми. Моя очередь недалеко...

Но ее было не остановить.

— Доктор Трешникова — известнейший хирург Верхневолжска. Попросите господина штурмбанфюрера Кирхнера принять и ее.

Штурмбанфюрер Кирхнер! Это тот, что расстрелял двадцать пять заложников,— пронеслось у меня в голове. Это его извещение приклеили у нас. Идти к этому палачу? Нет, нет...

— Доктор очень торопится,— продолжала Ланская, насмешливо поглядывая на меня.— Скажите, что ее ждут раненые германские воины...

— Я работаю в нашем госпитале. В нем только русские! — закричала я в ужасе.

Все восемь очередей молчали. Лица были повернуты к нам. Они ничего не выражали, эти лица. Но глаза... Лучше бы мне не видеть эти глаза... А тут еще я вдруг заметила в углу, на скамейке, Мудрика. Ну да, это он в своей каракулевой бородке. Но что это? Сидит, откинувшись на спинку деревянного дивана, положив на костыль забинтованную и, кажется, даже загипсованную ногу. В руках госпитальная палка. Сидит и исподтишка посматривает на меня... Он ранен? Когда? Почему не пришел к нам и почему не мы наложили ему повязку?.. Я хотела подойти к нему, но снова появился гологоловый лейте-

нант, как видно адъютант коменданта, и сделал знак — прошу. Мудрик откровенно усмехался.

Я, как и все мы, много слышала о немецких фашистах, которые, кстати, именуются не фашисты, а нацисты. Видела их в фильмах, пьесах. Но если бы мне сказали, что этот немолодой, толстый, благодушный офицер в свободном черном кителе, сидящем на нем как пижама, новый нацистский комендант нашего города, штурмбанфюрер войск СС, я бы не поверила. При нашем появлении он учтиво вышел из-за стола, усадил нас в кресла и довольно прилично выговорил по-русски:

— Целую ручки, весь к вашим услугам.

— Господин штурмбанфюрер, это моя подруга доктор Трешкина. Хирург, восходящее светило медицины. Если бы не ее искусство, я бы, вероятно, не имела сейчас удовольствия с вами разговаривать. Она собрала меня буквально из кусков,— ворковала Ланская, небрежно бросив ногу на ногу, однако так, чтобы видно было ее круглое, полное колено. Продолжая выдумывать про меня дикую ерунду, она достала сигарету, повертела в пальцах, и толстяк тотчас же протянул ей зажигалку. Впрочем, слушая ее болтовню, он просматривал какой-то длинный, лежащий на столе список и, когда она замолкла, поднял на меня светлые, водянистые глаза.

— Трешникова? Вера Трешникова? Я слышал о вас, доктор Трешникова. У вас госпиталь на семьдесят пять коек.— Он встал, повернулся к стене, где над ним, под портретом пучеглазого Гитлера в военной форме, висел план города, и, ткнув карандашом в нарисованную на плане кроватку, сказал: — Ваш госпиталь здесь? Я осведомлен. Вы — шпитальлейтерин, вы делаете одно... ви зигт ман дас?.. одно благородное дело.

Он знает о нас. Хорошо это или плохо? Мы изображены на его плане, узаконены. Наверное, все-таки это лучше. Но что ему отвечать? О чем вообще может говорить советский человек с гитлеровским офицером? Я вопросительно взглянула на Ланскую — она сидела, откинувшись на спинку кресла, небрежно покачивая ногой, покуривая, мучительно напоминая, нет, не Любовь Яровую, а какую-то другую женщину из этой пьесы. На губах насмешливая, но отнюдь не злая улыбка. Она наблюдает за мной, как взрослый человек, бросивший трусливого мальчишку в воду, снисходительно наблюдает, как там он барахтается, ожидая, что он выберется сам, и в

то же время давая ему понять, что утонуть он ему не даст.

— Мы, господин штурмбанфюрер, знаем, как вы заняты, мы на минуточку,— произносит она на самых воркующих нотах своего богатого голоса.— Мы должны зарегистрироваться, получить эти, ну, как их, о господи, ну... эти ваши штучки... «аусвайсы»... Но там такая очередь... Вы, как истинный офицер, конечно, рыцарь. Не поможете ли вы двум растерявшимся дамам?

— О да, да, мы все так обязаны вам, фрау Ланская, за ваши... вас зинд да?.. за ваше искусство.

Он вызвал звонком адъютанта, распорядился. Тот взял наши паспорта и исчез, а хозяин кабинета тем временем отошел к маленькому столику, где стоял графин. Отвернувшись от нас, положил в рот пилюлю. Быстро запил. «О, да тебе, батенька, должно быть, самому надо скорее под нож хирурга»,— подумала я, заметив гримасу боли на его мясистом лице.

— Фрау Ланская, мое намерение открыть здесь к рождеству офицерское варьете очень велико... нет, важно, да, так важно. Оно одобрено командованием. Москва к тем дням будет взята, возможно, мы достанем столичных актеров, но звездою, разумеется, будете вы.— Толстяк галантно поклонился и постарался проглотить болезненную икоту.

— Да, да, конечно, мы уже сейчас готовим с господином Винокуровым программу. Мне подарили фаши... о черт, немецкую пластинку... Я разучиваю песенку на вашем языке.

— Хорошо бы что-то такое... о, вас зинд да?.. что-то херцлихес... херцлихес... О, нун зо... сердечное, сердечное. Мы далеко от нашей милой родины, от своих любимых жен и матерей. Храбрые солдаты скучают по семьям... Что-то... О, как же это будет по-русски?.. Ну, что согреет сердце.

— Поняла, учту ваше пожелание. Что-нибудь согревающее сердце? Прелестно... Отлично задумано. Но, может быть, господин комендант пришлет мне что-нибудь, что согреет наши желудки?

— Желудки? Вас ист желудки?.. Ах, зо, ха-ха!.. Натюрлих, натюрлих... Германское командование умеет ценить тех лиц, которые ему искренне служат.

И когда адъютант принес наши паспорта и мы расписывались на каких-то трех листках, он тут же отдал ему

по-немецки соответствующие распоряжения. Ланская лихо подмигнула мне.

Снова надо было пройти через зал сквозь строй насмешливых, недоумевающих, очень недобрых взглядов. Артистка шла, привычно улыбаясь. Несмотря на заметную полноту, она легко несла свое большое, складное тело. А я бросилась через приемную, как человек бросается через огонь во время пожара. И хотя я не сделала ничего плохого, не произнесла ни одного компрометирующего меня слова, я чувствовала себя перед этими людьми преступницей.

Я была уже у двери, когда меня остановило тихое восклицание: «Товарищ доктор!» Инженер Блитштейн. Это конечно же он, хотя его трудно узнать, так он осунулся, постарел.

— Товарищ доктор, всего два слова. Вы были у коменданта, вы с ним знакомы... Что это за человек?

Не знаю уж, что выразило мое лицо, но он заторопился:

— Вы понимаете, как вышло... Мирра, жена моя... у нее был инфаркт. Нетранспортабельна. Разве мы могли ее бросить? Я остался. И дочери остались. Что было делать? И вот... сначала нас не трогали. Но в пятницу... Вы, конечно, слышали, что здесь происходило? Эти эсэсманы врывались ночью в еврейские квартиры, хватали людей, куда-то увозили, не давая даже взять ничего с собою. Мы целые сутки просидели на чердаке. Но за нами не пришли. Мы было вздохнули. И что же,—пожалуйте, эта регистрация. Как вам это нравится? А?.. Что теперь? А Миррочка так больна. Ей нельзя даже волноваться.

Темные, глубоко запавшие глаза смотрели на меня с надеждой. Но что я могла ему ответить?

— У меня такая же повестка, как у вас. Всех регистрируют.

— Мы — несчастная семья. Что я им? Я варю мыло. Нужно же в городе мыло? Не вам, врачу, объяснять — может вспыхнуть эпидемия... А моя жена, мои девочки... Доктор, не могли бы вы походатайствовать перед господином комендантом?.. Одно слово. Одно маленькое слово.

Я растерянно посмотрела на него.

— Коменданту? Как коменданту?.. Но он слушать меня не станет.— И вдруг как-то само собой сказалось: — Как врач, я навещу вашу супругу. Адрес?

— Пожалуйста, пожалуйста! — обрадовался он.— Ах, не на чем написать... Но просто запомнить: «Большевичка», дом шестьдесят один. Шесть и один... Квартира восемь... Это во дворе... Найти легко — наискосок от бань...

Ланская, нетерпеливо пережидавшая разговор у двери, решительно подошла к нам.

— Извините, мы торопимся.— По-хозяйски взяла меня под руку.— Пошли, Вера Николаевна, нас ждут...

— Да, да, конечно. Я понимаю, я все понимаю,— торопливо забормотал инженер.— Но, доктор, умоляю... Если, конечно, можно... Она совсем беспомощна.

Ланская вела, вернее, просто тащила меня на буксире. Прихрамывая, она шла быстро. За ней было трудно поспеть. А у меня из ума не выходил этот инженер. Ведь явно не о медицинской помощи молили его затравленные глаза, явно не на докторский визит он надеялся.

— Ужас, ужас! — говорила актриса.— Это как у Уэллса, помните, в «Борьбе миров»? Какие-то чудовища хватают людей, бросают в корзинки себе на потребу, как мы кур или уток... Этот дичайший бред о чистоте нордической расы, о заговоре мирового еврейства, о первородном грехе перед кровью. Это дикое шаманство. Оно у них возведено в ранг религии. Против этого никто из них не может не только возразить вслух, но даже и мысленно. Боже сохрани!

И вдруг остановилась, посмотрела вопросительно.

— Я не знаю, зачем вы здесь остались. Я ничего у вас не спрашиваю, но... если можете, сделайте что-то для этой семьи. Их надо куда-то спрятать или вывезти за реку, я не знаю... И скорее, иначе...— она провела ладонью по горлу и пошла быстрее.

— Если бы это было в моих силах... Но я посещу больную. Обязательно

Близоруко щурясь, Ланская посмотрела на меня не то изучающе, не то насмешливо:

— А вот этого как раз и не следует делать. Они не простят вам общения с обреченным семейством...

— Я же врач.

— Врач? Ну и что? В вопросах расы это дикие люди. Всякий, кто общается с теми, кого они обрекли, сам обрекает себя. При слове «раса» разум у них автомати-

чески отключается... Я говорю, конечно, не о всех, о тех, от кого зависит наша с вами судьба...

— Но я советский врач.

Ланская даже остановилась. Посмотрела на меня с любопытством.

— И что же? Ваш халат защитит вас от пуль? — Она пожала плечами. — У нас на театре говорят — гран наив... Идемте, идемте.

Кажется, регистрация окончилась для меня все-таки благополучно. Но то ли от непривычной ходьбы по свежему воздуху, то ли от волнений я почувствовала такую слабость, что дрожали коленки. Одна мысль была — поскорее домой, в наши подвалы, где воздух по нескольку раз пропущен через легкие, но все-таки легче дышится.

Ты у меня, Семен, в вопросах этики всегда был строг и, наверное, осудишь меня — я поддалась на уговоры Ланской, потащилась к ней, и вовсе, конечно, не для того, чтобы лечить ее ногу, а чтобы поесть и поболтать с этой странной, непонятной для меня женщиной, в талант которой мы в студенческие годы были все влюблены.

Она живет на бульваре Советов, в том самом доме, где когда-то жили и мы. Красивый дом, помнишь? А посмотрел бы ты на него сейчас... Крыло, где была наша квартира, обрушено. В другом живут. Но как живут? Стекол нет, из окон, забитых досками, торчат трубы. Фасады закопчены, с балконов свисают желтые, жирные сталактиты нечистот. Лестницы покрыты коричневыми наледями, так что, карабкаясь по ступенькам, приходится держаться обеими руками за перила.

В первом, втором и третьем подъездах обитают какие-то немецкие военные. Там, как рассказала Ланская, все-таки лучше. Они заставляют жильцов скалывать эти наледи, топить печи. В остальных подняться на лестницу — все равно что взойти на Казбек.

Ланская и Винокуров остались в своей квартире. Все стены комнат, коридор и даже кухня с пола и до потолка заставлены книгами. Но жизнь, как я заметила, теплится лишь в комнате для домработницы, где живет теперь Кира Владимировна, и в маленьком кабинете. Там, среди старинной мебели, обитает Вячеслав Винокуров, который, как ты, конечно, помнишь, был художественным руководителем нашего театра и который стал сейчас вице-

бургомистром города по делам культуры, искусства и просвещения.

Этого самого вице-бургомистра, к счастью, дома не оказалось. Мы сунули в чугунную, окопную печурку несколько старых, растрепанных книг и, когда от жара затрещало колено уходящей в окно железной трубы и печь стала отдавать тепло, уселись в креслах. Чтобы сократить визит, я сразу же попросила хозяйку показать больную ногу. Вместо этого она сняла с меня косынку, ловко надела ее, прихрамывая, подбежала к овальному зеркалу в оправе из красного дерева, и оно, с большей даже четкостью, чем наяву, отразило ее полную, статную фигуру. Не спуская глаз со своего отражения, Ланская с подчеркнутой скромностью прошлась по комнате. И опять мне показалось, что я уже видела это не то в театре, не то в кино.

— Идет мне, а? — спросила она, не отрываясь от зеркала.— Очень идет. Вот если бы еще сюда строгое серое платье с высокой талией. Знаете, как в лавреневском «Разломе»... Нет, в самом деле, идет?.. Но вам все-таки лучше. В вас есть что-то такое монашеское, фанатичное. И потом, вы молоды... Ах, молодость, молодость!

Она вздохнула, на этот раз, должно быть, искренне.

— Но вы выглядите не старше меня.

— Да? — она радостно встрепенулась.— Нет, в самом деле? — Но тут же, погрустнев, вздохнула. — Выгляжу! Для того чтобы так выглядеть, я трачу, вероятно, столько же часов, сколько вы минут. Ну, признайтесь: сегодня вы даже и не причесывались? Нет? — Она поерошила мне волосы. — Хотите, я приведу вас в порядок? Вы же меня будете лечить, и это вам аванс за работу. Идет? Ступайте к зеркалу.

Здорово, искусно работает она гребешком. Ее полные руки просто порхают. Я сидела у зеркала в какой-то сказочной дреме, и моя ординарная физиономия, на которую я не имела удовольствия смотреть в настоящие зеркала по крайней мере со дня оккупации, преображалась на глазах. Неужели эти волнистые, красиво спадающие на лоб темные волосы мои? И курносое лицо имеет такой овал, такие пухлые губы и такие большие карие глаза, смотрящие из-под длинных ресниц? Новая прическа придала мне что-то мальчишеское. Я становилась похожей на Стальку. Вернее, мне помогали понять, как Сталька похожа на меня. И вдруг я поймала себя на том, что я,

врач, волею судьбы оказавшаяся начальником госпиталя, я, отвечающая за здоровье многих людей, оставшихся на моем попечении, я, немолодая уже женщина, мать двух детей, любуюсь собой, как глупая, легкомысленная девчонка. Мое отражение в зеркале начало краснеть, стало совсем пунцовым.

Я отодвинулась, вскочила, потянулась за пальто.

— А гонорар? Ведь вы пришли посмотреть мою ногу? — Ланская отошла, подняла юбку, отстегнула подвязку и одним движением опустила тончайший шелковый чулок.

Сон кончился. Началась явь. Обследую больные участки. Был ли рентген, что он показал? Картина-то в общем и без снимков ясна. Кости целы, а вот связки? Я могу дать лишь самые примитивные рекомендации — держать ногу в тепле, делать гимнастику. Но и так заживет, время залечит. Рассеянно слушая меня, Ланская вдруг как-то по-девчоночьи хихикнула.

— Немец-хирург,— я вам о нем говорила, ну, который посещает меня,— так старательно и так долго ощупывает мою бедную ногу, что она и вообще-то вряд ли заживет. Он столько тут латыни наговорил, а вы — компресс, тепло... Впрочем, скорое заживание явно не в его интересах. Он мне признался, что ходит сюда отдыхать душой от своих прелестных камрадов... Ну, а наша советская передовая медицина так-таки ничего больше и не предложит?

— Ну, и еще спиртовые компрессы, пожалуй...

— А коньячные можно? — лихо подмигнула она.— Наверное, лучше дать принять коньяк вовнутрь. Ведь так? Кстати, вот видите, и кофе закипает. Мы будем пить его именно с коньяком.

В самом деле, на печке, которая уже успела раскалиться, в кастрюлечке булькало, и комнату заполнил аппетитнейший кофейный аромат...

Я ведь, Семен, знала, что именно сейчас надо встать и уйти. Хватит с меня этих компрометирующих знакомств. Но кофе пахнул так славно и мне так хотелось есть, что я не встала и не ушла. Мы пили кофе из маленьких чашечек, прозрачных и тонких, как раковинки. Пили с коньяком. В коньяках, как ты знаешь, я ничего не понимаю, но Ланская, подливая мне из пузатой заграничной бутылки, нахваливала его, как на базаре. И действительно, он обжигал рот. Тепло расходилось по телу, все тягостное испарялось куда-то за пределы памяти.

Оставалась только эта комната, ее книжные стены, ее неудобная музейная мебель, цепляющаяся за одежду бронзовыми финтифлюшками. Это волшебное зеркало, отражавшее все отчетливее и красивее, чем на самом деле. Оставалась эта женщина, потрясавшая когда-то наши юные души в роли Анны Карениной. Оставалась жидкость в пузатой бутылочке, могущая хоть ненадолго оторвать человека от всего, что его мучает и гнетет.

— Эх, доктор Верочка, «однова живем», как говорит герой в одной топорной пьесе, где мне пришлось вымучивать из себя фальшивую роль.— И, быстро опрокинув одну за другой две маленькие рюмки, она, встряхнув разметавшимися волосами, удалым голосом крикнула:— Гуляй, бабы, бога нет, конец света!

К счастью, я не успела поднести ко рту вторую рюмку. В прихожей заскребли ключом, пискнула входная дверь. Послышались вкрадчивые шаги, раздался осторожный стук.

— Кира Владимировна, к вам можно?

— Нельзя. У меня гости... Впрочем, пардон, это дама. Разрешаю войти.

Появился немолодой мужчина в хорошо сшитом костюме, видный, благообразный. Прямой пробор, точно бы по нитке разделивший его волосы, придавал его облику нечто старорежимное.

— Познакомьтесь, моя подруга. Мой лейб-медик Вера Тройкина. А это мой... нет, теперь не мой, теперь сам по себе мужчина... Бывший заслуженный, бывший лауреат, бывший орденоносец и депутат горсовета. Бывший... что там еще? Ах, да, бывший человек, а ныне вице-бургомистр по каким-то там вшивым делам... Отставной козы барабанщик...— Ланская рассмеялась слишком длинно и слишком громко для того, чтобы это могло сойти за искренний смех.

— Милая, не пейте. Хватит,—терпеливо произнес тот, кого назвали отставной козы барабанщиком, и потянулся было убрать бутылку. Он смотрел на Ланскую с тревогой, с болью, с упреком.

— Не пить? А что же вы мне прикажете делать? — Она вырвала бутылку и, плеская коньяк на стол, налила себе полную чашку.— Что же, я вас спрашиваю, вы мне прикажете делать? Я не могу даже повеситься в туалете, ибо вы и ваши покровители нагадили там столько, что замерзший сталактит поднялся до половины комнаты.—

Она с заговорщическим видом наклонилась ко мне.— Этот вице-бургомистр ленится выплескивать нечистоты с балкона. Зачем? Он исторгает их на пол в клозете. За ним убирает дед-мороз.

— Нет, когда вы в таком состоянии, с вами невозможно разговаривать.— Вице-бургомистр на цыпочках идет к двери.

— Бежишь? Деятель! Паршивое ситро, притворяющееся шампанским! — куражась, кричит Ланская, бросая хрустальную рюмку в захлопнувшуюся дверь. Она наклонилась и вдруг обняла меня, потянулась ко мне мокрыми губами.— Вера, ведь это он, этот человек, уговорил меня остаться,— пьяно всхлипывая, говорила она.— Я действительно растянула ногу, лежала в постели, но меня предлагали унести на руках. А он спрятал. Болтал всем, что я погибла... Говорит, что остался беречь свои книги. Их, видите ли, уж нельзя было увезти... Книги? Он ведь действительно любит редкие книги. Он тащит их в свою нору и прячет от людей... Но остался он не из-за книг, нет... Ух, ненавижу!

Ланская вскочила и стала с неистовством рвать какую-то пухлую книгу, валявшуюся около печки, комкать страницы, совать их в топку. Пламя жадно заурчало. В комнате становилось жарко. Пот тек по ее разгоряченному лицу, она вытирала его ладонью или рукавом, как крестьянка, пекущая хлебы.

— О, вы его не знаете! Его никто не знает... Я както купила в комиссионке туфли, заграничные, изящные, прямо загляденье.— Она вытянула ногу и пошевелила кончиками пальцев.— Они очень стройнили меня и шли к новому платью. Но однажды я возвращалась после спектакля, шел дождь. И они сразу раскисли, оказались совершенной дрянью, крашеным картоном. Так и этот орденоносец, заслуженный, черт его знает какой!..— Она потянулась было к бутылке, но я отставила ее подальше, и, уткнувшись мне в плечо, Ланская шумно заплакала.— Я женщина, я просто баба. Не осуждайте меня, я была к нему привязана. Я думала... И потом...— Она зашептала, будто поверяя мне страшную тайну: — Я уже не молода. В этом возрасте бросать все, что имеешь, к чему привык, это ведь трудно. Но все-таки я, наверное, бросила бы, уехала, как старик Лавров. Помните Лаврова? Бежал, схватив из всего своего собрания живописи одного Врубеля... Врубеля и жену. Но я

верила этому Винокурову. Я любила в нем борца за настоящее искусство. Борец!.. Он спокойно рассчитывал, что выгоднее — уехать или остаться. По картам выходило — наши разбиты, отступают в беспорядке, нет сил защищать Москву. Ну, а раз выгоднее, давай скорее меняй цвет, приспосабливайся к новой среде. Вице-бургомистр. Корреспондент газеты «Русское слово»... Тьфу! — и сочный плевок повис на двери.— Деятель германской администрации, поборник нового порядка, а на уме одно — как бы покрепче примоститься на запятках немецкой кареты. Тьфу!

Новый плевок. Я все время слышала, как в прихожей что-то шуршит. И вот дверь тихо открылась. Появился Винокуров с терпеливым, мученическим выражением лица.

— Кира, вы забываетесь. Госпожа Трешникова, извините ее. Вы видите, в каком она состоянии.

«Госпожа»! Он сказал «госпожа» мне, Вере Трешниковой! Я схватила пальто. Но Ланская была уже у двери.

— Вон! Не сметь ко мне входить, старый мерин! — Она захлопнула дверь и сунула в ручку платяную щетку вместо задвижки.— Вера, вы, может быть, читали когда-то его статьи в «Верхневолжской правде». Они опирались на постулаты Сталина. Ну, а теперь он публикует их в «Русском слове» и, опираясь на догмы этой хромой мартышки доктора Геббельса, доказывает противоположное. Тут и примат белокурой расы, и нордическая кровь, и торжество германизации или непроглядная ночь мирового еврейства... Омерзительно!.. Эй, вы, я знаю,— вы там подслушиваете, за дверью. Так я повторяю для вас: омерзительно!

Теперь она не играла. Это была уже не Любовь Яровая, не Анна Каренина, а Кира Ланская со своей трагедией и своей мукой.

— Он слизняк, гад,— говорит она, жарко дыша мне в лицо коньяком.— Но, милочка, буду откровенна: я тоже хороша. Ну что бы я стала делать в эвакуации? Житье в каморке, районная эстрада, фронтовые концертики. Нет, я так не могу... Дайте мне бомбу, автомат, что-нибудь такое, я бы взорвала какой-нибудь штаб, застрелила какого-нибудь генерала. Я могла бы погибнуть, как Мария Стюарт, как Жанна д'Арк, как Шарлотта Корде, но выносить за ранеными горшки, петь песенки во время обе-

денных перерывов!.. Да, да, нужно, благородно, знаю, но это выше моих сил. Рожденный ползать летать не может. Ну, а рожденный летать?.. Этот старый мул,— она показала в сторону двери,— он с наступлением вечера трясется, как овечий хвост, и заставляет входную дверь комодом... Я больше так не могу. Я не хочу умирать от глистов или от сыпнотифозной вши. Я должна умирать, как жила...

Она отошла к стене, прислонилась к ней, вытянула руки, гордо и гневно смотря перед собой, будто вот сейчас раздастся залп.

Что это? Крик души? Привычная игра? Нет, хватит с меня. Мне душно. Я схватила пальто и, не одеваясь, толкнула дверь, при этом сильно стукнув ею Винокурова, который, должно быть, действительно подслушивал. Каким-то чудом не поскользнувшись, сбежала с обледенелой лестницы и уже внизу немножко отдышалась...

Было еще светло. Оглянулась, нашла на фасаде окно Ланской. Оно было забито, как и другие окна, и из трубы, выходившей на улицу, валил густой, кудрявый дым: горели несчастные, ни в чем не повинные старые книги.

Отдышавшись, я как-то машинально подняла горсть снега, бросила в рот. Потом обтерла снегом лицо, руки и только тут заметила, как хорошо вечернее небо, холодное, чистое, начинающее уж лиловеть. На нем зажигались первые, зеленоватые звезды.

Домой, скорее домой!

Возвращалась почти бегом. Наши сырые, мрачные подвалы казались мне теперь не только надежным убежищем от бомб, но и от этой чужой, не вполне еще мною познанной страшной жизни, которую принесли нам гитлеровские орды.

Но по дороге меня начала мучить мысль об инженере Блитштейне. Нам тяжело, очень тяжело, но нас в наших подвалах все-таки много. А он — один, с больной женой, с детьми... Как он изменился! Из цветущего, энергичного, жизнерадостного человека разом превратился в робкое, забитое существо... Эта испуганность, приниженность, эти затравленные глаза... Кажется, он весь сжался, втянул голову в плечи, зажмурился, приготовился к ударам и уже смирился с их неизбежностью.

Нет, как бы там ни пугала Ланская, я к ним пойду, и пойду сегодня, вот сейчас. Обязана пойти — это мой врачебный, это мой... ну, просто мой человеческий долг.

Я врач, я советский врач. Да и в этих ее страхах значительная доза истерики. Мало ли что в городе болтают. Нет, страшно все-таки, что там ни говори... Но хватит, хватит самоковыряний, марш к больной, которую ты обещала навестить!

Очень, очень тянуло меня в наши подвалы, но я все-таки отважно миновала развалины Больничного городка и вскоре оказалась перед так называемыми Красными воротами комбината «Большевичка». Впрочем, не было уже ни самих ворот, ни высокого забора, отделявшего территорию комбината, ни деревянных домов, некогда стоявших вдоль этого забора. Все неузнаваемо изменилось. Развалины сгоревшей ткацкой фабрики как бы выползли прямо на улицу. Но знаменитые фабричные бани, куда приезжали со всего города любители всласть попариться с веником и с квасом, были целы. Ориентируясь на бани, я без труда отыскала большой четырехэтажный дом, где жили инженерно-технические работники. Он тоже уцелел.

Не давая себе колебаться, я вошла в подъезд и сразу же оказалась перед дверью квартиры 8, на которой была прибита медная дощечка: «И. А. Блитштейн. Инженер-колорист». Под ней почему-то был прикреплен кнопками небольшой кусок черного картона, на котором желтым была оттиснута шестиконечная звезда, похожая на елочное украшение. Здесь! Ну что же. Постучала решительным, «докторским» стуком. За дверью послышались неясные звуки, осторожные шаги, но ее не открыли.

Постучала сильнее.

— Врач по вызову...

Шаги. Шорохи. Приглушенные голоса. Мне стало досадно: какого черта они там, теряй из-за них время... Стучу уже кулаком:

— Больная Блитштейн здесь живет?

И тотчас же дверь приоткрылась. В щели, ограниченной цепочкой, я увидела инженера. Он смотрел на меня как на привидение.

— Ах, это вы, доктор...— А сам даже привстал на цыпочки, точно бы желая убедиться, не стоит ли кто у меня за спиной.

— В чем дело? Вы меня приглашали, так пропустите... Где больная?

— Это вы, доктор? — повторил он с облегчением.— Спасибо, огромное спасибо... Извините, мы подумали...

Так проходите, проходите! — Дверь наконец открылась совсем.

Я вошла в темную кухню, где, как видно, и обитала семья. Топилась плита. На ней что-то кипело в большом баке. Было тепло, даже жарко. Воздух насыщен тяжелым, едким запахом. Перед плитой железные противни, в которых что-то похожее на студень. В углу валялись вываренные лошадиные кости...

— Покажите больную.

— Вот, вот, пожалуйста,— суетился инженер.— Мирочка! Это доктор к тебе... Видишь, а ты говорила...

Теперь, присмотревшись в полутьме, освещенной отсветами топящейся плиты, я разглядела в углу кровать и на ней женщину примерно моих лет... Мамочки! Я же сразу узнала ее, хотя она была почти не похожа на яркую, громкоголосую жену инженера, которая посещала его, когда он лежал у нас в хирургическом... «Вот перец-баба!» — восхищенно восклицал Дубинич, вообще-то неравнодушный к женским прелестям. После ее ухода в палате надолго оставался запах острых духов, а сестры до конца дежурства обсуждали ее туалеты... И вот она лежит, бледая тень той, какую я знала. Ссохшаяся, посмуглевшая, она походит, пожалуй, на богородицу со старинной иконки, которую тетя Феня хранит у себя под подушкой. От прежней у нее разве что эти черные, вразлет брови да пышные волосы, спутанной копной лежащие на подушке.

Крупные бледные губы больной трогает робкая улыбка.

— Доктор, извините, у нас такая грязь... Не встаю вот, а он...

— Что же, деточка... Доктор понимает, кустарное мыловарение — это очень грязное производство... И к тому же дом не топлен, батареи полопались, живем все вокруг плиты...

Ну чего, чего они извиняются, будто я не вижу? Осмотрела больную. Впрочем, и без осмотра картина была ясна. Инфаркт есть инфаркт. Но я все-таки выслушала ее, щупала пульс, задавала совершенно бесполезные вопросы — лишь бы они не извинялись, лишь бы разрядить тягостную атмосферу и замаскироваться от этих тоскливых, вопрошающих взглядов...

— Чувствуете покалывания, неудобства в области сердца?

— Доктор, вы же видели этот знак на двери. Это — могендовид. Они превратили его в печать смерти. Мы обречены,— говорит больная вместо ответа.— Как вы решились к нам зайти?

— Не спрашивайте ерунды... Когда вы в последний раз ощущали боль?.. Острую? Тупую?

— Нас ведь никто-никто не навещает... Все боятся.

— Мирра, ты несправедлива. А эти женщины утром? Черные глаза будто заливаются глицерином. Меж длинных ресниц образуется прозрачная пленка.

— Да, да, доктор, это просто поразительно... Сегодня вдруг пришли три женщины, обыкновенные, простые женщины из семидесятого общежития. Из них одна когда-то работала уборщицей в Осиной лаборатории, а две совершенно незнакомые. Предложили спрятать нас в этом огромном доме... Вы этот дом знаете, конечно, его здесь называют «Париж»... Они увели девочек, а Ося — он опять остался из-за меня... Ужасно. ужасно, этот инфаркт, он ведь так редко бывает у женщин моего возраста... Всех связала, вся семья из-за меня гибнет...

— Мирра!

— У вас неплохое состояние. Но нужен покой, абсолютный покой. Никаких резких движений. На бок вы уже можете ложиться, но очень осторожно,— произношу я привычные слова, понимая всю их нелепость, даже кощунственность при этой ситуации.

Но, к счастью, меня не слушают.

— Доктор, что же это такое?! Облавы, врываются в квартиры, хватают, бросают в машину, куда-то увозят... Ужас, ужас! Нас почему-то на этот раз миновало, но этот проклятый знак на двери... Мы, кажется, последние из могикан... Доктор, ну хоть вы скажите Осе — пусть он оставит меня и уходит...

Женщина плачет, уткнувшись в подушку. Мужчина плачет, отвернувшись к плите, на которой в баке хлюпает густая кипящая смесь. Я сама чувствую, как теплый, будто ватный, ком подкатывает к горлу... Этого только им не хватало. Не сметь, Верка, не сметь! Усилием воли я проглатываю этот ком и говорю каким-то сиплым, не своим голосом:

— Я к вам постараюсь привести консультанта-кардиолога...

Инженер посмотрел на часы и вдруг вскрикнул:

— Доктор, шесть тридцать! — Видя, что я не понимаю, торопливо поясняет: — В семь — комендантский час.— На лице его страх. Страх за меня. С теми, кто нарушит их «бефель», они беспощадны. Идите, прошу вас, идите скорее.

Его страх передается мне. Я спешу к двери.

Но инженер опережает. Останавливает. Выскальзывает, именно выскальзывает в подъезд. Возвращается.

— Кажется, никого...— говорит он шепотом.— Кажется, никто вас здесь не видел... Спасибо, доктор.

— Мы к вам зайдем...

Уф! Чудесная, тихая ночь. Все залито молочным, лунным светом. Тени лежат угольно-черные. Рот жадно хватает свежий воздух. Бегу. Бегу к своим раненым, в свой госпиталь, стараясь не думать об этой двери с желтой звездой, о мрачной кухне, о неподвижной женщине и этом человеке с затравленными, тоскливыми глазами...

Четыре фигуры маячат у входа в наши подвалы — три больших и маленькая. Я уже знаю, кто это, и из последних сил прямо через сугробы бегу к ним.

— Наконец-то! — говорит Мария Григорьевна.

— Господи Исусе Христе, царица небесная, услышала наши молитвы! — причитает тетя Феня.

— Ма, я ждала, ждала, ревела, ревела...— выдыхает мне в ухо Сталька, повисшая у меня на шее.

Домка ничего не говорит. Он просто жмется ко мне и ведет вниз по обледенелым ступеням.

14

В госпитале ждала меня тяжелая новость. Ее сообщил Наседкин. Он ожидал меня в приемном покое. Вокруг продавленного, жесткого клеенчатого диванчика, на котором он сидел, было густо насыпано пепла, насорено окурками: без меня скончался Василек.

Иван Аристархович повел меня в холодный коридор-тупичок, проход в который с улицы завален. Василек лежал вытянувшийся, повзрослевший. Угловатое лицо стало совсем мужским. В головах сидела мать. Она расчесывала гребешком его светлые прямые, как солома, волосы. На миг она подняла на меня синие глаза, но тотчас же опустила, должно быть не узнав. Руки продолжают осторожно чесать волосы. Глаза сухи. Мне стало жутко.

Перед материнским горем померкли все впечатления дня. Оно заслонило все.

Не снимая пальто, я стояла возле матери и сына, как бы перелистывая картины: операция... история с краденым маслом... мужественное «ничего, Вера Николаевна», которое я слышала всякий раз в ответ на свое «как ты себя чувствуешь?» Нет, мне, наверное, никогда не забыть эти сухие глаза матери, которые глядят на меня, как мне кажется, укоряя за то, что мои двое живы и здоровы, а ее единственный лежит в коридорчике, неподвижный, оледенелый.

Вошла Мария Григорьевна, набросила на плечи Зинаиды свою старенькую, латаную-перелатаную шаль.

— Может, все-таки в комнату пройдешь? Простынешь ведь.

Та опустила руку с гребнем, но не обернулась и взгляда от сына не отвела.

— С полудня так вот сидит, не простудилась бы... Да и вы тоже, Вера Николаевна. Вам здесь и вовсе делать нечего. Пошли!

Она решительно обняла меня, вывела в палату и, мне показалось, как-то странно, даже удивленно посмотрела на меня.

Обычные дела, вечерний обход. Жалобы. Тому неможется. Этому хуже. Кое-кому делала новые назначения... И все время казалось, что и другие смотрят на меня как-то необычно. Не то внимательно, не то недоуменно. Что такое?

В конце обхода подошла к Сухохлебову.

— Ну, так где же вы все-таки пропадали? — поинтересовался он и тоже посмотрел вопрошающе.

Присела у его койки. Сделала ему подробнейший доклад о событиях дня — о регистрации, о визите к коменданту, о неожиданной встрече с раненым Мудриком, о посещении Ланской, о Винокурове...

Вообще он в совершенстве обладает этим труднейшим искусством слушать. Слушает так, что люди невольно раскрываются перед ним. Но когда я принялась рассказывать о беде инженера Блитштейна, о желтой звезде, прибитой к двери квартиры, которую я посетила, он не сумел скрыть тревоги.

— Завтра сагитирую Наседкина — вместе сходим к ним. Он ведь терапевт, от него больше пользы.

— Вы хорошо запомнили их адрес? — перебил меня Сухохлебов.

— Конечно. «Большевичка», дом шестьдесят один, квартира восемь. Наискосок от бань.

— Вы туда не пойдете,— сказал он негромко, но решительно и, должно быть, заметив у меня на лице обиду, пояснил: — Больную принесут сюда.

— Кто? Кто принесет?

— Хорошие советские люди... Их фамилия Блитштейн? Так?.. Адрес я правильно запомнил?

Он повторил адрес, не забыв добавить «наискосок от бань». Здорово в общем-то придумал. Но интересно, как он сумеет все это организовать? Через этого пройдоху Мудрика, что ли?.. Так тот сам на костыле. Ну, посмотрим, посмотрим! Тут я вспомнила этот «бефель» и уведомление, все еще красующееся на стене.

— А не подвергнем мы этим опасности весь госпиталь? Может быть, все-таки лучше лечить больную дома? По каким законам можно обвинить врача, что он пошел к больному?

— Фашисты перечеркнули все человеческие законы,— сказал Сухохлебов, с тревогой смотря на меня.

— Ну откуда у них это человеконенавистничество?

— Фашизм есть фашизм.— Сухохлебов был очень серьезен.— Человеконенавистничество — его основа. Сила Гитлера в том, что он научился будить в людях самые дремучие инстинкты, превращать людей в зверье.

— Волки, прямо волки...

— Доктор Вера, не оскорбляйте волков...

Я уже хотела было идти, но он остановил меня.

— Кстати, Вера Николаевна, думаю о том, что вам говорил доктор Краус. Помните, об этих историях болезней, как он выражается, «скорбных листках»... Это не случайно. В военной администрации здесь теперь эсэсовцы. Это ведь звери из зверей. Надо, как изволит выражаться Мудрик, чтобы «все было в ажуре»... Кстати, о нем можете не беспокоиться, раны его заживут без вашей помощи.

Он вдруг спросил:

— Много ли у нас военных?

Я ответила:

— Больше половины. Ну и что?

Я, признаюсь, госприняла совет Толстолобика только как проявление немецкой аккуратности. Хочет, чтобы шпитальлейтерин Вера не ударила лицом в грязь. Но учить и требовать он мог и с помощью Прусака. А тут, конечно, другое. Ой, как я еще глупа! Что бы я вообще стала делать без Сухохлебова, без мудрейшей Марии Григорьевны, даже без тети Фени с ее божбой, пословицами и длинным языком? Хорошо, что они рядом, возле меня.

— Отберите мне эти истории болезней,— попросил Сухохлебов.

А секрет тех необычных взглядов, которые я все время чувствовала на себе, объяснила Сталька.

— Домик, ты заметил, наша Вера какая-то сегодня не такая? — донесся голосишко в «защкафник», где я было прилегла после всех переживаний.

— Отстань, не мешай,— ответил Домка. Он восседает за столом дежурной сестры и по моему поручению отбирает истории болезней наших военных.

— А Вера у нас красивая, верно?

— Уйди, сейчас заработаешь.

Раздалось неопределенное восклицание, по которому я поняла, что ему показали язык. Обиженная Сталька зашла ко мне и по обыкновению поставила вопрос ребром:

— Ма, почему ты сегодня такая красивая?

— Красивая? — не поняла я и невольно посмотрела в темное стекло одного из шкафов.

Смерть Василька так поразила меня, что я как-то забыла о косметических манипуляциях, произведенных Ланской. И вот теперь из импровизированного зеркала действительно смотрела на меня какая-то другая, малознакомая я — волосы стали волнистыми, какими они были когда-то, губы будто пополнели, глаза расширились. Боже ж мой, вот что могут при желании сделать обычный гребешок, губная помада и карандашик для ресниц! Признаюсь, не удержалась, подмигнула своему отражению и тут же вспыхнула от стыда: из-за шкафов доносились протяжные всхлипы. То Зинаида, которую Мария Григорьевна почти насильно привела сюда и укладывала на свою койку.

Всю ночь я слушала сквозь сон тоскливый плач, похожий даже и не на стон, а на какой-то первобытный вой.

15

Никогда время не тащилось так медленно, как сейчас. Мы уже знаем — там, на подступах к Москве, идет гигантская битва. Верхневолжск забит ранеными. Немцам не до нас. Толстолобик почти прекратил свои визиты. Наведывается иногда, но теперь уже неожиданно, в разное время. Однако же в последний визит, и опять наедине, он многозначительно спросил, приведены ли в порядок «скорбные листы».

Да, они теперь у нас «в ажуре». Этим занимались не только мы с Наседкиным — врачи, но Сухохлебов и кое-кто из выздоравливающих командиров, ибо дело было не только и не столько в медицинских, сколько в политических познаниях.Теперь все военнослужащие имеют адреса в нашем городе, места на фабриках, заводах, в учреждениях. Все ранены случайно при бомбежке или обстреле. Теперь «легенды», о которых так заботился Сухохлебов, не только заучены, но и зафиксированы в лечебных картах, и он, Сухохлебов, снова устраивает экзамены:

— Фамилия? Адрес? Где вы работали? Что делали? При каких обстоятельствах получили ранение?

Некоторые из раненых почти поправились. Ходят на костылях, бродят по палатам. Иные давно могли бы выходить, выполнять работу во дворе, но не в чем. Обмундирование их сожгли. Во что же мы их оденем? Им в случае беды не в чем бежать, спасаться.

Неоценимым человеком в решении этой задачи неожиданно оказалась Зинаида, мать Василька. Вторые сутки он лежит на старом топчане под простыней, в холодном коридорчике. Мать никого не подпускает к телу. Это, наверное, род тихого помешательства. Вырвет свободную минутку — и к нему. Сядет возле на корточках, гладит волосы. Разговаривает.

— Она ему про все рассказывает,— докладывала мне Сталька.— И кто с ней поругался, и что на обед было, и про меня, как я «утку» разбила.

В самом деле, однажды незаметно подойдя к Зинаиде, я тоже расслышала ее громкий, резкий, как у всех ткачих, голос.

— Им всем легко, Василек. У каждого да кто-нибудь, у докторицы вон двое, а я что — торчу одна, как фабричная труба. И ты вот ушел, светик мой, бросил свою мамку...

Наседкин утром потребовал, чтобы тело сегодня же погребли,— опасается за ее разум. Да я и сама за это. Но как? Не отнимать же тело силой. А вот вечером, когда стали обсуждать, как быть с одеждой, это, кажется, решилось само собой.

— Один костюм я дам. Шевиотовый, новенький, летом для Василька справила.— Оказалось, незаметно подошла Зинаида.— К чему он теперь Васильку, пусть хоть кого другого погреет.

Она словно бы очнулась, вышла из этого своего окаменения, стояла бледная, грустная, но синие глаза смотрели осмысленно. Мария Григорьевна, чуткая душа, раньше меня, врача, угадала в этом избавление. Сначала я даже не поняла ее равнодушный вопрос:

— Чай, любому из наших узок будет?

— Не скажи, не скажи, я на рост брала, сорок восьмой размер,— даже вроде бы обиделась Зинаида.— Думаю, шестнадцать стукнет — и подарю. Он и не знал об этом костюме, не говорила ему, а то пристанет — дай да дай, не отвяжешься. Знаешь, какие они, мальчишки.

— Что ж, сержанту Капустину, может, и подойдет,— все так же деловито прикидывала Мария Григорьевна.— А верно, Зинка, сходи-ка ты за ним вечерком. Принеси хоть померить.

— И схожу, и схожу. Погляжу заодно, целы ли мои покои.— От этой заботы глаза женщины, только что казавшиеся стеклянными, пустыми, ожили. Но тут же опять запечалились: — А Василек-то как же без меня?.. Вы его не смейте... Волоска его не троньте.

Тут уж, поняв Марию Григорьевну, вступила в разговор я:

— Только, Богданова, вы там язык не распускайте, зачем да для кого,— об этом ни слова.

Все недоуменно посмотрели на меня.

— Так там же свои.

Когда Зинаида собралась и дверь за ней закрылась, все мы вздохнули спокойнее. Тетя Феня было заторопилась — отвезти бы без нее на кладбище. Но Мария Григорьевна отвергла: как же это можно без матери? Подумав, она сказала:

— Ничего, теперь отойдет... Заботы, Вера Николаевна, от всего лечат, а главное — от самого себя.

А через полчаса, когда я, сидя у Сухохлебова, рассказывала ему о том, как повернулось дело, она подошла к нам.

— Я вот все думаю... О чем? А вот — сколько ее, мужской одежды, у женщин по сундукам да по рундукам лежит, хозяев дожидается. Вот пойти бы нам по рабочим спальням, поклониться. Думаете, не дадут? Дадут. Лихо живут. С голоду пухнут, а за сердце тронь — каждая своего вспомнит, каждая подумает: может, кто-нибудь да где-нибудь и моему поможет... Ведь дадут, как вы думаете, Василий Харитонович?

— Думаю, Мария Григорьевна, дадут,— и, поднявшись на локте, протянул ей свою большую волосатую руку.

Он уже у нас теперь поднимается, садится. Даже ходит немного, правда скрючившись, как кочерга... И хотя его еще мучают боли, о которых мы догадываемся по дрожанию век и уголков губ, он все-таки держится молодцом. Лицо и голова у него обросли серым волосом, но напоминает он не агронома, каким он значится у нас в больничной картотеке.

Домка повышен в должности. Теперь он у нас ведает канцелярией. В халате, в шапочке, он целый день сидит за сестринским столом и своим четким школьным почерком переписывает новую редакцию больничных карточек и историй болезней. Стальку он к себе не подпускает: «Брысь, пшено, видишь, занят... Вот скажу Вере, что мешаешь, выпишет тебе горчичники!»

В своем должностном величии он еще больше подражает Дубиничу, выпускает на лоб из-под шапочки своей палевый чуб, к месту и не к месту сыплет дубиничевские поговорки и шутки: «Не оставим в почке камня на камне», «Бледность не порок», «Моча — зеркало души», «Семь бед — один диабет». Смотрю на него и невольно думаю о Дубиниче. Был бы он здесь, с нами, наверное, все было бы по-другому... Нет, неужели он все-таки бросил нас из трусости? В это не хочется, очень не хочется верить. Но похоже, что так. Сегодня Домка отмочил при Стальке такую пословицу из дубиничевского лексикона, что я даже на него всерьез рассердилась. Заявил: «Ректоскоп существует для чтения задних мыслей». Все гоготали, а Сталька пуще всех, хотя ничего не поняла.

И странно — горячий поклонник этого сомнительного медицинского остроумия знаешь кто, Семен? Да Сухохлебов же, честное слово. Как-то во время обхода услышала его басовитое: «Хо-хо-хо!» Помчалась. Хохочет

Сухохлебов, а возле Домка стоит, скромно опустив свои белесые ресницы. Что такое?

— Доктор Вера, знаете, что сейчас изрек сей брат милосердия? Он сказал: «Советский паралич самый прогрессивный во всем мире».

Так что, видишь, Семен, мы иногда и смеемся.

Самым замечательным событием у нас, пожалуй, стало появление твоего почтенного папаши, кустаря-одиночки с мотором, представителя возрождающейся частной инициативы.

Пришел он вчера утром с ящиком инструментов и сразу же, без разговоров, принялся за автоклав. Оказалось, машина эта только помята и не очень повреждена. Петр Павлович осмотрел, остукал ее и принялся за дело. Он и всегда не был речистым, твой отец, а сейчас вовсе замолчал. Со мной поздоровался как с посторонней. Но ребята ему все-таки обрадовались и, кажется, простили ему и патент с гитлеровским гербом и сцену с часами. Он принес им гостинец — баночку с вареньем, несколько моченых яблок и кусок отличной ветчины, которую он, оказывается, ухитрился-таки закоптить в трубе по собственному способу. Помнишь его ветчину, которая во рту просто тает?

Что меня больше всего удивило — это то, что у Петра Павловича сразу же установились отличные отношения с Марией Григорьевной. Я, конечно, рассказала ей и про вывеску и про коммерческие операции. Она тогда философски произнесла: «С волками жить — по-волчьи выть». А Сухохлебов, с которым я тоже поделилась своей досадой, продекламировал откуда-то, из «Гамлета», что ли:

> Есть многое такое, друг Горацио,
> Что и не снилось нашим мудрецам.

Свое рабочее место Петр Павлович расположил у входа, возле печки, в которой он что-то там нагревает. Ему с энтузиазмом помогают двое из ходячих — сержант Кирпач, здоровенный украинец-артиллерист, работавший до войны механиком МТС. У него серьезное ранение в ногу. Но прыгает, именно прыгает на одной ноге с костылями, за что его даже прозвали Гуляй-нога. И Капустин — маленький такой солдатик из слесарей, крикливый, задиристый, но деловой. Возились с утра до вечера в нескольких шагах от нашего «зашкафника», так что весь день стук и звон.

Совесть старика все-таки, должно быть, мучает. Стыдно ему. От меня глаза прячет. И особенно избегает Наседкина. До войны-то чуть ли не друзьями были, ходили по грибы, места знали, как никто в городе. По субботам Петр Павлович топил свою баньку, и Наседкин хаживал к нему с веничком и шайкой. Пару они нагоняли до изнеможения, хлестали друг другу спины до упаду, разгоряченные, выскакивали, бросались в сугроб — и оттуда опять на полок. А потом, разложив на коленях полотенца, истекая пóтом, пили чай с малиновым вареньем. Помнишь? Спорили, ссорились. Твоего старика выводили из себя ядовитые шуточки Наседкина в адрес всяческого начальства. Чуть не с кулаками лез на лекаря. Но проходило время — и снова они встречались с вениками и шайками под мышкой. А сейчас:

— Здравствуйте, Иван Аристархович!

— Мое почтение, Петр Павлович... Кхе-кхе...

— Прощай, Иван Аристархович!

— Будь здоров, Петр Павлович. Кхе...

И все. Никак, ну никак не могу этого понять. Сторонятся, будто даже опасаются друг друга.

Вообще — что только происходит с людьми! Наседкин всю жизнь подрабатывал частной практикой, хотя это дело считалось у нас, врачей, неэтичным, даже в какой-то степени позорным. А вот теперь, когда можно, наверное, практикой капитал составить, работает у нас чуть ли не сутками, ничего за это не получая. А Петр Павлович, всегда к месту и не к месту любивший хвастнуть — де, я российский пролетарий,— не только домишко и барахло пожалел, но вон мастерскую открыл. Даже скупкой по дешевке занялся...

Да, должно быть, и правда:

> Есть многое такое, друг Горацио,
> Что и не снилось нашим мудрецам.

А может быть, и верно это: с волками жить — по-волчьи выть?

Может быть, в самом деле нельзя быть прямой, как палка, надо учиться принимать жизнь такой, какая она есть, оставив до лучших времен идеальные мерки?

Когда мне особенно тяжело, когда я в чем-то запутаюсь и не нахожу ответа, я снимаю с руки часики, которые

ты мне подарил в день рождения Стальки, открываю, смотрю на твою фотографию, которая вделана в крышку с внутренней стороны. Ты улыбаешься мне. И вот я спрашиваю тебя: права ли я сейчас в этом выводе, к которому меня привели эти тяжелые недели? Или я просто тряпка, не выдерживаю испытания и начинаю приспосабливаться, по одежке протягивать ножки?

Ну что ты мне скажешь, милый? Или, как Сухохлебов, в котором я узнаю все больше и больше твоих черт, ты насмешливо процитируешь мне что-нибудь из «Гамлета»?

16

Вот уж не думала, что эта Зинаида Богданова окажется такой гениальной бабой. Но об этом я должна рассказать поподробнее. В тот же день, когда зашел разговор об одежде, она сбегала домой и принесла костюм Василька, дешевенький, грубошерстный костюм. От него разит нюхательным табаком, этим классическим средством от моли, которое искони употребляется в наших текстильных краях. Костюм тут же примерили, и малорослому Лене Капустину он оказался как раз впору.

Примеряли, разумеется, всей палатой. Звучали комментарии:

— Гармонь в руки — и ну вдоль деревни...

— Хоть сейчас под венец.

— Ребя, он ему великоват. Вот мне в самый раз. Честное комсомольское! Дайте померить!

— Но-но, шалишь-мамонишь, он на мне как влитой!

Капустин сиял: есть в чем выйти, тем более что Зинаида захватила заодно ватный пиджак и пару рубашек. Все радовались. И только тетя Феня вдруг захлюпала носом и выбежала из палаты, но это заметила, кажется, только я.

Вместе с одеждой Зинаида принесла известие, от которого всем, и особенно мне, стало жутко. Полицаи под командою эсэсманов снова прочесывали дома и общежития «Большевички». Вместе с другими был схвачен инженер Блитштейн. Больную сорвали с постели. Инженер сам отнес ее в крытую, обитую железом машину. Но трех

его дочек прячут где-то в рабочих общежитиях, и полицаи, упустившие их, прочесывают сейчас комнату за комнатой.

Известие это не выходит у меня из головы. Оставшись в своем «зашкафнике», я вспоминаю глаза Блитштейна: «Не поговорите ли вы с комендантом?» Ну как и о чем могла я говорить? А может быть, все-таки могла? Да нет же, господи! Эта актриса права, при слове «раса» они теряют все человеческое. Ведь это только представить себе — больную, пораженную инфарктом, срывают с постели. Значит, правильны эти слухи, что многие сотни евреев и цыган расстреляны и зарыты в противотанковых рвах...

От жутких мыслей этих отвлекает меня разговор ребят, доносящийся снаружи.

— Говорят тебе — поди и скажи,— настаивает Домка.— Вера — начальник, ей все знать надо.

— Опять плакать будет. У нашей Веры теперь нервы совсем никуда,— по-взрослому, покровительственным тоном Марии Григорьевны, отвечает Сталька.

Я вышла к ним. Оба притихли, будто я застала их за чем-то предосудительным. Стоят, смотрят друг на друга: говорить или нет? Потом Сталька набирается храбрости и произносит таинственным шепотом:

— Ма, она там опять с Васильком разговаривает, говорит ему: «Тебе костюм-то все равно ни к чему, а Лешке Капустину как раз впору. Не серчай уж на мать...»

Нет, я, конечно, не расплакалась, хотя, честно говоря, слезы и поднимались к горлу. Меня отвлекла неожиданно мелькнувшая мысль: ведь права, права Мария Григорьевна. Зинаида принесла самые дорогие ей вещи. Разве этим она не показала всем нам, как мы сможем одеть наших людей? Я сейчас же послала за ней Стальку. Та привела ее за руку, и я сразу увидела, что это уже не прежняя раздавленная своим несчастьем женщина. Она напоминала человека, перенесшего тяжелую болезнь и делающего первые, неуверенные шаги. И глаза были не сухие, а влажные.

— Спрашивали? — тихо, но все-таки не безразлично произнесла она.

— Звала. Хочу поблагодарить. Спасибо, Зина. Одного одела. Но ведь сколько их у нас!

— Так у меня ж больше ничего нет,— с обидой произнесла женщина.

— А я и не прошу вещи, я прошу совета: как быть? Понимаешь, Зина, вот случись что — голые же люди, в халате на мороз не выбежишь.

— Это верно, это да... У меня еще от Василькова отца куртка телячьего меха, только молью сильно потрачена, а надевать можно. И валенки. Васильку берегла, а теперь...— Обильные крупные слезы побежали из глаз, она бросилась ко мне на грудь, и худенькое ее тело так и затрепетало от рыданий.

Ну конечно же и я не выдержала. Обнялись, заплакали дуэтом, а потом к нам присоединилась тетя Феня. Каждая плакала о своем. И знаешь, Семен, как они нам помогают, эти бабьи слезы!.. Через полчаса, зареванные, с распухшими физиономиями, мы втроем сидели рядком у меня на кровати, а Мария Григорьевна, устроившись перед нами на табуретке, критически слушала наш план похода по рабочим общежитиям и поселкам.

— Худо, ой худо живут люди! С голоду пухнут, с простуды мрут,— рассказывала Зинаида о своей вылазке.— Что на улице, что в спальнях — один мороз.

— А душа-то, чай, не замерзает, душе, ей ни холод, ни зной не страшен,— частила тетя Феня.— Тронь нашу сестру за душу — она и раскроется. Сказано ж в писании: «Рука дающего да не оскудеет...» Дадут, истинный бог, дадут.

По нашему плану каждая женщина пойдет туда, где жила, где ее знают и не заподозрят в каком-нибудь корыстном побирушничестве. Я тоже вызвалась было идти, но все трое воспротивились: «Вам нельзя».

— Матка — она должна в улье сидеть. Ей из улья вылетать невозможно. Без нее вся семья пропадет,— категорически заявила тетя Феня.

На посту мы оставили Антонину: она чужая, ее в этих краях никто не знает, а остальные чем свет вышли в этот поход за одеждой.

Теперь немножко о наших продовольственных делах — ведь тоже выкручиваемся. Запасы, отысканные под завалами, хотя и отсырели, но дают возможность хоть как-нибудь кормить людей. А это главное. Наши ходили за город, туда, где под снегом лежат битые лошади. Нашли. Раскопали. Пилой отделяли от туш мясистые части. Привезенную на санях мороженую конину посолили. Ка-

док, конечно, не было. Ку́ски погружали в ванны, которых в развалинах сколько угодно. Так что теперь наш знаменитый «суп рататуй» варится с мясом.

Крупа и горох сильно засорены мышиным пометом, но Мария Григорьевна заставляет всех, кто может, перебирать крупы, и вот теперь в иной час палаты представляют странное зрелище: все, и женщины и мужчины, сидят на койках над тарелками и выбирают черные катышки. Не работают лишь те, у кого повреждены руки или кому мешают глазные повязки. Особенно потешно смотреть на Сухохлебова, который делает это очень серьезно, насадив очки на длинный нос. Вид у него при этом задумчивый, сосредоточенный, какой, вероятно, бывал, когда он обдумывал над картой какую-нибудь военную операцию. Углубившись в это занятие, он что-то бормочет, о чем-то сам с собой спорит, в чем-то сам себя убеждает, и слышно: «М-да... Ну что ж... Бывает, бывает... Так, правильно... А может...» Но мы к этой его манере привыкли, даже не замечаем.

Я уж тебе говорила, что Сухохлебов человек сосредоточенный, немногословный, но при всем том очень любит смеяться. Смеется сочно, громко. Например, сегодня утром его «хо-хо-хо» вдруг раскатилось по всем палатам. Что такое? Лежит и грохочет. Возле него Домка тоже весь трясется и даже визжит от смеха, а рядом Сталька, смущенная, надутая.

— В партизаны... Почему не ушел в партизаны? — басит Сухохлебов — и опять «хо-хо-хо».

Первопричиной всему тетя Феня. Она ведь у нас умница. Глядя на нее, ты нипочем не поверил бы, Семен, что эта деятельная, болтливая старуха — бывшая монашка из разбежавшегося монастыря. Когда-то, в двадцатые годы, пришла она к нам в Больничный городок проситься на работу. Профессия «монашка» не очень-то украшает анкету. Были, конечно, возражения, но Кайранский, старик с характером, настоял на своем, взял на свой страх и риск. И не ошибся. Человеком она оказалась смышленым, исполнительным, добрым. Набожность ее выражается разве лишь в том, что она к месту и не к месту тычет разные божественные пословицы и поговорки. У себя под подушкой хранит иконку богоматери и крестик с распятием Иисуса. Мы уже привыкли и знаем, что, когда все засыпают, она достает этих своих богов и потихоньку молится. И вот Сталька, оказывается, нашла

этот крестик и пристала к старухе,— кто, что да почему? Что такое боженька, она, несмотря на все богословские усилия тети Фени, так, кажется, понять до конца и не смогла. Разве советскому ребенку все эти сказки объяснишь? Волшебник? Нет. Фокусник? Нет. Учитель? Нет. Не понимает — и все. Ну старуха и решила, так сказать, все осовременить. Дескать, жил-был такой хороший молодой человек, единственный сын у матери, родился без отца.

— Как Василек у тети Зины? — спросила Сталька, тут же переведя все в практический план.

Старуха смутилась.

— Ну, вроде бы так. Был у него отчим, плотник...

— Стало быть, он из рабочих? Пролетарского происхождения?

— Ну ладно, скажем, из рабочих,— опять согласилась тетя Феня и начала рассказывать, что стоял он за бедных, что агитировал людей против богачей и что богачи, договорившись с римскими оккупантами...

— С фашистами? — не унималась Сталька.

— Ну, ну, с фашистами тогдашними, ладно... Видели они, что простой народ за ним пошел,— испугались. Продал его один стрекулист, Иудой звали. Ну, полицаи тогдашние его арестовали, а комендант велел прибить его к кресту.

Эта версия Стальку удовлетворила. Но хитрый этот лисенок почувствовал: что-то тут все-таки не то. И вот сейчас подошла к Сухохлебову и спрашивает:

— А почему он не ушел в партизаны?

— Кто?

— Да этот самый дядька, Христос... Организовал бы отряд и показал бы им...

Вот, оказывается, они и потешались над этим новым богословским толкованием. Ах, Семен, ну и ребята у нас!.. Это как-то напомнило мне, как Домка, когда он такой же крохой был, помнишь, озадачил тебя вопросом: «Па, что такое эпискóп?» Ты удивился: «Эпискóп»? Что это за слово такое? Где ты его взял?» А он: «По радио сказали. Вот микроскоп знаю: это когда что-нибудь маленькое смотреть. Телескоп — когда на звезды. А вот для чего же «эпискóп»? Мы оба думали, думали. Наконец ты спросил: «Да что же по радио-то говорили?» А Домка: «Эпискóп Кентерберийский» и что-то там еще». Помнишь это? Ты еще потом об этом всем рассказывал. Ну так вот,

тогда «эпископ», а теперь Иисусу Христу предлагается партизанить...

Да, кстати, у Сухохлебова родилась смешная и, кажется, совсем неглупая идея. Утром Иван Аристархович принес еловую ветку, подобранную где-то на дороге. Поставил ее в пузырьке на тумбочку Сухохлебова. Сталька увидела — раскудахталась: «Какая красивая веточка, как хорошо пахнет!» Стала вспоминать елки, на которых танцевала. Так вот и пришла мысль: устроить у нас елку. Ни больше ни меньше!

Я было подумала — он шутит: в наших подвалах, в оккупированном городе... да вы что, друзья мои, с ума сошли! Но Сталька ходила за мной и скулила: «Ма, елку! Ма, елку!» Домик басит: «Ма, разреши». Сухохлебов улыбался:

— Товарищ начальник, поддерживаю их ходатайство.

— Ну где же вы возьмете-то ее?

— Найдем.

— А чем украсить?

— Придумаем.

Ну что с ними сделаешь! Разрешила. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Думала — пошумят, посуетятся, помечтают и бросят.

И что же ты думаешь, Семен? Начали действовать. Деревце упросили достать вездесущего Мудрика. Я не видела его с тех пор, как тогда встретилась с ним в комендатуре, но догадываюсь, что он у нас бывает, во всяком случае побывал, потому что Сухохлебов однажды вдруг спросил меня:

— Какое же все-таки впечатление осталось у вас от нового военного коменданта? Что за человек? Это важно знать.

Вопрос удивил. Ведь я ему давно рассказывала.

— Так, старый тюфяк. Язва желудка у него.

— Насчет язвы — не знаю, а вот что тюфяк — тут, к сожалению, ваш диагноз неправилен, доктор Вера,— задумчиво ответил Сухохлебов.— Ошибаетесь. Это умный, твердый, злой враг.

— А вы откуда знаете?

— Сорока на хвосте принесла.

И эта самая сорока возникла почти сразу же после этих слов из-за ширмы, которой мы отделили койку Сухохлебова. Мудрик, как всегда, появился неожиданно. Он,

вытянувшись, словно на нем были не обноски с чужого плеча, а строгая морская форма, весело доложил:

— Старшина Мудрик явился, товарищ полковник.

— Являются ангелы на небе, а старшина Мудрик прибыл,— поправил Сухохлебов. И легкая улыбка осветила его лицо.— Вам поручается особо важное задание насчет елки.

Мудрик почему-то смутился, вопросительно взглянул на Сухохлебова и, как мне показалось, повел глазами в мою сторону.

— Виноват, не понял.

— Елку, деревце. Хотим здесь праздник для раненых организовать.— И он показал на таз, куда были уже собраны пузырьки, мензурки, какие-то пуговицы и пряжки,— словом, все, что могло в наших условиях блестеть и сверкать. Сталька с Домкой ко всему этому добру уже привязали ниточки.— Видите, Мудрик, какие у нас сокровища. А самой елки нет.

Мне показалось, Мудрик вздохнул с облегчением.

— Ах, вот что! Виноват, лопухнул, подумал, что вы...

Теперь уже Сухохлебов остановил его многозначительным взглядом, и он, будто споткнувшись, не кончив фразу, стал смущенно тереть свою густую бороду.

Что такое? Какие у них там особые дела? И почему они мне их не доверяют?

— Володя, а где же ваши костыли? — мстительно спросила я.

— Берегу для официальных встреч, товарищ начальник. У меня не столь роскошная фотография. Меня без очереди к фашистскому начальству не пропускают.— И он озорно сверкнул зубами.

Ух как больно он меня уколол! А тут еще Антонина! Раз Мудрик здесь, и она вертится возле, как оса у блюдечка с вареньем. Отбивает даже от нетерпения чечетку. Заглядывая за ширму, она чуть ее не опрокинула.

— Ух, Антон, я, кажется, сейчас все твои веснушки перетасую! — с деланной сердитостью рявкнул на нее Мудрик.

Малое время спустя раздалось это самое «фю-фю — фью», и они ушли. А я вот, Семен, никакими делами не могу отогнать от себя чувство обиды. Я ведь и раньше замечала, что Сухохлебов что-то от меня прячет. У него

какие-то особые дела и с Мудриком, и с Антоном, и с некоторыми из раненых. Сегодня это проявилось как-то особенно обидно. Ведь я как-никак начальник госпиталя, а они скрытничают. Почему? Ответ один: не доверяют. И это страшно обидно. Неужели даже здесь, где человека проверяет каждый прожитый день, где все мы как под рентгеновским лучом, то обстоятельство, что муж мой сидит, может влиять на отношение людей? Но, может быть, это так кажется? Может, я все это придумала? Нервная, мнительная стала, самой противно.

Нет, эту занозу надо вынуть. Вынуть сразу. Просто пойти к Сухохлебову и спросить. И сделаю я это сейчас же. Немедленно.

Встала. Оправила халат. Заглянула в стеклянную дверь шкафчика, служащую мне зеркальцем, и вдруг поймала себя на том, что прихорашиваюсь. Этого только не хватало! Рассердилась. Решительно шагнула за порог. Но Сухохлебов, как всегда, был не один — из-за ширмы торчали старые, подшитые валенки Ивана Аристарховича. Слышалось его взволнованное частое кхеканье.

— ...Отказался, наотрез отказался, Василий Харитонович. Ишь, что придумал! Так я ему и сказал: «Забудь и мыслить об этом. Советскую власть исповедую, работаю, сил не жалею, но чтоб такое — нет. Нет и нет!»

Ну вот, опять. О чем они? Почему старик так встопорщился? Что ему ответил Сухохлебов, слышно не было. Но Иван Аристархович продолжал с прежним запалом:

— И вам, Василий Харитонович, отвечаю: нет, нет и нет... «Для пользы дела...» Вот мои руки — возьмите. Вот моя башка, надо будет — берите башку... А совесть — нет. Совесть — это мое, никому имени своего на старости лет марать не дам. Русский человек Иван Наседкин в гитлеровских начальничках ходить не станет. Ишь придумали... Да если это за фронт, до дочерей моих дойдет! Нет... Свой глаз в бургомистрате, вишь, удобно иметь. Нет... Да жена б, Василий Харитонович, на порог меня не пустила, поганой метлой из собственного дома выгнала бы...

— Ну как знаете, Иван Аристархович, к такому делу неволить никто не может,— произнес Сухохлебов, и это я расслышала.— Что ж делать, так и ответь.

— И ответил уж так, именно так и ответил... кхе, кхе...— Скрипнула койка, над ширмой показалась седая

голова Наседкина. Он прошел было мимо меня, но вернулся.— Вас, Вера Николаевна, простите за вопрос, немцы не вербовали? Ну, там, у коменданта, когда вы эти штуковины, «аусвайсы», что ли, получать ходили? Вы ведь, Мудрик говорит, и у коменданта были...

У меня даже колени похолодели. Ну вот и обвинение готово: оставалась у немцев, водила дела с штадткомендатурой, знакома с комендантом.

— Да нет же, нет! — закричала я.— Ланская свидетельница. Просто она затащила меня к нему поскорее оформить «аусвайсы».

Потом мы сидели с Иваном Аристарховичем на клеенчатом диванчике в уголке приемного покоя. Он был все такой же встопорщенный, смятенный, испуганный.

— А меня вот вербовали. Этот комендант и еще там какой-то маленький, похожий на суслика, в пенсне. Сначала заговорили о наседкинских домах, мельнице. Вон куда метнули... Дескать, вас большевики обобрали, избирательных прав лишили. А потом... кхе-кхе... потом... кхе-кхе...— от волнения он прямо давился этим кхеканьем,— потом предложили стать заместителем бургомистра по здравоохранению и санитарии... Вон как! Ваш род, мол, в городе помнят и уважают... Род! Видали! По-ихнему вышло, раз батька твой четверть века назад мукой торговал, так я родину продавать буду. Кхе-кхе-кхе...

Старик опять захлебнулся в кхеканье.

— Отказались?

— Ну а как же... Так и сказал: «Русская совесть не товар, господа хорошие. Она не продавалась, не продается и продаваться не будет...» Но немцы — черт с ними! Откуда им историю нашу знать. Ведь и наш-то один человек, вы его не знаете и знать вам его не надо, тоже говорит: иди, мол, Иван Аристархович, делай вид, что им служишь. Для дела, мол, для победы нужно. Для победы? Жизнь отдать для победы — это одно. А имя, честь — другое. Это они видали? — и он показал большой волосатый кукиш, не поймешь уже и кому.

Иван Аристархович всегда у нас воплощенное спокойствие. Никогда таким я его не видела. Яростно дергая кончики моржовых усов, он совал их в рот, покусывал и все не мог успокоиться.

— Заместитель бургомистра. Этого самого подлеца Севки Раздольского, вон чей заместитель. Ну-ну... Дожил. Всю жизнь мне перемололи папашины мельницы...

Старик шумел до самой двери, пока я его провожала. Волнение его передалось мне, и, чтобы успокоиться, я прошлась по палатам. Тут обычная жизнь: в углу, расположившись возле гладильной доски, грохотали костяшками, забивая козла; из-за ширмы Сухохлебова доносились голоса Стальки и Домки — там возились с елочными украшениями. Антонина — на дежурстве — тихонько напевала свои частушки...

Мой госпиталь, мои раненые. Свои. Мне среди них легко. Но все-таки почему на мне лежит какая-то тень недоверия? Даже вот в последнем разговоре Иван Аристархович сказал: «Вы его не знаете, да и знать вам его не надо». И не назвал имени. Тут, где-то рядом, идет какая-то скрытая от меня жизнь, действуют таинственные силы, о которых мне, оказывается, и знать не положено... Нет, хватит с меня этого комплекса неполноценности. Сегодня я ему так и скажу.

Дождалась, когда уснули ребята. Затих госпиталь. Тетя Феня сменила Антонину на санитарном посту, принялась нашептывать свои молитвы. Но по расплывчатому световому пятну на потолке я знала — картонная плошка еще светится за ширмой у Сухохлебова. Вот сейчас и поговорим. Тихо ступая, я подошла к его койке. Он лежал на спине, заложив за голову руки. Задумчиво бормотал про себя:

— М-да... Ну что ж... Что тут, Васька, можно сделать?.. Как повернет... Ничего, обойдется... Да, да, да.

Решительно постучала пальцем о стойку ширмы.

— Как, вы? — Мне показалось, что вопрос этот прозвучал не только удивленно, но и радостно.

— Василий Харитонович,— я изо всех сил старалась говорить решительно и твердо.— Почему вы все мне не доверяете?

— Не доверяем? — Мне показалось, что это произнесено несколько искусственно. Он, должно быть, сам почувствовал это.

— Да, да,— напирала я, не позволяя себе растаять в ласковой теплоте его серых, широко расставленных глаз.— Не доверяете, что-то скрываете, прячете... Эти ваши переглядывания, недомолвки, умолчания... Почему? Почему вы с Мудриком откровеннее, чем со мной? Почему даже Наседкин знает больше, чем я?

От обиды у меня перехватило горло. Чувствую, что еще немного — и разревусь, как дура.

— Вот так раз! Может быть, доктору Вере принять валерьяночку?

— Не отшутитесь, я не маленькая. Думаете, не вижу... Ну почему? Потому, что у меня сидит муж? Да знаете ли вы, какой человек мой муж! — Задыхаясь от обиды, я лезу за пазуху, вынимаю клеенчатый мешочек, в котором ношу на груди документы, бросаю ему на одеяло паспорт.— Вот видите, без минусов. Можете убедиться. Нужны характеристики — спросите у Марии Григорьевны, у Федосьи...

Я понимаю, что перехлестываю через край, но уже не могу остановиться. Голова Сухохлебова беспокойно ерзала по подушке.

— Только не говорите, что я это все выдумала! — прокричала я, и слезы побежали по щекам.

— Нет, доктор Вера, вы не выдумываете,— вдруг произнес он. Взял мою руку, стал тихонько поглаживать.— Вам действительно кое-что не говорят.

Я попыталась выдернуть руку, но он удерживал ее мягко, но крепко.

— Да почему, почему? Побегу и все расскажу немцам? Так?

— Вам уже сказано было, правильно сказано: пчелы делают все, чтобы сохранить матку от любой, слышите, от любой опасности. Чтобы не погиб весь рой.— Он опять погладил мне руку.— На ваших плечах сейчас такая тяжесть, что, если к ней что-нибудь добавить, вы не выдержите...

Это звучало в общем-то правдиво. Но мне казалось — он лжет. И мне стало так горько, что, спрятав лицо в ладони, я разревелась, как девчонка, как дура. Он гладил мне волосы, а я ревела еще пуще. Тогда он заговорил, будто беседуя не со мной, а с самим собою:

— Ну хорошо, давайте рассуждать. Вот я кадровый военный, с самой гражданской форму не снимал. Полковник. Командир дивизии. И вот в разгар войны лежу на койке, как гнилое бревно. И где? Тут вот, в городе, оккупированном гитлеровцами. Это же почти плен. А что может быть для кадрового военного позорнее плена? Что должен сделать командир Красной Армии, коммунист, оказавшись в гитлеровском плену? Уничтожить себя? Правильно. Честно вам говорю, доктор Вера, я ведь хотел застрелиться. Но это не поздно никогда. И я подумал: а может быть, большевик Сухохлебов может еще

сделать что-то полезное для нашей победы. Ну хоть самую малость... И мне стало даже стыдно оттого, что тот, легкий выход пришел в голову... Человек, милый доктор, не побежден до того, пока он сам не признает своего поражения.— Сухохлебов вздохнул.— Нет, доктор Вера, пусть уж каждый из нас в меру сил делает свое дело...

Тут он приподнялся на локте и посмотрел мне в глаза.

— А вы все говорите нам... мне?.. Вот немцы дали вам приказ, под страхом страшных наказаний запрещающий скрывать военнослужащих, коммунистов, евреев. Вы хоть раз об этом приказе сказали нам... мне?

Этот самый «бефель» лежал в чемодане, спрятанный там в детском белье. Я о нем помнила, он пугал и мучил меня, но я как засунула его туда, так с тех пор ни разу и не вынимала. К чему? Слова, выделенные жирным шрифтом: «За неисполнение данного приказа, равно как и любого его пункта, вы будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени»,— эти слова я помнила наизусть.

— Откуда вы знаете об этой бумаге?

— От немцев. Из их разговора. Этот Прусак говорил об этой бумаге доктору Краусу.

— Вы знаете немецкий?

— Мы учили его во Фрунзенке. Но это было давно, в начале тридцатых годов. Половину перезабыл... Но этот-то разговор я понял... Так вот почему вы мне о нем не сказали? — серые глаза смотрели с ласковым упреком.

— А для чего? Я нарушила этот приказ уже в тот момент, когда он был мне передан. Вы это знаете.

— Не хотели нас волновать?

— А зачем?

— Не хотели взваливать на нас новые тяготы? Вот и мы не хотим. Давайте, доктор Вера, распределим роли: ваше дело — медицина, мое — война. И не будем друг другу мешать. Лады? Согласны?

Он что же, советуется со мной? Это ново. Я смотрела на него во все глаза.

— И еще,— снова заговорил он.— И еще — вы мать, с вами дети. Двое детей...

— Но ведь у многих дети. У вас, например... Вы говорили Домке...

— У меня нет детей,— сказал он, и мне показалось, что голос его дрогнул.

— А семья?

— Это уже детали... Впрочем, у меня нет и семьи... Так вернемся к нашему разговору. Правильно, вас не посвящают в некоторые сугубо боевые дела, но не потому, что вам не верят. «Слушайте сюда», как говорит Мудрик. На вашей ответственности госпиталь, столько жизней! Все мы здесь ходим по острию бритвы, но если оступится кто-нибудь из нас, вы лишитесь всего-навсего одного-двух больных... А оступитесь вы — госпиталь лишится сразу и начальника и хирурга. Разница?.. Впрочем, для тех дел, о которых с вами не говорят, вы и не годитесь. Да, да, и не обижайтесь. Вы так же прямы и простодушны, как этот ваш расчудесный Иван Аристархович... Кстати, я за него очень беспокоюсь. Вы знаете, немцы предложили ему пост в бургомистрате, а он не только отказался, но, обидевшись, наговорил им такого... Ну, так как же, вопрос о недоверии исчерпан?

Какой же тягостный груз снимал он с меня. Будто раскрывал дверь и впускал в наши подвалы свежий, морозный воздух... Но с ним-то с самим что? Почему сразу затосковали его глаза, когда я спросила о детях? Вот и сейчас — говорит, а глаза грустные, беспокойные. Не утерпела, спросила:

— А где же ваша семья?

Он приподнялся на локте, сунул руку под подушку. Из-под матраца на миг выглянула рукоятка пистолета. Но достал он не пистолет, а старую, выгоревшую фотографию. Не без труда можно было рассмотреть на ней угол грубо сколоченной террасы, крупную женщину в вышитой кофте, сидевшую на ступеньках, девочку в возрасте моей Стальки. А рядом, опираясь на точеный столбик, стоял высокий военный, с резким, волевым лицом и бритой головой. Он, этот мужественный военный, к гимнастерке которого были привинчены два ордена Красного Знамени и медаль «20 лет РККА», так мало напоминал сегодняшнего Сухохлебова, что я чуть было не спросила: «Это вы?»

— Все, что осталось от моей семьи... Бомба, одна только бомба... Я видел воронку там, где был наш домик в военном городке... Вот такая обстановка, доктор Вера!

Он пожал и бережно опустил мою руку. Смолк, ни один мускул не дрогнул на его костистом, землистого цвета лице. Из глаза вытекла и сбежала на подушку крупная слеза. Оттого, что его лицо сохраняло обычное выражение, я поняла, каково ему. И мое собственное горе, мои

заботы и обиды как бы уменьшились в размерах. Не знаю, как это получилось, но я вдруг наклонилась и поцеловала его в лоб.

И вот лежу я сейчас в своем «зашкафнике». Сладко посапывает мне в ухо Сталька, то и дело ворочается и брыкается Домка. Он тоже у меня иногда бормочет по ночам, а тут я вдруг ясно различаю: «Товарищ Сталин, по вашему приказанию...» Я понимаю, откуда это. Они с сестренкой отыскали сегодня где-то среди развалин маленький портрет и сначала повесили его на колонне, поддерживающей потолок. На самом виду. Мария Григорьевна велела снять: немцы сразу его увидят. Ребята уперлись. Конечно же в дело вмешался Сухохлебов и разъяснил, что на войне хитрость — одно из действеннейших орудий борьбы, нужно быть хитрым с противником. И вот портретик этот перенесен в наш угол. Его прикрепили с тыльной стороны дверцы шкафа. Когда шкаф открыт, он виден, а при появлении немцев стоит закрыть шкаф, и он исчезает...

Все спят, но ко мне сон не идет. Как же это так, Семен? Что же получается?.. Иван Аристархович Наседкин, человек «с сомнительным прошлым», с риском для головы отказывается от поста в этом их вонючем бургомистрате, а твой папаша, «российский пролетарий», открывает мастерскую и скупает у голодных какие-то там часы? Ответственный товарищ Дубинич драпанул, окопался где-то в тылу и потягивает, наверное, медицинский спиртишко, а Верка Трешникова, которую выгнали из комсомола, спасает раненых, оставленных впопыхах... Анкеты у нас как древние свитки — все там есть о бабке, о деде, о белой гвардии, о родственниках за границей, а вот нет там вопроса, что ты за человек, какая у тебя душа. И это всяких там анкетных дел мастеров, оказывается, не очень и интересует.

Дорого, очень дорого стоит эта одна-единственная слеза Сухохлебова...

17

Конец ночи выдался шумным. На город налетели наши самолеты. Гитлеровцы, должно быть, прозевали их, объявили тревогу с опозданием. Впрочем, это нас не касается. Нам некуда прятаться. Глубже в землю не

уйдешь. Остается надеяться на теорию вероятности. Но хотя бомбы рвались где-то в районе станции и ни одна близко от нас не упала, все мы проснулись, женщины закатили истерику, и стоило немалых трудов успокоить их.

Тетя Феня, вылезавшая наружу, рассказывала: «Содом и Гоморра». В районе станции — огромное зарево. Что-то горит и взрывается, и нас ощутительно встряхивает... Понемногу все успокоилось. Но я поняла — не заснуть — и от нечего делать решила до утреннего обхода как следует причесаться, что, признаюсь, в последнее время делаю не часто. Наше импровизированное зеркало безжалостно доложило мне, что физиономия у меня еще больше осунулась, глаза стали почти круглыми и глубоко запали в темные глазницы... Н-да, немало уже годков, ох как немало! И каждый из них, особенно последние, очень заметно расписались на моем лице. Вот только волосы, пожалуй, и остались от прежней твоей Веры. Как раньше, темные, густые, блестящие и, как раньше, имеют тенденцию свертываться в локоны. И седины в них почти не заметно. Но сейчас их и расчесать-то нечем. Расческу я свою потеряла еще там, на мосту, купить негде, и обхожусь пятерней, благо волосы у меня не длинные.

Но раз решила причесаться, надо причесаться. Иду на поклон к Антонине. Та делает утреннюю уборку, орудует мокрой тряпкой. Выпрямилась, отвела изгибом руки со лба свои огненно-рыжие мелкозавитые кудри, удивленно даже, как мне показалось, насмешливо взглянула на меня.

— Руки мокрые, возьмите в тумбочке.

Начала причесываться. И вдруг захотелось опять увидеть не эту бледную, мятую со сна физиономию, а то лицо, что смотрело на меня из овального зеркала Ланской. Оглянулась. Ребята, кажется, спят. Я, по примеру Антонины, стала крепко тереть рукавом губы. По ее утверждению, от этого они становятся красными. Но, очевидно, операция эта помогает, лишь когда бурлит молодая кровь. У меня только стало саднить губы.

— Ма, надо рукав помочить. Антон всегда так, помочит и трет.— Это произносит, конечно, Сталька. Приподнялась на подушке на локотках и смотрит на меня во все глаза.— А потом, ма, послюни пальчик и поводи по бровям.

Я покраснела, будто меня застали за чем-то дурным. Сталька сейчас же переменила тему:

— Ма, а почему люди краснеют? — И совсем неожиданно: — А о чем вы ночью с дядей Васей шептались?

Вот те на...

— Спи.— Я быстро вышла, почти выбежала из своего угла и уже в палате застегивала халат. Шептались!.. Ведь придумает же, малявка. Все, все замечает и всему дает свои, весьма каверзные, толкования.

День начался с тревожного происшествия. Рано, в неположенный час, появились немцы. И не трое, а четверо. Кроме наших обычных явился еще один, в черной шинели на меху, в сверкающих сапогах на высоких дамских каблучках. На нем было все новенькое — и сапоги, и ремни, и перчатки, которые он не снял. От него пахло кожей. Он весь скрипел. Знаки различия у него какие-то другие, и я не поняла, какого он звания, но по черепу на фуражке догадалась, что это эсэсман, а по поведению Толстолобика — что он среди них старший начальник.

Рекомендуясь, новый откозырял, но руки не подал и назвал фамилию, в которой я разобрала лишь приставку «фон». Этот «фон» был холоден и очень надменен. Мне было велено показать ему госпиталь. Он желал сам проверить и людскую наличность, как перевел мне Прусак.

Повела их по палатам, показываю. Толстолобик дает по-немецки свои комментарии, слышу — часто повторяет мое имя. Но «фон», кажется, ничего не слушает. Зато черные, быстрые и какие-то крысиные глазки его так и шныряют, так и шарят по углам, по койкам, под койками, и я почему-то наполняюсь предчувствием надвигающейся беды.

Заходим на кухню, в отсек, где Мария Григорьевна хранит продукты. Не снимая перчатки, «фон» сует руку в мешок, берет горсть крупы с черными точками мышиного помета, брезгливо нюхает и бросает обратно. У ванн с солониной остановился. Протер пенсне. Толстолобик что-то ему говорит, я понимаю только одно слово «пферд» — лошадь. На лице «фона» брезгливая гримаса. Требует истории болезней, или, как они выражаются, «скорбные листы». Прусак складывает их в аккуратную стопку: возьмут их для изучения. Я думаю: «Как здорово, что у нас все в ажуре»,— и с благодарностью смотрю на Толстолобика. Тот сегодня даже не глядит в мою сторону. С худого лица не сходит выражение озабоченности.

В конце обхода «фон», не повышая голоса, за что-то распекает Толстолобика. Тот молчит. Смотрит в пол. Играет скулами. И лишь в конце выдавливает сквозь зубы: «Яволь, герр хауптштурмфюрер». А во мне все нарастает чувство приближающейся беды. Я прячу руки назад, чтобы он не заметил, как дрожат пальцы.

И вдруг в конце визита обнаруживается, что «фон» хорошо знает по-русски.

— Господин комендант сообщил мне, что вы, доктор Трешникова,— он очень четко выговаривает даже мою фамилию, хотя все и всегда ее путают,— что вы не военный медик и потому ваши упущения пока объяснимы. Но мы наведем здесь порядок... Одежда больных — где она? Хорошо продезинфицированная и аккуратно сложенная, она должна лежать в специальных гигиенических пакетах под кроватью у больного.— И вдруг черные крысиные глаза его, как бы состоящие из одних зрачков, да еще увеличенные толстыми стеклами пенсне, впиваются в мои глаза.— Среди тех, кто здесь, есть комиссары? Коммунисты? Евреи? Военнослужащие?

Знакомый вопрос, но впервые он звучит для меня так зловеще. «Бефель»... «Будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени...» Не дрожи, не смей дрожать, Верка... И как противен его правильный русский язык. И эти глаза,— они как револьверные дула... Только бы не опустить взгляд. Напрягаю волю, заставляю себя кокетливым жестом поправить косынку, даже выдавливаю на лице улыбку.

— Здесь лечебное учреждение. Мы интересуемся историей болезни, а не историей больного. Впрочем, военнослужащих нет, это гражданский госпиталь, вернее, больница. Коммунисты? Евреи? Откуда им здесь быть?..

— Вы это точно знаете, доктор Трешникова?

— Я в этом уверена. Город почти пуст, население ушло. Зачем бы эти люди стали здесь оставаться? Они же знают, что вы с ними делаете.

Некоторое время «фон» стоит, как бы взвешивая мои слова. Его аккуратный носик оседлан большими, круглыми пенсне. У пенсне сильные стекла. Глаза кажутся неестественно большими.

— Из госпиталя кто-нибудь ушел? Были выписки?

— Да, два или три человека.

— Два или три?

— Трое. Двое ушли, один умер.

— Куда ушли те, что выздоровели?

— Домой.

— Куда именно? Имена, адреса?

М-да, это не Толстолобик и даже не Прусак. Но спокойствие, Вера, спокойствие! Пожимаю плечами.

— Я — врач, мое дело лечить больных. Записями приема и выписки ведает сестра-хозяйка. Сестра Фельдъегерева.

Мария Григорьевна давно уже тут. Стоит поодаль и, как спасательные круги, бросает мне спокойные, будто даже сонные взгляды. Она, конечно, что-нибудь придумает.

— Сестра Фельдъегерева, скажите господину военному, кто и когда у нас выписался.

Ох и умница же эта Мария Григорьевна! Одно из двух — или в ней погибла актриса, или у нее действительно железные нервы. Она неторопливо надевает свои очки в оправе и идет к шкафчику. Достает толстую книгу, в которой она ведет учет белья, и, хотя никаких сведений о выписавшихся там, разумеется, нету, оттуда, от шкафа, будто читая, называет по памяти имена. Говорит адреса. Риск? Конечно, риск. Но все это выходит так естественно, что даже этот «фон» верит. В этот момент из-за ширмы Сухохлебова доносится тяжкий, подавленный стон. Бросаюсь туда. Он закрыт одеялом до самых глаз, но глаза ясные, и я читаю в них отчетливо, безошибочно читаю: «Молодец». А когда я беру его руку посчитать пульс, он тихонько жмет мне кисть.

— Что там? — спрашивает «фон».

— Больной,— я чуть не называю его настоящую фамилию.— Больной Карлов, тяжелая контузия от взрыва миной замедленного действия,— отвечаю я теперь уже почти спокойно.

— Почему он отгорожен?

— Очень мучается, стонет. Это влияет на других.

Поскрипывая сапожками, «фон» подходит к ширмам. Заглядывает за них.

— Обстоятельства контузии?

Я пожимаю плечами.

— Шел по улице, мина замедленного действия развалила дом.

— Мина замедленного действия? Азиатское коварство коммунистов.

Теперь, когда этот «фон» стоит возле лампы, я могу рассмотреть его. Круглое лицо, яркие губы и какой-то срезанный, будто прячущийся под воротник подбородок.

— Доктор Трешникова, ваши порядки неудовлетворительны. Всех выздоравливающих вы должны сгруппировать и перевести в особое место — вон туда,— он показывает на третий, самый отдаленный от выхода отсек подвала.— Нужны также списки инвентаря, коек, тумбочек, биксов, комплектов постельного белья, запасов продуктов... Вы их отвратительно храните.— Он брезгливо понюхал пальцы перчатки, которой он брал крупу.— Срок выполнения — сутки. Мой ученый коллега доктор Краус — он большой либерал и попустительствовал непорядкам... Через сутки мы проверим выполнение приказа.

Он козырнул, насмешливо поклонился, и они пошли к выходу. Толстолобик был хмур, он еле кивнул. Как только их машина проурчала на улице, я бросилась к Сухохлебову. Он тоже был встревожен. Даже глазами не улыбался.

— Я где-то промахнулась? Сказала не так?

— Доктор Вера,— Сухохлебов не мог скрыть волнения,— это опасность. Страшная опасность. Это вам не Толстолобик,— и потом добавил задумчиво: — А знаете, доктор Краус, кажется, больше чем просто честный немецкий интеллигент, как я о нем думал. Жаль, мы этого не знали, хотя я мог кое-что подозревать.

Я удивленно смотрела на Сухохлебова.

— Откуда вам стало известно? Когда?

— Вот сейчас. Это сказал хауптштурмфюрер войск СС фон Шонеберг. Здесь вот. Только что.

— Он сказал?

— Не нам с вами. Этот надутый индюк, конечно, уверен, что русские недочеловеки не могут знать его языка. Он откровенно стал распекать Крауса за симпатии к русским. Он сказал: «Вы что же, хотите возобновить знакомство с СД?» Понимаете, доктор Вера,— в о з о б н о в и т ь. Стало быть, эта организация когда-то уже занималась Краусом...

— А что такое СД?

— Зихерхайтсдинст — гитлеровская служба безопасности. Перед ней трясутся даже генералы. Если она занималась когда-то Краусом, это лучшая для него рекомендация.

— Какое все-таки счастье, что мы успели переписать наши истории болезней! — воскликнула я, занятая своими мыслями.

— И всех остригли. И сожгли обмундирование,— кивнул Сухохлебов.

— Ну, это не я. Это — Мария Григорьевна.

— А сейчас надо достать для всех гражданское и обязательно выполнить все, что Шонеберг требует. От этого пощады не жди...

В самом деле, несмотря на маленький росток и приличные манеры, от этого «фона» веет жутью. Я поняла — новая опасность сошла в наши подвалы вместе с этим человечком на высоких каблуках. И хотя день выдался все-таки неплохой, хотя женщины наши вернулись из нового похода за одеждой с двумя полными санками всяческого барахла, хотя в общежитиях у них нашлись добровольные помощницы, обещавшие к завтрашнему насобирать еще, на душе тягостно, тревожно, все валится из рук.

Добавила волнений и Зинаида. Она привела чернявую девчурку лет семи. Бедняжка трясется не то от мороза, не то от страха, не плачет, не отвечает на вопросы. Только глядит кругом, как затравленный зверек, и жмется к Зинаидиной юбке.

— Раей зовут,— рекомендовала та и как о чем-то решенном сообщила: — Со мной жить будет.

И не она, а другие женщины, ходившие в поход за одеждой, пояснили, что это младшая дочка того самого инженера Блитштейна, которого эсэсманы схватили несколько дней назад. Ее и ее сестер тетки с «Большевички» прятали по своим комнатам. Но какая-то сволочь, говорят, польстившись на пожитки девочек, выдала их. Полицаям, нагрянувшим ночью, удалось схватить старших. Младшая вырвалась, убежала. Кто-то успел укрыть ее в дровах в котельной.

— С нами жить будет, не объест,— повторила Зинаида.

Я вспомнила Шонеберга, вспомнила, как он вглядывался в лица, вспомнила, что испытала, попав под обстрел его крысиных глаз. Сразу же встал вопрос: оставив девочку, не подвергну ли я весь госпиталь опасности? И сразу же стало стыдно: что же я, хуже этих женщин

с «Большевички» и этой нашей Зинаиды? Они ж тоже головами рисковали.

Впрочем, Зинаида, должно быть и не допуская какого-то иного решения, уже раздела девочку, укладывала ее на свою койку.

— Вот тут, Раечка, и будешь со мной жить, пока вернутся папа с мамой и сестрички...

Вечером мы начали то, что тетя Феня назвала по-библейски переселением Авраама в землю Ханаанскую. Согласно приказу, мы перетаскивали койки, тумбочки, столы. Антонина была просто бесподобна. Вот уж Антон так Антон. Тяжелых таскали на носилках Домка в паре с Капустиным, который совсем уже поправился. А почтенная Антонина, подняв больного на руки в одиночку, осторожно несла через палаты, продолжая при этом рассказывать какую-то историю. Звенел ее детский голосок: «Вы знаете, тетя Феня, я его после этого еще больше запрезирала, а он меня еще больше зауважал. Я не хочу быть голословной, спросите его самого».

Словом, Семен, день окончился вроде бы как и благополучно, а меня вот не оставляет ощущение, что петля стягивается на шее. Даже порылась в белье, отыскала эту проклятую бумагу и перечитала, хотя помню ее наизусть... Этот Шонеберг забрал истории болезней. Иван Аристархович, конечно, сильно подправил эти документы. Еще в первую мировую войну он изучил в совершенстве все способы надувательства врачебных комиссий. Знает, как нагонять температуру, вызывать сердцебиение, понос, рвоту, рези в желудке, действительные и мнимые. Великий эксперт по делам симуляции. Все это нашло отражение в больничных листках, заново переписанных Домкой и подкрепленных температурными листами... И все-таки очень волнуюсь...

Верка, не смей думать об этом. Надо не терзаться всяческими предположениями, а действовать.

Вот Наседкин — тот не волнуется, а действует. Вечером собрал мужчин военных и невоенных и с пресерьезным видом читал им лекцию, передавая им многовековой опыт симуляции. Терпеливо вдалбливал каждому, в чем состоит его мнимый недуг, как изображать его признаки, как приостановить заживление раны и как вызвать воспалительный процесс.

И Сухохлебов действует: вызывает бойцов и командиров по одному и повторяет с ними их легенды. Задает каверзные вопросы. Помогает выпутываться из затруднительного положения. Сам он, согласно своей легенде, Карлов, агроном из верхневолжских крестьян, 1882 года рождения, народный ополченец, контуженный миной. Он так оброс, что ему можно дать значительно больше его истинных сорока пяти лет. И в таком виде он действительно не представляет интереса для гитлеровской Германии.

Нет, мы время зря не теряем.

Перед тем как идти спать, зашла в сестринский угол. Зинаида спала, прижимая к себе найденыша, будто боялась, что девочку отнимут. Они тут уже вымыли ее. Лежит свеженькая, розовая. Удивительно, как эти малыши чутки на ласку. Говорят, она уже поверила, что родители ее уехали куда-то работать, и вечером голосок ее звенел, как колокольчик.

Все вроде бы хорошо. Но почему же такая тревога, такая тоска на душе? Почему я вздрагиваю при любом шуме и все чего-то жду-жду?.. Нервы, что ли?

18

Два события: заработал наконец автоклав и похоронили нашего Василька.

Автоклав пускали с той же торжественностью, с какой когда-то вводили в строй Днепрогэс. Речей, правда, не говорили. У нас это, слава богу, выходит из обычая, но когда круглая блестящая штука, приспособленная Петром Павловичем для дровяного отопления, засвистела и манометр показал нужное давление, Мария Григорьевна даже прослезилась, а больные, хотя большинство из них, конечно, и не понимало, что это за машина и для чего она нужна, шумели, галдели, жали руки мастеру. Он принимал эти благодарности торжественно и важно. Об оплате он даже и не заикнулся, и это как-то примирило меня с представителем возрождающейся частной инициативы. Не только меня, но и ребят. Они даже отправились провожать деда, но, не доходя до домика, он завернул их обратно: дескать, летают самолеты, можно попасть под бомбежку.

Василька похоронили тихо. Наш Дроздов, невысокий, сильный дядя, у которого голова будто бы всажена в мо-

гучее туловище, кажется, начисто излечившийся после тяжелого ранения в пах, сколотил из топчанных досок гроб, а утром отправился на кладбище и выдолбил в мерзлой земле могилу. Гроб привязали полотенцами к санкам, и мы двинулись по знакомой уже дороге: Зинаида, Мария Григорьевна, да я, да Домка со Сталькой. Я говорила уже тебе, Семен, что путь к кладбищу теперь лежит мимо вашего дома. И опять как-то бросилось мне в глаза, что к калитке ведет аккуратно расчищенная тропка, что окна не замерзли, а над трубой — дым. Словом, мастерская у Петра Павловича явно процветает. Впрочем, какое мне до этого дело.

А вот кладбище, в особенности последний отрезок дороги, это мне запомнилось. Как только прошли людные кварталы, то справа, то слева стали попадаться какие-то маленькие холмики. Сначала не обращали на них внимания, но один такой холмик оказался у самой тропинки, и Сталька вдруг взвизгнула:

— Ма, рука, смотри — рука!

Действительно, рука с развернутой ладонью тянулась прямо к тропе. Тонкая, прозрачная, будто вылепленная из воска.

— Что ж, иные не довозят. Выбьются из сил и оставляют хоронить деду-морозу,— вздохнула Мария Григорьевна.

Ну, а на кладбище я пожалела, что взяла ребят с собой. Здесь кто-то все-таки пытался поддерживать порядок: мертвые, как дрова, были сложены под навесом у ворот. Дроздов недаром трудился с рассвета, мы похоронили нашего Василька по всем правилам. Опустили гроб в глубокую яму, забросали мерзлыми комьями земли. Даже когда комья грохотали о крышку, никто не плакал. Зинаида стояла неподвижная и тоже не плакала. Но возвращаться с нами отказалась. Наказала только Марии Григорьевне:

— Пригляди за девчонкой, а я с ним побуду...

— Погляжу. А ты поплачь, слеза-то любое горе высушит...

И мы ушли, оставив Зинаиду одну среди снегов, у черного продолговатого холмика.

Вечером она не вернулась. И я уже ругала себя за то, что оставила ее там... Даже поделилась своими опасениями с Марией Григорьевной. Но та сидела возле автокла-

ва, с упоением слушала, как шумит и булькает в его сверкающем животе, и ответила только:

— Вернется. Девчонка здесь. Она от нее не уйдет.

Примерно в полночь, когда все спали, скрипнул блок входной двери. Подумав, уж не немцы ли нагрянули, я быстро стала одеваться. По потолку метался отсвет ацетиленовой лампы. Слышался тревожный голос тети Фени:

— Кто, кто там?

— Король жонглеров и эксцентриков, народный артист Приморского района Феодосии один-Мудрик-один.

Он стоял облепленный с головы до ног снегом. Небольшая пушистая елка, которую он держал, тоже белела и даже сверкала в мертвом зеленоватом свете. Не знаю уж почему, я очень обрадовалась, бросилась к нему. Стала трясти его холодные, мокрые руки.

— Ой, какое чудное деревце! Вот спасибо-то вам! Как вас благодарить?

— А вы и не благодарите, доктор Верочка. Дайте ручку поцеловать.— И рука моя ощутила шелковистое прикосновение его каракулевых усов.

От елки да и от него самого тянуло свежестью, лесом, метелью, снегом. Вдруг вспомнилось комсомольское рождество, которое мы когда-то проводили с тобой, Семен, у церкви девичьего монастыря, что был между «Большевичкой» и «Буденовкой». Ребята из клуба «Текстильщики», наряженные в какие-то белые хламиды и черные мешки, изображали святых и чертей, вспомнила даже глупейшую частушку, которую мы тогда горланили:

Если не было бы бога,
Не была бы богомать,
Не была бы богомать,
Некуда б было послать.

А потом густо повалил снег, и мы, позабыв и бога, и чертей, и религию, с которой надо бороться, и атеизм, который надо было утверждать в сознании масс,— все мы — святые и черти, попы и монахи, керзоны и пуанкаре — с хохотом и визгом неслись на санях с горы к речке Тьме, под торжественный звон могучих колоколов, и катались по снегу, как щенята... Как хорошо, легко и бездумно тогда жилось. Все ясно и определенно, никаких сомнений, никаких проклятых вопросов... Все это разом напомнила мне елка, на ветвях которой уже сверкали капли растаявшего снега.

— На улице хорошо?

— Погода — смерть немецким оккупантам! — Мудрик вытирал ладонью капли растаявшего снега со своей каракулевой растительности.

— Подождите, Мудрик, я сейчас оденусь.

Сама не знаю, что со мной сделалось, побежала к себе, нашла пальто, накинула платок и, даже опередив Мудрика, выбежала из подвала. Метель крутила, вертела, бросала в лицо снежные хлопья. И было при этом так тихо, что, честное слово, я слышала, как они мягким звуком ложатся на рукава, на воротник. Кругом — ничего, кроме крутящегося снега, и ощущение — будто подхватило тебя и ты летишь, летишь куда-то вверх. Ни забот, ни хлопот, ни мысли о будущем, ни прошлых, ни грядущих бед. Только вот это кручение снега, эта свежесть морозной зимы.

— Мудрик, о какой елке вы говорили тогда с Василием Харитоновичем?

— Я говорил? — настороженно переспросил Мудрик, явно желая уйти от этого вопроса.

— Вы,— настаивала я.— Помните?

— А, это у полковника, что ли? — деланно припомнил он.— Так вот об этой самой. О той, которую принес.

— Нет, не об этой. Я знаю. Мне Василий Харитонович сказал. — Приятно было наблюдать явное смущение этого принципиального наглеца.

— Вы меня за лонжу не дергайте,— сердито произнес Мудрик.— Думаете, если вы вышли со мной на снежок постоять, так у меня шарики за ролики закатятся...

— Вы меня в комендатуре видели?

— Ну а как же, с той самой, с дамой-раскладушкой.

— Поэтому и не верите?

— В кого Вовчик Мудрик не верит, тот лежит на столе в картонных тапочках... А вы не обижайтесь, доктор Верочка, задумал Мудрик такое тройное сальто слепить, какого ни один манеж не знал.

— А что такое тройное сальто?

— О-о-о, это видеть надо...

— Ну, так и что же за сальто вы задумали?

— Сказка Андерсена и братьев Гримм. Смертный номер под куполом без лонжи.

— А что такое лонжа?

— Веревка такая, которой циркач страхуется,

Мы вели этот пустой разговор, и как-то трогательно было наблюдать его смущение. В кипении метели я нащупала его руку и пожала. Пожала и испугалась. Он вцепился в нее обеими руками, прижал к губам, и губы у него были горячие, требовательные. Испуг парализовал меня.

— Тогда вы мне по фотографии,— твердил он, будто задыхаясь от быстрого бега. — Кто бы другой, я б из него его самого вышиб, а вы... Нате вот, Вера Николаевна, ударьте. Ударьте что есть силы, спасибо скажу...

Но вдруг насторожился, напрягся, как охотничий пес, делающий стойку. Сунул руку в карман куртки и прыгнул в метельную мглу. Раздалось приглушенное:

— Ложись, в кусты разнесу.— Потом смущенно: — Ты, Антон? Не прячься, думаешь, не вижу? — Он свистнул по-своему: — Фю-фю — фью...

Ответного свиста не было. Мне показалось, что за шевелящейся занавесью снега я расслышала приглушенный, точно бы детский, плач. Стало очень не по себе. Нащупала рукою дверь и сошла вниз.

Вот это, называется, подышала свежим воздухом.

19

...Теперь по утрам мы ждем Ивана Аристарховича с особым нетерпением.

Новости нам нужны даже больше, чем болеутоляющие средства. Раньше он приносил эту паршивенькую газетенку «Русское слово». Мы, по выражению Сухохлебова, читали ее наоборот, ища, так сказать, доказательств от противного. Он здорово умел это делать.

Теперь мы узнаем новости из листовок. Их по ночам сбрасывают маленькие самолеты, «крышники», как называют их у нас, потому что по ночам они часами чуть ли не ползают по крышам города. Замечательный самолет. Честное слово, после войны надо бы ему поставить памятник. С темнотой несколько «крышников» появляются над немецкими позициями над городом и кружат, кружат. Шум слабеньких моторчиков — для нас это голос, говорящий, что мы не забыты, что там, за рекой, помнят, готовят нам выручку, ну, а у гитлеровцев они, естественно, вызывают ярость, потому что летчики с этих машин очень точно бросают свои маленькие бомбы,

И они вызывают огонь немецких зениток. Поднимается страшная пальба, но это, как говорит наш Дроздов, все равно что палить из ружья по комару. А летчик, попавший к нам недавно, утверждает, что полеты эти истощают артиллерийские запасы противника, и это, может быть, и делается умышленно, в предчувствии скорого наступления.

Наступление! — это слово не сходит теперь у всех с языка. О нем говорит и Сухохлебов, а он слов на ветер не бросает. В листовках, которые где-то там подбирает и приносит нам по утрам Наседкин, чудесные сводки: враг отброшен от Москвы... По немецко-фашистской армии нанесен новый удар... В боях разгромлено... Убито... Взято в плен... Наши трофеи... Ни одного сданного пункта, только занятые... Как это замечательно! А в «Русском слове» уже бормочут что-то о перегруппировках сил, о спрямлении линии фронта перед новым, решающим наступлением на Москву, о том, что Красная Армия бросает в бой последние резервы. Знаем уж эти «перегруппировки», «спрямления» и «последние резервы»... Опытные, нас не обманешь!

Да и по поведению немцев чувствуем, что они озабочены отнюдь не новым, решающим наступлением на Москву. Разве не видим, сколько машин, танков, пушек движется через наш город туда и сколько и что возвращается оттуда. И в каком виде. Гитлеровцы нервничают, торопятся, они уже не заботятся о том, чтобы придавать своим бесчинствам вид законности. Раньше людей мобилизовывали, и они попадали в рабство через вербовочные пункты. Теперь просто устраивают облавы, хватают мужчин и женщин на улицах, бросают в вагоны. Даже, говорят, гонят колоннами куда-то вверх по реке. Нас пока не трогают. Забыли, что ли... Но я вся в напряжении. Вздрагиваю от каждого громкого звука. Руки трясутся, веко дергается. Стоит ночью открыть глаза — и уже не уснуть.

Наступление, наступление! Теперь-то уже недолго. Сводки читают по нескольку раз. Они даже дороже еды, которая, к слову сказать, все скуднее и скуднее.

Но особенно дороги нам те листовки-афишки, которые Наседкину иной раз удается отклеить с какого-нибудь забора или стены. Наши, верхневолжские, издаваемые где-то тут, в самом городе. Свои, близкие новости: там или здесь сожжен склад... отбито на этапе столько-то

граждан, угнанных в гитлеровское рабство... казнены такой-то и такой-то изменники. И надежда: близится освобождение города. И призыв: «Держитесь, теперь скоро!..» Дорого сознавать, что где-то здесь, рядом, действуют, сражаются храбрые люди, против которых бессильна вся техника гитлерии, думать, что люди эти, наверное, знают и о нас, может быть, наблюдают за нами, в решительную минуту придут к нам на помощь.

Вот и сегодня Наседкин пришел торжественный, важный. Он кхекал более многозначительно, чем всегда, довольно расправлял свои моржовые, покрывающие рот усищи. И мы узнали, почему вот уже третьи сутки за городом, вниз по течению реки, густо чернеет небо: не названный в листовке народный мститель с большой дистанции угодил гранатой в немецкую автоцистерну, стоявшую на заправке, и от нее загорелись бензиновые баки. Теперь, по определению Сухохлебова, горят тяжелые смеси, которыми заправляют громадные дизельные машины немцев. Баки баками, горючее горючим, но главное — еще одно подтверждение: скоро, теперь уже скоро.

Только бы продержаться, не упасть духом, не сделать сейчас, в решающие дни, какой-нибудь неверный шаг. Теперь я поняла, что Сухохлебов затеял елку и так серьезно готовится к ней, чтобы рассеять напряжение, поддержать в людях дух.

Деревце, принесенное Мудриком, наши умельцы вправили в обод колеса сожженной машины. Его установили в первой, теперь, когда мы вывели отсюда выздоравливающих, сильно опустевшей палате. Странное дело — небольшая, чуть выше человеческого роста, елочка источает такой запах хвои, что он, побеждая все другие, отнюдь не симпатичные наши ароматы, напоминает о детстве, о чем-то хорошем, что уже, увы, не вернется.

Для украшения елки был придуман целый ритуал. Сухохлебов настоял, чтобы его на время перевели назад в первую палату. Усадили, обложили подушками. Как полководец с командного пункта, он руководит Раечкой, Сталькой и Домиком: «Это повесьте сюда, это — туда. Усильте правый фланг, обеспечьте сверканием левый». К вершине они привязали большой термометр с отбитой капелькой ртути. Вместо снега — вата. Новую Мария Григорьевна им не дала. Под руководством Антонины девчонки выкипятили бывшую в употреблении.

Распушили, разложили по веткам. Получился отличный снег.

В свободную минуту я наблюдаю за всеми приготовлениями и, знаешь, Семен, нашла и еще одно сходство у тебя с Сухохлебовым. Вы оба умеете увлечься делом, как бы оно ни было мало... Этот немолодой человек, командовавший дивизией, право же, увлечен украшением елки не меньше, чем сами ребята. Он заразил этим всех наших ходячих, которые набились в полупустую палату, сидят на корточках, теснятся вдоль стен, дают ребятам советы, помогают... И, главное, все получают удовольствие.

Тетя Феня, которая, как я тебе уже говорила, успела когда-то побывать в монашках, блеснула своим рукоделием — с помощью акрихина и стрептоцида накрасила тряпок, компрессную бумагу, наделала какие-то невероятные цветы, яркие и нелепые. Даже Мария Григорьевна, посматривавшая на всю эту затею с усмешкой, в конце концов расщедрилась, отпустила коробочку бертолетовой соли, и снег на ветках засверкал.

Я в этом действии участия не принимала. Просто смотрела на возню и отдыхала душой. Даже веко мое угомонилось, перестало дергаться. Смотрела,— и может быть, тебе это покажется странным,— мне вспомнились упрямые грибы. Да, да, я не обмолвилась. Ты помнишь, конечно, Сенную площадь? Раньше по четвергам и воскресеньям здесь собирались большие базары. Ее еще при тебе заасфальтировали, благоустроили, а базар был перенесен за Тьму. Так вот однажды утром, летом, бегу я по адресам к больным и вижу — мамочки! Грибы! Ну да, грибы шампиньоны! Они как-то пробились сквозь каменистую корку, приподняли асфальт. Тут и там повылезли из трещин белые шляпки... И вот сейчас смотрю, как украшается наша елочка, и думается, что вот так же сквозь страшную каменную броню, закрывшую всех нас, пробивается это пушистое радостное деревце — привет дорогого мира, который временно покинул нас и который, как в это все мы верим, скоро к нам вернется.

Слышатся со всех концов советы:

— Эй, эй, Раенок, мензурочку побереги! Она для верхних веток, а сюда давай вон тот коричневый пузырек.

— Ну куда, куда вы? Здесь же не видно будет.

— Сталька, не слушай, вешай на прежнее место. Надо, чтобы он сверкал.

— Домка, перевесь вон ту штуковину направо... Где у тебя правая рука?.. Ну вот на правую и вешай.

Последние несколько дежурств Антонина клеила из полосок бумаги целые цепи. И вот теперь собственноручно растягивает их между ветками, от усердия высунув даже кончик языка. Милый, могучий Антон, какой же ты все еще ребенок! Ну почему у тебя сегодня такое встревоженное лицо? Почему ты не глядишь на меня? Неужели из-за этой выходки Мудрика там, наверху, во время метели? Да я бы и сама была рада, чтобы всего этого не случилось.

Честно говоря, я побаиваюсь этого Мудрика, его наглых глаз, иногда сверкающих белками, как глаза лошади. Мне хочется, чтобы кто-нибудь, употребляя твое словечко, «обелетировал» меня перед тобою, чудачка.

Часы, когда украшали елку, были, пожалуй, самыми хорошими за время нашего подземного существования. Мы просто как-то позабыли, где мы, что нам угрожает. Из этого счастливого состояния нас вывело появление немцев. Хорошо, что это были те, к которым мы уже привыкли. Черномундирного Шонеберга с ними не было.

— О-о-о! — многозначительно произнес Толстолобик, взирая на нашу елку, и усталые, глубоко запавшие глаза его повеселели. Он даже пропел на какой-то детский мотивчик:

О, танненбаум,
О, танненбаум!

Они быстро прошлись по госпиталю, одобрили наше перемещение. Но лицо Толстолобика оставалось озабоченным. И когда Прусак где-то задержался, он начал мне бурно говорить. Многого я, конечно, не поняла, но по отдельным словам, по медицинским терминам, звучащим одинаково на всех языках, а главное — по взволнованному тону я как-то инстинктивно догадалась, что Шонеберг не случайно потребовал наши медицинские карты, что все должно быть приведено в соответствие с ними. Несколько раз в речи его прозвучало это, такое знакомое мне, грозное слово «бефель». Мучительно медленно плетя фразы, подобно Прусаку, из разных славянских языков, Толстолобик выжимал:

— Фрау Вера, пан хауптштурмфюрер говорит, вы нет барзо добже выполняйт бефель штадткомендатур...

Нет вельми красно?.. Ферштеен зи?.. Нет карашо... Зо, герихт... Бефель штадткомендатур... шнель, фрау Вера... экспресс... О, зо бистро, бистро...

Он что-то еще хотел сказать, но появился Прусак, и он отвернулся к елке.

— Гут, зер гут.

Прощаясь, он к своему обычному «ауфвидерзеен, фрау Вера» добавил еще что-то, что, как я догадалась, было пожеланием хорошо повеселиться у елки, но взгляд его оставался тревожным и, как по крайней мере мне показалось, возвращал мое внимание к фразе, которую он сконструировал с таким трудом.

Меня этот неожиданный визит взволновал. Сухохлебов, слышавший разговор, подтвердил, что комендатура, по-видимому, целиком перешла к эсэсманам и что появилась для нас какая-то живая угроза. Какая? Может быть, этот Шонеберг догадался или догадывается о том, кто у нас лежит? Мне не понравилось также, что Прусак пристально смотрел на Раю. Но это, может быть, только показалось. Во всяком случае, мы с Сухохлебовым решили оставить наши тревоги между собою. К чему омрачать праздник, которого все так ждут!

Впрочем, праздничная суета уже перешла на кухню. Там наши женщины варганили что-то из чего-то. Я уединилась в хирургической с копиями медицинских карт, перебирала их и ломала голову: как же быть с теми, кто действительно уж поправился? Если Шонеберг предпримет обследование, им угрожает прямая опасность быть угнанными в Германию, да и нас не помилуют за сокрытие их от мобилизации.

А госпиталь весело шумел. Все, кто ходил, сновали взад и вперед. Даже костыли и палки в этот вечер стучали как-то весело. Слышался бас Сухохлебова, звенели голоса ребят. Наш брат милосердия, потеряв свою медицинскую солидность, с криками носился около елки. И особенно радовала меня наша маленькая новоселка. Каким затравленным зверьком попала она к нам, какой страх, какое недоверие светилось в ее больших, черных и, как мне тогда казалось, совсем не детских глазах. Она не отвечала на вопросы и только оглядывалась в сторону спрашивающего. Сталька не отходила от нее и все время прибегала и докладывала:

— Ма, она сказала «не хочу»... Ма, она улыбнулась. Честное октябрятское, улыбнулась. Я видела.

А сейчас они суетились возле елки, как две птички, и я снова поражалась: как эти малыши быстро ко всему привыкают. Маленький кусочек радости — и все горе забыто, и смех, и глазенки сияют...

...Вечером, когда заканчивались последние приготовления, ребят выставили из первой палаты. Домка пробрался ко мне в хирургическую и солидно уселся с книгой возле лампы. Но девчонки маялись от нетерпения, то и дело открывали дверь, просовывали носы.

— Еще не готово?.. Скоро?

Где-то рядом звучал возбужденный голос Стальки:

— Пойдем к Вере, спросим, зачем Иван Аристархович шубу принес. Мы мешаться не будем — спросим и уйдем... Что ж такое...

— Но Вера не велела.

— А мы тихонько, на цыпочках. Только спросим про шубу — и все.

И снова вдали звучало:

— Ну чего же вы, наверное, пора!

Домка стоически сидел у лампы. Не пристало, конечно, брату милосердия томиться в этих девчоночьих ожиданиях. Но я-то видела, что давно уже он не перевертывает страницы книги, хотя на душе, как говорится, кошки скребли, но и на меня эта возня вокруг елки начинала действовать.

Наконец в первой палате раздались звучные удары. Били, видимо, в наш медный таз, в котором мы кипятим инструменты. Позабыв про солидность, брат милосердия сорвался с места так, что книжка полетела на пол. Но девчонки поразили меня своей чуткостью. Они тоже понеслись на зов самодельного гонга, но где-то по пути спохватились

— А Вера? Захватим нашу Веру.

И тотчас же обе влетели в хирургическую, куда им вообще входить строжайше запрещалось. Сталька схватила меня за халат и во весь голос кричала:

— Ма, пойдем скорее, там кто-то рычит!

Вместе с ними вошла я в палату, где стояла елка. Собрались почти все. Даже некоторых из тяжелых принесли сюда вместе с койками. Из коек образовали как бы амфитеатр. Одна стояла у самого деревца. Я сразу узнала, чья она. На ней возвышалось что-то большое, косматое. Оно ворочалось и рычало.

— Медведь, медведь! — кричали девчонки, подпрыгивая.

Он был, конечно, очень условен, наш милый, самодельный медведь. Однако старательно рычал, а главное — выдал ребятам по кулечку с гостинцами. Потом взрослых обнесли крохотными коржиками, оставлявшими на губах мертвую сладость сахарина.

Вовсю сияли картонные стеариновые плошки, их зыбкое пламя выхватывало из полутьмы взволнованные лица. На особой скамеечке сидел Наседкин. Ради такого случая он приоделся в черную шевиотовую, вероятно еще дореволюционного пошива, тройку. Рядом его жена, высокая, полная старуха с белыми как снег волосами. Глаза ее сохраняли живость, фарфоровую голубизну и резко контрастировали с сединой. Старики снисходительно улыбались. Впрочем, в этот вечер улыбались даже те, кого мучили недуги, и я почувствовала, как теплый комок подкатывает к горлу.

Я бы, чего доброго, пожалуй, и действительно прослезилась, но тут тетя Феня, которой, должно быть, была отведена роль церемониймейстера, снова ударила в хирургический таз. Из моего «зашкафника» легко, будто летя, выпорхнула белая фигура. Ну конечно же это наша Антонина в цирковом трико. На голове роскошный кокошник. Развевается марлевая фата, и под ней пылают огненно-рыжие, пушистые, мелко вьющиеся волосы. Красавица, просто красавица эта наша импровизированная Снегурочка. Выкрикнув гортанно «ап», она вдруг перевернулась через голову и очутилась снова на ногах. И снова «ап», «ап». До чего же легко, пружинисто ее тело. Перевертывалась через голову взад и вперед. Идет колесом. И все с грацией, какую нельзя и ожидать от нашего массивного Антона. Ребята застыли в восторге. Потный Сухохлебов, уже вылезший из-под тяжелой дохи, устало и довольно улыбался.

В сущности, ничего особенного: обычные цирковые коленца. Но как они действуют в этом мрачном подвале, где никогда не блеснет солнечный луч, где все живут в постоянном страхе. Нечто сказочное и в этой скромной елке, и в коржиках на сахарине, и в красивой женской фигуре, облитой белым трико.

И когда наконец Антонина, сделав какой-то сложный переворот, вдруг присела на койку и очень обыденно произнесла: «Уф, упарилась!», стало тихо. Все молчали,

Трудно было переходить из сказки к жизни, и не хотелось, чтобы волшебная Снегурочка снова превращалась в медсестру.

— Школьно сработала, да? — с детским простодушием спросила наша Снегурочка, и русалочьи глаза ее сияли вдохновением.— А знаете, как трудно-то. Думала, все забыла. Думала, будут сплошные дрова... А ведь ничего? Нет, вы правду скажите, неплохо? — И вдруг бросилась ко мне на шею.— Вы у нас, Вера Николаевна, умопомрачительная умница!

В заключение Мария Григорьевна стала раздавать «пирожное». Это были кусочки жесткого, нашей выпечки хлеба, намазанные абрикосовым повидлом. За ней следовала тетя Феня. Из умывального кувшина она наливала в кружки, чашки, мензурки, колбы,— словом, в любую посуду, какую они только нашли, заправленную сахарином воду, вскипяченную с лавровым листом и чуть сдобренную тем же повидлом. Но, честное слово, если бы это было лучшее вино, не знаю уж, какой там марки, его не держали бы с такой осторожностью, боясь расплескать даже каплю. Настало замешательство: «вина» хватило на один-единственный тост. Сухохлебов, на которого все смотрели, вдруг предложил:

— Пусть Иван Аристархович, он среди нас самый старший, самый уважаемый...

Нет, я не преувеличиваю, я сидела рядом и видела — кружка задрожала в руке Наседкина. Он встал, одернул длиннополый пиджак, похожий на сюртук, от которого несло нафталином, разгладил усы. Сегодня он их чем-то смазал, что ли. Они перестали быть моржовыми и не загораживали рот.

— Ну что ж... самый старый — это, пожалуй, кхе... Это верно, кхе-кхе... ну что ж.— И вдруг произнес торопливо и яростно: — Чтоб всю эту фашистскую нечисть — в пух и прах. Чтоб до Берлина их гнать. Чтоб всех этих гитлеров к стенке...

В подвале стало так тихо, что мы услышали, как на дворе воет метель, покачивая дверь, будто ломясь в нее...

— К стенке — это для них жирно,— пророкотал Дроздов.— Петля собакам будет в самый раз.

Никто не ожидал такого тоста. Все встали и тихо, точно произнося клятву, молча выпили эту отдающую железным ведром жидкость.

А потом пришло какое-то буйное веселье. Пели без складу и ладу. Просто выкрикивали какую-то чепуху. Пытались танцевать. Наша набожнейшая тетя Феня пустилась в пляс с Дроздовым, потом Антонина танцевала с Ленькой Капустиным, и тот чертом вертелся вокруг нее, выделывая ногами такие штуки, что мне пришлось вмешаться, ибо это угрожало его только что сросшейся руке... И наш Гуляй Нога приплясывал на костылях, делая глазами женщинам. Ведь это подумать только! Где, когда, в какое время!

Но для меня конец праздника вдруг приобрел горький привкус. Сначала Антонина веселилась шумнее всех: Так и мелькала ее белая скульптурная фигура. Потом как-то незаметно исчезла. И вдруг Сталька теребит меня за халат и таинственно шепчет:

— Ма, Антошечка плачет. Там, возле хирургического.

Что такое? Пошла. Свету не было. Где ж она? И вдруг приглушенный, тоненький, тоненький плач. Иду на него. Во тьме еле вырисовывается фигура в белом. Присела возле.

— Ну что с вами?

Плач еще тоньше, еще тоскливее.

— Вы сегодня такая красивая, всех покорили. Чудесно!

И вдруг:

— Уйдите, уйдите отсюда! — и в выкрике этом такая ненависть, что я отпрянула.

— Что с вами, Тоня? Почему?

Я положила ей руку на плечо, но она резко отодвинулась.

— А вы сами не знаете? Маленькая, да?.. Уйдите...

У елки все еще пели... И хотя все шло по-прежнему, на душе стало тревожно-тревожно.

Набросила пальто. Поднялась на свежий воздух. Ночь была морозная, синяя, и звезд столько, что почему-то вспомнилось, как на днях одна из добровольных помощниц Марии Григорьевны рассыпала по черному нашему полу пшено. Луны не было, но пышные сугробы, наваленные метелью, будто бы сами излучали синеватый свет, и заиндевевшие ветви тополя, росшего неподалеку, тополя-инвалида, у которого вершина была снесена разрывом, эти ветви сверкали во тьме, как будто и он, как наша елочка, был украшен к празднику.

Морозно, свежо, тихо, точно рядом и не бушует война. Я с жадностью вбирала в легкие свежий, продезинфицированный морозом воздух, и вдруг — что это? Где-то не очень далеко взрыв, другой. Немного спустя — третий, потише. Нет, это не из Заречья, не с передовой, что идет почти по городской окраине. Это из самого города, из фабричного, пожалуй, района. Война. Нет, война не спит. И сразу ночь лишилась всей своей прелести, я почувствовала, что озябла, и поспешила вниз, к своим, где догорало короткое наше веселье и люди с помощью Антонины, уже переоблачившейся в свой халат, разбредались по палатам.

Прежде чем пройти к себе, я остановилась у шкафа-зеркала. Волшебство елочки все-таки подействовало и на меня: лицо как-то посвежело, даже на щеки вернулось что-то от былого румянца, и глаза уже не туманит мировая скорбь. Потягиваюсь так, что хрустят кости, и тихонько примащиваюсь возле ребят, которые после всех волнений уже спят.

Но в палатах еще не спят. Ворочаются, вздыхают, скрипят сетки коек.

— Эх, после этого да закурить бы!

— Ишь чего захотел! Засыпай, может быть, табак во сне приснится.

— Слыхал, как в городе бухнуло! Три раза... Не иначе — наши их ради праздника угостили.

— Откуда это известно, что наши?

— Красноармеец я или кто? Рассуждай: не снаряд? Нет. Стало быть, граната. А кто гранаты тут кидать будет? Немцы, что ли, сами в себя?.. Я расслышал: две противотанковые и одна бутылка. Может, по машинам лупанули...

— М-да... Не спят люди. А мы вот валяемся, как чурки худые. Вера вон и вовсе запретила на волю вылезать. Лежим, а люди бьются... Тоска!

— Ну что ж, вали в Германию. Там развеселят. Они вон, Иван Аристархович говорил, опять вчера целый табун наших на Ржаву погнали... Нет, кто-то их сегодня там поздравил: гут морген, дядя фриц!

Ну, кажется, и последние уснули. Отовсюду выступили привычные ночные звуки, разноголосый надсадный храп, постанывание, судорожное скрипение кроватей.

Обычно ухо их как-то и не воспринимает, но сегодня я слышу даже, как у входа поскрипывает от ветра дверь... Растяпы, позабыли опустить засов... Ну что ж, пускай. Говорит же тетя Феня — голому разбой не страшен... И вдруг среди этих ночных звуков я различаю басовито произнесенную фразу: «Ничего, ничего, брат Василий, теперь недолго... продержимся... Ничего...» Сухохлебов. Койку его не унесли. Он рядом и, по обыкновению, разговаривает сам с собой.

Тут я уснула. А проснулась от скрипа дверного блока и голоса тети Фени.

— А ты тихо, тихо, спят же наши пациенты,— урезонивает она кого-то.— Ступай, с богом, на цыпочках, приляг на мою койку, отдыхай... А то как раз наведешь на нас германа: на мед осы, а на шум — злые люди.

— Отскочи, старая.— Я сразу узнала и голос и интонацию.— Отскочи, у Мудрика сегодня, может быть, главный день жизни.

— Володенька, всех разбудишь, Вера Николаевна тебе покажет!

— Вера Николаевна... Доктор Верочка...

Он явно пьян, Мудрик. Выйти или обойдется без меня? Лучше уж без меня. Вон уж и умиротворяющее гуденье сухохлебовского баса.

— Товарищ полковник... Нет, вы послушайте, товарищ полковник, как все... Гала-представление, фейерверк, световая феерия. Разрешите доложить...

Теперь голос его слышали, наверное, в самой дальней палате. Какая-то возня. Должно быть, он толкнул тетю Феню. Слышится ее обиженное:

— Что же ты сделал, бессовестный, креста на тебе нет? Это как же ты посмел?..

Нет, без меня, видно, не обойдется. Выхожу. Мудрик без шапки. Бинт на ноге размотался, волочится по полу. Стоит у койки Сухохлебова и по-лошадиному сверкает белками глаз. На заросшем лице какое-то бешеное торжество.

— А, доктор Вера! С праздничком, доктор Вера!

Я беру его за руку.

— Тихо, Володя, люди спят.

— Тихо? А я не могу тихо. Сегодня Мудрику тишина не показана...

— Ну, я прошу вас.

Но он, сверкнув зубами, кричит:

— Отскочи, доктор...

Сунул руки в оттопыренные карманы. Я отпрянула, но из карманов появились две бутылки с коньяком.

— Га? Испугались? Напиток!.. Сам Наполеон не брезговал.

И, как когда-то гранаты, бутылки эти, перевертываясь, полетели к потолку... Нет, нет, Вера, спокойно, ничего особенного... Что ты знаешь о жизни этого странного парня? Мы-то видим от него только хорошее. Спокойно! Вон с какой любовью смотрит на него Сухохлебов. Бутылки летают вверх, переворачиваются, возвращаются в ловкие руки. А когда Мудрик, как истинный жонглер, подбадривает себя гортанным «ап», они, кувыркаясь, летят к самому потолку. Антонина уже тут. Сияет, как солнышко, в рыжей пене своих волос. Вместе с ним кричит это «ап» и радуется какой-то его непонятной мне радости.

Но вдруг Мудрик толкнулся о кровать, неверное движение — и одна из бутылок с треском разбивается об пол. Возникает аромат коньяка, каким меня угощала Ланская. Мудрик сконфужен. Он смотрит на Антонину и виновато бормочет:

— Ломанул дров... Зато там сработал школьно, все в яблочко...

— Старшина Мудрик! — как-то по-особенному, по-военному произносит Сухохлебов. И есть в его интонации что-то такое, от чего Мудрик подтягивается и берет руки по швам.

— Слушаю, товарищ полковник.

— Ступайте отдыхать.— Он произносит это тихо, дружелюбно, но Мудрик ставит на тумбочку уцелевшую бутылку, будто выполняя команду «шагом арш», покорно шагает к выходу. Уже из-за двери мы слышим его осторожное «фю-фю — фью-у-у!» — и Антонина уже бежит мимо, накидывая пальто.

Сухохлебов останавливает ее:

— Антон, посмотрите за ним. Не давайте ему пить.

— Будет сделано, товарищ полковник,— отвечает та и посвистывает: — Фю-фю — фью-у!

Ребята, конечно, не спали и даже не притворялись спящими.

— Что это с ним, отчего он такой? — спрашивает Домка.

— Не знаю, сынок. Спи... Выпил, наверное.

— Не, что-то еще.

— Ладно, ладно, не мешай мне спать.

И вдруг Сталька огорошивает меня вопросом:

— Ма, а кто лучше — Мудрик или дядя Вася?

— Молчи, не мешай спать.

— А я не мешаю, ты все равно не спишь. Я вижу.

— Скверная девчонка, вот встану и отшлепаю тебя.

— Не отшлепаешь... Дядя Вася говорит: раз ты сердишься, значит, ты неправ...

Вот ночка-то! Соскочила с кровати, босая побежала до нашей аптечки, достала таблетку веронала. Когда я вернулась, Сталька уже спала.

20

И действительно, ночка! Не успел веронал сделать свое дело, как кто-то затряс меня за плечо. Мария Григорьевна. Она в нижней рубашке. Седые космы свисают на лицо. Я никогда не видела нашу аккуратную сестру-хозяйку такой растрепанной и взволнованной.

— Вера Николаевна, немцы!

Я мгновенно вскочила. Стала одеваться. Из-за шкафов доносились возбужденные голоса. Ну что ж, должно быть, пришел мой час. Посмотрела на ребят. Хоть бы их не коснулось. Сталька чего-то заурчала, обхватила ручонкой мою шею. Домик таращил сонные глаза.

— Кто там, ма?

— Если что, если меня... Ты мальчик большой, понимаешь... Идите к деду... Слышишь, сейчас же к деду...

— Вера Николаевна, немцы!

И действительно, чей-то знакомый голос, чей — я сразу не поняла, произнес:

— Доктор Трешникова.

Спокойно, Верка, спокойно! С ними ведь как с душевнобольными: как можно уверенней и спокойней, что бы они ни говорили, что бы ни делали. У выхода натолкнулась на этого фон Шонеберга.

— Доктор Трешникова, ваши соотечественники совершили гнусное преступление,— отчеканил он на своем дистиллированном и потому противном, как дистиллированная вода, русском языке.— Злоумышленник, проливший в эту праздничную ночь благородную нордическую кровь, будет отыскан и наказан со всей строгостью.

Что происходит? Полно офицеров. Носилки. Кто-то на них лежит, прикрытый чистейшей простыней. У носилок Толстолобик. Шонеберг — человек с подбородком, прячущимся в воротнике мундира, сверкая толстым пенсне, отстукивает фразу за фразой:

— Из-за происков мирового еврейства пострадала прекрасная русская женщина. Германские врачи оказали ей помощь. Примите ее на дальнейшее лечение.

Инстинкт врача, должно быть, все-таки сильнее страха. Я бросаюсь к носилкам. Поднимаю простыню. Ланская! Ее красивая голова как бы погружена в тюрбан бинтов. Прическа рассыпалась. Толстая светлая коса, переброшенная из-за плеча, лежит на груди. Лицо, глаза, губы хранят явные следы грима.

— Что с ней? — спрашиваю у Толстолобика. Он не слышит или не понимает.

— Она ранена осколками гранаты. Эти звери, эти фанатики...— вмешивается Шонеберг.

— Ее осматривал опытный врач?

— О да, конечно, ей оказана квалифицированная помощь.

— Менять повязку не надо? — спрашиваю я у Толстолобика и требую у этого «фона»: — Да переведите же, это чисто медицинский вопрос.

— Мне незачем быть переводчиком. Я магистр медицины,— отвечает тот и, презрительно покривив свои яркие губы, снимает и тотчас же сажает на нос свое пенсне.— Да, фрау Ланской оказана квалифицированная помощь, но дальнейшее попечение о ней, к нашему великому сожалению, мы вынуждены передать вам. Мы не имеем права держать в военном госпитале штатских лиц, да еще неарийского происхождения. Могу я узнать, почему вы задали свой вопрос о повязке?

— Отличные бинты. У нас таких нет. Мы стираем бинты и вату по нескольку раз.

— Ах, вон как!

Он приказывает что-то солдату или санитару,— словом, одному из тех, кто внес больную. Тот исчез в дверях и вернулся с толстой санитарной сумкой.

Раненая, еще находившаяся в наркотическом забытьи, тихо постанывала. Надо привести ее в себя, осмотреть. Но не сейчас, не при всех. Хоть бы убрались они поскорее. А они, как назло, позабыв и о раненой и о нас,

возбужденно болтают, что-то рассказывают, перебивая и не слушая друг друга. Набираюсь храбрости и довольно решительно говорю Шонебергу:

— Мне кажется, что потерпевшей нужно дать покой.

— О да, вы правы,— неожиданно соглашается он.

Что-то им говорит, и они идут к выходу. От двери он возвращается, постукивая высокими дамскими каблучками щегольских сапожек.

— Доктор Трешникова, эта женщина пострадала, служа Великой Германии. Ни один волос не должен упасть с ее головы. Вам это понятно? Если тут, если кто-нибудь,— он сделал многозначительную паузу, во время которой снял и потер круглые стекла своего пенсне,— если кто-нибудь посмеет сказать что-то враждебное в адрес госпожи Ланской, о, тогда мы уничтожим все эти ваши крысиные норы. Мы поступим с ними, как с этими вреднейшими грызунами... Это касается прежде всего вас лично, доктор Трешникова.

— Мне незачем об этом напоминать. Я врач, мое дело — оказывать помощь людям,— довольно твердо произношу я. Страха нет, что-то убило во мне остатки страха.

Он вскидывает взгляд. Близорукие глаза, прячущиеся за толстыми стеклами, кажутся мне похожими на глаза змеи. Мгновение мы смотрим друг на друга в упор, потом, небрежно козырнув, он идет к выходу. Там, наверху, ревут моторы, ревут и стихают. Я бессильно опускаюсь на койку Сухохлебова и чувствую, как его большая рука накрывает мои руки и осторожно пожимает их.

— Кто это? Кого они принесли? Я спросил тетю Феню, она говорит: «Анна Каренина». Что сие?..

От простого этого вопроса, от самого тона, каким он задан, я как-то сразу прихожу в себя.

— Актриса. Актриса Ланская. Я вам о ней рассказывала. Она несколько сезонов играла у нас Анну Каренину. В нее кто-то бросил гранату.

— Гранату бросили не в нее. Гранату бросили в окно офицерского варьете. Ваши земляки поднесли оккупантам рождественский подарок.

— А вы откуда знаете?

— Я же вам говорил, что когда-то во Фрунзенке мы изучали немецкий... Они тут так раскудахтались, эти герои.

С носилок донесся протяжный стон. Действие наркотиков кончалось. Раненая приходила в себя. Я подошла к носилкам. Возле них, приложив ладонь к щеке и поддерживая левой правую руку, в этой извечной позе бабьего горя стояла тетя Феня.

— Будет лучше, если меня переселят назад к выздоравливающим, пока эта Анна Каренина еще не очнулась,— сказал Сухохлебов.— Лучше все-таки будет ей не знакомиться с агрономом Карловым.

— И верно, и верно, Василий Харитонович, береженого бог бережет, — согласилась тетя Феня.

Койку его унесли. Сам он заковылял за ней. Из осторожности я хотела его поддержать, но он отстранился:

— Я самоходом. Вы займитесь Анной Карениной.— И усмехнулся. — Только какая же это Каренина, той было двадцать четыре, а эта в самом разгаре бабьего лета...

У носилок стояли Домка и Антонина, уже вернувшаяся с ночной прогулки. Она тоже смотрела на Ланскую с любопытством, но на ее лице любопытство смешивалось с гадливостью: так смотрят на раздавленную змею.

— Домик, разбуди Дроздова и Капустина, надо переложить раненую на койку,— распорядилась я.

— Не буди, управлюсь.— Девушка подняла эту большую, полную женщину и опустила ее на постель, уже приготовленную тетей Феней. И я заметила, как потом она отошла и украдкой вытирала о халат руки.

— Нашатырь!

Ланская пришла в себя. Открыла глаза, увидела нас и, вскрикнув, отпрянула, лишаясь сознания. На этот раз это был недолгий обморок. Нашатырь сразу разбудил ее. Голубые глаза приняли осмысленное выражение.

— Где я?.. Как я сюда попала?

— Вы, Кира Владимировна, в госпитале, среди своих. Не узнаете? Я — врач Трешникова.— Я старалась глядеть как можно спокойнее.— Сейчас мы с сестрой Тоней должны осмотреть ваши ранения.

— Ранения? Я ранена? — Вскрикнув, она подняла руки. Глаза снова потеряли осмысленное выражение.

— Нашатырь!.. Успокойтесь, вы легко ранены. Сейчас мы вас осмотрим. Тоня, приподнимите больную.

Меня, конечно, волновало туго забинтованное предплечье. С него я решила начать. Но больная как-то сразу, без переходов, перескочив из обморока в состояние нервной активности, оттолкнула мои руки.

— Нет, нет, лицо. Прежде лицо. Что с лицом? — в этом вскрике звучал страх.

— Ничего особенного, какие-нибудь царапины.

— Ой, какие адские боли! Невыносимо... Но прежде всего, доктор, миленькая, посмотрите, что с лицом. Ой, больно, ой, как больно!

— Тоня, шприц... Сейчас полегчает.

— Господи боже мой, что вы меня мучаете? Скажите скорее, что с лицом? Доктор, спасите мое лицо.— Ланская вновь погружается в наркотический сон.

Осмотр успокоил, ничего серьезного: небольшое осколочное ранение в предплечье. Осколок был уже удален. Лицо тоже было цело, так несколько рваных царапин — на левом виске, щеке и шее. Мы, осмотрев раны, вновь наложили повязку, употребив при этом втрое меньше бинтов. Тете Фене было приказано тщательно собрать оставшиеся бинты. Какие бинты! Мы о таких давно уже и мечтать перестали.

Ланскую оставили в первой, полупустой теперь палате, недалеко от моей зашкафной резиденции. Отгородили ширмами, чтобы она не могла видеть, кто входит в наши подвалы. Придя в себя, она снова забеспокоилась о лице. Сильно ли поражено? Останутся ли шрамы?

— Доктор, миленькая, сделайте все, чтобы не было рубцов. Артистку моего амплуа кормит лицо. Представьте себе Анну Каренину со шрамом, будто побывавшую в пьяной драке.

Я наконец не выдержала:

— Вы не поинтересовались раной гораздо более серьезной... Еще сантиметром ниже — и осколок пробил бы вам аорту.

— Ну и что? — сказала она равнодушно.— Тогда бы я истекла кровью и умерла. И все. Но ведь я же выживу?.. Доктор, голубушка, они не принесли мою сумочку?

Сумка, сделанная из мельчайших серебряных колец, лежала на тумбочке. Она взяла ее своими забинтованными руками, вынула зеркальце, тревожно взглянула в него прямо, в профиль, с одной и с другой стороны. И произнесла, чуть не плача:

— Фу, какая гадость! Будто Татарин из «На дне».

Оставив возле нее тетю Феню, я ушла к себе. Ребята спали. Домка так и лежал в халате и шапочке, уткнув нос в подушку. Я не стала его раздевать, только стащила башмаки и прикорнула возле, но тут же услышала шепот:

— Вера Николаевна, не спите?

— Чего тебе, тетя Феня?

— Мажется... Истинный Христос, мажется,— со страхом прошептала старуха.— Вынула зеркальце, штучку какую-то — и ну губы красить... Все ли у нее дома-то?

Тут я уже не выдержала:

— Да дадите вы мне поспать, чего вы меня мучаете?..

А вот уснуть не могу. Ну и ночка! Что-то меня, что-то всех нас ждет? Эх, Семен, был бы ты сейчас с нами, как бы нам было легко...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Как сразу нам все осложнило появление Киры Владимировны Ланской. Будто вторжение чужеродного тела в человеческий организм. Да, да! Тебе, Семен, может быть, покажется странным этот медицинский образ. Но вот представь, рассеянный хирург оставил в теле оперируемого какой-то инструмент. Редко, но ведь бывает. Здоровый организм тотчас же блокирует, или, как мы говорим, «осумкует», это чужеродное тело. Больной может прожить с ним всю жизнь и даже не подозревать о нем. Но при неосторожном или резком движении металл пробьет сумку и повредит близлежащие органы. Тогда внутреннее кровотечение, перитонит, медленная, мучительная смерть.

Таким чужеродным телом в организме нашего госпиталя стала Кира Владимировна. Сухохлебов, как и ты, требует: думайте о человеке хорошее, пока он сам не докажет, что он плох. Но думай не думай, а Ланская-то тут, с нами. Вокруг нее разные люди. Порой они нервничают, болтают лишнее, бывают ссоры, случались даже драки. Но при всем том я знаю, что это наши, советские люди, они не донесут, не предадут, не выдадут немцам.

А Ланская? Она ведь сама говорит, что осталась у немцев обдуманно. Может быть, она сама и сочинила эту версию о героической гибели при тушении пожара. Она прекрасная актриса. У нее хорошее, чисто русское лицо. Это магнит, который притягивает к ней сердца. Но ведь она и не скрывает, что вместе со своим благоверным сотрудничает, именно сотрудничает, с гитлеровцами. Да и к нам она попала прямо с какой-то вечеринки в их офицерском клубе. И мне приходит все время мысль: а вдруг и попала-то не случайно, вдруг ее к нам подбросили, чтобы подслушать и выведать наши секреты? Что тогда? Погибнут люди, которых мы отбили у смерти. Да и меня и детей этот Шонеберг не помилует.

«Надо думать о людях хорошо, пока они не докажут, что они плохи».

Это, конечно, прекрасно, справедливо. Но ведь если, согласно этой формуле, плохой окажется Ланская, менять

о ней мнение будет поздно, дорогой товарищ Сухохлебов, он же Карлов.

С этими мыслями я и начала сегодня свой рабочий день. Во время обхода приятно было убедиться, сколь благотворным оказался наш маленький праздник. Только и разговоров о елке. Даже вторжение Ланской в столь необычном сопровождении не так занимает умы.

Во время обхода было, правда, несколько неприятных сюрпризов: у одного без всякой видимой причины вдруг загноилась рана, у другого открылся свищ, третьему даже пришлось ломать гипсовый сапожок на ноге. Словом, только к полудню, уже усталая, я добралась до койки Ланской и опустилась на табуретку.

Удивительное преображение. Лицо ее, поразившее вчера меня какой-то гипсовой бледностью, показавшееся одутловатым, даже обрюзгшим, снова красиво и ярко. Из-за бинтов торжествующе щурился большой голубой глаз. Ого! Да она тут над собой потрудилась.

— Ну, доктор, как выглядит ваша больная? Недурно? — глубокий голос звучал даже весело.

— Прекрасно! Но вы ранены, вы только что пережили тяжелый шок, вам нужен покой, а вы?

— Раз женщина заботится о своей внешности, она вне опасности... Ну, не сердитесь, доктор. Клянусь, буду строжайше выполнять все ваши предписания. Только скажите, как я сейчас, не похожа больше на Татарина из «На дне»?

— Вам вредно каждое лишнее движение.

— Я стараюсь быть красивой, значит, я существую,— снова повторила Ланская. Я — актриса, я — баба,— голубой глаз смотрел из-под бинтов с вызовом,— неужели вы этого еще не понимаете?

— Как все это с вами случилось? — спросила я, желая перевести разговор на другое.

— Наши угостили,— просто и, как мне показалось, без злобы ответила она. И так весело и громко, что тетя Феня, склонившаяся над спицами, с помощью которых она перевязывает дырявый свитер на что-то тепленькое для Раи, с любопытством уставилась в щель между ширмами.— Наши, и, представьте себе, очень ловко. Я бы даже сказала — артистически.

— Тетя Феня, вы не спали ночью. Я посижу у больной.

Старуха потянулась, зевая, и перекрестила рот.

— Бог вас отблагодарит, Вера Николаевна, и то умаялась, петли вот путаю...

Она собрала вязанье и, шаркая, убралась к себе.

Проводив ее взглядом, Ланская оперлась на мою руку, села и начала рассказывать.

Семен! Рассказ этой «дамы-раскладушки», как именует ее Мудрик, этой бабы, водящейся с гитлеровцами, говоря газетным языком, наполнил меня чувством законной гордости за наших советских людей, честное слово.

Слушай, слушай, как все это было.

В клубе «Текстильщик» штадткомендатура организовала офицерское варьете. Они решили открыть его в рождественскую ночь. Из русских пригласили лишь Ланскую да этого ее благоверного — заслуженного, орденоносца, лауреата и так далее и тому подобное.

Ты знаешь, там большой зал, не раз выступал в нем. Так вот они в него битком набились. Наехали офицеры из ближайших частей, летчики с аэродрома. Ну конечно, елка и, конечно, немецкий дед-мороз, он у них как-то по-другому называется и ходит в красной шубе и высоком колпаке. Подарки там им наслали девки какие-то из вспомогательных частей под видом женского оркестра. Ну и эти — Ланская с Винокуровым, представляющие, так сказать, высший слой туземцев.

Нет, она и не думает скрывать, что готовилась к этому вечеру. Сшила новое платье, разучила с пластинки немецкую песенку про какую-то там потаскушку Лили Марлен,— оказывается, самая любимая у них сейчас песня... Представляешь себе, увлеченная рассказом, она села на койке и вдруг каким-то сиплым, забубенным голосом, который вовсе и не был похож на ее собственный, будто с тяжелого похмелья, завела эту песню, сначала по-немецки, а потом по-русски:

Перед казармой, перед большими воротами,
Стоял фонарь, стоит и до сих пор,
Так давай, красотка, встретимся у фонаря,

Как когда-то с Лили Марлен,
Как когда-то с Лили Марлен!

Противнейшая песня. Но такая уж она актриса, Ланская, такая у нее сила. Ведь только что пережила ранение, шок, перевязки. Ничего, все забыла. Движением

головы растрепала прекрасные свои волосы. Взгляд тяжелый, пьяный, и этот утробный, хриплый голос, почти крик:

Как когда-то с Лили Марлен,
Как когда-то с Лили Марлен...

— Доктор, вы представить себе не можете, они просто ошалели, когда я пела, стоя на столе, меж бутылок и тарелок со жратвой. Вскакивали, орали свое «зиг хайль, зиг хайль» и требовали, чтобы я повторила еще и еще,— рассказывала она.— Я пела, обернувшись в зал, и передо мной, вдали было одно из огромных окон. Пою и вижу — за стеклом какая-то фигура. Помнится, в первом или во втором классе гимназии — я ведь еще успела поучиться и в гимназии — долбили мы стихотворение Пушкина «Утопленник». Там вроде такие строчки: «Есть в народе слух ужасный, что с той ночи каждый год в этот день мужик несчастный...» И была в учебнике картинка: распухший, бородатый утопленник стучится в окно... Вот его-то я и увидела за стеклом... Страшное, бородатое лицо, сверкают белки глаз... Пою, всех увлекла, все захвачены мной и, естественно, его не замечают... Наверное, какой-нибудь голодный. А тут столы ломятся. Мне даже подумалось, надо бы вынести что-нибудь ему. Но не прерывать же номер.

Как когда-то с Лили Марлен,
Как когда-то с Лили Марлен...

Я даже подмигнула ему, этому утопленнику. А он вдруг оскалился, взмахнул рукой — и тут: трах! Звон стекла, треск, огонь. Кто-то столкнул меня со стола, бросил на пол. Еще взрыв, еще. Стоны, крики. Больше ничего не помню...

Не знаю, может быть, она опять играла какую-то свою роль. Если так, здорово играла. Наклонилась ко мне, заговорщически шептала:

— Доктор, вы, конечно, не верите в бога. Я тоже мало верю, какие уж теперь боги! Но в красивые легенды верю. Этот там, за окном, он возник как ангел-мститель, как архистратиг Михаил с огненным мечом... Нет, не деревенский боженька, конечно, но кто-то еще не открытый, не познанный наукой, там,— она показала на небо,— все-таки есть? А? Какое-то справедливое начало? — Ее голубой глаз вдохновенно сиял из-под повяз-

ки.— Может быть, это от ваших наркотиков, но теперь мне все кажется, будто за стеклом увидела я нечто сверхъестественное. Галлюцинирую? Нет: один, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, один... Видите, как четко? Я неплохо себя чувствую. Только вот звенит в ушах, и будто собака вцепилась в плечо и рвет, рвет... Они говорили, противотанковые гранаты. Что ж, может быть, у нынешних архангелов Михаилов техника вооружения тоже модернизирована?

Ланская продолжала болтать, с удовольствием слушая свой голос, явно любуясь собой, а я прикидывала в уме. Гранаты... Бородатый человек... Сверкающие белки глаз... Мудрик пришел к нам примерно через час после того, как я слышала эти три взрыва. Гранаты... Но ведь тогда и по физиономии получил, потому что вздумал жонглировать гранатами... И потом — они как-то возбужденно перешептывались с Сухохлебовым... Архангел Михаил с огненным мечом... А что, если этот архангел зовется теперь Владимиром?.. Нет, нет, надо дрессировать свое лицо, надо, госпожа Ланская, и мне научиться играть какую-то роль и не выходить из нее. Я — врач, врачам не положено волноваться в присутствии больных.

— Будьте добры, вашу руку... Нет, пульс хорошего наполнения. Все это следствие нервного возбуждения. Успокойтесь, постарайтесь уснуть. Вообще больше спите, ну хоть лежите с закрытыми глазами.

— А нет ли у вас какой-нибудь книжоночки?

— Книги? Откуда же?

— Но ведь это же советский госпиталь? — Эти слова Ланская произнесла капризным тоном, будто сейчас за ними могло последовать: «Я буду на вас жаловаться в горздрав».— Но все-таки пусть поищут и принесут какую-нибудь книгу.

Вот черт послал пациентку! Целый день злилась на эту Ланскую, но вечером настроение улучшилось. Вернулась Зинаида. Нашлась. Пришла. Да не одна. С нею две женщины с «Большевички» — какие-то ее соседки или подружки. Притащили на санках целый ворох мужской одежды. Как уж они это все насобирали, какие слова убеждения нашли? Как люди, сами находящиеся на грани голодного умирания, отдавали им эти костюмы, пальто, валенки своих мужей, этого я не знаю.

Какая-то старуха, у которой и сыновья и внуки были

в армии, будто бы даже сказала им: «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец». И отдала все, что у нее было мужского: «И моим, может, кто-нибудь поможет».

Я все-таки не верю, что все эти вещи,— а среди них есть и хорошие, ценные,— дарились с такой фаталистической бездумностью. Нет, конечно. Но как бы там ни было, большинство наших, лишенных обмундирования, теперь кое-как одеты. Для остальных Зинаида и ее подруги обещают собрать в ближайшие дни. Сдав одежду, женщины быстро ушли. Зинаида улеглась спать, прижимая к себе Раю.

Так они сейчас и спят в обнимку...

В эту ночь и я отлично выспалась. Встала свежая, и даже неприятная новость — не вышел на работу Наседкин — не очень огорчила меня. Мы с Антониной быстро окончили обход, благо не было случаев, требовавших особого внимания. А потом вдруг узнали: Наседкина схватили гитлеровцы.

Об этом нам рассказала его жена. Прибежала в полдень, простоволосая, испуганная, с опухшим от слез лицом. Прибежала, схватилась за сердце, упала на клеенчатую кушетку и выговорить ничего не может. Несколько минут Мария Григорьевна и тетя Феня хлопотали около нее, прежде чем услышали: «Моего Аристархыча немцы взяли». Потом узнали подробности. Подъехал грузовик, вломились в дом два эсэсмана и русский полицай. Русский спросил: «Ты Наседкин?» Тот ответил: «Я».— «Пошли». Иван Аристархович как раз собирался на работу, был уже в пальто и чемоданчик держал в руках. Так, с чемоданчиком, и забрали в машину. И проститься не дали. Успел только шепнуть: «Веру предупреди».

Я так растерялась, что не сразу даже и нашла что сказать убитой горем женщине. Потом представила себе нашего Ивана Аристарховича с его моржовыми усами, с его покашливанием там у них, в гестапо, и разревелась самым глупым образом. Сидели на кушетке обнявшись и плакали, а тетя Феня отпаивала нас валерьянкой и все шептала:

— Ничего, люди с лихостью, а бог с милостью. Ничего, ничего... А какие они, эти гестаповцы, люди? Какой тут, к черту, бог?

Валерьянка все-таки подействовала. Я кое-как привела себя в порядок, заставила заняться делом — осматривала больных, выслушивала, выстукивала, давала назначения. Не знаю уж, как это у меня получалось, потому что думала я только об Иване Аристарховиче. Ведь не могли же его взять только за то, что он отказался работать в этом их бургомистрате? Так почему же? Не коммунист, не военный, коренной русак, никакой общественной деятельностью никогда не занимался. Так что же? В остарбайтер он не годится — ему за шестьдесят. Да тех они просто хватают на улицах. Взят как заложник? Если так, могут схватить и меня.

И тут разом вспомнился и «бефель», и то, как я его нарушала и нарушаю, и этот пенснешник на дамских каблуках, его крысиные глаза за круглыми толстыми стеклами. Вдруг показалось, что петля уже сжимает мне шею, и я рывком расстегнула ворот кофточки... Потом мне стало стыдно — нельзя же быть такой трусливой. Опять заставила себя заниматься делами, и опять Наседкин не шел из головы. А может быть, его взяли в связи со вчерашними взрывами в офицерском клубе? Ну да, ну да. Они, наверное, сейчас в панике, ну и схватили первого попавшегося. Если так, легко доказать, что он не мог иметь к этому никакого отношения. Они с женой были у нас на елке. Все мы можем это подтвердить. Весь день я избегала подходить к Сухохлебову. Он сегодня какой-то мрачный, отчужденный. Но с этой мыслью я, конечно, побежала к нему и все ему изложила. Он только усмехнулся:

— Подтвердить! Кто будет спрашивать наши подтверждения? Разве в таких случаях их интересует истина?.. Будем надеяться, что хоть госпиталя это не коснется.

Больше он ничего не сказал. Но лицо у него было очень тревожное. Заснуть я не могла. Снова пришлось принимать двойную дозу снотворного. Каюсь, Семен,— слишком часто я прибегаю к наркотикам. Но что поделаешь: такова жизнь. Кто это сказал? А? Кто выдумал это оправдание любого малодушия?

2

Утром, проснувшись, взвесив все на свежую голову, решила — пойду в комендатуру. Добьюсь приема у коменданта. Попробую его убедить. Он нацист, но что-то

человеческое в нем осталось же. У меня крепкий довод: сами же они называют меня шпитальлейтерин, черт возьми. Стало быть, все-таки признают. А одна разве я справлюсь? Не может госпиталь остаться без врача.

Видел бы ты, Семен, как наши переполошились!

— Да бог с вами, Вера Николаевна, как же это по своей воле лезть в пещь огненную! — всплеснула руками тетя Феня.

— Бесполезно это,— хмуровато произнесла Мария Григорьевна.— Ему не поможешь, а вы сами в очередь на арест встанете. И на наш след их наведете. Нельзя вам ходить.

Должно быть, она успела сообщить об этом Сухохлебову. Он поднялся и сам приковылял ко мне в «зашкафник».

— Осмотрите меня, пожалуйста, что-то очень болит спина.

Но спину смотреть не дал.

— Вам не следует этого делать, доктор Вера. Слышите! — сказал он строго.

Но я не Мудрик и не Антонина. Меня не убедишь этими командирскими интонациями. Ведь дело идет о судьбе, может быть о жизни человека. Отличного человека.

— Нет, я так решила. Я пойду. Это мой нравственный долг. Моя обязанность.

— Обязанность? Ваша обязанность — быть здесь... Оттуда вы сейчас можете не вернуться.

Чудак! Неужели он думает, что мне самой это не приходило в голову? Но ведь, если им понадобится увеличить число заложников, они великолепно приедут за мной и сюда. Нет, я пойду.

— Нелепость. Это не поможет Ивану Аристарховичу.— Широко поставленные глаза Сухохлебова пристально смотрели в упор из темных впадин. Будто гипнотизировали.— Подумайте, госпиталь может остаться без начальника. Восемьдесят больных без врача.

Почему так тревожно смотрят эти глаза? Мне кажется, в них не только беспокойство, но и ласка. Как-то потеплело на душе. Но почему-то, вопреки его настоянию и доводам, я начала верить, что затея не так плоха. Мой поход может иметь успех.

— Он пришел к нам в такую минуту, мы не можем его бросить.

— А дети?.. У вас двое детей.

— Да не мучьте меня, Василий Харитонович! — кричу я. — Неужели вы не понимаете: я иначе не могу...

— Вы Дон-Кихот в юбке,— произносит он и устало говорит: — Ну, посоветуйтесь по крайней мере с этой вашей... Анной Карениной, что ли... Она их лучше знает.

Тетя Феня, это наше Совинформбюро, уже раззвонила о моем намерении по палатам. Раненые ничего мне не говорят, но смотрят на меня как на сумасшедшую. И ребята уж знают. Домка, наблюдая, как я одеваюсь, смотрит даже с иронией. Сталька, наоборот, напутствует:

— Ма, ты им приложи горчичник, чтобы помнили...— И вдруг изрекает: — А тебе идет эта косынка. Надень ее обязательно.— И в этих словах я отчетливо слышу интонации Ланской. Вот уж кто у нас оправдывает пословицу «с кем поведешься, от того и наберешься», так это наша дочка.

Милая ты моя лисичка! Ты больше, чем все, должно быть, понимаешь, что мамка-то твоя действительно может не вернуться, и стараешься ее вооружить единственным оружием, которое может быть ей полезным. Я говорю ребятам как можно спокойнее, стараясь не отрывать взгляда от своего отражения в темном стекле шкафа:

— Домик, вы бы навестили деда... Давно ведь его не видели, а? Сходите к нему сегодня.

Ланская, к моему удивлению, реагирует на мое намерение примерно так же, как Сталька.

— Это страшная машина. Огромная, могучая, но мертвая машина, и все они в ней маленькие колесики, вращающие друг друга. Вряд ли вам удастся затормозить хоть одно из этих колесиков. Но сходите, чем черт не шутит. Кто-то, кажется Виргилий, сказал: «Женщина сильнее закона».— Ланская критически оглядывает меня.— Сядьте. В такую вылазку женщине надо идти во всеоружии.— Она одергивает на мне косынку, достает из сумки помаду, подкрашивает губы.— Глаза трогать не надо, они у вас и так — дай бог.— И вдруг напевает: — «Тореадор, смелее в бой...»

Хмурый день. Ветер порывистый, противный. Он несет по земле сухую снежную крупу, рвет края косынки, колет лицо острыми снежинками. В этой серой шевелящейся мгле израненный город особенно жалок и страшен

в своей увечной наготе. Даже тропки на тротуарах замело, да и через проезжую часть уже перекинулись кое-где сугробы. Быстрая ходьба разогревает. Я начинаю глубже вдыхать холодный воздух, и сквозь шелест снега до меня начинают доноситься не только ленивое, редкое буханье артиллерии, но — или это только так кажется? — строчки пулеметных очередей... Наши? Это же наши там, за рекой. Они недалеко, где-то там, куда, помнишь, Семен, ты возил меня когда-то с маленьким Домкой на ялике. Ой и здорово же было! Зеленые луга, подступающие к самой реке, сероватая вечерняя вода, белесые клубы тумана, ворочающиеся под берегами. И глухой стук уключин. Раскатываясь по воде, он опережает нашу легкую скорлупку. И никого, мы трое. Ты на веслах, я на руле. И Домка вертится у меня на коленях, и я все боюсь, как бы не соскользнул и не шлепнулся в воду.

А теперь река подо льдом, и где-то там передовая. Та же серая колючая метель шелестит над ней. Стреляют. Почему стреляют? Может быть, началось наше наступление?..

Далекие пулеметные строчки как-то успокоили. Я уже не боюсь. Кто же это сказал, что женщина сильнее закона?.. Ведь вот знаю, штадткомендант — убийца, он похватал и угнал куда-то, может быть, даже уничтожил всех евреев и цыган, он расстреливает людей десятками и хвастает в своих приказах, печатающихся в этой газетенке «Русское слово». Знаю, но почему-то мне не страшно: так, толстяк, мучимый язвой, глотающий свои пилюли... Женщина сильнее закона!.. И уже верится, что мне удастся доказать, что Наседкин не принимал и не мог принимать участия в происшествии. Это подтвердит весь госпиталь.

А какие пустые улицы! Лишь дважды попался комендантский патруль. По три солдата с иззябшими, багровыми, исхлестанными метелью лицами, обтянутыми заиндевевшими подшлемниками. Идут по проезжей части, по рубчатым следам прошедших машин... Почему так мало людей? На главной улице в поле зрения — одна, две, три фигуры. Они напоминают тараканов, торопливо пробегающих через стол, чтобы поскорее заползти в щель и скрыться с глаз. Бедный город!

Кто-то гудит сзади. Схожу в сторонку. Штабная машина с каким-то странным четырехугольным железным кузовом, кое-как побеленным известкой, обгоняет меня.

Офицеры, те, что сидят на заднем сиденье, оглядываются. И вдруг машина останавливается. Ага, хотят подвезти. Ну что ж, данке шён — это я знаю, как говорить. Цу штадткомендатур,— и это могу выговорить. Едем. Слева школа, где я училась. Вот и угол правого крыла, отваленный взрывом, и на втором этаже наш класс. До сих пор стоит рядок парт, теперь занесенных снегом, и портрет Тимирязева все еще темнеет справа от классной доски. Но у подъезда толчея, машина с красными крестами. Ага, и тут госпиталь. Ну так и есть, санитары выносят раненых... Ого, сюда возят раненых на машинах... Это хорошо,— значит, бои уж не так далеко... Эх, почему я в институте изучала никому сейчас не нужный французский, а не немецкий, знание которого мне так бы помогло?

Офицеры что-то мне говорят. Я отвечаю невпопад, разумеется. Шофер, рыжий, веснушчатый, в очках, косится. Очень весело едем. Но что это? Я даже невольно привстаю. Слева закопченные развалины дворца, где был облисполком, и на площади перед ним строгими шеренгами выстроились кресты, множество одинаковых крестов, сколоченных из сосновых брусков. Кресты, кладбище? Его же ведь не было, когда я ходила регистрироваться. Так, так... Наши не теряли времени.

Машина выбежала на главную улицу. Увязли в сугробах искалеченные трамваи. Ветер хлопает дверями мертвых магазинов, на замерзших витринах снег — единственный продукт, которого сейчас в городе хватает. Снова странно видеть: закутанные женщины несут на коромыслах ведра. Как в прошлом веке или как в кино. Ни на кого не глядя, спешит закутанный человек, и метель в обгон ему тянет сухой снег. Метель здесь хозяйка.

Машина обегает площадь. На постаменте, оставшемся от памятника Ленину, огромная черная свастика. Позади рядок могил — свежие, метель еще не успела прикрыть их и замести венки из жестяных цветов. Скрипнув тормозами, машина останавливается перед комендатурой. Над входом на холодном ветру хлещет флаг. Флаг со свастикой. Филь, филь данке — это я тоже умею говорить. Мои спутники гомонят, куда-то меня приглашают или предлагают встретиться. А вот этого я, конечно не понимаю. Развожу руками. Вбегаю по лестнице. Ого! В углу — дот, выложенный из мешков с песком. Из амбразур торчат стволы пулеметов. Они направлены на

входную дверь. В зале, под портретом пучеглазого Гитлера, расставив ноги и положив руки на автомат, часовой. Ага, уже боитесь! Вооружены по самую маковку, а трясетесь, как овечий хвост...

Зал пуст. На деревянных скамьях несколько озябших фигур. В углу опять этот попишка в длинном черном пальто, похожем на рясу. Сидит, пощипывая мочальную бороденку, и вздыхает. Волосы сальными сосульками высовываются из-под шляпы. У него лицо петрушки: длинный носик, выпуклые румяные щечки, беспокойный, блуждающий взгляд. Меня он начал рассматривать с ног, двинулся дальше, и когда добрался до лица, его кукольная физиономия приняла смиреннейшее выражение.

— Осмелюсь побеспокоить вас, доктор, я видел вас на кладбище моего прихода Николы-на-Капусте, при погребении отрока...

— Какого такого отрока? Ах, да, Василек... Как, вы были там?

— Именно. Когда вы покинули кладбище, я, по просьбе его матери, отслужил панихиду.

Я подошла к окошку за которым сидел дежурный, говорящий по-русски. По-моему, он меня узнал. Во всяком случае, сейчас же доложил коменданту. Оказалось, тот занят, просит обождать. «Просит» — это уже хорошо.

Не успела присесть, как попишка очутился рядом.

— Отец Клавдий,— отрекомендовался он.— Мы с вами в некотором роде коллеги.

— Мы? — я даже отодвинулась.

— Вы врачуете раны телесные, а я — душевные,— не смущаясь, ответил он. Голос у него звучный, но какой-то слишком уж вкрадчивый. Захотелось задать ему остапобендеровский вопрос: почем, мол, нынче опиум для народа? Но сдержалась.

— И много ли у вас пациентов на врачевание душ?

— Много. Нынче очень много. В час бедствий взоры снова обращаются к религии, к единому, истинному богу, ища утешения в страданиях своих. На вечерних службах во храме нашем тесно. Пришел вот к господину штадткоменданту испросить разрешение на открытие храма святой Троицы... А вы, осмелюсь спросить, зачем направили сюда стопы свои?

Что мне было скрывать от этого «коллеги»? Я рассказала. Он выслушал и шумно вздохнул.

— Кровь рождает кровь. Много крови льется нынче от руки человеческой. В праздник рождества Христова к ним в офицерский клуб гранаты бросили — восемь человек наповал, трое после умерли. Видали свежие могилы на площади? Весьма много они за это невинных людей похватали.— Попик наклонился ко мне так, что мочальная его бородка защекотала ухо. Я отодвинулась.— Господин штурмбанфюрер приказал за каждого немца расстреливать десять наших. Даже за город не возят. Тут вот, во дворе горкома, где у них гестапо, казнят невинных. Да разве десять? Сотни! Целую ночь у них там моторы машин ревут, чтобы выстрелов не слышно было.— И вдруг сказал с участием, которое так не шло к его петрушечьей комической внешности: — Доктор, внемлите голосу разума, откажитесь от своего пагубного намерения, пока не поздно. Ныне от звука труб стены не разрушаются. Не вызывайте бесполезно гласов вопиющего в пустыне гнева сильных мира сего.

Так, значит, хватают и расстреливают заложников? Ну что ж, если Иван Аристархович жертва слепой мести, больше возможности его спасти, доказав его абсолютную необходимость в госпитале, существование которого они же признают.

Обстановка кабинета была та же, и комендант был тот же, толстый, болезненный человек. Опухшее лицо его так же, как тесто из опарника, выпирало из ворота. Кажется, даже мундир стал ему еще более узок, а лицо показалось моему медицинскому глазу еще более отекшим. И только глазки на этом тестообразном лице оставались цепкими, зоркими. Он указал мне на то самое кресло, в котором я уже однажды сидела, и так же заглянул в какой-то список,— видимо, вспоминая мою фамилию.

— Что привело вас сюда, доктор Трешников? — спросил он и, подумав, поправился: — Трешникова.

Мне не было страшно, но почему-то, увидев снова этого тучного, расползшегося человека, я поняла: все бесполезно. Действительно машина, огромная, безжалостная машина, и тщетно взывать к одному из ее бесчисленных колесиков. Но я просила, умоляла: «Это же врач, отличный врач. Он нам позарез нужен. Ведь нас было только двое на восемьдесят человек»... Я говорила быстро и опасалась, что он не понимает меня. Но когда я назвала цифру, комендант вскинул свои цепкие глазки:

— Восемьдесят пять. Или пятеро умерло?

У меня мороз прошел по коже. Постучали в дверь. Это был фон Шонеберг. Комендант поднялся, оба, как механические куклы, вскинули руки.

— Хайль Гитлер!

Черные, расплывающиеся за толстыми стеклами глаза смотрели на меня вопросительно.

— О, какой приятный сюрприз! Рад вас видеть, фрау шпитальлейтерин. Вы сегодня просто очаровательны!

Комендант что-то говорил, видимо передавая ему меня из рук в руки.

— Да, да, конечно. Мы с фрау доктор старые знакомые. Мы обо всем договоримся,— перебивает этот человек на высоких женских каблучках.— Прошу вас за мной.

«За мной»? У меня холодеет кровь. Не помню, как я простилась с комендантом, как вошла в другой кабинет, поменьше.

Тут опять меня усадили на стул, предложили сигареты, попросили разрешения закурить. Закурил, отвертываясь в сторону, выпустил дым.

— Так вы побеспокоили себя относительно этого старого врача? Так?

Я снова выложила все свои доказательства. Слушает и рукой отгоняет дым, чтобы не летел в мою сторону. Вежливый.

— Это же недоразумение. Когда произошли эти взрывы, он с женой был у нас в госпитале. У нас была елка, вы же потом видели. Это могут подтвердить все восемьдесят больных.

— Восемьдесят пять?

Мамочки, почему они оба так осведомлены о наших делах?

— Откуда вы узнали, что он арестован? — спросил вдруг Шонеберг, снимая пенсне. Снял, достал из кармана кожаный футлярчик, вытянул из него кусочек замши и стал протирать стекла.

— От его жены.

— Почему вы знаете, что это связано с гнусным преступлением, совершенным в рождественскую ночь?

— Это мое предположение. Весь город говорит об арестах, расстрелах...

Он насадил пенсне на нос, усмехнулся.

— Город так говорит? Это хорошо. Он должен запомнить, этот ваш паршивый город, что за каждую каплю

германской крови будут пролиты реки. Город говорит! Разве вас, как врача, не возмутило это страшное преступление, при котором, кстати, пострадала и ваша соотечественница, достойная женщина... Не будете ли вы любезны сообщить, как ее здоровье?

— Неплохо... Но при чем тут старый человек, который всю жизнь только и делал, что лечил больных? — И я бросила свой последний довод: — Его же здесь все знают. Знают, что его арестовали без всяких оснований! Это незаконно — хватать невиновного.

— Закон, право, честь — разве эти слова имеют в этой стране общепринятое значение?.. Фюрер мудро предупредил нас: правила рыцарского ведения войн — не для Востока. Пусть гибнут миллионы. Чем скорее, тем лучше. Мы быстро колонизируем очищенные пространства культурными, энергичными народами, способными понять и осуществить великие идеи Нового порядка.

Он уже вскочил и говорил, жестикулируя, будто стоя на трибуне, будто перед ним была не одна испуганная женщина, а большая, битком набитая аудитория. Чувствовалось, что он кому-то подражает, на кого-то хочет походить и что он, этот «кто-то», имеет и иной рост и иную внешность.

— Ах, это ужасное преступление! Ваши сограждане снова убедили нас, что они дикие и тупые недочеловеки... Ведь так это звучит по-русски?

Он тут же оговорился:

— Я, разумеется, не говорю о моей очаровательной собеседнице. Они не понимают властного веления истории. Им доступно лишь одно средство убеждения — страх. Отныне мы будем говорить с ними языком страха. За одного убитого германца — сотни голов... Фрау доктор, наш нордический гуманизм обязывает нас быть суровыми с теми, кто не хочет понимать наших великих задач и мешает нам их осуществлять. Фюрер сказал: «Грех перед кровью и расой — первородный грех этого мира».

Машина работает. Передо мной вертится другое ее колесико. Как, чем можно его остановить? На меня не кричали. Мне никто не грозил. Но уж лучше бы кричали и грозили. Тогда легче было бы скрывать ненависть к этому человечку на высоких женских каблучках, изображающему тут, передо мной, кого-то или что-то. Он внушал ненависть и какой-то инстинктивный страх,

— Наседкин, он хотя бы жив?

— Да, он жив. Его вместе с двумя другими главарями здешних бандитов будет судить военный суд.

— Главарями? Да какой он главарь. Здесь любой его знает, любой скажет...

— Знает? Великолепно! Какой смысл судить никому не известного человека? Бешеных собак просто пристреливают.

Бешеных собак! Ух как хотелось мне вцепиться в эти холодные глаза! Но я заставила себя неторопливо подняться со стула. Выпустят или нет? Может быть, за дверью уже ждет солдат.

— Фрау доктор, по моему поручению были изучены скорбные листы. В вашем госпитале больные залеживаются слишком долго. Вам это не кажется?

— Вы же знаете, в каких условиях мы работаем. Нет самых простейших медикаментов. Больные голодают...

— Вот к чему приводит варварская политика выжженной земли, применяемая вашим командованием. Не полагаете ли вы, что германская администрация станет кормить врагов? Это дело бургомистрата... Кстати, вам известно, что, когда господину Наседкину был предложен высокий и почетный пост, он оскорбил бургомистра господина Раздольского?.. Фрау доктор, завтра у вас будет комиссия. Она установит причины столь длительного заживления ран.

Он встал.

— Будьте здоровы. Ведь так, кажется, у вас говорят, прощаясь.

Не помню уж, как я вышла из его кабинета. Попишка все еще околачивался в приемной. Он как-то крадучись подошел ко мне:

— Ну как?

Я махнула рукой.

— Возлюбивших насилие не приемлет душа господня.

Ух как он меня взбесил. Я даже позабыла, где нахожусь.

— Господня душа! А как же она приемлет все, что они тут творят? Куда он смотрит, ваш господь бог, черт его дери? А вы, вы в церквах своих, что вы там людям бормочете: «Смиритесь, утешьтесь...»

Я говорила, должно быть, громко. Он просто побелел, и глаза его,— а у него красивые, печальные такие глаза,— просто круглыми стали...

— Тише, ради всего святого, тише... Мне остается молиться за души невинно убиенных...

Молись, молись, дурак бородатый! Много ты вымолишь у своего бога. Держи карман шире. И у них вон на пряжках написано: «С нами бог». С кем же он?.. Ну ладно, главное-то — я все-таки на свободе. Не схватили, не задержали...

Домой даже не шла, а бежала, не оглядываясь по сторонам. Запомнился только большой грузовик, обогнавший меня. В кузове какие-то испуганные мужчины. Теснились так, что не могли, видимо, и присесть. Их, всех вместе, покачивало на ухабах. Куда их? В Германию? В рабство? Или туда, во двор гестапо?.. «Будем говорить языком страха».

Изверги, изверги... Но скоро, теперь уже скоро придет вам конец! А пока... Что это за комиссия? Что они там еще придумали? Как быть с теми, кто поправился или поправляется?..

Распустить их сегодня ночью? Но тогда завтра языком страха будут говорить с теми, кто не смог уйти. И со мной в первую очередь. Не покину же я лежачих.

Что же делать? Теперь, когда метель улеглась, было тихо, будто по тропкам постелили пушистые ковры. И хорошо, отчетливо слышно из-за реки: та-та-та... Родные, милые, скорее выручайте!

Большой сугроб завалил все подходы к нашему подземелью. Как тряпочка обвисал в безветрии совсем растрепавшийся флаг со стрептоцидовым крестом. И креста уже не видно. Теперь это просто пятно, похожее на след крови. Только один человек прошел через девственный сугроб. Кто бы это? Иду по этому следу, стараясь ступать в него. И вдруг мелькает мысль, от которой я останавливаюсь и даже зажмуриваюсь... Они хотят проверить состояние ран? Будут сдирать повязки? Хорошо. Я сегодня пройдусь по следу старых швов. Они увидят свежий кетгут. Подняв кожу, можно вызвать неопасные кровоподтеки. Верно! Выход! Скорее за дело!

В подвал я спускаюсь, перемахивая через ступеньки. Раечка что-то стирает в тазике возле самой двери. Ее черненькие косички-хвостики туго заплетены, торчат и даже загибаются вверх. Когда из двери пахнуло холодом, она подняла глаза и радостно взвизгнула:

— Вера! — и понеслась по палатам, разбрызгивая с ручонок мыльную пену.— Наша Вера пришла!

Все двинулись ко мне.

Я без сил опустилась на табуретку.

3

Конечно же, вернувшись, я рассказала Василию Харитоновичу о замысле, возникшем у меня по дороге. Ответил не сразу, задумался. Спросил: чем все-таки это может угрожать больным? Узнав, что при соблюдении всех антисептических правил — ничем, опять задумался и потом будто резолюцию наложил:

— Умница! Делайте...

Раненых тоже не пришлось уговаривать. Военные мне безоговорочно доверяют: раз нужно, значит, нужно. Понимают: решающие дни. Точно мы ничего не знаем, но уже ясно, что Москвы гитлеровцам не видать, что Красная Армия перешла в наступление, что немцы не просто отходят, а отступают, что наше избавление близко... Словом, все благословили меня на это изуверское дело, и мы принялись за него немедленно.

Наверное, ни одному хирургу с Гиппократовых времен не приходилось делать такой кощунственной работы, какую мы с тетей Феней и Антониной проделывали весь этот вечер, до глубокой ночи. «Шьем да порем»,— определила моя верная ассистентка смысл наших усилий. Точнее, мы пороли и шили. Снимали кроющую повязку, осматривали швы. Острым скальпелем я рассекала уже затянувшуюся рану. Разрушив свежие грануляции, я раздвигала края шва. Потом, как сегодня в снегу по чьим-то следам, я накладывала новый шов. И все вновь завязывалось. Варварство? Конечно. Но ведь это угрожает разве только тем, что у больного останется грубый шов. Но кто думает о хирургической эстетике, когда на карте будущее и даже жизнь. Двоим, чьи раны я все-таки побоялась трогать, наложили на ступню и на голень гипсовые сапожки. Мария Григорьевна смотрела на нас умоляюще. Мы тратили последний гипс. Ничего, может быть, он нам больше и не понадобится, ведь наши же наступают.

Такие операции, при которых главной заботой было не занести инфекцию, мы проделали с шестнадцатью людьми.

Наконец мы управились. Я едва стояла на ногах, но голова была свежая. Спать не хотелось. К удивлению моему, Сухохлебов тоже не спал. Сидел на койке, опершись спиной о подушку, и разговаривал сам с собой. «Характер, железный характер... Да, да, да...» — расслышала я. Очень обрадовавшись, что он не спит, подошла к его койке.

— Я слышала пулеметную стрельбу за рекой, и очень отчетливо. Может быть, наши перешли в наступление?

— Что? — переспросил он, вздрогнув от неожиданности.— Наступление? Нет, нет, не это. Это еще не началось. Оно начинается по-другому... Что, струсили? А ну, не вешайте носа, обязательно начнется.— И вдруг закончил: — Какой же вы хороший парень, доктор Вера!.. Как я... как мы все тут за вас переживали!

«Я»... «Мы»... В сущности, ведь все равно. «Мы» даже лучше, чем «я». Но все-таки признаюсь, что в данном случае «я» было мне дороже, чем «мы». И не почему-либо, а лишь потому, что я очень «зауважала» этого человека.

Пожелала ему спокойной ночи. Еще раз обошла всех, кого мы сегодня мучили. Ничего. Не жалуются. «Саднит», «Жжет маленько», «Здорово чешется». Других показаний нет. Пошла было к себе, а тут Ланская:

— Вера Николаевна, голубчик, дайте снотворное — заснуть не могу. На сердце тоска... Нет, нет, не вашу паршивую валерьянку с бромом. Их, немецкое... Там, на тумбочке... Отличное. Так мягко действует. И упаковочка, какая упаковочка! Немцы есть немцы, что о них ни говори...

Пилюли, однако, не приняла. Просто потрясла нарядной коробочкой и забыла о ней. Да и без того я уже понимала, что она выспалась за день, скучает, не терпится ей поболтать. Ну что ж, честно говоря, я тоже люблю это занятие. Присела у нее в ногах. Не знаю уж, кого она тут уговорила, но голову ей все-таки разбинтовали. Теперь смотрит обоими глазами, а кресты пластыря, наложенные ей на висок, на щеку и на подбородок, закрывает густыми, пшеничного цвета волосами. Вот баба-то!

— А вы, оказывается, храбрая,— начала она на самых воркующих нотах своего богатого голоса.— А ну, расскажите о своем походе. Я просто дохну от любопытства. Держу пари, доктор Вера имела успех. Я вот и не засыпала, ждала, пока вы кончите возиться с перевязками... Этот толстый идиот штадткомендант прислал мне

целую посылку от имени... Как несчастной жертве красного террора.

Взяла большую шоколадную плитку, отломила половину, подала мне. Я машинально стала жевать, но вдруг вспомнила этого Шонеберга и поперхнулась.

— Принимал сам? Как он?

— Как тогда. Желтый. Мешки под глазами. У него наверняка жуткая язва.

— Он сам язва... Это, между прочим, омерзительный тип. Его прислали после того, как партизаны пристрелили его предшественника. Тот был из старых рейхсверовцев и казался довольно порядочным. А этот...

— Он был довольно учтив.

— С вами. И днем у себя в кабинете... А знаете, его сателлиты ловят по улицам девчонок. Их везут к нему за город. Он держит их где-то в ванной, морит голодом, пока они не соглашаются. Говорят, даже угощает ими своих приятелей. Там у него целый гарем.

— Господи! — вырвалось у меня, и я инстинктивно отбросила остатки шоколада.— Со мною он ничего себе не позволял.

— С вами! Речь идет о молоденьких девчонках с «Большевички» и с «Буденовки». Он лакомка, он не ест кур, только цыплят. Кстати, один немец, их хирург, говорил, что когда-то давно офицерский суд чести вышиб его из рейхсвера за эти штучки с малолетними. Зато в войсках эсэс он свой среди своих. Там все такие. Каждый головорез на свой манер.

— Вот там другой, маленький, в пенсне, на высоких каблучках.

— Который под Гиммлера работает? Барон фон Шонеберг? О, это совсем другое. Нацист-фанатик. Он из прибалтийских аристократов. Тоже птица. Вы с ним говорили? Порою он мне кажется просто сумасшедшим. «Нордическая кровь, избранная богом раса...» — Как это уж она сделала, я не знаю, но лицо ее вдруг стало похоже на физиономию этого пенснешника.— «Для мира два пути — наша победа или непроглядная ночь мирового еврейства...» — произнесла она его голосом.— Суеверие, шаманство, какая-то тарабарщина. Но он во всем этом убежден. Я белобрысая, у меня светлые глаза и волосы — Брунгильда... Мне он симпатизирует и красуется передо мной, как петух. «Мы обратим это столетие в начало нового мира. В торжество новой нордической

тысячелетней империи». Гитлеровский бред страницами и на память шпарит.

Ланская села на кровати, засучила рукава, и ее круглое, мягкое лицо стало идиотски тупым. Она хрипло пропела:

Мы будем шагать до конца,
Пусть все летит в преисподню,
Сегодня наша Германия,
Завтра — весь мир.

Когда они гавкают эту глупейшую песню, у Шонеберга в глазах слезы — вот-вот залает: «Зиг хайль!..» Эти бредни — его пунктик. Зол. Беспощаден... Но в личных делах вроде бы порядочный. Играет на рояле, и недурно играет. Строг не только к подчиненным, но и к себе. Мне кажется, он в меня немножко влюблен, вероятно потому, что я похожа на любезную его сердцу белокурую бестию.— И она, снова преобразившись, став похожей на уличную девку, хриплым, утробным голосом запела ту знакомую уже мне песенку про потаскушку Лили Марлен.

Удивительно — и в этом своем новом преображении, вульгарная, хриплоголосая, она оставалась все той же Ланской. И тут у меня мелькнула мысль.

— Кира Владимировна, родная, завтра ваш барон будет здесь с комиссией. Вы говорите, он в вас влюблен. Попросите его за Ивана Аристарховича, а? Вы из-за них пострадали. Он для вас сделает, а? Ну что вам стоит!

Глаза артистки сразу погасли. Она точно бы сошла со сцены за кулисы. И даже, как мне показалось, боязливо оглянулась.

— Не знаю, не знаю, — сказала она сухо. — Вы, милочка, преувеличиваете мои возможности... И потом скажу прямо: ходатайствовать за тех, кого они берут,— это класть тень на себя... Очень темную тень. Это вам надо знать.— И, должно быть что-то заметив у меня на лице, прямо, без переходов, вдруг широко улыбнулась.— А знаете, милый доктор, у вас красивый разрез глаз и ресницы — чудные ресницы. Вы ведь хорошенькая. Да вы и сами знаете об этой своей женской силе, только делаете вид, что не замечаете ее, не то что я, дура баба, у которой что на уме, то и на языке. На языке даже больше, уверяю вас.

Я вскочила и украдкой оглянулась. Все спали. На посту дежурной Антонина уткнулась в книгу. Слава богу, кажется, не слышала.

— Лучше скажите, как ваши раны. Больно? Горят?

— О, отлично, на мне все заживает как на собаке. Вот только лицо... Но я верю вам, что шрамов не останется. Что вы на меня волком смотрите? Садитесь, я вам что-то скажу. Сегодня сюда заползал мой Винокуров, приволок какие-то консервы, что-то там выпросил для меня. Я его выставила, а консервы отдала этой суровой тетке. Кстати, неужели она все-таки не может кормить людей лучше? На вашей еде воробей отощает.— Она подала знак, чтобы я наклонилась, и зашептала: — Винокуров спрашивал, скоро ли я смогу ходить.— Покосившись на Антонину, которая все так же склонялась над книгой, еще больше понизила голос: — Знаете, почему он этим интересуется? Только секрет, вы и я — больше никто. Слышите? Он говорит — скоро придется бежать.

— Бежать? Как бежать? — переспросила я, невольно опускаясь к ней на койку.

Она приблизилась ко мне так, что дыхание щекотало ухо.

— Тут, за рекой, появился какой-то генерал Конев. Говорят, летом, во время общего драпа, он дал им перцу где-то около Ярцева или Духовщины. Помните, в газетах: «Коневцы наступают»? Так вот теперь он где-то здесь со своими войсками. Его появление им спать не дает. Они много о нем болтают... Еще Винокуров говорил: штадткомендант приказал упаковывать ценности музея, подготовлять их к вывозу.

Я все позабыла, слезы стояли у меня в глазах. Ланская отстранилась:

— А вы действительно рады? Вы верите, что наши вам простят?

— Что мне прощать?

— Ну как же, человек с таким пятном в анкете, осталась у немцев, бывала в немецкой комендатуре, общалась с эсэсовскими офицерами.— Она смотрела на меня, как ученый, делающий интересный опыт, следит при этом за поведением кролика.

Ах, вот что! Ну и дешевая же у тебя душонка!

— Только бы шли скорее. Придут — разберутся, поймут, не могут не понять.

— Вы так уверены? — голубые глаза усмехались.

— Уверена, уверена, слышите вы, уверена! — почти кричала я.

Да, Семен, я кричала это ей в лицо, хотя это, конечно, бесполезно и опасно. А она усмехалась...

А вот сейчас лежу и раздумываю: в самом деле, поймут ли меня, поверят ли мне?.. Ах, эта усмешка! Вчера даже сам этот вопрос передо мной не стоял. А вот сегодня эта молчаливая усмешка меня смутила. Почему она усмехалась? Может быть, она, как актриса, разглядела во мне что-то, что я и от себя прячу? Нет, черт возьми, я верю, не могу не верить. Ведь если я потеряю веру, что же тогда?

4

Минувшей страшной осенью, что бы там ни сообщали сводки Советского Информбюро, как бы они ни пытались смягчить масштаб несчастья, по множеству признаков чувствовали мы приближение беды. Так же вот теперь, в разгар зимы, не имея в последние дни никакой информации, кроме той откровенно лживой, что печатается в этом «Русском слове», мы тоже по множеству разных примет видим, что приближается конец оккупации. И каждый такой признак, как бы он страшен ни был, радует, помогает переносить новые и новые беды, валящиеся на нас.

И вот этот вопрос: «Вы верите?» С ним я проснулась утром, когда еще весь госпиталь спал и даже Антонина дремала возле потухшей плошки, положив на книгу свою большую, всю точно бы в медных курчавых стружках, голову. Я могла бы, конечно, разбудить ее, а сама поспать часок-другой. Ведь предстоит ужасный день. Но встал этот проклятый вопрос — и сна как не бывало.

Голова все-таки ясная. Мефистофельская улыбка Ланской кажется сегодня испуганной и жалкой, а вчерашние мои раздумья странными. Конечно же верю. И как мне не верить, если вот здесь, в этих ужасных условиях, где можно с ума спятить, где хозяйничают гитлеровцы, среди восьмидесяти пяти моих подопечных не нашлось ни одного отступника, ни одного, кто бы дрогнул или предал...

Да, госпожа Ланская, я верю и в то, что рано или поздно освободят моего мужа, что справедливо разберутся и в наших сложных, запутанных делах. Верю, верю, верю!..

Поставив после всех этих размышлений точку, я будто тяжесть с плеч сбросила. Обошла палаты. Все спали. Еда у нас в последние дни такая жиденькая, что как о чем-то роскошном и недоступном вспоминается о «супе рататуе», о кусочке конской солонины. Люди бледнеют, теряют в весе. Отсюда и сонливость. Вон Антонина спит, положив свой рыжий костер на книгу, и по-детски причмокивает губами. Заметно, очень заметно поддался даже наш могучий Антон, казавшийся несокрушимым. Куда делись ее подушки-щеки, где румянец! На пестром лице обозначились скулы, а лепешки веснушек на побледневшей коже стали ярче, и кажется, будто маляр отряхнул с кисти охру ей на лицо, на шею, на руки... Сегодня комиссия. Что-то будет? Этот попик с бабьим имепем сказал, что мужчин в городе немцы забирают под метлу. А эти мои военные? Пожалуй, даже наша комиссия перевела бы их уже на амбулаторное лечение. Вся надежда на эту нашу «медицину наоборот».

Не терпелось узнать результаты. Не дожидаясь обхода, разбудила одного из тех, кого вчера оперировали повторно. Так, температура явно повысилась. Ого, под бинтами краснота, вокруг стежек шва припухлость. Опытный, очень опытный глаз, ну хотя бы наседкинский например, мог бы, понятно, заподозрить что-то неладное, но поверхностным осмотром нас не разоблачишь, тем более освещение... Да, надо, конечно, позаботиться, чтобы не горели ацетиленовые лампы и осмотр проходил при плошках.

Утренние раздумья зарядили меня оптимизмом. Вопреки всему, вопреки даже здравому смыслу, я уже верю, что и сквозь комиссию мы как-нибудь проскочим. Поговорить бы с Василием Харитоновичем, но вон он лежит на спине, разметав по одеялу свои волосатые руки, и надрывается солдатским храпом. Любопытная вещь: во сне он как-то моложе, мужественнее, крепче. В нем меньше от старого агронома Карлова и больше от кадрового военного.

А вот Ланская, черт ее побери, эта не спит. Сидит на койке и что-то торопливо и жадно жует. Увидела, что я подхожу, сделала судорожное глотательное усилие и, освободив рот, улыбнулась.

— Вот закусываю, пока все спят. Присоединяйтесь.— И, добыв прямо из коробки пальцами каких-то

жирных рыбин, положила их на большую галету и протянула мне.— Настоящие сардины с острова Сардиния.

Ах, как хотелось мне взять, но я вспомнила, как Сталька шептала мне, что Анна Каренина прячет разные вкусности под тюфяк и потихоньку лопает их под одеялом.

— Спасибо. Мне не хочется...

Ланская встряхнула своими пышными русыми волосами, которые теперь, освобожденные от бинтов, падают ей на плечи, снисходительно улыбнулась.

— Эта ваша Марфа Посадница морит людей голодом. А я не могу худеть, я актриса. Я должна сохранять свои пропорции. Ну, хватит терзаний. Сардины с острова Сардиния. Они без свастики, можете спокойно есть. За них ничего ни в настоящем, ни в будущем не инкриминируют. Ешьте, ешьте, вам тоже нельзя терять пропорции. Привлекательность — это ваше действенное орудие в борьбе с проклятыми немецко-фашистскими оккупантами.

Я, признаюсь, не без труда произнесла:

— Благодарю, кушайте сами.

— Ну что же, съем.— Она погрузила ровные зубы в этот такой жирный, такой аппетитный бутерброд.— Вы — фанатичка. Впрочем, к вашему лицу идет бледность, и эта многозначительная тень в глазницах, и огромные глаза. Такие в прошлом веке ходили на подпольные сходки и бросали бомбы в министров. Я играла однажды подобную роль в какой-то пьесе о тысяча девятьсот пятом годе. Ничего, принимали. Только сама-то я знала: не то, не так. Подвижница идеи — это не мое амплуа ни на сцене, ни в жизни... А вы знаете, однажды из-за меня сняли спектакль «Леди Макбет»? Думаете, плохо играла? Наоборот, чудесно, по десять раз занавес открывали, но мудрецы решили, что королева-злодейка не имеет права быть такой обаятельной... Нет, дорогая, мне нельзя выходить из образа.

— Я уже говорила вам — сегодня сюда придет этот «фон» без подбородка.

— Фон Шонеберг.

— Ну да. Тетя Феня зовет его «пенснешник».

— Пенснешник? Бесподобно. Он ведь копирует своего обожаемого Гиммлера, пенсне с круглыми стеклами — это тоже под «третьего наци Германии».— И нервно спросила: — Придет, ну-с и что же?

— Я уже говорила, может быть, вы все-таки походатайствуете за старика? Очень, ну очень прошу вас.

Ланская смотрела на меня, будто задумавшись, будто не слыша просьбы.

— Неужели вы не хотите спасти человека?

И опять будто кто щелкнул выключателем — самоуверенная, обаятельная актриса разом погасла, превратившись в обычную, растерянную, может быть даже испуганную женщину.

— Спасти, спасти! — истерически выкрикнула она.— А меня, меня кто спасать будет... а? Кто? Ну!

Но это лишь на мгновение. И вот она уже прежняя.

— Спасти,— повторила она со снисходительной усмешкой.— Разве эту страшную машину остановишь голыми руками? Она заденет, скомкает, раздавит вас и будет продолжать крутиться, а от вас останется лишь пятно. Остерегайтесь, остерегайтесь этой машины, доктор Верочка... Мы что? Мы — мухи. Присев на одно из ее колес, мы можем крутиться вместе с ним по его орбите, что-то о себе воображая. Но стоит сделать одно неосторожное движение...

Ланская, не договорив, привстала на локте, приподняла изголовье постели и принялась в чем-то рыться, шурша бумагой. Потом в ее руке очутился кусок сухого торта. Она протянула его мне.

— Ну, а это-то вы все-таки, голубушка моя, съедите. Обязательно, обязательно! Я от вас не отстану. Жуйте. Даже непримиримая Электра и неистовая Жанна д'Арк приняла бы этот скромный дар от слабовольной еретички, которая, что там греха таить, любит пожрать.

Семен, мне стыдно, но я взяла. Взяла не для себя. Для ребят. И что ты думаешь? Когда я принесла этот трофей в свой «зашкафник», они не спали. Домка сидел, опустив свои длинные, с большими ступнями ноги. Угловатое мальчишеское лицо было замкнуто. А Сталька, оказывается, стояла, посинев от холода, в одной рубашонке, прижавшись глазом к щели, и подсматривала. Прежде чем войти к ним, я услышала ее шепот: «Дала-таки, жадина-говядина». Но меня эта хитруха встретила лучезарной улыбкой.

— Ма, ой, что ты принесла!

Я поделила кусок торта. Домка непримиримо оттолкнул мою руку:

— Не надо, пусть сама жрет!

— Ну и не ешь, ну и не ешь! — запальчиво бормотала Сталька, уже запустив в свою долю зубки.— Пусть не ест. Можно мне его долю Раечке? Можно, да?

Ой, Семен, слезлива я что-то становлюсь. «Глаза на болото переехали», как говорит тетя Феня. Вот и опять чуть не разрюмилась. Помнишь, как в тот наш последний вечер ты сказал над Домкиной кроватью: «Славный малый у нас растет!» Поглядел бы ты на них сейчас. Славные, славные у нас ребята.

Ну, а эта чертова комиссия явилась на следующий день. Вчетвером — наш Толстолобик, фон Шонеберг и тот третий, которого прозвали Прусаком. Ну, и, конечно, солдат. Толстолобик замкнут и как-то странно отчужден. Он молча козырнул и даже не произнес своего обычного: «Гутен таг, фрау Вера». Я почувствовала: что-то произошло и наша судьба в руках Шонеберга.

Тот, наоборот, поздоровался, и даже преувеличенно вежливо. Потом щелкнул каблучками возле койки Ланской. Она утром выпросила у Марии Григорьевны кусок марли, набросила на голову наподобие фаты, так что не видно пластырных заплаток.

— А, барон! — проворковала она, протягивая ему полную, обнаженную до плеча руку, тем жестом, каким она делала это в сцене на балу, изображая Каренину.

Он поцеловал руку.

— Как ваше драгоценное здоровье? Как вы себя чувствуете?

— Как можно себя чувствовать в этой помойной яме!.. Но лечат превосходно. Доктор Трешина просто волшебница,— видите, голова уже разбинтована. Барон! Я слов не нахожу, чтобы поблагодарить вас и ваше командование за заботы...

Ну, сейчас скажет о Наседкине, ждала я и смотрела ей в глаза. Ну скажи, скажи, что же ты? Нет, не сказала. Так и прококетничала с этим прохвостом. А Толстолобик и Прусак между тем надевали халаты.

Меня колотило, будто в приступе малярии, но я старалась сохранять равнодушный вид, и когда Прусак, переоблачившись, отошел, я вдруг отчетливо услышала тихо произнесенное: «Гутен таг, фрау Вера». Взглянула на Толстолобика: не ослышалась ли? Но он, кончив застегивать халат, сосредоточенно обдергивал его полы. Может быть, мне это послышалось, но все-таки как-то немножко полегче стало. Шонеберг халата не надел.

Так, в черном своем мундире с какими-то ленточками и значками, он, поскрипывая сапожками, и отправился с нами в операционную. Я шла впереди. В палатах царила напряженная тишина. Такая, как я знала по опыту, бывает чревата взрывами коллективной истерики. Десятки глаз молча провожали нас, только Сухохлебов мирно спал, выбросив на одеяло волосатые руки.

Раненых, подлежащих обследованию, расположили в разных концах палаты. Тут я заметила оплошность: пронзительно белели свежие бинты... Шонеберг сел на табурет, вытянул из футлярчика замшу, стал протирать свое пенсне, а мы все ждали. Заметит или не заметит? — со страхом гадала я. Оседлал наконец нос, осмотрел палату. С небольшого круглого личика, сбегавшего в воротник кителя, не сходило брезгливое выражение.

— Доктор Трешникова, в свинарнике самого бедного немецкого фольварка чище, чем в этом вашем госпитале. И воздух там свежее.— Он сказал это намеренно громко, так, чтобы все могли слышать.

И все услышали. Но ничего не изменилось. Лежали молча, будто он сказал это и не по-русски. Только кто-то, кажется старик, рабочий с «Большевички», койка которого была рядом, тягуче вздохнул:

— Ох-хо-хо!

— При Новом порядке в таких условиях не разрешат держать даже животных.

Что он, провоцирует нас, что ли? Я вижу во взглядах затаенный гнев. Вижу, как Кирпач, которому я вчера вскрыла совершенно зажившую рану на ноге, весь напрягся, даже покраснел. Вот-вот с его заросших волосом губ сорвется ругательство. Я взглядом стараюсь передать: «Молчите, ради всего святого, молчите!» Молчат. С койки Василия Харитоновича доносится храп.

Прусак подает этому чертову «фону» отобранные им карточки историй болезней.

— «Лапшев Петр Прокофьевич»,— брезгливо читает Шонеберг, вынув из пачки первую попавшуюся.

— Лапшев, поднимитесь,— говорю я, и Лапшев приподнимается.

Это огромный парень. Артиллерист, у него полостное ранение. Еще недавно он весил больше центнера. Теперь — мешок с крупными костями. Но раны у него так зарубцевались, что пришлось потрудиться, чтобы привести

их, по выражению тети Фени, «в божеский вид». Молодец, он не встал, он только сел на койке.

— Снимите рубашку.

Ах, эти чересчур свежие, чересчур белые бинты, да к тому же еще и немецкие, из той сумки, которую нам передали вместе с Ланской... Но то, что бросилось бы в глаза любому медику, Шонеберг не замечает. А Толстолобика я, ей-богу, не боюсь. Я помогаю ему разматывать повязку. Обнажаем рану. Милый Лапшев, да у тебя, верно, все, как настоящее. Мне становится легче. Толстолобик что-то говорит Шонебергу, тот на мгновение наклоняется, но сейчас же отстраняется, машет рукой. На лице у него и разочарование, и брезгливость, и скука. Потом разрушаем один из гипсовых сапожков. Это у маленького красноармейца-связиста, которого все зовут Костик. Балагур, ерник, бездонное хранилище соленых анекдотов и, несомненно, артистическая натура. Ломаем гипс, а он стонет, ойкает, закатывает глаза. Я вижу — Толстолобику стыдно. Не знаю, верит ли он или делает вид, что верит, но даже пот выступает на его обширном глянцевитом, уходящем к самому темени лбу. И снова, подойдя на минуту к кровати, взглянув на распаренную под повязкой и будто бы губчатую ногу, Шонеберг отходит. Толстолобик осматривает внимательно, что-то объясняет, но тот и не слушает.

— У вас, у русских, пещерная медицина. Удивляюсь, доктор, как они у вас не перемерли... И эти люди уверены, что создали социализм!

Я не возражаю. Только с беспокойством смотрю на своих больных. Их глаза ненавидят. Но пока молчаливо. Только бы кто-нибудь не сорвался, не выругался, не вступил в ссору. Шонеберг снова тасует папочки. Не знаю уж почему, из брезгливости или из боязни заразы, он не снял серых замшевых перчаток. Серые лапки тасуют карты. Каждая карта — человеческая жизнь. Я жду. Кто же следующий? Вдруг попадается карточка Анатолия Карлова... Но Шонеберг брезгливым жестом отбрасывает карточки на ближайшую койку, поворачивается и идет вон. Поскрипывает подошва, постукивают длинные каблучки. Толстолобик идет за ним, сохраняя непроницаемое выражение. Прусак жмурится и морщится больше, чем всегда, подвижной, как у кролика, носик его так и ходит. Этот не то разочарован, не то испуган.

А я, я просто лечу вслед за ними. Пронесло! Товарищи, пронесло же! Во всяком случае, мне в эту минуту так кажется.

—...Теперь я не удивляюсь, почему у вас так затягивается лечение,— говорит Шонеберг.— Можно удивляться лишь тому, что эти люди вообще еще живы. Первобытные организмы... Я пока не виню вас, доктор Трешникова, я знаю, это ваша расовая беда: грязь у славян в крови. Но когда вы попадете в орбиту Нового порядка, мы быстро научим вас гигиене. О, вы скоро узнаете, что такое нордическая цивилизация!

Слушаю. Молчу. Ладно, болтай, болтай. От собачьего бреха пока еще никто не умирал. Выговаривайся и убирайся.

— Но оборудование ваше меня удивило. Не все германские раненые лежат на таких койках. Над этим стоит подумать.

Он опять целует руку Ланской, небрежно козыряет мне. Проходя мимо меня, Толстолобик произносит свое: «Ауфвидерзеен, фрау Вера». Прусак уходит не прощаясь. Он мрачен и озабочен. Уж не он ли подбил эту тварь проверять нас?

5

Но беда, как говорится, не приходит одна.

Вечером прибежала тетя Феня: Зинаиде плохо, с утра вроде бы все ничего, достирывала белье, договаривались вместе в церковь к вечерне сбегать да на могилу к Васильку — и вдруг тут же, возле бачка с теплой водой, бухнулась и лежит в неподвижности, краше в гроб кладут. На месте происшествия уже была Антонина. Держала на коленях маленькую головку с растрепанной тощей косицей и подносила к носу пузырек с нашатырем.

— Обморок,— говорит она мне.

И действительно, обморок. Больная пришла в себя, удивленно осмотрелась, поднялась на ноги.

— Белье там, в котле... перепарится,— сказала она, но так тихо, что я еле разобрала.

— Ладно ты о белье. Не дуры, позаботимся. Ты скажи, что с тобой-то? — суетилась тетя Феня.

— А ничего,— так же тихо ответила Зинаида, будто прислушиваясь к самой себе.— Ничего не больно. Только в ногах слабость, да все плывет, плывет, кружит.

Я поняла: это — голод. Все мы, конечно кроме Ланской, в последнее время недоедаем. Но все как-то держатся... А тут... Мария Григорьевна отвела Зинаиду к себе, напоила ее чаем, нашим условным чаем, который она изготовляет из сухой моркови. Та приободрилась, пошла достирывать. Весь госпиталь обсуждал это происшествие, никто не удивлялся,— с голоду чего не бывает. Только Сталька, этот всеведущий лисенок, открыла истинную причину, почему это случилось именно с Зинаидой:

— Сама не ест, все Раечке. Супчику похлебает, а хлебчик ей.

Я поразилась: ну как мне такое в голову не пришло? Зинаида действительно как-то истерически привязалась к сиротке. По утрам заплетает косички. Сшила ей из какой-то ветоши по Сталькиной выкройке белый халатик, отдала свой последний свитер тете Фене, чтобы та ей из него связала что-то для девочки. Ради тепла спят вместе. Порой мне кажется даже, что одинокая эта женщина ревнует Раю к моим ребятам.

И вот эта история. Я не решилась взяться за это тонкое дело. Попросила Марию Григорьевну поговорить с ней. Волнует не само это событие. В конце концов, с Зинаидой ничего страшного и не произошло. Страшен симптом. Первый симптом. Снизив нормы до предельного минимума, все мы явно «доходим». То, что произошло с Зинаидой, может случиться с любым из нас.

— Ничего нельзя сделать? — спросила я нашу суровую Марфу Посадницу.

Мария Григорьевна только вздохнула.

— Откуда ж! И по такой норме хватит от силы на неделю.— И добавила: — Если наши не подоспеют, локти свои грызть будем. Мудрика просила в лесу разведать, где лошади битые... Куда там! Всех не то люди, не то волки пообглодали и требуху не оставили, одни кости, да и те объеденные дочиста. И на семь-то дней еле натяну.

Только на семь дней! И тут же другая жуткая весть.

В полночь через второй наш ход, ведущий через обвалившуюся котельную и тот коридорчик, где лежало тело Василька, явился Мудрик. За мной прислали кого-то из больных. Мудрик сидел у сухохлебовской койки, оба необычайно взволнованные. Я подошла. Мудрик поклонился без обычного своего шутовства.

— Вера Николаевна,— произнес Василий Харитонович вместо «доктор Вера», к которому я привыкла.— Вера Николаевна, вчера гестаповцы взяли вашего свекра.

— Петра Павловича? Но он же...

— Не надо так громко.

— Не может быть... Он же...

Василий Харитонович грустно покачал головой:

— Товарищ Никитин совсем не то, что о нем думают.

— Рация накрылась... Две кассы шрифта,— шепотом продолжал рассказывать Мудрик, теперь уже не стесняясь моим присутствием.

Рация... Какие-то шрифты... И вдруг я как бы разом прозрела, Семен. Будто какие-то разрозненные, ничего мне не говорившие слова, которые я иногда слышала, слились в целую фразу. И этот патент с гитлеровским орлом, и почему старик не пригласил к себе жить ни меня, ни внуков, почему вообще держался подальше от нас. Все, все стало ясно, кроме разве одного, почему я была так недогадлива...

— Снаряды ложатся близко,— задумчиво произнес Сухохлебов.

— Уж куда ближе, можно сказать, в нашем квадрате, товарищ полковник,— ответил Мудрик.— Я ведь едва через огороды утек. Весь арсенал оставил,— ух, и гранатки у меня были. И костылик мой — трофей немецко-фашистской армии.

Костылик! Ну да, я вспомнила, в прихожей у вешалки стоял костыль. Так, стало быть, и тогда... Дура ты, дура, Верка! Где ж это были твои глаза?

— Вы все были связаны? Да?

Василий Харитонович ласково похлопал меня по спине.

— Идите-ка вы спать, доктор Вера! Нам тут с Мудриком потолковать нужно по сугубо мужским делам.

Ну что ж, я ушла. Ушла даже без обиды. Да и до обиды ли мне сегодня!.. Мне стыдно перед твоим отцом, Семен. Стыдно и страшно за него. А Иван Аристархович? Неужели они были связаны? Нет, нет, этого не может быть. С чего бы это им тогда чураться друг друга? И вдруг мне отчетливо вспомнился их давний спор на порожке баньки. Мы с Татьяной ждали, когда вынесет жар после их банных неистовств, а они сидели возле бидончика с квасом и спорили.

— Ты, Аристархович, из тех людей, что всегда ищут истину, но более всего боятся ее найти,— сердито бросал твой отец.

— А ты, Петр Павлович, когда-то свою истину нашел, вцепился в нее обеими руками, глаза зажмурил и на белый свет глянуть боишься. А вдруг она, твоя истина, полиняла? Вдруг чем другим обернулась? — кхекая, парировал Наседкин, попыхивая махорочным дымком.

— Все умствуешь, Аристархыч, все в словечки играешь.

— А ты без своего ума жить хочешь, за тебя уж все вперед на сто лет обдумали.

А потом побранились, и Наседкин ушел, даже не простившись. Но через неделю уж вместе отправились по грибы. А у нас тут «здравствуй» да «прощай» — и весь разговор. Нет, не только я, но и Иван Аристархович ошибался, это ясно.

И вот теперь оба они в этом здании, где во дворе по ночам рычат на холостом ходу моторы, заглушая выстрелы. В здании, откуда по утрам еще затемно уходят за город машины со страшным грузом. Не знаю уж, говорить ребятам, что с их дедом произошло, или помолчать? Нет, лучше, пожалуй, помолчу. Зачем горчить их и без того уж не сладкую жизнь...

Вдруг кто-то в шкаф — тук-тук.

— Да, войдите.

Ланская! Удивительно, как это на ней все заживает. Ходит. Правда, ранения пустяковые, царапины. С такими бойцы и в медсанбат не ложатся, но ведь она не красноармеец, актриса и не девочка годами. Зашла. Присела. Положила на стол какой-то сверток.

— Еда. Вам и ребятам.

— Нет, вам самой поправляться нужно.

— Мне хватает. Поклонники не забывают. Сегодня еще натащили.

— Возьмите назад... Вы, может, слышали, у Богдановой был голодный обморок.

— Милый доктор, ну научитесь же вы реально мыслить! Я не Иисус Христос и не могу накормить всех пятью хлебами, тем более что у меня всего три булки, но с вами я охотно делюсь... Кстати, ваши ребята такие же фанатики, как вы. Я предложила вашему сыну отличный бутерброд с ветчиной, и, представьте, сделал

вид, что не заметил, прошел мимо. Даже спасибо не сказал. А эта ваша девчурка схватила конфету, мерсикнула и убежала, будто боялась чем-то от меня заразиться... Ешьте, это они называют «апфелькухен» — яблочный пирог.— Она развернула бумагу, и от запаха сдобного теста у меня закружилась голова. Невольно, как маленькая, с шумом подобрала слюну. Она, понятно, заметила это.— Да ешьте же, чудачка! Ну ладно, вы не хотите, чтобы я с вами делилась моими трофеями, так возьмите это как гонорар за лечение. Вы лечите меня? Ну вот, а я вам плачу, за неимением денег, натурой. Ну давайте есть вместе.

Она разломила пирог, проворно стала уплетать свою долю. Стыдно вспомнить, но я не выдержала. Тоже начала есть, ела, испытывая наслаждение и даже, честно говоря, жалея, что другая половина пирога досталась ей. Потом, когда пирога не стало, не удержалась, стряхнула с промасленной бумаги лохматые крошки и отправила их в рот.

— Ну вот и молодец, учитесь жить не по канонам,— покровительственно произнесла Ланская.— А теперь, когда доктор получил гонорар и подобрел, пусть он скажет, скоро ли он меня выпустит. Здесь я просто чахну. Не могу, нет сил.

Пригнулась, приблизила ко мне свою увенчанную золотой короной волос голову, зашептала:

— Нет, я с вами начистоту. Мне оставаться нельзя... Мой благоверный опять побывал. Не видели? Он сюда шмыгает тихо, как хорек. Выглядит прескверно, совсем облысел, небритый... Под страшным секретом сообщил: наши их, видимо, под Москвой расколошматили и жмут по всему фронту. Эти сверхчеловеки готовятся к драпу. А тут опять этот таинственный Конев с какими-то новыми, не то уральскими, не то сибирскими частями... Словом, немцы обещали Винокурову большую машину...— И вдруг спросила: — Хотите с нами? Места для вас и для детей, видимо, хватит.

Я даже отпрянула. Она как-то нервно, истерически хохотнула:

— Что, струсили. Нас же никто не подслушивает. Мы можем все хладнокровно обсудить.

И вдруг спросила небрежным тоном:

— Знаете, что я ему ответила? Сказать? Нипочем не угадаете. Я сказала: «Никуда не поеду...» Куда ехать? От судьбы разве убежишь? А может быть, все-таки по-

пытаться убежать? Зашла вот посоветоваться: две красивые бабы — это ведь стоит целого наркомата... Бежать или не бежать вот в чем вопрос.

— Не понимаю, как можно об этом даже думать.

— Ну, милая, это уже безвкусица. Это ответ героини из плохой молодежной пьесы. Давайте порассуждаем реально. Мы с вами, две интеллигентки, по разным причинам остались у немцев. Желали мы того или не желали, вольно или невольно, мы вели с гитлеровцами дела. Сограждане это знают. Так? Что нас ждет? Арест? Вероятно. Тюрьма? Вряд ли,— ведь многие миллионы живут на оккупированной территории, всех не пересажаешь. Но презрение, всеобщее презрение,— это гарантировано. Обсуждаю другой вариант. Мы уезжаем с ними. Ну, вы врачи, вероятно, найдете себе работу. А я? Стоять где-нибудь у станка с остарбайтер? Благодарю покорно! Или петь в каком-нибудь офицерском кабаке? — И тотчас же, дивно преобразившись в уличную девку, хриплым, вызывающим голосом она запела:

Перед казармой, перед большими воротами,
Стоял фонарь, стоит и до сих пор.

Нет, карьера Лили Марлен не для меня. Так что же делать? А? Какие рекомендации даст доктор Вера заслуженной истеричке республики?

Подбородок Ланской съежился, она закусила губу, опустила голову, сжала ее руками. Мне стало даже жаль ее. Вдруг она вскочила, вышла, вернулась с початой бутылкой коньяку. Выплеснула из двух мензурок заготовленные тетей Феней для кого-то лекарства.

— Без бутылки не разберешься. Знаете, какой-то поэт написал: «Гаснут звезды Зодиака, спит собака Водолей, выпьем рюмку кониáка, сердцу будет веселей».— Лихо выпив, налила себе еще.— Ну чего же вы, Верочка Николаевна?

Я выпила.

— Кстати, учтите: за нами в щель между шкафами следят глаза двух девчонок, и в ваше досье где-то запишут: «Распивала французский коньяк с немецкой овчаркой».

Она заметно хмелела, мысли мрачнели, становились несвязными.

— Совсем недавно он говорил: «Разве не видишь — советская власть рушится...» Апокрифическая картина:

летают железные птицы, терзают человеческие тела. Грядет архангел с огненным мечом... Красная Армия бежит и неизвестно где остановится. За Окой? За Волгой? За Уральским хребтом? Зачем нам, будто осенним листьям, сорванным с ветки, нестись по ветру неизвестно куда... Ах, как он просчитался, этот лауреат, орденоносец, депутат... Думаете, не вижу, как смотрят на меня ваши огромные глаза? Презираете? Да? Ну и презирайте, черт с вами... Разрешаю. Знаете, кого вы мне напоминаете? Катерину из «Грозы». Только вы даже мужу не решитесь изменить и делаете вид, что не замечаете, как этот ваш агроном Карлов ест вас глазами... Впрочем, он такой же агроном и такой же Карлов, как я непорочная дева Мария, и вы, голубушка, это знаете не хуже меня. Но... ваша любимая реплика: «Но я другому отдана и буду век ему верна». Что, не так? Я вас насквозь вижу. Ну ладно, выпьем, Вера, выпьем тут, на том свете не дадут. Ну, а если и дадут, выпьем там и выпьем тут.

Что она болтает? С двух рюмок совсем пьяна. А если услышат там, в палате?

— Ага, испугалась! Не бойтесь, не выдам, доносчица — это не мое амплуа.

— Вы лучше скажите подробнее, что слышали о наших. Вы говорили что-то о Коневе? Ведь на фронте под городом тихо.

— Тихо? Верно. Красная Армия наступает от Москвы и лупит их в хвост и в гриву. А части этого Конева где-то тут недалеко. Они висят как дамоклов меч, и когда он на них обрушится, не знают. Из-за этого нервничают. За русских «языков» кресты дают. Оплата сдельная: за «языка» — железный крест. Тысячелетняя империя до Урала, а сами трясутся, как овечий хвост... Ха-ха-ха! Скорее бы их уже по...

Она смачно, со вкусом произнесла солдатское ругательство. Простыня в это мгновение взметнулась. За ней стоял Домка, очень внушительный в своем больничном одеянии. Из-за его спины торчали Сталькины лохмы.

— Мама, нам пора спать,— произнес он и даже не попросил, а просто приказал Ланской: — Забирайте бутылку и уходите.

Гостья убралась. Мы легли. Ой, не надо мне было все-таки пить этот коньяк! Такая тоска, такой страх вдруг овладели мной. Страх — это понятно. Это чувство

физиологическое... Как мысли путаются... О чем я? Ах, да, о страхе... Когда какой-нибудь там автор, желая возвысить своего героя, пишет: «Он не знал, что такое страх»,— он же безбожно врет, этот автор. Это мы, медики, знаем. Страх, так же как и боль, естественная защитная функция человека. Это сигнал о грозящей опасности. Человек без страха — калека, урод...

...Ой, как стучит в висках, и кровь будто хочет из-под меня выскользнуть. Нет, нет, не выскользнешь, хотя пить, конечно, натощак не надо. Ну ничего, выпила и выпила. Хирург должен быть немножко пьяница. Кто это сказал? Да, конечно, Кайранский. Вот был хирург... Так о чем же я?.. Ах, да, о страхе. Вот Василий сказал сегодня: «Снаряды ложатся близко». Сказал спокойно, но я-то знаю его. Только у него воля, и он виду не подает. А я? Чего мне скрывать, мне сегодня страшно. Я трусиха, я даже мышей боюсь... Ой, как мне сейчас страшно и за себя, и за ребят, и за весь наш госпиталь! За всех я отвечаю... И почему именно на меня, на слабую, неопытную женщину, все это навалилось? Всю жизнь терпеть не могла и не умела чем-нибудь руководить. Даже детьми... Эта Кира что-то там болтала о Василии. Неужели она что-нибудь заметила? А что можно было заметить? Фу, какая мура лезет в голову... Так о чем же я? Ах, да, о страхе. Так вот, мне сегодня очень страшно, дорогие товарищи.

6

Утром, еще до обхода, Мария Григорьевна решительно взяла меня за руку и отвела в свои «каменные пещеры». Так называют у нас бетонную каморку с железной дверью, построенную для хранения противопожарных инструментов и приспособленную теперь под кладовую. На металлической этой двери с некоторых пор висит у нее огромный замок, но «алмазов» за этой дверью в пещере оказалось так мало, что не было смысла их пересчитывать: четыре ящика слежавшихся комьями макарон, куль крупы, полкуля траченного мышами гороху да еще мешок горелого зерна, который наши женщины приволокли на санках с уничтоженной немцами мельницы.

Все это у Марии Григорьевны взвешено, проверено, разложено по дням из расчета на наличный состав едоков.

— Хватит на неделю. Как будем, Вера Николаевна?

Как она постарела! Сухое лицо совсем осунулось. Великомученица со старой иконы. Мелкие, незаметные морщинки углубились. Теперь они как трещины. Только глаза те же — строгие, блестящие. Ну что ты на меня смотришь, умница? Ты же во много раз расчетливее, опытнее меня.

— С Василием Харитоновичем советовалась?

— А как же! Он и сказал, что надо на неделю растянуть.

— На неделю?

— Он сказал — на семь дней.

— А дальше?

— Говорит, наши придут — выручат.

— Ну, ему лучше знать.

— «А если не придут?» — спросила я его, а он улыбнулся и говорит: «Тогда раскиньте карты, погадайте, что вам карты скажут...»

— Зачем же вы меня сюда привели, Мария Григорьевна?

— Тяжко ж, Вера Николаевна. Люди на глазах тают, ропщут. Чирьи-то пошли! Вон Васька Власов как гриб мухомор красный был, а сейчас ни сесть, ни лечь не может, на крик кричит.

— Может быть, пойти все-таки попросить у немцев? — неуверенно сказала я.— Мы ж у них на учете в комендатуре. Сама на карте у коменданта наш госпиталь видела. Может, все-таки что-то дадут, а?

— С ума ты сошла, Вера Николаевна! — вскрикнула собеседница, в первый раз употребив в разговоре со мной «ты».— Не пустим мы тебя. К ним идти... Сейчас, когда наши их бьют. Они ж каждый день теперь расстрелянных машинами, как дрова, за город гонят.— Встала и даже руки раскинула.— Не пустим, думать не смей...

— А наши-то подоспеют? Как вы полагаете, Мария Григорьевна?

— Василий Харитонович говорит — выручат. Он военный, ему лучше знать.

— Ну, а если не выручат?

— Ох, об этом, Вера Николаевна, лучше и не думать. Не придут — что ж, кликнем клич: «Спасайтесь, кто может». Ходячие расползутся, лежачих на закорках понесем. Ну, а которые тяжелые, те что ж, те останутся.

— Одни?

Мария Григорьевна даже отпрянула от меня.

— Как одни? А мы? Нас с ними, Вера Николаевна, одна веревочка связала. Считаю я, эту веревку никому не разорвать.— И добавила: — Детишков ваших да Раиску добрые люди по общежитиям разберут, спрячут.

И как все это у нее, у старой отбельщицы с «Большевички», просто, естественно. «Одна веревочка связала». Да, да, наверное, и я бы пришла к такому выводу. Но сколько бы у меня было при этом сомнений, колебаний, опасений, терзаний. А тут все ясно. «Детишков добрые люди разберут» — и устранена сама возможность малодушия или подлости.

— Так что ж, на семь дней поделю? Ведь и так в супе горошина горошине кукиш кажет.— Очевидно, только этот вопрос и остался у нее нерешенным.

— Хорошо, делите на неделю,— подтвердила я и стала убеждать себя: придут, придут, не могут не прийти.

Вышла из кладовой в палату, и сразу шибанул в нос густой и холодный воздух, в котором кислороду так мало, что крохотное пламя коптит в плошках. Увидела всех — и сжалось сердце. На семь дней... Выдержат ли они, больные и истощенные? Они вон и сейчас движутся вяло, медленно, как сонные мухи. Только светятся в полутьме огромные округлившиеся глаза.

Бреду к Василию Харитоновичу. Присаживаюсь на его койку.

— Ну, что, доктор Вера, нос повесила?

— Вы откуда взяли, что нас освободят через семь дней?

— Как откуда? Мария Григорьевна вчера гадала. Говорит, скорые хлопоты, исполнение желаний. Говорит, пиковому королю приходится плохо, а мне вышла дальняя дорога и трефовый интерес.— Он говорил серьезно, а глаза его, тоже ставшие из узких круглыми, смеются. Смеются и очень напоминают в это мгновение твои, Семен, всегда насмешливые глаза. Впрочем, какие у тебя сейчас глаза, сохранил ли ты свой юмор — не знаю. Вряд ли. Иногда вот так задумываюсь о тебе, и родится страшное сомнение: жив ли ты? Может быть, тебя уже и нет, а я вот по привычке разговариваю с тобой как с живым, советуюсь, надоедаю тебе своей болтовней... Эта мысль последнее время приходит все чаще. Но я ее

гоню, я не даю себе об этом думать,— нервы-то, они у меня и так в лохмотья истрепаны. А они, нервы мои, нужны, и не только мне...

Так вот, Семен, я, кажется, тебе еще не рассказывала, гадание на картах — маленькая слабость нашей суровой Марии Григорьевны. Мне она старается с картами не попадаться, но от клиентуры у нее отбою нет. Я смотрела на это сквозь пальцы: чем бы дитя ни тешилось,— и карты эти незаметно вошли в наш лечебный обиход. Стоит мне скрыться в свой «зашкафник», только и слышишь: «Мария Григорьевна, раскинь колоду...», «Начальник, гадани на счастье...», «Товарищ Фельдъегерева, какое у него счастье, гадай на меня!»

— А как же тебя определить? — серьезно спрашивает Мария Григорьевна, надевая очки и смотря на просителя.

— Что ж, не видишь,— бубновый король. Я ведь человек казенный.

— Какой он король, червонная шестерка! — слышится откуда-то.

— Но-но, вот дам по уху — сразу все четыре туза из глаз выскочат!

А Мария Григорьевна уже оседлала нос своими темными очками и раскладывает на бубнового короля. Карты у нее добрые, сообразительные. Они ведут себя так, что бубновый король остается доволен: тут краля на сердце, там длинная дорога. И всяческие козни от других королей, которые, однако, все в конце концов преодолеваются. Словом, бубновый король приободряется и, получив в свой адрес порцию соленых шуток, спокойно спит в эту ночь.

— Вы что же, уж и картам верить стали? — спросила я Василия Харитоновича.

— Ну, а как же не верить? — серьезным тоном ответил он.— Вон они мне что предсказали: и удачный марьяж, и долгую жизнь, и детей кучу. Не хочешь, да поверишь. Человек — он хитрое существо, он, доктор Вера, тянется к счастью, как бы ему лихо ни приходилось, как былинка к солнцу. Сколько ее ни топчи, все тянется.

Ну чего, чего он на меня так смотрит? По-моему, это нечестно — так вот смотреть в глаза.

— Но семь дней. Вы верите в эти семь дней? Не восемь, не десять, не пятнадцать.

— Карты,— он покорно разводит руками.— Ну что мы, материалисты, можем противопоставить предсказаниям волшебных карт Марии Григорьевны? Ланская прозвала ее «Марфа Посадница». Ну что ж, неплохо. Эту историческую старуху легко представить себе в образе нашей Марии Григорьевны и с картами в руках.

— Довольно шутить,— начинаю сердиться я, видя, что опять от меня что-то скрывают, прячут.— Мария Григорьевна разложила еду на семь дней. Понимаете, что это значит?

— Еды хватит,— произносит он, вдруг став серьезным.— Еды хватит... Если, конечно, будет кому ее есть.

— Думаете, они могут нас при отступлении...

— Думаю о том, как этого избежать, понимаете?.. И — ни слова об этом никому.

Я было уже совсем пошла, но вдруг вспомнила:

— Ланская говорила о каком-то генерале Коневе. Они разведали, что он будто бы пришел сюда со своими войсками, хотя еще и не действует.

Сухохлебов сразу заинтересовался. Даже сел на койке.

— У них разведка неплохо поставлена... Стало быть, здесь появился Конев? Иван Конев? Интересно. Я его знаю — наш дальневосточник. Боевой генерал... Так, по их сведениям, он здесь?.. Так, так, так. Интересно, сугубо интересно...

Вечером появился Прусак. Зашел с солдатом. Солдата не оставил у двери, как это он делал всегда, а велел сопровождать. Вдвоем они прошлись по палатам, сунулись в предоперационную, в хирургическую. Они двигались медленно. Прусак что-то подсчитывал. Сегодня он был главным среди немцев и всячески давал это понять. Нос его дергался больше обыкновенного, и рыжие усики торчали вверх. Он, снисходительно глядя на меня, начал стряпать свой винегрет из славянских слов:

— Пани докторка мает... имеет... да, так, имеет инвентарь.. опись, список?

Я поняла. Описи инвентаря мы не имеем. Зачем? Перед кем отчитываться? Так и сказала ему. Они опять потащились по палатам, подсчитывая койки, тумбочки, биксы. Наш реконструированный автоклав привлек их внимание. Он ведь стал передвижным. Его можно нагревать дровами. Это, кажется, особенно им понравилось.

Потом Прусак усадил за стол солдата и, величественно расхаживая, диктовал ему опись инвентаря. Под описью он заставил меня расписаться...

— Пани докторка... то сие... это... ценный трофей германской армии. Вы хранитель. Отвечайте наличие... целость...

Так вот она как обернулась, фраза этого фон барона: «Не все германские раненые лежат на таких койках». Уж не хотят ли они все это у нас забрать? А ведь, кажется, так.

Прусак наконец удалился, еще раз предупредив на своем винегрете, что «пани докторка» отвечает головой за каждый ценный трофей. Ну, милые мои, если я в первый же день нарушила ваш «бефель» и ничего со мной не случилось, то и инвентаря нашего вам не видать. Надо что-то придумать...

Ну конечно же бросилась к Василию Харитоновичу за советом. Удивительный человек: он как бы делит себя на множество частей и раздает всем, очень мало оставляет для себя.

Его койку окружили, и в центре этого круга он с Домкой играл в шахматы. Оба сидели нахохленные, задумчивые. Домка от напряжения сопел. Его противник тер заросший подбородок. Зрители молчаливо переглядывались, перешептывались, должно быть не решаясь оглашать так и лезущие на язык советы.

— Наша Вера пришла,— предупредила Сталька. Они с Райкой были, разумеется, тут. Их головенки нависали над самой доской.

Василий Харитонович поднял голову.

— Что-нибудь срочное? Нет? Тогда попросим подождать. Борьба гигантов в самом разгаре: орел против льва.— И, сделав какой-то ход, торжествующе произнес: —А что вы на это скажете, Дамир Семенович?

Домка засопел еще громче. Я повернулась и ушла. Всем, всем раздает себя, а вот мне ничего не остается... Семь дней, всего семь дней. Но откуда он все-таки знает, что именно семь дней? Может быть, утешает, как маленьких: потерпите, мол, немножко, сейчас мама придет.

Задержалась возле одного из тех, кому мы вчера вскрыли шов. Что такое? Мечется в жару. Почему? Ведь мы лишь осторожно нарушили верхнюю грануляцию. И вот жар. Попробовала рукой — наверняка под сорок. Подбородок, грудь будто клюквой осыпаны. В общем-то

картина, очень похожая на тиф. Но почему так быстро? Разве тиф может вспыхнуть вот так?.. Но что-то, во всяком случае, серьезное... Тиф! А что мудреного, когда люди голодают. Организмы ослаблены, все в состоянии крайнего истощения. Вспышка может мгновенно распространиться... Тиф? Гм-м... Только без паники, Верка, только спокойно.

— Тетя Феня,— обратилась я к старухе, довязывавшей у столика маленький свитерок,— вот там, у Кокорева, температура. Грипп, должно быть. Давайте-ка перенесем койку в угол, там меньше дует.

— Побудить Антона?

— Нет, мы с вами сами.

Перенесли койку. Кажется, наше Совинформбюро не получило при этом материалов для сообщений. Оно снова засело за вязание, замелькали спицы.

Потом прорвалась все-таки к Василию Харитоновичу. Рассказала об этой инвентаризации. Вот подлость-то — ни с чем не расстаются. Черта с два мы им что-нибудь отдадим. Не будут же они выдергивать койки из-под больных. К моему удивлению, он встревожился. Даже сел на кровать.

— Вы так ему и сказали?

— Нет, но так и скажу.

Мне показалось, что он вздохнул с облегчением.

— Вы так не скажете, доктор Вера. Им дай только формальный повод — и они мгновенно освободят койки испытанным нацистским способом. Лучше уж несколько дней мы поспим на тюфяках...

— Несколько дней? Вы в этом уверены?

— Да, уверен...

К этому он ничего не добавил, но я как-то сразу успокоилась. Впрочем, ночь все равно была испорчена. Тиф! А что, если и в самом деле это тиф? И еще голод. Честно говоря, я представляла себе голод как-то по-другому. А в сущности, что это такое? Просто постоянное ощущение пустоты в желудке. Это то, что ты все время — и утром, и днем, и вечером — думаешь о еде. Даже ночью, даже во сне.

Когда девчонки и Феня, под командованием Марии Григорьевны, разносят еду в алюминиевых мисках, все взгляды жадно поворачиваются им вслед. А ведь сегодняшняя пища в лучшем случае ничем не пахнет, а если пахнет, то затхлостью, мышами. И все-таки нозд-

ри у всех начинают раздуваться, и трудно сдержать кружение головы.

Ну ничего, на семь дней нас хватит. Но откуда он все-таки взял это — семь дней? И так обидно, что не удалось с ним по-настоящему поговорить.

Впрочем, дней-то осталось уже не семь, а шесть.

7

Сегодня публично казнили твоего отца, Семен, Ивана Аристарховича Наседкина и еще какого-то рослого, дюжего человека, который так и не назвал себя. Их казнили на Восьмиугольной площади, перед зданием горкома, в двенадцать часов дня, и я видела, как это произошло. Эта страшная сцена еще живет во мне, и трудно собраться с мыслями.

Началось с того, что утром Прусак, эта усатая дрянь, заехал на мотоцикле предупредить, что весь наш инвентарь действительно изымается для немецкого госпиталя и мы должны к вечеру подготовиться и сдать по списку все койки, тумбочки, биксы и, конечно, наш знаменитый автоклав. Потом он подал бумажку — это была повестка штадткомендатуры. Мне, «шпиталь лейтерин и шеф-арцт цивильного госпиталя номер один» города Верхневолжска, предписывалось «оказать честь явиться к одиннадцати часам сорока минутам для присутствия при публичной казни главарей местных бандитов, осуществляемой по приговору военно-полевого суда...»

— Кто? Кого хотят казнить? — спросила я, ошеломленная приглашением.

— Пани докторка зрит своими очами,— ответил Прусак со скверной улыбочкой.

— Я не хочу. Не пойду... Мне некогда.

— То не есть приглашение, то есть приказ,— и, задвигав носом, он подкрутил усики.

Как только он убрался, я бросилась к Василию Харитоновичу. Тот стал очень серьезен. С инвентарем придется расстаться. Жизнь людей дороже, чем койки и тумбочки. Но об этом они тут побеспокоятся... А по этой повестке придется идти. Приказ коменданта — военный приказ. Может быть, фон Шонеберг как раз и хочет создать повод, чтобы расправиться со всеми нами. Нельзя давать ему такой возможности.

Как раз в это время кто-то из комендантских приехал за Ланской. Ее перевозили домой. Она предложила доехать с ней до центра города, но я, разумеется, отказалась. Жутко ехать на такое дело на их машине. Ланская не настаивала. Я уже знаю — эгоистка очень боится подорвать свою репутацию у немцев.

Словом, я двинулась пешком и не помню, как добрела до площади, кажется не встретив по пути ни одного прохожего. Мертвый, совсем мертвый был город. Только военно-санитарные машины, забросанные сзади грязноватым снегом, вереницами и в одиночку тянулись по улицам и, не останавливаясь, не задерживаясь, бежали куда-то. На перекрестках, подняв воротники шинелей, надвинув пилотки на уши, зябли солдаты, совсем не похожие на тех подтянутых, сытых, крепких немцев, что недавно, самоуверенные и наглые, топали по городу.

Шесть дней, всего шесть дней! Продержаться меньше недели — вот об этом-то я и старалась думать, чтобы не думать о том, что предстояло увидеть. Я было решила — закрою глаза и не буду смотреть на это зверство, но потом передумала. Нет, нужно видеть, нужно запомнить. Такие вещи забывать нельзя...

Ну вот и здание горкома, где у них помещается гестапо. Перед подъездом вкопано два столба с перекладиной, как для качелей. Сверху на равном расстоянии три веревки, а под ними стоит обыкновенный военный грузовик. На нем три стула, обычные канцелярские стулья. Каждая веревка свисает к стулу. На площади толпятся люди, должно быть согнанные сюда или вызванные, как я, стоят, дышат в ладони, подпрыгивают, греясь. И все это молча, не глядя на грузовик, не смотря друг на друга.

Влившись в толпу, я разглядела у подъезда кучку военных, и среди них толстого штадткоменданта с отечным лицом землистого цвета. В черной шинели, в высокой фуражке домиком, перехваченный поясом, он выглядел выше, крепче. Тут же, конечно, красовался фон Шонеберг, подтянутый, держащий в руках свои неизменные перчатки и поигрывающий ими. Среди военных виднелась высокая фигура Винокурова. Он стоял, втянув голову в плечи, точно бы старался умерить свой рост, стать менее заметным, а рядом с ним был какой-то тип в смушковой шапке и бекеше, обшитой серым барашком. Сытая морда. Полубачки. От этого типа несло чем-то до-

революционным, а вернее — дореволюционным, воспроизведенным в какой-нибудь пьесе. Я догадалась: бургомистр Всеволод Раздольский. И поразилась, как этот тип мог двадцать пять лет проработать преподавателем фехтования в спортивных клубах и незаметно просачиваться сквозь сети наших бесконечных анкет. В сторонке жался этот попик с бабьим именем, тоскливо оглядывался кругом и ожесточенно терзал мочалку своей бороденки.

Я так подробно восстанавливаю эту картину потому, что мне страшно подойти к главному. Но до того, как это страшное началось, случилось то, за что мне, наверное, придется держать ответ через шесть дней. Этот Шёнеберг заметил, должно быть, мою белую косынку. Он навел на меня свое пенсне, заулыбался, прошел сквозь цепь солдат, разомкнувшуюся перед ним, направился прямо ко мне. Я даже присела, чтобы стать незаметной. Но люди молча расступились, и он оказался передо мной.

Он подошел и театрально раскланялся.

— О, доктор Трешникова! Прошу вас к нам... Эй, расступитесь!

Вообще-то у него тихий голос, но сейчас он говорил как актер на сцене, и глаза его, цепкие, состоящие будто из одних зрачков, издевались надо мной из-за толстых круглых стекол пенсне.

— Нет, я не пойду! — вскрикнула я в страхе.

— Почему же? Ваше место среди достойнейших горожан.

Он переложил перчатки из правой руки в левую и взял меня под руку.

Сотни глаз смотрели на эту сцену. Мне было противно и страшно. Попыталась освободиться, но он крепко держал руку. Сладчайшая улыбка не сходила с лица. О, он отлично видел эти взгляды и понимал, что происходит у меня в душе! Явно издеваясь, он демонстрировал свое почтение.

— Такая прелестная женщина должна украсить наше общество.

С каким бы удовольствием я треснула по этой улыбающейся физиономии! Но госпиталь, но раненые, но дети... Я же не принадлежу себе.

— Вы что же, пренебрегаете нашей компанией? — из-за улыбки выступила явная угроза.

И я, я пошла с ним. Сквозь молчаливую толпу, сквозь цепь солдат, снова разомкнувшуюся перед нами.

А офицеры скалились мне навстречу, черт их побери, штадткомендант козырял, а эта гадина Раздольский ощерил гнилые зубы, потянулся к моей руке.

— Наконец-то... Столько слышал о вас, но видеть не доводилось... Ручку, позвольте ручку... Несказанно рад.

В это мгновение я как бы видела себя глазами иззябших людей, что смотрели оттуда, с площади, и я презирала и ненавидела себя. Но что, что я могла сделать?.. Я вся дрожала какой-то отвратительной мелкой дрожью.

Но в этот момент все стихло. Взоры обратились к крытому грузовику, осторожно пробиравшемуся сквозь толпу.

Он остановился у подъезда. Выпрыгнувшие из него солдаты опустили подножку и встали по обе ее стороны. На площади стало так тихо, что я услышала, как шуршит поземка, неся под ногами сухой снег.

Первым спрыгнул на землю твой отец, Семен. Руки у него были заломлены назад и связаны, но, очутившись на тротуаре, он, сбычившись, щурясь от солнца, деловито оглядел виселицу, машину-эшафот, толпу. Взгляд его задержался на тех, кого отделяла от толпы цепь солдат, на военных, на «достойных горожанах», на бургомистре, Винокурове и на мгновение, только на мгновение остановился на мне. И, честное слово, Семен, мне показалось, что твой отец усмехнулся. Усмехнулся одними глазами, а вернее — всем лицом, кроме губ, как это умеешь делать и ты...

Иван Аристархович был тих, сосредоточен. Он осторожно, боком сошел по ступенькам лесенки, глядя куда-то внутрь себя и будто обдумывая каждый шаг. Из бодрого, крепкого еще мужчины он превратился в старика. Третьего, незнакомого, в коричневой вельветовой толстовке, похожей на пижаму, и в таких же штанах, покрывавших военные сапоги, двое солдат тащили под руки. Еще один солдат шел сзади, наведя на него автомат. Этот третий был широкоплеч, прям. Шапки на нем не было, и ветер трепал его волосы, сбрасывая их на избитое, пестрое от синяков лицо.

Так, между шеренгами солдат, по очереди они и поднялись на эшафот. Потом Шонеберг читал что-то сначала по-немецки, потом по-русски. Наверное, приговор... Он стоял спиной к нам. Шуршала поземка. Из русского текста донеслись лишь отдельные слова: «...шайка бандитов...», «главари...», «карающая рука правосудия» и,

наконец: «...казнь через повешение». При этих последних словах отец твой усмехнулся всем лицом. Иван Аристархович, видимо, их и не слышал, весь углубленный в себя. Неизвестный, весь вид которого говорил, что он военный, презрительно улыбнулся, улыбнулся криво, одной щекой. Другая представляла сплошной синяк. И он сказал не очень громко, но так, что я хорошо разобрала:

— Мы еще вас вешать будем... В Берлине фонарей не хватит...— И вдруг захохотал, отчетливо выделяя в своем смехе каждое «ха» от последующего... Ну конечно же он военный. В голосе, даже в смехе у него что-то такое командирское, сухохлебовское.

Офицеры и «достойнейшие горожане» сразу засуетились. Здоровенный солдат в безрукавке на меху, откормленный, очень сильный, которому, по-видимому, предстояло выполнять роль палача, размахнувшись, равнодушно ударил незнакомца по лицу. Фон Шонеберг тотчас же его одернул. Публичное избиение приговоренных, по-видимому, не входило в программу страшного спектакля. Наоборот, было очевидно, что ему стремились придать видимость законности. Кто-то подсадил на машину попика. Он не то чтобы упирался, но был какой-то весь неживой, вялый, отсутствующий. Шонеберг подтолкнул его в спину. Тот вынул откуда-то, из-за пазухи, что ли, крест и двинулся к тому, к военному, которого поставили перед дальним стулом. Тот только усмехнулся. Твой отец, стоящий посредине, мотнул головой, будто отмахиваясь от назойливого комара. Тогда попик, ступая осторожно, словно боясь, что доски машины могут под ним провалиться, подошел к Ивану Аристарховичу. Поднял крест. Что-то забормотал.

Наседкин слушал точно во сне. Потом будто бы разом вырвался из каких-то своих душевных глубин, куда был с головою погружен, с удивлением осмотрел попика. И вдруг плюнул ему в физиономию. И снова сник, уйдя в себя. В толпе ахнули, зашумели. Инсценировка срывалась.

Шонеберг что-то закричал. Он торопил палача. Военный сам легким движением поднялся на стул. Иван Аристархович сделал это аккуратно, осторожно, боясь осклользнуться и упасть. И тут случилось неожиданное. Как — я не знаю, но Петр Павлович освободил руки от веревок. Сделал резкое движение и оттолкнул солдата.

Потом схватил стул за спинку, отскочил с ним в угол кузова и, подняв стул, закричал:

— Подойди, подойди только, гитлеровская падаль,— череп размозжу!

Это было так неожиданно, что дюжий солдат отпрянул, а Петр Павлович, пользуясь замешательством, закричал в толпу:

— Товарищи, граждане! Последние дни изверги здесь лютуют. Всё! Кончилось их время!

Солдат бросился к нему с автоматом, но стрелять в приговоренного к повешению, должно быть, не полагалось. Занесенный стул не давал ему приблизиться к старику. Петр Павлович действительно был страшен в этом неистовом своем гневе: лицо покраснело, вены на висках вздулись, глаза бешено горят. Пользуясь общим замешательством, он злорадно кричал:

— А что, слабó? В штаны кладете?.. Нет такой силы на свете, которая бы нас сломила, слышите, гады? Нате вам...

И вместе с крепким ругательством вниз, в нашу группу, полетел стул, угодивший в Раздольского. Штадткомендант что-то прокричал бабьим голосом. Раздалась очередь из автомата. Человек в толстовке рухнул, как сраженный молнией дуб. Покачавшись, как бы стараясь устоять, осел Иван Аристархович. Но Петр Павлович был еще жив.

— Эй, скажите внукам, что их дед...

Он не договорил, следующая очередь прошила его. И тут что-то темное мелькнуло в воздухе. По ту сторону машин раздался взрыв. Потом другой. Не понимая, что произошло, я бросилась бежать и, когда на углу оглянулась, увидела, как неярким пламенем полыхает машина. На снегу чернели чьи-то тела. Чьи — я не разглядела. Страх понес меня дальше по главной улице, и я остановилась лишь у городского сада, когда перехватило дыхание.

Тут мне почудилось, будто за рекой бьют пушки: выстрел — разрыв, выстрел — разрыв. Нет, конечно, это кровь стучала в висках. Только уже приближаясь к Больничному городку, я несколько успокоилась и поняла, чтó произошло в конце этого страшного спектакля. Кто-то бросил через толпу гранаты... Гранаты... Опять гранаты. И еще я поняла сегодня, Семен, с запозданием на столько лет поняла, каким человеком был твой отец,

старый слесарь с «Первомайки», любивший к месту и не к месту сказать, что он «рабочая кость»...

Дети выслушали мой рассказ о гибели деда без единой слезинки. Вот они и сейчас сидят за шкафами, тихие, взволнованные, но глаза сухи.

8

Вернувшись, конечно же бросилась сразу к Сухохлебову. Он откуда-то все уже знал.

Резким движением он сел на койке, положил мне на плечи руки:

— Мужайтесь, Вера.

Вера! Впервые он не прибавил к имени слово «доктор». Я покраснела, как девчонка, и, не умея этого даже скрыть, пробормотала:

— Я мужаюсь, Василий Харитонович!

— А меня, между прочим, друзья зовут просто Василием,— сказал он.— Ведь вы мне друг, Вера?

— Друг, Василий.

И, когда к койке подошел кто-то из наших, мы оба смутились.

Семен, не вини меня. Я только женщина, еще не старая, одинокая женщина. Да и что особенного в том, что мы назвали друг друга по именам? Мы ведь действительно друзья. Ну и... сердце — что ж, оно ведь не только орган для перекачки крови...

Ну, а закончился наш день происшествием пока что курьезным. Однако неизвестно, как оно еще для нас повернется.

Вечером Прусак с командой прибыл отбирать наш инвентарь. Василий Харитонович с Марией Григорьевной тут без меня уже покомандовали. Все наши койки были сложены, и весь инвентарь уже лежал в первой палате, возле дверей. Мне осталось лишь вместе с Домкой сложить нашу полуторную кровать и расстаться со столиком. Сделали мы это без особых сожалений. Постелила себе на полу на тюфяке и прилегла отдохнуть.

К Прусаку прикомандировала Марию Григорьевну. Они там стучали койками, и вдруг влетает за наши шкафы тетя Феня, рассыпая словесный горошек:

— Вера Николаевна, матушка, бежит Прусак-то! И койки, басурман, не взял.

Смотрю на нее, ничего не понимаю. И выясняется. Дошли они до того больного, у которого с утра сыпь. «То есть тиф?» — спрашивает Прусак, со страхом глядя на его воспаленное, точно бы клюквой осыпанное лицо, шею, грудь. Тетя Феня проста-проста, а тут сообразила, что он тифа боится. «Да, батюшка, тиф, он и есть. Послал нам господь новое наказание. Тут и еще имеются...»

— А Прусак-то как от койки отскочит, кричит солдатам: «Вег, вег», что-то им там еще. Теперь они у двери топчутся, вы уж им про тиф подтвердите. Уйдут, истинный бог уйдут!

Едва я успела подняться и надеть халат, как отлетела простыня и появился Прусак. Ох этот его нос! Ну до чего же он выразителен. От страха он просто дергается.

— Докторка Трешников,— застрекотал он на своей сборной славянской тарабарщине,— тифус!

— Это еще не известно, — сказала я осторожно. — Это мы выясним через три дня, когда болезнь определится.

Прусак зачастил по-немецки. Я поняла только: «Руссише швайн» и потом «карантин». С криком «карантин» он устремился к выходу, спасаясь будто от огня и гоня перед собою своих солдат, которым слово «тифус» было, как видно, тоже известно.

Словом, койки остались у нас. Сейчас больные их разбирают и возвращают на прежние места. Все ликуют: хорошо, прекрасно, здорово надули немцев! А у меня на душе беспокойно. Ну как тут не пойти к Сухохлебову! Он уже все, конечно. знал и к происшествию отнесся философски.

— Хуже, думаю, от этого не будет. Доспим по крайней мере свой госпитальный срок на койках. И барон, вероятно, лишит нас своего общества. Он очень брезгливый господин. Но мы с вами, Вера, ничего от этого не потеряем... Это действительно крапивница, а не сыпной тиф? Они так похожи?

— В этой стадии похожи. Я и сама сначала подумала — тиф. Но более опытный врач, конечно, имея показания, легко определит...

— Будем надеяться, что опытному немецкому врачу не до нас...

Как хорошо рядом с этим человеком! Вот уткнуть бы сейчас лицо ему в плечо и хоть несколько минут ни о чем не думать, зная, что этот человек подумает и решит за тебя.

И вдруг:

— Товарищ полковник, старшина Мудрик прибыл для доклада.

Володя! Ну конечно же он. Но какой-то совершенно преображенный. Исчезла каракулевая растительность. Только по голосу, пожалуй, и можно узнать в этом совсем молодом парне Мудрика, к которому мы привыкли. Ну, да еще, пожалуй, по тому, что белки глаз у него белеют, как у лошади.

— Доктор, масса извинений, но мне с полковником тет-на-тет.

— Василий, мне уйти?

Черные глаза Мудрика удивленно сощурились.

— Докладывайте, Мудрик,— твердо произносит Сухохлебов.

— Я о сегодняшнем фейерверке.

— Я знаю, докладывайте. Вера тоже все знает.

— Еще бы... Эх, доктор Вера, этот штадткомéндант должен за вас своему немецкому богу молиться. Кабы вы рядом с ним не стояли, залепил бы он такой флик-фляк, что его лопатой бы потом собирали. Видели? Как, неплохой аттракцион? Школьно сработано? — И вдруг, сразу посерьезнев и став от этого старше, как-то очень хорошо сказал: — Умер наш комиссар Синицын. Избитого, связанного они его привели, орлом стоял. Орлом и умер...

Так вот кто был этот человек в толстовке... А ведь и верно, что-то в нем орлиное... Вот кто бросил гранаты. Постойте, постойте, а эта ночь под рождество? Слова Ланской о бородаче, которого она видела в окне... «Есть в народе слух ужасный, что с той ночи каждый год...»

— Так тогда в их клуб тоже вы?

— Говорить? — спрашивает Мудрик Василия.

— Говорите.

— Каюсь, я. Было такое дело. Товарищ полковник, разрешите общнуться с народом? Фю-фю — фью-у-у!

Но Антонина уже стояла в дверях. Она даже была в пальто. Косилась на меня ревнивым взглядом. Мудрик потоптался, помедлил, потом резко повернулся:

— Пошли, Антон. Наша с тобой арена тринадцать метров в диаметре... Такая уж у меня судьба — всю жизнь заполнять паузы.

Они ушли, и мне почему-то стало жаль Мудрика.

— Что с ним, Василий?

Сухохлебов улыбнулся, улыбнулся глазами, лицом, морщинками, а рот остался неподвижным. Эта странная улыбка как-то очень его молодит. Густо обросший платиновой щетиной, он старик и старик. Но вот улыбнется — и сквозь эту его запущенную внешность, как сквозь грим, вдруг прогрянет какой-то другой, неизвестный мне, крепкий и сильный человек. Последние дни он чувствует себя лучше, боли в позвоночнике прекратились, ходит прямо. А вот сейчас улыбнулся — и хоть из госпиталя выписывай.

— Что с Мудриком?

— А вы, Вера, не догадываетесь? — Глаза смотрели хитро.— Вот и видно, что вы не психиатр, а хирург. А ведь хирурги — народ грубый, им бы только скальпелем раз-раз — и сердце на ладони.

— Нет, серьезно!.. Он сказал, заполняет какие-то там паузы...

— Они ведь с Антониной циркачи. Это их жаргон. А насчет пауз — есть такие артисты-неудачники. Их выпускают на арену, чтобы публика не скучала. Пока меняют реквизит. Если повезет, они заменяют не вышедшего на работу артиста... Я вот тоже сейчас в некотором роде заполняю паузы.

— Вы — неудачник?

— В известном смысле... И по своей вине. Только по своей вине.

Он заполняет паузы! Какая чепуха! Даже когда его принесли, неподвижного, сломленного страшной контузией, когда у него живы были одни глаза, он все равно сразу же стал душой всего нашего госпиталя... Паузы... О каких паузах речь? В такой жизни вообще не бывает пауз.

Но высказать всего этого я ему не успела. В соседней палате возбужденно заговорили. Какая-то женщина вскрикнула рыдающим голосом. Что там еще? Но уже бежала взволнованная Антонина. Набитый рот не позволял ей говорить. Наконец, с трудом проглотив пережеванное, она выпалила:

— Не выпускают.

— Кто? Кого?

— Там, наверху. Они повесили какой-то желтый флаг. Часовой ходит, уставил автомат: «цурюк» — и все.

Мудрик стоял у нее за спиной.

— Точно,— подтвердил он.

Василий подтянулся, сосредоточился.

— Значит, заперли,— задумчиво, будто взвешивая происшедшее, произнес он.— Желтый флаг — это строгий карантин. Мы под карантином. Это, конечно, по поводу сыпного тифа.— Он задумался.— Тифа нет, это ясно. Это ведь легко доказывается? Так, Вера?

Я кивнула. Любой настоящий медицинский эксперт подтвердит. Ах, черт, угораздило меня дать Прусаку такой повод. И все тетя Феня — «боятся», «страшатся», «бегут». Вот, пожалуйста, сбежали.

— Допустим, нам удастся пригласить того, ну, которого вы зовете Толстолобиком, если он, конечно, еще уцелел... Докажем, что ложная тревога,— продолжал все тем же взвешивающим тоном Василий.— Но надо ли? Немецкая армия нас сейчас охраняет. Может быть, это нам выгодно?

— Выгодно, пока он к нам газ не пустил,— ворвался в разговор Мудрик.— Помните тот госпиталь, который мы под Великими Луками отбили? Ни одного живого, одни жмурики. Помнишь, Антон?

Что это? Огромная наша Антонина плачет?

— Это у них запросто. Тиф, а раз так, они, вон как тетка Федосья говорит, «рассердился на блох — и всю шубу в печь».— Мудрик усмехнулся, искоса, по-лошадиному сверкнул белками.— Товарищ полковник, прикажите часового снять. Это раз плюнуть, про мой ход они не знают... Антон, прекрати, не разводи сырость.

В палате такая тишина, что слышно, как из рукомойника каплет вода. Все затихли, слушают. Понимают: сейчас решается наша судьба. И как хорошо, что решает ее этот умный, спокойный, опытный человек, а не я, ничего не понимающая в этих делах.

— Разрешите? Момент, бац — и нет старушки.

— Не разрешаю,— произносит Василий и продолжает вслух обсуждать: — Разбегаться? Нет, не получится. Лежачих не унести. Много женщин. Дети... Нет, это не годится.— Он думает, и сухое лицо его становится все спокойнее.— Тут этот второй выход через завал, ну, по которому вы лазите, Мудрик.

— Я-то лажу, а Антон вон и кулака не просунет.

— А если завал разобрать? Расчистить, сколько можно... на всякий случай. Мудрик, разведайте и доложите.

— Есть разведать, товарищ полковник, а только бы...

— Исполняйте.

Ну, ясно уж, все, кто может ходить, собрались. Известие о новой, неожиданной опасности само согнало их к койке Василия. Как-то говорили, что я здесь вроде пчелиной матки в улье. Нет, матка — это он. К нему все тянутся в трудную минуту. В его спокойствии ищут собственного успокоения. Ему известны все опасности, а он вон само спокойствие. Нет, я не хочу быть хуже, чем он, я тоже чего-то стою.

— А зачем они будут травить нас газом? — говорю я громко, явно адресуясь не к Василию, а к «ним». Я вообще в последнее время научилась искусству говорить для «них». Слова, подслушанные в разговоре, самые убедительные. Я это по себе знаю и потому продолжаю так же громко: — Зачем им травить нас газом? Мой отец охотник, он говорит: если волк сыт, он и на барана не бросится.

— То волк, Вера Николаевна, а вот хорь, тот из курятника не выйдет, пока всех кур не передушит,— говорит Дроздов, хмуря свои черные кустистые брови.— Тот горло курице перекусит и бросит, перекусит и бросит. Фашисты — хори.

— Они-то хори, да мы-то не куры,— говорит Василий.— Давайте всех мужчин, всех, кто на ногах стоит, сюда. Совет держать будем...

Теперь они держат совет там, в дальней палате. А я вдруг очутилась без дела. Сижу у себя в «зашкафнике», слушаю доносящиеся издали голоса, звучит бас Василия: бу-бу-бу... Василий, он, как ты, Семен: кажется, все-то он знает, на все у него ответ. Хорошо, когда рядом такой человек... И все-таки почему он сказал, что в жизни заполняет паузы? Странно.

Что он имеет в виду?

9

Там, вдали, вокруг Сухохлебова, еще шумели, а я, к стыду своему, задремала и потом незаметно уснула, да так, как давно уже не спала. И снилось — ты, Семен, здесь, с нами, веселый, насмешливый, обычный. Ходишь тут между коек, люди вокруг тебя. Ты обо всех думаешь, все тебя слушаются, улыбаются в ответ. Только это уже не тут, в наших подвалах, а где-то там, наверху, в хирургическом корпусе, который сейчас лежит в развали-

пах. Бело-голубые стены, кафель, никель. И дети почему-то с нами. И мне хорошо, хорошо.

Проснулась оттого, что кто-то негромко позвал:

— Вера.

Открыла глаза — темно, тихо. Обычные наши ночные звуки. И вода из рукомойника — кап-кап. Померещилось, что ли? И снова вдруг:

— Вера.

Это голос Сухохлебова. Он где-то тут, около наших шкафов. Вскочила,— оказывается, спала прямо в халате и даже шапочке, только ботинки кто-то с меня снял, и они стояли у стола.

— Вера, вы слышите?

И тут я действительно услышала негромкий, глухой рокот,— как будто где-то, очень еще далеко, грохотала гроза, будто гром ходил, перекатываясь по горизонту, раскат за раскатом, как это бывает в грозовые июльские ночи. Гроза зимой?

Я выбежала из «зашкафника». Василий стоял у самой двери в больничном халате из синей вытертой байки и, вытянув шею, прислушивался. Я остолбенела: слезы бежали по его лицу, путались в серой растительности. Заметив, вернее услышав меня, он, не отрывая от двери уха, протянул ко мне руки, потом обнял меня за плечи, встряхнул.

— Вера! Это же наши... Артиллерийская подготовка. Начали точно в пять ноль-ноль.

Руки его так и оставались у меня на плечах. Мы стояли, слушали. Где-то далеко, но густо и дружно били пушки. Теперь, когда я прислушалась, в сплошном гуле можно уже различить голоса разных калибров.

— Началось, Вера. Началось! Понимаешь ты это? Началось! — говорил Сухохлебов, не замечая, что называл меня на «ты».— Дождались... Идут! Идут, родные!

Он так был полон этими долетавшими издали звуками, что, должно быть, не замечал, что руки его обнимают меня и что у него текут слезы. Он вообще ничего не замечал в это мгновение... Нет, нельзя, чтобы таким его видели. Я взяла его под руку, привела к себе. Не тревожа ребят, мы осторожно присели на краю кровати.

— Карту этого района я знаю по памяти. Начали где-то за элеватором, километрах в десяти... Обрабатывают позиции противника на реке... Густо бьют. Должно быть,

с боеприпасами у нас неплохо... Но он еще не отвечает... Слышишь? Слушай, слушай...

Что слушать? Этот раскатистый гул? Что можно в нем различить? С меня довольно и того, что я знаю — бьют наши пушки, рвутся наши снаряды, говорит наша Красная Армия. Мы слышим ее голос. Родной голос... Мамочки, неужели кончается этот кошмар?.. Ну чего ты плачешь, чего плачешь, дура! Смеяться надо, а у тебя слезы... Но Василий не видит этих моих слез. Он весь слух, весь захвачен звуками канонады.

— Стихает... Пошли? Ага, вот немцы! Но у них жиденько, жиденько,— бормочет он, как завороженный, и его глаза покрыты прозрачной глицериновой пленкой.— Ага, ага, авиация! Слышишь, Вера, редкие разрывы? Лупят по их тылам. Отсекают резервы... Вера, ты знаешь, что значит, когда бьют по тылам?

Я ничего не знаю. Какое мне дело, как сейчас там бьют! Я слышу голос Красной Армии. Он звучит могуче. Этого с меня достаточно. Лишь бы не смолк этот голос. Лишь бы там, на реке, у наших, все было хорошо.

— Бьют по тылам,— это значит: мы двинулись вперед. Это значит: передовые батальоны уже форсировали реку.— Сухохлебов деловито посмотрел на свои большие ручные часы, которые он почему-то носит так, что циферблат всегда находится с тыльной стороны руки.— Ух, Верка, это же здорово! — И он хлопнул меня ладонью по плечу.

Нет, Васькой я его, конечно, назвать не решилась бы. Но во всем этом было что-то такое задорное, комсомольское, молодое, что ни за «Верку», ни за этот хлопок я не обиделась.

— И сколько же может продолжаться это? Когда же они нас освободят?

Ему явно было трудно отрываться от звуков далекого боя.

— О чем ты?.. Ах, да, когда?.. Не знаю. Я еще никогда не брал городов. Я их только сдавал. Сдавал по-разному. За ваш город, например, мы бились пять суток.

— Пять суток? А у нас продуктов осталось на четыре.

Он посмотрел на меня, как учитель на первоклассницу, задавшую глупый вопрос.

— Если бы это было самым страшным!

Эта фраза сразу опустила меня на землю. Продукты,

Там у входа карантинный флаг. Часовой. Мы как в капкане.

— Думаешь, они с нами, как с теми в Великих Луках?

— Ну вот мы уже и на «ты»,— улыбнулся он.— Ну что ж, преотличное местоимение. Так что ты спросила?

— Антонина ревмя ревела, когда рассказывали, что вы увидели, отбив наш госпиталь.

— Фашизм есть фашизм... Но тут все зависит от наших, как пойдут. И от нас,— нас ведь голыми руками не возьмешь. Не дадимся. Бетон-то вон какой. Вес всего здания выдержал. Двери стальные, болтами задраиваются — крепость. И еще...— Что еще — он не успел сказать. Снова весь подобрался, превратился в слух.— Ага, это уже севернее, ближе. Должно быть, сосед включился. Правильно, научились воевать. Немцы охвата пуще всего боятся... Мы, Вера, не куры, мы тут кудахтать не будем и хорьку шею не подставим... А второй-то, почти без подготовки пошел... Неужели уж немцы дрогнули?..

Мы так были увлечены этими звуками, что не заметили, что ребята уже проснулись и слушают вместе с нами.

— Кто, кто это, Василий Харитонович? — спрашивал Домка.

— Дядя Вася, какой сосед?.. Кто идет?

— Мы,— ответил Сухохлебов.— Понимаешь, мы, Дамир Семенович, мы... Ну, пора к людям.

Василий вышел. И вот уже из глубины палат доносится до нас его рокочущий голос:

— Товарищи, наши войска начали наступление восточнее Верхневолжска. Волга форсирована. Сопротивление противника сломлено. Передовые части прорвались по шоссе к восточной окраине города.

Что тут поднялось! Даже когда женщины разносили мисочки с жиденьким нашим супом, от одного вида которых обычно у всех жарко загорались глаза,— эти миски остались стоять на тумбочках, хотя аппетитный парок курился над ними. Ели машинально, не чувствуя запаха прелого пшена, даже забывая просить добавку. Звуки артиллерии точно всех околдовали. Теперь уж ясно, что артиллерия грохочет и севернее города. Звуки ее громче. Должно быть, это доносилось уже из Заречья. Наши тут, рядом. Не снится ли это? Может ли это быть?

М-да, поспала-то я, оказывается, изрядно, многое

прозевала. А наши в госпитале не теряли времени: Тяжелые стальные двери бомбоубежища были задраены болтами. Все, кто мог ходить, уже разобрали кирки, ломики, металлические щипцы для тушения зажигалок. Словом, весь пожарный инструмент, какого вдоволь было припасено еще до оккупации в чуланах бомбоубежища. Топоры стояли возле коек наших красноармейцев. Жизнь кипела у входа. Должно быть, они составили какой-то план обороны. Меж людьми мелькал Мудрик. Именно мелькал, потому что, казалось, его можно видеть одновременно в нескольких местах. Крепко перепоясав свой старенький, с чужого плеча пиджак, подтянутый, возбужденный, он появлялся тут и там, отдавая распоряжения. Из карманов пиджака торчали ручки гранат. Пожалуй, он единственный чувствовал себя в своей стихии, острил, насвистывал, напевал и даже пытался от нетерпения дробить чечетку.

Этот близкий грохот боя оказал на людей просто биологическое воздействие. От вчерашней апатии, от тяжелой неподвижности, одолевавших всех в последние дни, не осталось и следа. Женщины собирались в средней палате стайками. Рвали старые простыни на бинты. Скатывали их. Словом, действовали. Просто не узнавала людей, все стали покладистыми, добрыми.

— Вера Николаевна, наши-то, наши-то — вон как голос подают!

— Милая, выходила ты нас, сохранила! Господь тебя за это не оставит!

— Доктор, а к обеду-то нас освободят?.. Молотят-то вроде совсем близко. Точно цепами стучат.

— Вот теперь верно — Гитлер капут.

А в углу, у самой двери, где уже был сложен инвентарь, приготовленный для обороны, токарь с «Первомайки», которого все в госпитале почему-то неуважительно называли «Бобок», пожилой уже человек, лежавший у нас по поводу довольно курьезного ранения в мягкие места, возбужденно выкрикивал фабричные верхневолжские частушки:

Эх, да не купайся, Манька, в Тьмаке,
Эх, да заведутся в тебе раки!

Как врач, я знаю, конечно, как все эти люди, раненые, обожженные, больные, столько наголодавшиеся в наших холодных подвалах, могут кидаться, как говорит тетя

Феня, из огня да в полымя. Но как всё и все изменились за эти часы. Гул наших пушек действовал как сказочная живая вода. Но она же только возвращала жизнь покойникам, а вот так зарядить энергией истощенных, больных, голодных разве ж она даже в сказках могла? Мне такая реакция кажется чересчур уж оптимистичной. Ведь самое страшное впереди. А тут этот старый шут гримасничает и выкаблучивает.

Эх, да полюбил я сорок милок,
Эх, да источился, что подпилок...

Нет, так нельзя. Нахожу Василия. Он в предоперационной что-то обсуждает с Мудриком и одним из командиров.

— Товарищи командиры, что же это такое? Вот-вот на нас нагрянут, а у нас тут танцы-плясы.

Мудрик смотрит на меня довольно нагло, Василий — с некоторым смущением, командир улыбается.

— Вера, ты отдыхала, и мы не хотели тебя беспокоить. Сделали, что смогли.— И не то шутя, не то всерьез меняет тон: — Товарищ начальник госпиталя! Позвольте ввести в обстановку. Если немцы полезут по проходу, отобьем. Ночью нам удалось расширить завал второго прохода. Теперь там может свободно пробраться человек. Ну, а остальное...— он развел руками.— Остальное зависит не от нас.

— Ежели знаете, как богу молиться, молитесь.— Мудрик соскользнул было на обычное свое балагурство, но Василий тут же его оборвал:

— Как говорите с начальником госпиталя, старшина!

А между тем гул и гром явно приблизились. Мы под землей. Мы прикрыты огромной руиной. Но мне уже чудится, что я различаю сухой треск пулеметных очередей. Что это? Обман слуха? Разве он может дойти сквозь потолки литого бетона? Или уже так близко? И странное ощущение: сегодня я никому не нужна. Никто ни на что не жалуется. Даже тот, с крапивницей, которого приняли за сыпнотифозного и из-за которого тут весь сыр-бор загорелся, и его не отличишь среди остальных. Кажется, и сыпь сошла. Вот и не верь после этого в психотерапию...

Мы собираемся вместе — Мария Григорьевна, тетя Феня и я. В который раз проверили готовность операционного стола. Разложили запасы бинтов, лекарств.

Делать опять нечего. Даже как-то грустно вне этой нервной, напряженной суеты. Тетя Феня успокоительно изрекает: «Всякому овощу свое время»,— и берется за спицы. Мария Григорьевна рассеянно раскладывает карты. Я хожу по маленькой комнатке, предоперационной, меряя ее шагами. Прислушиваюсь к грохоту пушек и представляю себе, где это стреляют?

Помнишь, Семен, когда-то, когда мы еще не были мужем и женой, ты возил меня на ялике вниз по Волге. Там была чудная березовая рощица. Мы бегали по ней, собирали грибы и немножко целовались. А потом напротив, через шоссе, построили элеватор. Должно быть, там наши и перешли Волгу. Это уже совсем недалеко от круга трамвайной линии. Семен, милый, они ж идут! Совсем немного ждать. Хоть бы заняться чем и не болтаться зря. Пожалуй, приведу-ка я в порядок истории болезней, или, как выражался этот «фон», «скорбные листы». Все-таки занятие. Когда наши придут, все будет в ажуре. А что? Идея... «Когда придут...» Останемся ли мы к этому времени живы?

10

Чтобы ребята не вертелись где не надо, усадила девчонок в предоперационной, поручив им под руководством Домки сортировать истории болезней. Разъяснила: «Нашим надо будет как следует отрапортовать. Помогите матери». Кажется, преисполнились ответственности и взялись за дело. Ну, а сама прошла в наш «зашкафник» и заставила себя сесть за отчет.

Выстрелы и разрывы совсем близко. Да что там близко, может быть, уже в нашем районе. Нет, нет, не отвлекаться... Несколько снарядов шлепнулось рядом, так, что подвалы встряхнуло и вода задрожала в кувшине... Ну что ж, у нас неплохие итоги. Всего осталось у меня на руках шестьдесят пять человек. Двадцать три поступило — восемьдесят восемь. Умерло трое, восемьдесят пять. Выписался один — восемьдесят четыре... Сделано восемнадцать операций, из них семь очень сложных... Право же, неплохо для таких чудовищных условий... До оккупации, когда Дубинич развернул наш госпиталь, работали не лучше... Ай да мы! Мне не придется краснеть перед нашими... А Дубинич... Серега Дубинич... Сергей Сергее-

вич... Военный врач второго ранга... Ведь, наверное, скоро явится. Интересно, какими глазами, товарищ Дубинич, вы будете смотреть на нас, которых вы впопыхах позабыли или бросили?.. И все-таки мне не хочется в это верить. Может, что-то серьезное не позволило ему прислать машины... Но как приятно, черт возьми, будет сказать:

— Товарищ военврач второго ранга, неаттестованная Трешникова докладывает вам...— и привести эти цифры...

Кажется, стучат.

— Кто там?

Василий. Очень смешно одет. Все на нем с чужого плеча, все разное, и все безумно ему мало. Руки чуть не по локоть торчат из рукавов, а ноги из брюк. Лицо заросшее. Но сейчас это почему-то не замечается. Передо мной военный, энергичный, подтянутый, сосредоточенный. Только чего он там мнется, это совсем не идет к его сегодняшнему облику.

— Можно? Не помешал?

— Убиваю время и нервы: готовлю отчет. Садись, Василий,— я подвигаюсь на койке.

Он не садится. Он стоит, смотрит на меня, и я почему-то начинаю краснеть.

— Вера,— бас его звучит как тенор,— Вера, наши в городе. Немцы, видимо, отступают... Наверное, уже рыщут эти их команды поджигателей... Понимаешь?.. Понимаешь?.. Сейчас все решится. Мы будем обороняться до последнего, но... Словом, перед этим я считаю долгом сказать тебе — я тебя люблю...

Я почему-то не удивилась. Даже форма объяснения, похожая не то на рапорт, не то на приказ, не покоробила.

— Садись, ну чего же ты?

Он сел на самый край кровати.

— Ну?

— Вот и все.

И встал было уйти, но я удержала.

— Сиди, Василий.— Достала из-за пазухи клеенчатую сумочку с документами, которую все эти месяцы ношу на шее на шнурке. Вынула оттуда твое, Семен, письмо, то, единственное.— Прочитай.

Он осторожно взял письмо, написанное на обратной стороне махорочного пакета, и, далеко отставив его на ладони, стал разбирать твои невнятные каракули, как бы ступеньками сбегающие сверху вниз. Я знаю письмо

наизусть, от надписи наверху «Товарищ, нашедший это...» и до остренького кренделька, в котором лишь я могу разобрать твою подпись. Во все глаза следила я за лицом Василия. Когда он читал эти твои слова: «Не верь ничему, что будут обо мне говорить или писать: я — большевик-ленинец и останусь до смерти большевиком-ленинцем»,— он нахмурился, закусил губу. А там, где ты пишешь: «Я вынужден был написать чудовищное признание, но если сложить заглавные буквы моих показаний, выйдут слова: «Все это вынужденная ложь». Прочтя это письмо, Василий отложил листок.

— Это ответ мне?.. Понял, Вера,— сказал он, вставая.— Я это предвидел.— Он улыбнулся. Улыбка получилась болезненная, кривая.— Предвидел, но, как говорится, не мог не доложить.

Не суди меня, Семен. Я не смогла, не совладала с собой. Все это получилось как-то непроизвольно. Я вскочила, взяла в ладони его голову, наклонила к себе, поцеловала сухие, растрескавшиеся губы. Сильные мужские руки обняли меня.

— Вера, ты...

Но там, за шкафами, вдруг поднялась суетня. Мудрик кричал: «Где полковник?» Голос Стальки, которая все-таки ухитрилась удрать из операционной, отчетливо ответил: «Он у нашей Веры». Мы отодвинулась, почти отскочили друг от друга. Василий отбросил занавеску, вышел в палату:

— В чем дело?

— Подъехали... У дверей топчутся. Стучат,— доложил Мудрик.

— Оружие разобрали?

— Порядок полный, товарищ полковник.

Когда я вышла, действительно был полный порядок. Женщины были отведены в глубь подвалов, мужчины с топорами, ломиками и еще каким-то противопожарным инструментом стояли по обе стороны железной двери. Снаружи доносились глухие удары.

— Первую дверь ломают.

— Ну эта подастся, она деревянная.

Удары становились слышнее. Они даже заглушали близкую канонаду. Что-то затрещало, заскрежетало.

— Вроде бы подалась.

— Нет, еще держится.

Теперь бухали чем-то тяжелым.

— Должно быть, бревно приволокли...

— Эх, братцы, сейчас бы да закурить!

— Перед смертью не накуришься.

— Но, но, перед смертью... Возьми-ка еще нас!

— Ой, господи, хоть бы наши скорее...

Сквозь удары и скрежет взламываемого железа прогремело несколько близких разрывов. Среди моих солдат, что с топорами караулили у двери, я заметила Домку. Он был в халате и шапочке, но в руках сжимал ломик. Этого только не хватало!

— Домка! Сейчас же прочь отсюда!

Он даже не посмотрел в мою сторону.

— Дамир, убирайся немедленно.

— Нет, Василий Харитонович, скажите ей...

— Мать права, Дамир,— Василий на миг оторвался от того, что происходило за дверью,— ты не солдат, ты — брат милосердия. Есть такая Женевская конвенция, она запрещает медицинскому персоналу участвовать в боях. Вот и матери твоей тоже. Уйди, Вера... Все — прочь от двери!

Послышалась длинная автоматная очередь. Первая дверь, видимо, была уже выломана. Били в нашу, во вторую. Она вся загудела, но ни одна пуля не прошла сквозь массивную металлическую створку. Бомбоубежище строилось добротно. Новые и новые очереди вызывали только оглушительный гром, от которого заныли барабанные перепонки.

— А, не по зубам пирог! — торжествующе хохотнул кто-то.

— Дамир, Вера, прочь отсюда! — скомандовал Василий.— Готовьте медицину... Дамир!

— Вас понял,— вытянулся Домка. Он все еще жался к стене, тут у двери. Ну что он, дурачок, может сделать со своим ломиком. А я? Действительно, мы нужнее там, в хирургической.

По пути задержалась среди женщин. Они теснились в дальней палате. Кто-то плакал, кто-то причитал, кто-то молился. Но большинство стояли с каменными, твердыми лицами. Стояли и слушали. Ведь и отсюда уже были слышны наши пушки.

— Успокойтесь, теперь недолго,— сказала им, а сама подумала: мне бы эту холодную окаменелость.

А вот девчонки — им хоть бы что. Зыркают по сторонам любопытными глазенками, очень все им интересно. Отослала их с тетей Феней готовить запасной операционный стол. Ушли и через минуту опять появились. Как бы это их отвлечь?

— Девочки, будете адъютантами при мне. Для поручений.

— Ой, здорово! Адъютантами. А это что? — спросила Рая.

— Ма, что там? Вон Вова бежит.

Действительно, бежал Мудрик.

— Палить нас хотят, за бензином послали.

— Володя, что будет?

— Товарищеский ужин. Сейчас я их угощу эскимо.— Он сорвал с себя куртку, остался в одной нательной рубахе, для чего-то закатал рукава, обнажив волосатые, густо нататуированные руки. Даже в такую минуту не мог не рисоваться, потряс двумя гранатами.— Две порции шоколадного эскимо господам фрицам...

— Как же вы?

— Парадное на ремонте, придется через черный ход.

— Но ведь...

— Там, где не пройдет горный козел, пробежит Мудрик.

Он посерьезнел, осмотрел гранаты, пощупал чеки.

— Граждане зрители, сейчас вы увидите выдающийся аттракцион. Под куполом без сетки. Имею просьбу — дайте руку на счастье.

Будто чувствовало сердце, что что-то с ним случится. Подошла к нему, поцеловала, и в этот момент появилась Антонина... Закричала истошно:

— Ты туда? Вовчик... Я с тобой!

— Нет.

— Да, да, да!..

Мудрик махнул рукой, и оба они бегом скрылись за дверью. На дворе и в палатах почему-то стало тихо. Почти одновременно где-то рядом негромко прострекотало несколько автоматных очередей и два взрыва встряхнули наши подвалы. Я поняла,— на дворе что-то произошло. Нет, ничего. Просто было ужасно тихо, и именно от этой тишины мне стало страшно. Я бросилась в палаты.

11

В палатах тоже ничего не произошло. Все стояли и слушали. Слушали эту тишину. И вдруг я увидела такую картину — Домка в окровавленном халате. Он первый бросился мне в глаза. Потом я разглядела — он вместе с Антониной, они несут Мудрика. Домка волочит за ноги. Антонина держит туловище. Потом я заметила, что Антонина идет как-то странно, будто ноги ее приклеиваются к полу и она с трудом отрывает их. И, конечно, бросилось в глаза, она так бледна, что веснушки лежат на ее лице как пятна глины, а по халату на груди расплывается темное пятно. Вся поплыло у меня перед глазами.

— Сынка, что с тобой? — рванулась я к Домке.

— Мудрик... Его из автомата,— хрипло ответил он.

Они стали поднимать Мудрика на каталку, но тут Антонина качнулась и, будто тая, стала сползать на пол.

— Тетя Феня! — не своим голосом закричала я, подхватывая Мудрика.

Втроем мы уложили его на каталку. Только после этого, распорядившись, чтобы его перенесли на стол и готовили к операции, я подошла к лежащей на полу Антонине. Эти глиняные пятна на лице, на руках, на шее стали еще больше заметными. Взяла руку — пульса нет. Стала расстегивать пропитанный кровью халат — голова мотается, как у куклы. И тут меня пронзила страшная догадка. Я подняла веко — зрачок не реагирует на свет. Зеленый, русалочий глаз уже стекленел.

— С ней потом, сама отдышится... Вы — к столу, к Мудрику,— частила сквозь марлевую повязку тетя Феня.

И, показав на тело Антонины, я ответила ей почему-то по-латыни:

— Экзитус леталес.

Мудрик был в сознании. Я увидела, что озорные, бесстрашные глаза его могут быть испуганными, тоскливыми. Но и тут он старался балагурить. Вместе с булькающим, хриплым дыханием я услышала:

— Факир был пьян, фокус не удался... Дрова, доктор Вера.

— Камфару. Морфий.

Две раны. Обе в области груди. Навылет. Стараюсь представить картину катастрофы. Пульс неплохой.

Температура? И температура ничего. Что же там разрушено? Можно думать о самом худшем. Но пульс не падает. Ах какой мускулистый! По нему можно анатомию изучать. Ну и везуч: ни один магистральный сосуд не поврежден. Ага, вот где кровь. И сколько! Все в крови. Нам приходится повозиться, пока удается перехватить поврежденные сосуды, и очистить операционное поле. Теперь картина ясна. В общем-то, Мудрик, ты родился под счастливой звездой.

Эфир экономили, он был на дне пузырька. Больного не удалось усыпить. Все идет под местным наркозом, который при таких сложных ранениях, конечно, не все обезболивает. Но Мудрик молодец.

— Как вы себя чувствуете?

— Превосходно, как в бане на третьей полке.

— Не очень больно?

— В самый раз...

Только по тому, как в иные моменты зеленеет и покрывается испариной его лицо, а руки судорожно вцепляются в край стола, я и понимаю, каково ему.

— Потерпите, я скоро кончу.

— Есть потерпеть. Тетя Феня, дай валерьяночки доктору Вере.

Молодец, молодец! Так и держись. Сегодня мне нужна и твоя поддержка...

— Больно? Ну, ничего, теперь уже скоро.

— Пожалуйста, мне не к спеху. До выхода на манеж уйма времени.

Милый Мудрик! Как он поддерживал меня этим своим балагурством! Только когда боль лишает сознания, он начинает скрипеть зубами и скрипит так, что я боюсь, как бы его белые зубы не раскрошились. Наверное, у меня не было еще такой операции. Я обо всем забыла, вся ушла в нее. Весь мир сосредоточился на маленьком пространстве, на этой разверстой груди, где как налитый кровью маятник отстукивало время сердце, где все пульсировало и жило своей жизнью. Тетя Феня никуда не годилась сегодня. Роняла инструмент, шмыгала носом, слезы текли на марлю маски...

И все-таки все шло хорошо. Но вдруг:

— Доктор, а что же Антон? Где она?

Этот вопрос застал врасплох. Во время операции я как-то совсем и забыла об Антонине. Теперь я представила себе ее там, неподвижную, в окровавленном халате, и

у меня сразу затряслись руки. Но тут мне пришла на помощь тетя Феня:

— Там она, там. Перевязки делает... Один ты, что ли...

— Наркоз... Не жалейте... Все, все лейте. Больше не понадобится.

— Сейчас, сейчас... Его тут на донышке...

Больше мы не разговаривали.

Наконец-то я смогла разогнуть спину и будто из какой-то шахты поднялась на поверхность... Что там такое? Почему шум? Что там кричат? Откуда незнакомые голоса? Что же все-таки происходит? Завязываю последние узлы. Вот теперь, когда опасность для оперируемого миновала, по-настоящему задрожали руки. И тут я соображаю — незнакомые люди там в палатах говорят порусски. Неужели наши? Впрочем, об этом можно догадаться по глазам тети Фени, которые сияют в прорези марлевой маски.

— Наши?— спрашиваю я.

— Давно уж, — подтверждает она и начинает истово креститься на сверкающий в углу автоклав.

— Наши? — спрашивает Мудрик, снова придя в сознание. По зеленоватому лицу пятнами румянец.— Разрешите «ура», доктор Вера! — спрашивает он, и тут же сознание покидает его.

— Нашатырь...

Только тут я по-настоящему осмысливаю, что произошло за те два часа, пока я возилась у операционного стола. Раз там наши, гитлеровцы до нас не добрались. Мы спасены. Привычный мир вернулся к нам, отыскал нас. Туда, к своим. Но нет, нет! Долг — прежде всего, как говорил нам Кайранский, превыше всего ставивший врачебный долг. Все надо доделать. Укрываем забинтованного марлевым пологом, поднимаем и перекладываем его на каталку. Ну, теперь можно снять маску. И в это мгновение:

— Верка!

В дверях Дубинич собственной персоной. Он ввалился в предоперационную в полушубке, в валенках. Меховая рукавица, как у маленького, болтается у него на веревочке. Белый чуб выбился из-под меховой шапки. Я замечаю — рукавица болтается одна. Правый рукав

полушубка почему-то заправлен за пояс. Но Дубинич полон энергии.

— Верка! — кричит он.— Молодец, Верка!

Я ему очень обрадовалась, но сдержалась. Сдирая резиновые перчатки, холодно сказала:

— Здравствуйте, Сергей Сергеевич!

На миг он оторопел, даже как-то отпрянул, но тут же нашелся:

— Здравствуйте, доктор Трешникова! Позвольте поприветствовать вас от лица Красной Армии — освободительницы.

Наступило неловкое молчание. Я смотрела на его пустой рукав.

— Когда?

— В ту ночь... Из-за этого опоздал к тебе на свидание. Головную машину разбомбили в пути. Я легко отделался, а шестерых... в клочья. Ну, теперь-то ты позволишь мне пожать твою мужественную лапу моей единственной, левой рукой?

12

Этот день кажется просто бесконечным.

У выхода из нашего подземелья еще валялись три немца, которых Мудрик, оказывается, все-таки угостил своим «эскимо». Один из них, совершенно обгорелый, так и лежит возле красной распертой взрывом канистры с бензином, с помощью которого он пытался нас выкурить. Двое других лежали рядом, припорошенные снежком. С них уже стянули и верхнее и сапоги. Они в голубом вязаном белье. Морозная, сухая поземка треплет их соломенные волосы.

У входа дымит на машине полевая кухня. Около толпятся горожане — им выдают остатки еды. Мои уже получили армейский обед и, по уверению повара, «в охотку» уничтожили столько, что хватило бы накормить «до упору» целый батальон... Сколько в батальоне людей, я не знаю, но и сама съела полную миску жирного горохового супа да еще макарон с мясом. Столько я никогда в жизни не ела. Сейчас все сыты и сонные расползлись по палатам. Мужчины раздобыли где-то бритвы. Женщины на кухне по очереди моют головы. Некоторые могли бы, конечно, идти и по домам: мы уже не лодка в чужом вра-

ждебном море, кругом свои. Но что-то — и, думаю, не только возможность получать армейскую еду — еще удерживает их в наших мрачных подвалах.

Дубинич только что осмотрел Мудрика и поздравил меня с удачной операцией.

— Верка, ты же тут чертовски выросла,— заявил он.

— Хочешь сказать — постарела?

Он критически оглядывает меня.

— Не скажу... Томная бледность и эти круги под глазами весьма к лицу доктору Трешниковой.

Мы сидим с ним на койке в моем «зашкафнике» и делимся новостями.

— Только три смертных исхода? Здорово, просто здорово. Так и доложу армейскому хирургу. И ведь не поверит старик, я попытаюсь его к тебе притащить... Вы тут герои. А это верно, что Наседкин у тебя работал?.. Слышали, обо всем слышали. Кто бы мог от него ждать?

Несмотря на бравый начальственный вид, в поведении Дубинича чувствуется виноватинка. Осматривая наше хозяйство, он уцепился глазами за портрет Сталина, который мы прятали за дверцей шкафа. Сейчас шкаф открыт, Сталин смотрит на нас.

— И при немцах висел?

— И при немцах. Ребята мои повесили.

— И как? Ничего?

— Они не могли видеть. При них шкаф закрывался. Немцы, между прочим, тоже не одинаковые.

Дубинич становится серьезным.

— Вот что, Вера, нигде, никому, никогда этого не говори.

— Везде, всем и всегда буду говорить. Это правда. Нам надо знать правду о противнике. Пять миллионов голосовало за Тельмана. Ты что же думаешь, они испарились? Или это не так?

— Не время об этом вспоминать. — И, подвинувшись, вполголоса, будто боясь, что нас подслушают, он продолжал: — Особенно тебе. Ведь о тебе столько там болтали: «осталась у гитлеровцев», «продалась врагу». Тебе, Вера, надо это знать. И лучше, если об этом предупрежу тебя я, твой старый однокашник, чем кто-нибудь еще.

Неужели мои опасения оправдываются? Худшие опасения? Даже обидеться я на него не могу: он явно хочет мне доброго.

— Но ты-то ведь знаешь, как я осталась? Ведь ты же бросил все это на меня.

Мгновение мы смотрим друг на друга. Нам трудно друг друга понять.

— А это? — горько говорит он, хлопая себя по пустому рукаву.— Кончился хирург Сергей Дубинич, конец мечтам, надеждам... Я не верил тому, что о тебе болтали.

— Но ты хоть объяснил кому-нибудь, почему я осталась?

— Почему — это я объяснил. А остальное... Откуда же я знал? Что мог я противопоставить этим скверным слухам? — И, опасливо покосившись на портрет, перешел на шепот: — Будь осторожна. У тех, кто уходил, гнезда разорены, все разворовано, растащено, испакощено. Злость к тем, кто оставался, страшная. Их ведь тоже надо понять. Ну как тут вели себя наши?

— По-разному, Сергей, по-разному.— И я сообщила ему самую большую мудрость из всех, которые я обрела в эти страшные месяцы: одинаковых людей нет ни у них, ни у нас...

Вот так мы и разговаривали, два коллеги, два однокашника. И я чувствовала, как все больше и больше тускнеет для меня этот так радостно занявшийся день. И самое тяжелое было, что сама сознавала — в этом есть какая-то своя неумолимая логика. Если бы он, Дубинич, остался, а я оказалась в эвакуации, среди этих людей, лишившихся всего, битком набивавших колхозные избы, проедавших последнее из того, что второпях удалось унести, живших смутными и жестокими слухами, доносившимися к ним из города, который был и рядом и бесконечно далеко, то, возможно, и я могла бы поверить самой дикой болтовне, рожденной смутным эхом происходивших там событий.

— Вера, я составлю рапорт о твоем госпитале. Доложу все как следует. У тебя просто потрясающие результаты, но все-таки, знаешь, понимаешь.... Верка...— продолжал он, виновато посматривая на портрет и с трудом выжимая слова.— По-моему, лучше все-таки...

— Все-таки? Ну что все-таки? — закричала я.

— Все-таки лучше тебе самой идти в обком... Этот Боев — он мужик правильный, человечный. Расскажи ему все, ну как мне. Он, наверное, поймет. Я его знаю. Настоящий большевик.

Я только покачала головой.

— Скажи-ка ты мне, Сергей, умный, добрый Серега Дубинич. Вот я приду к этому «правильному мужику», настоящему большевику, приду и скажу: «Здравствуйте, товарищ Боев. Я такая-то, жена осужденного. Я оставалась у немцев, вела дела с эсэсовскими офицерами, стояла с ними рядом, когда казнили наших героев, стояла у всего города на виду».

— Перестань!

— Ну вот, видишь... Спасибо за совет... И у меня просьба. Что бы потом ни болтали и ни писали о Верке Трешниковой, не думай о ней плохо — она была и осталась комсомолкой, комсомолкой-переростком... которую, наверное, никогда не примут в партию...

Я почти процитировала эти слова из твоего письма, Семен. И сразу мне стало легче. Я вдруг поверила, вот так, без особой причины поверила, что правда, несмотря ни на что, восторжествует, что во всем разберутся и тучи, может быть, разойдутся над моей несчастной головой.

А вот поверил ли Дубинич — не знаю... Во всяком случае, он ничего не ответил, но лицо у него было тревожное и грустное. Ах, Семен, если бы ты был рядом. Или хотя бы Василий. Но вас обоих нет, ты вон где, а Василий вместе с моими офицерами уже исчез куда-то, еще когда я оперировала Мудрика. И Марии Григорьевны нет, умчалась по каким-то делам. И опять я одна: ни посоветоваться, ни поговорить не с кем... Ну ничего, ничего, Верка. Разберутся во всем, разберутся...

Но все-таки надо подумать о будущем детей, обеспечить их хотя бы жильем на тот случай, если... На тот случай, про который мне страшно думать. Ту половину дома, где была наша комната, разбомбили. Остается одно — домик Петра Павловича. Кто-то там сейчас хозяйничает и вообще цел ли он — не знаю. Но если цел, где же и жить внукам, как не в доме деда? Ведь я правильно, Семен, рассудила? Ведь так?

Хотела идти туда вместе с ребятами, но их никакими силами не оторвать от Мудрика. По-моему, прямая опасность для него миновала. Его организм, удивительно жизнеустойчивый, отлично борется с последствиями очень серьезного ранения. Но что-то с ним произошло. Мы просто не узнаем его. Это какой-то другой Мудрик. Мне говорили, что, когда уносили тело Антонины, он рыдал, никого не стесняясь. Уснув, повторяет: «Антон, Антон...» А когда ему, заставляя его спать, дают снотворное,

ведет с Антониной беседы... Ребята, даже Домка, вряд ли все это по-настоящему понимают. Но от койки Мудрика их не отогнать. Сидят и смотрят на него шестью влюбленными глазами. Даже эта Рая, самая младшая из них, которой «дядя Вовчик», в сущности, даже мало знаком.

Словом, в ваш домик я пошла одна. Повязала голову все той же косынкой и вышла из подземелья с радостной, непривычной легкостью, без всяких опасений.

У входа в наш бункер стояла машина. Четверо пожилых бойцов, опустив задний борт, поднимали в машину обгорелое тело факельщика. Двое других убитых лежали уже рядком в кузове, а этот, обезображенный огнем, замерз в скрюченной позе и будто упирался. Тогда, раскачав, они дружно выкрикнули: «Взяли!» — и перебросили тело через борт. Оно грохнулось о доски. Звук получился такой, будто упал большой камень. Один боец вытер о полы шинели руки, поднял пузатую, разорванную взрывом канистру из-под бензина, осмотрел ее, покачал головой:

— Ишь ты!.. Вовремя его кто-то остановил...

Машина, взвыв мотором, стала выбираться из снега. Из кабины мне уже кричали:

— Эй, посторонись, сестричка, фрицы едут.

В сущности, грустная сцена. У каждого из этих трех, наверное, есть и жена и дети. Но окровавленный след еще виден на снегу. Он ведет в развалины, ко второму нашему выходу. Кровь Мудрика и Антонины как бы прожгла снег. И ничего, кроме удовлетворенного злорадства, я не испытала. Я даже хладнокровно подумала: встретить похороны — что это, к счастью или к беде?

Бой еще грохотал где-то за «Большевичкой». Тут и там догорали пожары. Ясный день замутнен грязными, жирными дымами. В воздухе порхал какой-то серый пепел. И все же, боже ж мой, как хорош был этот ядреный, морозный день! Как весело хрупал под ногами снег, как он сверкал, падая! И люди. По тротуару спешили люди. Неужто уж столько вернулось? Когда успели? А может быть, это те, кто оставался, повылезли?.. Впрочем, и те и другие. Это легко отличить по цвету лица. Белые лица — это у вернувшихся, а коричневые, со следами копоти,— это те, кто жил тут, в холоде, без света и воды.

Двое солдат, шарящие чем-то похожим на ухват в углу уцелевшего магазина, кричат трем девчонкам, гуськом семенящим по тропке:

— Вы что, девчата, из негров, что ли? Нешто это Африка, черные какие?

Те в ответ визгливо смеются:

— Победуй-ка с фрицами — на всех чертей похож станешь.

И опять хохочут на всю улицу, должно быть радуясь не солдатской шутке, а самому процессу смеха, удовольствию издавать на этой *своей* улице, *своего* города визгливые, заливистые «ха-ха-ха». И мне вдруг тоже стало весело,— какого черта, я ни перед кем не виновата, не сделала ничего дурного, я такая же, как они. Попробовала засмеяться. Так, без причины. И, представь, вышло, и даже неплохо вышло. Значит, и смеяться не разучилась.

У вашего домика я остановилась. Он цел. Вывески еще сообщают о слесаре высокой квалификации. Но окна уже слепы, мороз покрыл их густыми бельмами. Все же из трубы поднимается и уходит в небо тощенький дымок, а к калитке и дальше, к крыльцу, ведет один-единственный след. Мелькает шальная мысль: может, это ты, Семен, вернулся? Мгновенная радость захватывает меня. Нет, след маленький. Но он означает, что в доме кто-то есть. Становится страшновато. И тут же вспоминаю: да чего бояться, кто бы там ни был, свои, а не немцы. Решительно повернула кольцо калитки. Пока звенел колокольчик, миновала холодные сени, прошла мимо железной рухляди, открыла обитую клеенкой дверь. Темная женская фигура сгибается у печки, едва освещенная отблесками топки.

Женщина вздрагивает, поворачивается. Вскакивает. Испуганно уставилась на меня, будто я какой-то нежить.

— Как, ты?

Это Татьяна, твоя сестра, Семен. Она осунулась, похудела, и это как-то очень улучшило ее несколько полноватую фигуру, и такая она стала хорошенькая, Татьяна, чернавочка, смугляночка.

— Ты здесь? Ты не убежала? — спрашивает она, стоя в той же настороженной позе и даже отступая от меня в глубь комнаты.

— Куда? Зачем мне бежать? С кем?

— Ну с ними, с немцами, с твоими дружками, с кем же?

Черные глаза смотрят зло, непримиримо, даже какая-то брезгливая морщинка легла возле ее хорошенького тупого носика, и опять у меня тоскливо заныло сердце.

Опустилась на первый попавшийся стул. Нет, даже не обиженно, а устало выговорила:

— Ты что, одурела? Зачем мне бежать с немцами?

— А сюда зачем пришла? — Татьяна отодвинулась еще дальше, будто боясь заразиться или запачкаться. Это меня уже разозлило.

— Как зачем? Пришла, чтобы устроить здесь Домика и Стальку. Они внуки Петра Павловича. Это ведь и их дом.

— Ну вот пусть они и приходят.

— А мне убираться?

— А ты убирайся.

«Убирайся» — так она, Семен, и сказала. И я бы ушла, конечно, и духу бы моего там больше не было. Но надо же было устроить ребят. Теперь-то я уж и не сомневалась, что меня ждет.

— Ну чего же ты, уходи,— зло торопила Татьяна. Видимо, ей было противно даже находиться со мной в одной комнате.

— Но ведь Петр Павлович тоже оставался у немцев...— начала было я, но она не дала мне говорить:

— Не смей поминать батю! Он не оставался. Его оставили. Его твои приятели фрицы повесили.

— Его не повесили. Он не дал себя повесить...

И тут на смуглом лице Татьяны маска непримиримости дала трещину. На нем проглянуло удивление и даже надежда.

— Как не дал? Ты чего городишь? — произнеся это, она опустилась на стул.

— Я сама видела.

— Ты? Ты видела?

Я рассказала все, что видела на площади, рассказала о госпитале, о себе. Лицо Татьяны мягчало, на сердитых глазах навертывались слезы, начинал ежиться подбородок. И вот она зарыдала, уткнувшись мне в плечо.

Я не выдержала и тоже расплакалась. Сколько мы так сидели, не знаю, но привел нас в себя бой ваших больших часов. Они отсчитали шесть. Только тут мы заметили, что в комнате совсем темно и лишь отсветы печки искристо играют на морозных пальмах и папоротниках, затянувших замерзшие окна.

— Вхожу — пусто, все разгромлено, растащено, разбросано. Только часы ходят. Они ведь с двухнедельным заводом. Их еще батя сам заводил,— сказала Татьяна.

И снова заплакала.— А про тебя в эвакуации такое говорили, с Семеном вязали: немецкие шпионы... Я там в школе преподавала и все боялась — вдруг кто спросит: эта, мол, немецкая овчарка вам не сродни? Хорошо, хоть фамилия у тебя другая.

Мы быстро прибрали комнатку твоего отца, ту, что окнами выходит в садик. Помнишь, Семен? Там еще старая груша перед окном. Кровати кто-то украл. Мы перетащили из чулана старые железные, с завитушками. Собрали по дому кое-какую уцелевшую мебелишку, а пока возились, печка стала отдавать тепло, с окошек закапало, они заплакали, стали прозревать.

Уже завершая уборку, мы стали передвигать слесарный верстак и обнаружили ходок в подпол. А там — мамочки дорогие! — картошку, свеклу, морковь, а в уголке банки с маринованными грибами. Те, кто разграбил дом, не видели этого люка. Все уцелело. У меня с плеч свалилась еще одна тяжесть. Что бы со мной ни было, Татьяна с ребятами продержится. Продержится, пока все выяснится.

Когда прощались, Татьяна вовсе помягчела — спросила даже, не надо ли мне чего из одежды, хотя все ее богатство заключалось в небольшом узелке, который она принесла с собой.

Прощаясь, предупредила:

— Вера, потерпи. Нелегко тебе будет — потерпи. Дай людям в своих домах оглядеться. Прийти в себя.

Что ж, неплохой совет. Хотя это легко сказать — «потерпи». Ну, ничего, ничего, самое страшное позади. Потерплю. Тем более что и нет иного выхода.

...Ночь была темная. Ни луны, ни звезд. И всюду кругом небо обложено заревами. Снег в их отсветах казался багровым. Далеко, может быть уже за аэродромом, ухали пушки. Свои, свои. Кругом — свои. И где-то вдали что-то незатейливое играла гармошка. Это ее пиликанье было удивительно приятно: своя, тоже своя, давно не слышанная.

А спускаясь по мерзлым, еще воняющим бензином ступеням в наше подземелье, я и вовсе пришла в расчудесное настроение. Даже самодовольно произнесла: «Ну вот, Верочка, мы с тобой и дома». Именно здесь был мой дом. Здесь был свой угол, своя кровать, здесь были мои дети. Здесь были люди, которые верили мне и ни в чем не могли меня заподозрить. Даже этот сырой, спертый воздух был родным.

Но тут я увидела уже и новое. Незнакомые санитары в военных куртках курили, выдувая дым в приоткрытую дверь. У входа были навалены какие-то кули и ящики. И не Мария Григорьевна, а какой-то шустрый краснорожий толстячок очень штатского вида, но в военном, сидел на этих ящиках и что-то записывал.

Как раз когда я сошла вниз, из второй палаты появилась высокая худая женщина в военном. Три шпалы. Военврач первого ранга. Да это же правая рука покойного Кайранского Валерия Леопольдовна Громова, с трудом узнала я ее. Ну да, та самая Громова, которая после твоего ареста, Семен, когда мне пришлось нелегко, относилась ко мне с подчеркнутым вниманием. Она шла прямая, стремительная, смотря на меня с высоты своего мужского роста.

— Валерия Леопольдовна! — бросилась я к ней.

Бросилась и остановилась. Ни один мускул не шевельнулся на ее сухом, некрасивом лице. Она продолжала идти по прямой, и глаза ее будто бы смотрели сквозь меня. Мне показалось — не посторонись я, она бы... И я посторонилась. Нет, даже не посторонилась, а отшатнулась... Она прошла мимо, даже не ответив на поклон.

Хорошо, что этого никто не видел. Никто, кроме Марии Григорьевны. Уже не в сестринской, а в обычной своей одежде, исхудавшая и казавшаяся даже более бледной, чем всегда, она смотрела на меня из «зашкафника».

Я бросилась к ней.

— Не говори, не говори!.. Ничего не говори,— сказала она, втягивая меня под защиту шкафов.— Понять их надо, натерпелся народ, глаза от горя затуманило.— Она прижала меня к себе и стала покачивать, будто баюкая.— Понимать надо,— повторила она.— Погоди, будет время, муть осядет, туман развеется. Всех разглядят, кто и что, всем по заслугам воздадут.

Нет, нет, ничего. Я уже собралась с мыслями. Малодушие это от безделья. Надо скорее договориться о работе, что-то делать, о ком-то, о чем-то заботиться, иначе с ума сойти можно. После каждого такого потрясения снова и снова будто вижу со стороны себя в толпе «достойных горожан», рядом с этим Шонебергом в день казни. Вижу совсем четко, точно мне показывают фотографию. И всякий раз это надолго выбивает меня из колеи. Надо вот как-то научить себя отделываться от этого навязчивого видения. Как? Как?

— Вы чего же, Мария Григорьевна, покидать меня собрались? — отвечаю я беззаботным голосом, собрав все свое мужество.

— А пора. Тут теперь вон мужчинам тесно. Что мне, старухе, при них топтаться? Хоть квартирку свою в порядок привесть. Ужи там, поди, развелись. Вернутся мои из эвакуации, а там, как покойница Антонина говорила, «Авдеевы конюшни».

— Уж все и сдали?

— А чего сдавать-то? Показала вон тому брюнету, что на ящиках сидит, свои каменные пещеры: на два дня по голодной норме... мышиного помета. Вот и вся сдача. Акт подписывать не хотел,— мол, бумага дороже стоит,— да я заставила. Не беспокойтесь, Вера Николаевна, у меня все в ажуре.

И вещички ее были уже сложены, увязаны в аккуратный старушечий узелок, стоявший возле моего стола. Но она все-таки не ушла, быть может чувствуя, как мне сейчас нужно иметь рядом близкого человека.

— Записку он вам оставил,— сказала она как-то многозначительно, выделив местоимение «он».

Почерк был незнакомый, округлый, ученический. Но я, конечно, сразу поняла, кто это «он». В записке было: «Заезжал. Не застал. Заеду завтра в двенадцать ноль-ноль. Будь обязательно — это важно. Василий». «Обязательно» и «важно» были подчеркнуты.

— Форму надел, кругом побрился, еле узнала. Честное благородное... Уж этого своего Володьку обнимал, обнимал... А что вас не застал, очень огорчился.— Подумала и добавила еще одно «очень».

Посмотрела на меня. Помолчала.

— Хороший человек, ребята ваши в нем души не чают.

Опять помолчала — и вдруг:

— Хотите, Вера Николаевна, картишки раскину?

Ну конечно же, конечно! Как бы мне хоть глазком заглянуть в свое будущее. Не смейся, Семен. Стала я какая-то чудная, суеверная. Сегодня думала: встретить похороны — к добру или к худу? На небе звезду ищу, ту нашу, помнишь? По которой ты меня из болота когда-то выводил. Только той звезды я найти не могу. Потерялась. Забыла, где она. А карты? Ну что ж...

— Раскиньте, милая Мария Григорьевна!

Старуха достает откуда-то из недр узла свои пухлые карты, тяжелые и жирные, как стопка блинов. Надела очки, послюнила большой палец, стала раскладывать. И делала она это так серьезно, будто проводила какой-то важный опыт, от которого зависит судьба человека. Эх, Мария Григорьевна, как я вас знаю и карты ваши знаю! Они такие же неказистые с виду и такие же добрые и проницательные, как и их владелица.

Ну конечно же все тут как тут — и большие хлопоты, и испытания, и горькие слезы, и разлука, и опять слезы, и некий пиковый коварный король, и неприятный разговор в казенном доме... И слева от меня оказался король крестей и хлопоты и почему-то дальняя дорога.

Терпеть не могла карт. Никогда их в руки не брала, и твое, Семен, пристрастие к преферансным бдениям, как ты помнишь, выводило меня из себя. Но я люблю Марию Григорьевну Фельдъегереву, верю ей, ее житейской мудрости...

— Ну вот,— говорит она удовлетворенно, окидывая взглядом полководца свои замасленные картонные войска, выстроившиеся на столе,— а теперь видите сами: четыре десятки — исполнение желаний...

Она собирает и задумчиво тасует пухлую свою колоду.

— Хотите, на короля крестей погадаю?— Она не смотрит на меня, она смотрит на карты, но мне кажется, что на суровом ее лице в эту минуту непременно должна быть улыбка. Лицо это при мне ни разу не улыбалось. Нет, я не оглянусь, не буду разочаровываться.

Я не хочу, чтобы гадали на трефового короля. Я не хочу думать об этом трефовом короле. А сама думаю, думаю. Чем больше заставляю себя не думать, тем больше думаю... Зачем я понадобилась ему завтра в двенадцать ноль-ноль? О чем он хочет со мною говорить? И почему мне так тревожно?

13

Эх, ничего-то вы не знаете, добрые старушечьи карты! Не будет ни червонной масти, ни интересного разговора с трефовым королем. Будет только казенный дом.

В восемь утра за мной приехали двое в форме. Предъявили ордер, подписанный прокурором. Приказали собираться, не привлекая ничьего внимания. Что мне бы-

ло собирать? Умывальные принадлежности? Мне не дали даже выйти в палату, проститься с Мудриком и другими моими больными. Успела только расцеловать ничего со сна не понимающих ребят да наказать тете Фене отвести их сейчас же под крыло Татьяны. Она все-таки сердечная девка. Простились мы по-хорошему. Думаю, их не бросит. А с Раей, которая спала у Зинаиды, так и увидеться не пришлось... Ну что ж, о ней тоже можно не беспокоиться. Наши же пришли, не пропадет девочка, да и Зинаида вон не дает на нее пылинке упасть.

Вот так, Семен, все и повернулось. Скверно, обидно, страшно повернулось.

Везли нас не в «черном вороне», а на обычном стареньком грузовике. И вместе с нами, арестованными, сидели на скамейке два бойца с винтовками. Нас набралось больше десяти: три полицая, явно из уголовников, с толстыми кирпичными мордами. И среди них наш околоточный. Тот самый, что наклеивал у нас извещение. Увидев меня, этот отвратительный тип ощерился и пробормотал: «А, докторица? Вместе нас повязали...» Еще были какая-то смазливая, густо накрашенная бабенка в беличьей шубке и старушечьих валенках, тот самый попик с мочальной бородкой, которому Наседкин плюнул в физиономию, и трое немцев. Их женщины вытащили в котельной «Большевички» из угольного мусора. Ну и еще какие-то менее примечательные типы. Впрочем, я видела их точно во сне. Все силы мои уходили на то, чтобы подавить рыдания. Сидела и заклинала себя: не реви, не смей реветь при них, при этих... От напряжения я точно одеревенела. Конвоиры зорко следили за нами.

Они оказались правы. Дамба, ведущая к мосту через Тьму, вся исклевана снарядами. Машина медленно пробиралась, маневрируя меж свежих, еще не занесенных снегом воронок. И вот когда колеса ее уже готовы были подняться на доски моста и она почти остановилась, один из полицаев, дюжий парень с красной рожей и длинными, обезьяньими руками, вдруг метнулся и перемахнул через борт. Но неудачно, подвернул ногу. Вскрикнул от боли и все-таки пополз под откос. Оба конвойных, повыскакав, тут же навалились на него. Должно быть, он был очень силен. С рычанием и стонами он отбивался, и они катались живым клубком, а вокруг них бегал, потрясая пистолетом, выскочивший из кабины лейтенант.

— Стой, стрелять буду... Стой, стреляю!

Два других полицая равнодушно следили за борьбой. Накрашенная бабенка взвизгивала, а попик отвернулся и закрыл лицо тощенькими руками.

— Господи, помяни царя Давида и всю кротость его!

Наконец беглеца одолели, заломили ему руки назад, завязали ремнем, подняли в машину. Он лежал на днище, тяжело дыша и вращая глазами. Казалось, вот-вот оборвет ремень и с рычаньем бросится на всех. Потом он замер, и вдруг мы услышали вой, бессловесный, нечеловеческий вой, от которого становилось жутко. Наш околоточный ударил его сапогом в бок:

— Заткни дыхало.

— Боже, боже, как же ожесточился человек! — бормотал поп, забившись в дальний угол машины.

— Оно конечно, пуля добрее петли,— заметил тот, что бил сапогом, и спокойно попросил: — Закурить никто не угостит?

Самым страшным было не то, что меня арестовали, не то даже, что везут куда-то, наверное в тюрьму, а то, что сунули в машину с этой мразью, с этими подонками. Почему? По какому праву? Что я сделала?

— Позвольте осведомиться: за что вас? — с видом старого знакомого спросил у меня попик.

Я отвернулась. Стараясь не смотреть на спутников, я глядела на город и мало-помалу отвлеклась от омерзительного соседства. Город действительно поражал. Ведь и суток не прошло с тех пор, как его освободили, а он уже жил, именно жил, а не лежал холодным трупом, как это было при немцах, совсем недавно. Он походил на больного, который только что прошел через опасный кризис и, еще бессильный, еле живой, жадно оглядывается кругом. И я удивлялась: откуда столько народу, куда все торопятся, спешат? У магазинов, смотревших на улицу пустыми глазницами разбитых стекол, очереди. Там уже что-то «давали». А одна очередь, длинная-длинная, растянулась по Советской почти на квартал. За чем же это? Ее голова скрывалась в дверях Дома Красной Армии. Ага, вот что: «Сегодня весь день здесь демонстрируют историко-революционный фильм «Ленин в Октябре». Написано от руки на куске пестрых обоев. И стоит вчерашняя дата. Ты понимаешь, Семен, вчерашняя! Матушки мои, как это здорово: только-только освободили город, а тут уж крутят фильм.

Казалось все бы отдала, чтобы сейчас очутиться в этой очереди или вот с этими девчонками орудовать лопатами, сгоняя с тротуаров снег... Увы, меня везут вместе с немцами и немецкими прихвостнями, и люди в очереди, и эти девушки, и наши конвойные смотрят на меня как на что-то уродливое и опасное. Не исключено — кто-то из них знает или слышал обо мне. Становится мучительно стыдно. Я начинаю хотеть, чтобы наша машина натолкнулась на какую-то другую — и разом конец. Ничего не чувствовать, ничего не думать. Когда-то была казнь: гоняли сквозь строй, и каждый солдат, мимо которого проводили приговоренного, опускал ему на спину шомпол. Это здорово описано у Толстого. А для меня шомпола — эти взгляды. Я под ними даже физически вздрагиваю, сжимаюсь, как тот солдатик в рассказе, только, наверное, мне больнее.

И особенно стало тяжко, когда нас провозили через Восьмиугольную площадь. Свастику, конечно, уже убрали. Торчал пустой гранитный цоколь. У здания горкома играл военный оркестр. Оттуда на руках выносили гробы,— должно быть, последние жертвы. И пришла мне мысль: хорошо бы лежать сейчас в одном из этих гробов. Наседкин счастливее меня. Он не был героем, как твой отец. Он, как я, просто лечил людей, нуждавшихся в медицинской помощи. Милый, добрый Иван Аристархович, как вы тогда плюнули в морду попишке, что сейчас вот трясется вместе со мной в машине и все что-то шепчет. Впрочем, мы же ведь рядом с ним стояли тогда среди гитлеровского офицерья в день казни. И опять я вижу себя со стороны в тот проклятый день. Ясно вижу... Спросил бы ты, поп, у своего бога: за что на мою долю выпали такие испытания?

Да, Иван Аристархович, вам повезло. Ваши дочери будут гордиться вами. А что узнают потом Домик и Сталька о своей матери?.. Не смей, Верка, об этом думать... Я ни в чем не виновата. У меня много свидетелей, все они подтвердят... Только вот вопрос — захотят ли их слушать?.. Нет, нет, правда над кривдой у нас всегда верх возьмет, как говорил Петр Павлович. И вообще об этом тоже не надо думать... Нужно верить, верить и верить. Без веры и незачем жить.

И я, Семен, верю, несмотря ни на что. Верю, что правда победит, что меня и тебя освободят. Мы увидимся. Ведь верили же мы, вопреки всему, что скоро

освободят наш Верхневолжск. Верили, даже когда факельщики поливали нашу дверь бензином. И, видишь, не зря. Только вот... Ничего, ничего... Лес рубят — щепки летят... И кто только сочинил эту проклятую пословицу?

И очень я поразилась, увидев тюрьму. В городе столько домов сгорело, разрушено, а вот тюрьма за Московской заставой целехонька. Смотрит на все четыре стороны слепыми окнами, закрытыми косыми фанерными щитами. Машина погудела у ворот. Они открылись. Въехали во двор. Велено было вылезать. Я спрыгнула на снег и с удовольствием послушала, как он заскрипел под подошвами. Полицая, того, что собирался бежать, сняли со всеми предосторожностями, не развязывая рук. Не знаю, была ли это хитрость, озорство или он действительно вывихнул ногу, но только он сразу же повалился на снег и наши конвойные, как-то очень по-домашнему, взяв винтовки под мышки, поволокли его. Он между ними прыгал на одной ноге и бросал вокруг яростные взгляды. А мы толпой шли сзади, сопровождаемые лейтенантом. Попик опять оказался рядом, шептал мне на ухо:

— Это василиск в образе человека. Сколько это чудовище погубило невинных душ...

Должно быть, в силу военного времени процедура приемки оказалась довольно простой. Нас, двух женщин, эту намазанную бабенку и меня, отделили от мужчин. Старшая надзирательница, здоровенная, красивая бабища с румяным лицом и таким бюстом, что китель просто трещит на ней, как-то очень небрежно обыскала нас, осмотрела вещи. Подивилась, что со мною ничего нет, и даже вступила в разговор.

— За что? — спросила она мою спутницу, как я теперь уже знала, Валентину Валентиновну Кочеткову, двадцати пяти лет, жену военнослужащего, по профессии домохозяйку.

— С голоду подыхать не хотела,— ответила та, улыбаясь слишком уж ярко накрашенным, но каким-то вялым, растрепанным ртом.

— Значит, немецкая подстилка,— жестоко уточнила надзирательница, закрывая чемодан Кочетковой, откуда изъяты были лишь маникюрные принадлежности да поя-

са от платьев. И подтолкнула его ногой: — Можете забирать.

В моем узелке были лишь вафельное полотенце, зубная щетка, ночная рубашка с рейтузами да драгоценный, последний у нас, кусочек мыла. Я хотела оставить его детям и оставила, но, как видно, тетя Феня сунула-таки мне его напоследок.

— Что же мало шмутков?

— У меня больше ничего нет.

— Не нажили, стало быть, при немцах?.. За что?

— Не знаю.

— Все подследственные не знают. Знакомая песня. Несмотря на форму и знаки различия, болтала она просто по-бабьи, и я как-то приободрилась.

— Нет, в самом деле не знаю.

Начался личный обыск. Большие красные руки похозяйски шарили по телу. Я смотрела на красненький завиток тусклой угольной лампочки, тлевшей под потолком, и старалась не думать об этих бесцеремонных руках.

— Ладно, недозволенного нет. Часы придется оставить,— сказала надзирательница и крикнула коридорному, молодому туповатому парню, появляющемуся по ее зову из-за двери: — Этих в седьмую! Там у нас только двое.

Ага, значит, не одиночка! Это неплохой признак. Значит, мы, по мнению прокурора, подписавшего ордер, не такие уж великие государственные преступники. Но когда нас повели по полутемным коридорам, когда мы стали подниматься по лестнице, чугунные ступени которой были заметно вытерты за долгие годы подошвами заключенных, меня охватила тоска. Я почувствовала, как ноги слабеют, начинают дрожать. Споткнулась. «Нет, нет, Верка, не смей себя растравлять». Успокаиваю себя: наверное, кто-нибудь ложное донес или показал... Но выяснится же, все выяснится... Не смей психовать... Ах, как скрежещет и лязгает замок! Почему их тут не смазывают?

Надзиратель раскрывает дверь. Что это? Кира Владимировна Ланская! Она стоит у столика и смотрит на нас, входящих. У нее величественная, гневная поза царевны Софьи с известной картины. Но при виде меня театральная поза как-то сразу исчезает, и в голубых глазах я вижу одновременно и удивление, и насмешку, и, может быть, радость. Но только в глазах, она остается на месте

и в ответ на мое приветствие делает лишь холодный кивок.

— Что? Почему?..— не понимаю я, но она показывает глазами в сторону двери. Надзиратель еще не отошел, гремит замок.

— Узнают, что знакомые,— разведут,— говорит Ланская чуть слышно.

Осмотревшись, замечаю еще одну обитательницу камеры. Это маленькая, сухонькая женщина неопределенных лет, с худым, благообразным личиком. Сидя в углу у своей поднятой койки, она сочувственно смотрит на меня. Я уже разглядела: лицо ее обезображено синяками, царапинами. Правый глаз совсем запух.

— Здравствуйте! — говорю я.

Ланская молча кивает. Женщина с синяками радушно произносит певучим голосом:

— Добро пожаловать.

В это мгновение мне почему-то приходит на ум, что сейчас, наверное, полдень. Двенадцать ноль-ноль. Быстро поднимаю рукав и вижу только след от ремешка.

— Часики-то отбирают,— сочувственно напоминает женщина с синяками.— Ничего не поделаешь, такой тут порядок.

В коридоре уже стихло. Надзиратель, должно быть, отошел.

— «Откуда ты, прелестное дитя?» — иронически декламирует Ланская.

Но все это как-то тускло доходит до сознания. Зато я хорошо представляю: сейчас вот Василий спустился к нам в госпиталь. Идет к моему «зашкафнику», откидывает занавеску. «Нет, взяли ее утром»,— говорят ему.

14

Итак, нас в камере четверо: я, Ланская, эта самая Валентина Кочеткова, обвиняемая в том, что у нее в квартире собирались и гуляли гитлеровские офицеры, и эта четвертая, маленькая, молчаливая, настороженная, тихо сидящая в своем углу, почти не открывающая рта и только все время внимательно смотрящая на нас. Ее фамилия Кислякова. Она с «Большевички» — табельщица или что-то в этом роде. О себе ничего не рассказывает, твердит только, что взяли ее «по злобе соседей»,

Однако все-таки проговорилась, что разукрасили ее женщины, таща в милицию. Не знаю уж, чем она их прогневала, но теперь, когда я к ней пригляделась, вижу, вернее, чувствую: есть что-то в этой тихоне затаенное, недоброе, и это «что-то» позволяет думать, что соседки поколотили ее не зря.

В разговорах наших она участия не принимает. Слушает и вздыхает. Но, по-моему, она уже в нас достаточно разобралась, знает наши слабые места и точно, с самым сочувственным видом, тычет в них булавки.

— Ох, что-то вы со сна уж больно плохо выглядите! — говорит она во время оправок Ланской.— Морщин-то, морщин-то... ай-яй-яй! Напрасно вы себя худыми мыслями терзаете...

То ли из-за переживаний, то ли из-за отсутствия косметики, Кира Владимировна действительно здорово постарела. Перестала следить за собой. Роскошная коса ее, которую она не расчесывала, космами спадает на плечи. Во время оправок мы все жадно умываемся, наслаждаясь свежестью холодной воды, а она еле-еле оботрет лицо мокрыми ладонями.

— Нельзя, милая, так убиваться, а то ведь и вовсе старушкой станете,— сочувственно скрипит Кислякова.

Окно наше загорожено косым фанерным щитом, так что мы видим наверху лишь продолговатый кусок неба. Но в щите в этом внизу небольшая дырочка, от гвоздя, что ли. Если, встав на цыпочки, как следует приладиться, можно сквозь эту дырочку видеть будку с часовым, стену и дальше шоссе. Это трудно. Дырка высоко, на цыпочках долго не выстоишь, но когда шаги коридорного удаляются, мы все по очереди, кроме Кисляковой, становимся на табуретку и наблюдаем за танками, автомашинами, за солдатами на шоссе. Все это движется на запад. Только на запад! В этом наше утешение. Значит, наступление продолжается, значит, гонят фашистов. Сидим и гадаем, когда же очистится от них наша земля: к лету... к годовщине войны... к будущему году?

И вот однажды мы слышим шум авиационных моторов. Вскинули головы и увидели, как в голубом прямоугольнике над щитом промелькнул самолет. Наш самолет. Мы едва успели рассмотреть эту стремительную стрекозу, и тут послышались рыдания. Валентина стояла у стены, закрывая лицо руками.

— Ох, как я вас, Валенька, понимаю! — послышался сочувственный шепот Кисляковой.— Верно, верно,— муженек, сталинский сокол-то ваш, прилетит: «Где моя дорогая женушка?» А ему всякие там и ну нашептывать: сидит, мол, сидит ваша красавица... На людской роток не накинешь платок. И за что сидит — обязательно скажут. Непременно скажут, а то еще чего и от себя придумают. Злые ведь у людей языки...

Ну, а меня эта тихая, благообразная язва травит детьми. И все с сочувствием, все с заботой. Дескать, кто-то там за ними приглядит... Такое уж время, всем только до себя, кому они нужны, круглые-то сиротинки... «Круглые» она подчеркивает, вкладывая в это слово дальний смысл. А на лице забота, сострадание... Ужасно скверная баба. Все мы ее тихо ненавидим. Она отравляет нам и без того несладкую жизнь.

Теперь уже ясно: то, что со мной произошло, не случайность, не ошибка. Я уже не надеюсь, что кто-то там спохватится, меня вызовут, извинятся. Следствие начато, его ведут быстро. Меня и Ланскую берут на допросы чуть ли не каждый день, и обвиняется твоя жена, Семен, в том, что она была завербована немцами и оставлена в городе, как резидент гестапо. Ре-зи-дент! Ни больше ни меньше!

У меня два следователя. Один из них коренной верхневолжец. Его фамилия Кожемякин. Ты его, может быть, и помнишь,— такой высокий, с черными лохматыми бровями. Когда-то в доме отдыха мы играли с ним в волейбол, и он еще славился тем, что умел подавать «резаные мячи». Он очень постарел, полысел. Лицо — сплошной комок дергающихся мускулов. Оно какое-то восковое, а глаза красные, как у кролика. У него, должно быть, ночная смена. Во всяком случае, меня к нему приводят затемно. Он курит, зажигая одну папиросу от другой. Часто вскакивает, бегает по комнате. Начинает допрос обычно вполголоса.

— Не передумали? не хотите облегчить свою участь чистосердечным признанием?.. Архив комендатуры, как вы знаете, захвачен. В ее списках вы фигурируете как агент. Другой выявленный нами и уже разоружившийся, раскаявшийся агент подтверждает это.

— Ничего не знаю. Это ошибка или клевета. Мне никто из немцев даже и не делал подобных предложений.

Семен! Ведь я теперь не та, глупая, взбалмошная, везучая девчонка, какой ты меня помнишь. Я понимаю, что ни слезы, ни возмущение, ни мольбы здесь не помогут. Спокойствие, только спокойствие. И логика. Не путаться и не врать даже в мелочах. И не бояться... Да, и не бояться.

И вот, начав вполголоса, Кожемякин постепенно заводит сам себя. Мне даже кажется иногда, что он нарочно доводит себя до истерики, кричит, грозит, и глаза его при этом становятся совсем красными. Я еле сижу, слипаются веки, хочется спать. Но я говорю себе: «Спокойно, Верка. Спокойствие — это твоя броня».

— Я же вам как человеку советую: разоблачитесь, разоружитесь, помогите нам раскрыть всю оставленную ими сеть. Мы поймем. Мы знаем — у них были средства заставить вас дать это необдуманное обязательство. Что же, вам хочется умереть, так и не увидав ваших детей? Помогите нам, и это во много раз смягчит вашу участь.

Я улавливаю только суть вопроса и почти машинально твержу:

— Была бы рада помочь, да нечем. Не могу же выдумывать то, чего не было.

— И вы хотите, чтобы я вам поверил? Хорошо, повторим показания. Вы не отрицаете, что бывали в штадткомендатуре? Нет... Что заходили в кабинет к коменданту и говорили с ним с глазу на глаз?.. Нет... Не отрицаете, что встречались с этой гестаповской лисой хауптштурмфюрером СС Рихардом фон Шонебергом? Нет? Не отрицаете?.. Что в день казни наших патриотов он публично, в присутствии сотен граждан, согнанных на казнь,— целовал вам руку и вы стояли на «почетных местах» с их офицерьем? Не отрицаете? Нет?.. Неужели вы хотите, чтобы я после этого поверил, что все эти симпатии оккупанты проявляли к вам за красивые глаза, тем более этот фон Шонеберг, как нам известно, вообще не интересовался женщинами...

В сущности, мы часами топчемся вокруг этой темы, и когда оба выматываемся в этом бесконечном поединке, он вдруг смолкает. Сидит молча и курит. Я закрываю глаза, отдыхаю. Даже дремлю. Он не мешает. Мне кажется, он и сам начинает дремать с открытыми глазами и с папиросой в зубах. Но стоит хлопнуть двери и послышаться шагам в коридоре, он встряхивается и сейчас же начинает с высокой ноты:

— Нет, к черту, к дьяволу, хватит с меня всей этой туфты!

Таков, Семен, следователь Кожемякин. А вот другой, совсем молоденький, белокурый, курчавый, с простецкой физиономией и с простецкой фамилией — Петров. Этому подстегивать себя не приходится. Ему все ясно. Он искренне верит в мое предательство, убежден, что я умышленно осталась с немцами, сотрудничала с гестапо. Он ненавидит меня всем своим простецким существом, и он, конечно, глубоко уязвлен, что эта скверная баба из гестапо никак не раскалывается. Мое спокойствие мнится ему лишь доказательством моей закоренелости в преступлениях...

Но сегодня, Семен, именно он вывел меня из себя, и я совершила страшную, непоправимую глупость. Тот, наш земляк Кожемякин, ни разу не вспомнил о тебе, а Петров, запасшись какими-то бумажками и выписками из судебных дел, сегодня навалился именно на это обстоятельство. Дескать, муж еще до войны был расшифрован как немецкий шпион, а мне, как жене, только и оставалось продолжать его дело. Сказал это, многозначительно постучал ладонью по бумагам и победно уставился мне в лицо своими светлыми мальчишескими глазами. Не знаю уж почему, но я страшно взволновалась, закричала, что не верю в твою вину, что ты жертва ежовщины, что он мальчишка и не смеет так говорить о тебе, большевике.

— Так вы, Трешникова, не верите в справедливость советской юстиции? Берете под сомнение решение тройки? — В его мальчишеских глазах засветилось торжество: «Ага, попалась!»

— Я этого не сказала,— ответила я, стараясь взять себя в руки.— Я лишь сказала: «Мой муж жертва клеветы или судебной ошибки, он и там остался большевиком-ленинцем».

— Семен Никитин признался и осужден. Вот выписки из его дела... Прочесть? — Он торжественно похлопал по своим бумагам.— А вы вдвойне обманываете следствие, пытаясь выгородить разоблаченного и осужденного врага и спрятать собственный след. Вы даже осмеливаетесь называть врага святым именем «большевик».

Как он торжествовал и как я его ненавидела! И тут я не стерпела. Твое письмо было, как всегда, со мной. Я выхватила его и бросила на стол.

— Вот, вот кто мой муж, читайте!

Он лениво взял бумажку, неторопливо склонился над ней, и вдруг на скуластом лице его появилось удивление. Я поняла, что сделала глупость, даже наклонилась, чтобы вырвать письмо, но он, по-видимому, это уже предусмотрел. Откинулся на спинку стула, разбирая твой почерк.

— Так... «Товарищ, нашедший это...» Тюрпочта? — Эти слова он выговорил прямо со сладострастием. Должно быть, он действительно способный малый, так быстро разбирал он твои каракули.— «Если сложите заглавные буквы моих показаний...» — вроде как акростих? Шифр? Отлично. Ну что же, Трешникова, следствие вам благодарно за то, что вы подтвердили нашу рабочую гипотезу о преемственности преступных связей в вашей семье.

— Но читайте, читайте, там же написано: «Был и остаюсь большевиком-ленинцем».

— Конечно, не «хайль Гитлер»... Маскировочка, примитивная маскировочка.— Петров бережно разглаживал ладонью твое письмо, и я совершила вторую глупость — я заплакала, заплакала по-бабьи, как говорится, «в голос».

Он молча поставил передо мной графин и стакан. Налил воды и уселся, смотря на меня, как на какую-нибудь раздавленную гусеницу. Ну нет, шалишь! Я заставила себя успокоиться. Вытерла глаза, поправила волосы. Знаешь, эти наши бабьи жесты очень успокаивают.

— Отдайте письмо.

Он удивленно посмотрел на меня, должно быть искренне прикидывая, не сошла ли я с ума.

— Отдайте, это все, что у меня осталось от мужа.

Не отвечая, он достал из стола папку, положил в нее письмо и так же молча вложил в дело.

— Наконец-то такая опытная женщина, как вы, дала трещину! Первая трещина — это уже что-то.

Он торжествовал, а я едва удерживала себя от того, чтобы не схватить со стола чернильницу и не проломить эту белокурую курчавую мальчишескую голову...

Когда меня вернули в камеру, я еле стояла на ногах. Валентина подошла, прижала меня к себе, стала гладить волосы.

— Плохо? Раскололась? Подписала признание? — Эта баба с кукольным лицом, пышной фигурой и куриными мозгами, должно быть, тоже допускает, что я

действительно имела шашни с гестапо, и при всем том несомненно искренне жалеет меня.

— Мне не в чем признаваться,— устало ответила я и только тут заметила, что Ланская сидит на табурете перед столиком, бросив голову на руки. Неподвижная, застывшая. Волосы свисают космами. Поза, несомненно, эффектная. Вероятно, подошла бы и Жанне д'Арк и Марии Стюарт для последних актов трагедий... Но почему она будто каменная, почему даже глаза на меня не подняла, точно бы и не заметила, что я вернулась? И почему эта Кислякова посматривает на нее из своего угла, плохо скрывая затаенную радость? С тем же любопытством остренькие ее глазки поднялись и на меня.

Верка, подтянись! Не дай ей позлорадствовать. Может быть, эта противная баба, которую совсем не вызывают на допросы, и сидит здесь, чтобы слушать, о чем мы тут болтаем?

— Кира, что с вами?

Ланская подняла голову. Посмотрела на меня отсутствующим взглядом и безнадежно отмахнулась. Нет, она уже никого не играла. Она была сама собою.

— Беда,— раздалось из угла,— подвел ее, бедную, ейный хахаль. Под петельку подвел.

Слово «петля» ожгло Ланскую, будто удар хлыста. Она вскочила и заметалась по камере. Она легко носит свое крупное тело, походка у нее еще царственная, а вот внешность... Из цветущей женщины превратилась в пожилую. Даже голубые глаза, излучавшие и в жизни, как со сцены, такое обаяние, потускнели, погасли.

Пометавшись по камере, как пантера по тесной клетке, она тяжело опустилась на табуретку.

— Разве я могу теперь жить, доктор Вера?

— Кира, что произошло?

Она снова принимается ходить. На воле — закат. Когда солнце заходит и почти ложится на землю, острый его луч проникает в дырочку в щите, загораживающем окно, пронзает полутьму камеры и веселым светлым пятнышком медленно движется по унылой коричневой стене. Она подошла к этому пятнышку, провела по нему рукой, усмехнулась:

Я за стенного,
За маленького зайца
Отдал бы тотчас же
Все на свете...

Голос, как и поступь, у Ланской прежний, глубокий, грудной, и стихи она прочла так, что Валентина разревелась. Вдруг она остановилась, повернулась ко мне, схватила за плечи, сильно затрясла.

— Вера, эта гадина, этот червяк, эта мразь Винокуров... Он ведь действительно был завербован гестапо. Он тайком от меня дал письменное обязательство остаться их агентом.

— Меня тоже обвиняют в этом. Может быть...

— Ничего не может быть, Вера... Ничего... Все ясно. Мне показали это его обязательство. Рука, несомненно, Винокурова, а бланк, несомненно, немецкий... Ой, какая гнусь! — почти простонала она.

Стук в дверь. Голос:

— Кончайте шум!

— А, иди ты! — отмахнулась Ланская от кусочка физиономии нашего коридорного, появившегося в окопце. С ним у нее особые отношения. Он видел ее в каких-то спектаклях, помнит об этом, она пользуется у него некоторыми привилегиями.

— Ну и что же? Он — это он, вы — это вы...— В этой камере я чувствую себя как Сухохлебов в наших подвалах. Я даже говорю спокойным, сухохлебовским тоном.

На миг взгляд ее оживляется, загорается надеждой.

— В самом деле? — Но только на миг. Взгляд тут же гаснет.— Но дело не в этом, он сам показал, что я тоже была завербована. Он на многих показал. Может быть, и на вас... Он ведь вас ненавидел. Вы были для меня живым укором, я мучилась, и это его бесило...

Мне вспомнились слова, за которые столько раз я хваталась как за спасательный круг.

— Сын за отца не отвечает,— сказала я.— А жена за мужа — тем более...

— Ну, не скажи, миленькая. Муж и жена одна сатана.— Эта пословица доносится, конечно, с угловой койки.

— Молчи, гнида! — грозит Валентина, вскакивая.

— Но, но, не больно, офицерская подстилка...

Хоть бы ссора загорелась, что ли, все бы атмосфера разрядилась, думаю я, ибо, несмотря ни на что, мне все-таки жаль эту женщину, которая мечется по камере, не то играя, не то действительно переживая смертельную тоску.

— Вас же не вербовали, вы ж не давали таких расписок?

— Что вы меня об этом спрашиваете, доктор Верочка? Вы правильно сказали: у меня свои грехи, и я за них готова ответить. Ну, смалодушествовала в трудную минуту, ну, даже, если хотите, поверила, что Красная Армия разбита, что этой стальной лавины не остановишь, что старая жизнь кончается и надо приспосабливаться к ним, к этим... И что? Кому от этого вред, кроме меня самой? Ну, пела для них в кабаре, на столе вон плясала, черт возьми... Ну, принимала подарки, жрала их сласти и коньяк: надо же было жить. Но завербоваться в гестапо... Да меня никто и не вербовал, на что я там нужна? — И вновь застонала: — О, как скверно, как подло, как низко... И этого слизняка я когда-то считала яркой, мыслящей индивидуальностью, смотрела ему в рот, любила его...

Потом, оборвав поток слов, подозрительно уставилась на меня:

— Я вижу, вы тоже мне не верите? Да? — И истерически выкрикнула: — Не верите, ведь не верите?!

Верю ли я ей? И да, и нет. Она все время играет какие-то роли, и когда она настоящая, невозможно отличить. Валька — та совершенно ясна: глупая, безвольная и какая-то слишком уж телесная, но добродушная в общем-то баба. Офицерские кутежи, блиц-романчики с нашими врагами — все это, конечно, омерзительно, но вот на серьезное предательство вряд ли она способна... А Ланская... Нет, за нее я бы не поручилась,— самовлюбленная, эгоистичная до мозга костей, шкурница и, конечно, авантюристка, хотя бы в душе. Нас она не выдала, и это говорит за нее... Но вот проболталась же как-то, что они с Винокуровым собрались бежать, уложились и остались лишь потому, что Шонеберг не прислал за ними обещанной машины. Говорила: забыл впопыхах драпа, а я думаю — просто бросил их, выплюнул, как шелуху от семечек. Обмолвилась она об этом в припадке истерии лишь раз, а потом, полчаса спустя, хладнокровнейше уверяла, что сама решила остаться. Нет, ей верить нельзя. В сущности, я тут, в камере, очень одинока.

Я стыжусь своей беспринципности, но все-таки мне ее жалко: такая красивая, такая талантливая, такая обаятельная.

— Нет, и вы мне не верите! — повторяет она, и голубые глаза ее заплывают слезами.— Одна, совсем одна...

Тут уж она явно играет.

— Вам предъявили протокол допроса Винокурова? Он им подписан?

— Нет, не предъявляли, я потребовала очную ставку,— отвечала она, без переходов переключаясь на деловой тон.

— Обещали?

— Не знаю, не знаю... Но раз этот был действительно завербован, он может показать что угодно и на кого угодно... О, я его узнала! Мразь, гнида, слизняк... И еще этот наш герой-любовник, про которого вы рассказывали, ну, тот, что на мосту убеждал вас уходить... Он показал, что это я нарочно пустила слух о падении с крыши, чтобы обмануть общественность и остаться у немцев.

— Но это же было!

— Было, не отрицаю. Об этом я сама им сказала. Малодушие не предательство. Глупая бабья хитрость не преступление. Но теперь, когда Винокуров...

— Зачем же он так сделал? Какая ему-то от этого польза?

Ланская подняла на меня глаза. В них была уже неподдельная тоска, такая тоска, что мне стало жутко.

— Вот именно — зачем? Того героя-любовника я понимаю. По его мнению, я осрамила труппу, опорочила нашу профессию, положила тень на весь коллектив. Он имеет право меня ненавидеть, думать обо мне самое скверное... Но этот? Он же любит, любит меня. Я это чувствую... Вы меня не слушаете, Вера?

В самом деле, я уже не слушала. Я вспоминала сцену на мосту. Страшный исход, умирание города. Поток людей с узлами, чемоданами, баулами, детьми на руках. Эту телегу, как бы плывущую в живом потоке, и старого актера Лаврова поверх театральных пожитков, одной рукой обнимавшего жену, другой прижимавшего к себе картину... И тот, другой актер, их герой-любовник, встал передо мной. С какой болью сказал он мне тогда о гибели Ланской. Да, сейчас он имеет право так о ней думать. Но Винокуров! Я же видела их вместе. Только слепая любовь могла помочь ему переносить ее капризы, ее издевательское презрение. И почему он-то не уехал с немцами, почему остался? Ну, обманули, не дали машины. Мог уйти пешком. Он не глуп и не мог не предвидеть, что ожидает фашистского «вице-бургомистра» в освобожденном городе... Что-то во всем этом было неясно, о чем-то Ланская и теперь недоговаривает.

— Подождите очной ставки. Может быть, вам ее все-таки дадут.

— Вы еще расскажите мне про презумпцию невиновности! — отмахнулась Ланская.

Потом она как бы снова окаменела и просидела до отбоя в полной неподвижности. Даже когда коридор наполнился железным грохотом опускаемых коек, она не шевельнулась. Валентина опустила ее койку, поправила постель, подняла Ланскую под руки, и та, не сопротивляясь, улеглась. Улеглась на спине, уставив глаза в потолок.

А я, признаюсь, с удовольствием вытянулась под колючим одеялом. Теперь уже ясно — на допрос меня сегодня не возьмут. Хоть высплюсь как следует. А сна нет. Лежу вот с открытыми глазами, слышу, как шуршит солома тюфяка Ланской, как похрапывает Валентина. В углу Кисляковой полнейшая тишина. А мне вот не спится. Этот молокосос отнял у меня твое письмо, Семен. Допустим, оно действительно пришло недозволенным путем. Ну что он из этого извлечет? Нарушение правил переписки? За это даже в тюрьме наказывают лишением права писать на неделю или на полмесяца... Спокойно, спокойно, Вера! Учись мыслить логически. Думаю о тебе, Семен. Вот сравнялись наши судьбы... Ничего, ничего, вот увидишь — правда кривду переборет, оба мы выйдем О ребятах думаю меньше — им, наверное, не так плохо у Татьяны... И еще думаю о Василии, об этом несостоявшемся свидании, назначенном на двенадцать ноль-ноль. О чем он хотел тогда со мной говорить? Впрочем, может быть, ни о чем, просто хотел проститься, и нечего о нем думать. Мало ли разных пациентов у врача. И, может быть, это лучше, что так вот все само собой и оборвалось?

— Петелька, верная петелька,— слышится вдруг из угла, где лежит Кислякова.

Ух, с каким бы удовольствием я вцепилась в глаза этой гадины!

15

Две ужасные новости.

Ланскую брали утром на допрос. Вернулась необыкновенно быстро и в таком состоянии, что мы не сразу решились с ней заговорить. Ей дали очную ставку

с этим Винокуровым, и он при ней снова показал, что они вместе обязались стать резидентами гестапо в Верхневолжске.

— Но это же ложь! Ложь! — закричала Ланская следователю.— Он лжет!

— Нет, так было, Кира Владимировна,— ответил Винокуров и даже, как сказала Ланская, спокойно, назидательно добавил: — Только чистосердечное признание и полное разоружение могут облегчить нашу вину и нашу участь...

— ...Я смотрела на него во все глаза,— рассказывала нам Ланская.— В своем ли он уме? Не знаю... Самое страшное, доктор Верочка,— это то, что он почти не изменился: был, как всегда, суховат, корректен, деловит... Чудовищно, чудовищно!..

Ланская сморщилась и закачалась, будто преодолевая нестерпимую зубную боль.

— Но и не это самое страшное, вы знаете, что сказал мне этот человек? Такое и Достоевскому бы в голову не пришло.— Она стремительно вскочила с табурета и тут же со стоном, бессильно упала на него.— Следователь, ну тот, который постарше, этот комок нервов, он зачем-то вышел, оставив нас наедине. Может быть, у них это прием, не знаю, только он вышел. И вдруг этот человек зашептал: «Я люблю вас, Кира Владимировна. Я не могу без вас. Вы отказались бежать. Ради вас остался и я, хотя знал, что мне угрожает... Я слишком люблю вас, пусть мы уйдем из жизни вместе». Я так была ошарашена, что не успела даже плюнуть ему в морду. А тут открылась дверь, вернулся следователь. Он, этот человек, смолк, а я сижу, будто на меня потолок обрушился. Сижу и не могу говорить. «Уйдем вместе»,— а?! Потом, когда я обрела дар речи, его уже увели... Он чудовищно оклеветал меня, видите ли, во имя любви. Он хочет, чтобы я легла вместе с ним в его поганую могилу...

— А что ж, любишь кататься — люби и саночки возить! — раздалось из тихого уголка нашей камеры. Но я на эти слова не обратила даже внимания, так меня поразил рассказ.

— Этот старый мул, он сквозь пальцы смотрел на все мои увлечения, потчевал коньяком моих поклонников, питая отвращение к напиткам, спаивал меня: и не только спаивал — хуже. «Вы — королева театра», «Вы —

новая Ермолова», «Новая Савина», «Лишь мне только видны все сверкающие грани вашего таланта»... И все это он делал, чтобы я от него не уходила... А тут, видите ли, не может оставить меня одну на земле.

— Так вы бы и сказали об этом следователю.

— Сказала,— устало произнесла Ланская.— Он даже, кажется, записал. Но какой же психически нормальный человек в это поверит? Вы-то хоть верите?

— Я не психиатр, я хирург. Но сейчас я вам верю.

— А мне кажется, что не верите и сейчас. Вы ведь недоверчивое существо.

У меня просто кружится голова! Ужас какой-то. Этого гнусного психопата на куски разорвать мало. А у меня ощущение, будто Ланская даже довольна, что именно так он объяснил свою гнусную клевету. И еще меня поразило, что она как-то сразу после этого рассказа об очной ставке, и будто даже с не меньшей горечью, поведала и другое. Оказывается, ее где-то там проводили мимо зеркала. Она заглянула в него и теперь поражена переменами в своей внешности.

Действительно, вянет на глазах. Вянет просто катастрофически. Но об этом ли ей сейчас думать? А она думает, мучается.

— Ну какая же я теперь героиня? Мне комических старух играть. В грузовике все время закрывалась. Вдруг кто-нибудь увидит, какой стала Ланская.— И опять стонала, будто от зубной боли: — О-о-о! Для актрисы моего плана внешность — это все. Обаяние даже больше, чем талант. Ведь написал же один рецензент, что я во всех ролях играю самое себя, разные стороны моего характера... Помните, это ведь у Флобера: «Эмма Бовари — это тоже я...»

Мы с Валентиной взапуски стали разубеждать ее. Она, кажется, поверила, немного успокоилась. Там, где висело это зеркало, было действительно темновато.

Между тем острый солнечный лучик, пробивавшийся к нам через дырку в фанерном щите, опять расцвел на голой коричневой стене ярким бликом. Она подняла руку, как бы желая поймать этот лучик.

— Вот он, опять пришел ко мне стенной маленький заяц. Хочет проститься,— вздохнула.— Спокойной ночи, заяц. Иди... я тебя догоню.

А потом вдруг стала расспрашивать меня, что переживает человек, умирая.

— Вы доктор, вы должны знать.

— Не приходилось. Опыта нет.

— Петля, конечно, противно... Помните, как тот старый человек,— он, кажется, ваш родственник,— тогда великолепно дрался на машине, чтобы умереть не в петле... Вот это мужчина! Как он тогда в этого надутого барончика стулом залепил... От пули, наверное, ничего: мгновенная боль — и все. Страшна не боль, мучительно ожидание. А лучше всего, наверное, уснуть и не проснуться. Погодите, кто это сказал: «Спать лучше, чем не спать, умереть лучше, чем спать, а еще лучше не родиться»...

Вечером меня взяли на допрос к следователю Кожемякину. Он был не то болен, не то устал, держал меня недолго. Уточнил только, сколько раз была у коменданта и по каким делам, встречалась ли я один на один с Шонебергом и как я объясняю, почему этот барон целовал мне руку в день казни на площади, почему, за какие заслуги отвел меня на «почетные места»... Нового в этих вопросах не было. Я сама в первый же день обо всем этом написала. Не понимаю, зачем ему это опять понадобилось. Когда он листал дело, я заметила — письма в нем нет, и вообще о письме не было сказано ни слова. Когда меня уводили, он наклонил голову и сказал: «Будьте здоровы»... Что бы это могло значить?

А с допроса меня везли на грузовике вместе с этим попиком с мочальной бородкой. Он совсем скис, запаршивел и не очень даже распространялся насчет бога. Зато от него я узнала, за что сидит эта крыса Кислякова, и даже поняла, почему она внушает всем такую неприязнь.

Знаешь, Семен, кто выдал гестаповцам детей инженера Блитштейна, Раиных сестер? Представь, эта гадюка. Оказывается, женщины в семидесятом общежитии, в том огромном, что на «Большевичке» зовут «Парижем», пряча их, перетаскивали их с этажа на этаж, от одной к другой. У Кисляковой хранились вещички девочек, которые какая-то добрая душа перенесла с квартиры Блитштейнов. Ну вот, из-за этих вещей, должно быть, эта мразь и навела полицаев на след детей. Двух

схватили, а Раю не нашли. Но она была в списке. Ее снова и снова принимались искать, и спасло ее лишь то, что Зинаида перенесла ее к нам.

Грузовик, на котором нас везли, уступая дорогу колонне танков, залез в кювет. Его долго не могли вытащить. Ну и узнала я от попика все подробности этой гнусной истории, а ему ее рассказал полицай, сидящий с ним в одной камере.

— Мерзавец, такой мерзавец! Как только бог терпит такого на свете! — охарактеризовал он его, и нервные его пальцы теребили и, казалось, готовы были оторвать мочальную бороденку.

Но я помнила, как там, под виселицами, он совал свой крест приговоренным, и мне не было его жаль. Но Кислякова-то, Кислякова-то! Как жаль, что тетки с «Большевички» только поколотили, а не удушили ее. А ведь нас с ней держат в одной камере... И тут же я спохватилась: ведь я и сама начинаю думать, как этот попишка.

— Слух есть, что начали выпускать невинно забранных,— шепнул он мне на прощание. Ободряющее известие...

Вернувшись, я, разумеется, рассказала в камере все это. Вслух рассказывала, так, чтобы Кислякова слышала. К моему великому изумлению, это не произвело особого эффекта. Сама Кислякова как-то вяло оборонялась:

— Врет он все, этот долгогривый, жеребячья порода.

— Гадина, гадина и есть! — вяло произнесла Валентина.

Ланская ничего не сказала. Она была в состоянии полнейшего онемения. Ее сосредоточенное молчание подавляло всех, даже, кажется, и Кислякову.

Как хотелось прилечь! Но койки до отбоя опускать не разрешено. Попыталась подремать стоя, притулившись в углу. Валентина вздыхает шумно, как лошадь. Даже шум моторов проносившихся самолетов, всегда производивший на нее такое впечатление, сегодня она будто бы и не слышит.

— Плохо,— шепнула она мне, показав глазами на Ланскую.

Но перед отбоем та как-то приободрилась. Заходила по камере. Потом мы услышали, как она лихо, по-муж-

ски выбранилась и в полный голос продекламировала чей-то стих:

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня...
Чужие люди, верно, знают,
Куда они везут меня.

Уже совсем перед отбоем подошла ко мне, назвала немецкое снотворное, которое она принимала в госпитале.

— Ах, как хорошо я от него засыпала... Вот если бы тогда вы по ошибке дали бы мне дозу побольше... А что, от него можно умереть?

— Нашли о чем говорить.

— Отвечайте коротко,— да или нет,— тоном следователя потребовала Ланская.

Я ответила. Этого редкого лекарства достать здесь нельзя, но у меня все-таки зародилось беспокойство, зачем я ей это сказала. Но все обошлось. Сейчас вот тихо. Валентина, по обыкновению своему, сладко похрапывает, Кислякова затаилась,— не поймешь, спит или нет. Ланская лежит на спине, заведя под голову руку. Глаза у нее открыты, глядят в потолок.

Ну, а я, как всегда, стараюсь в мыслях уйти отсюда, отклеить от себя липкие тягостные воспоминания, заботы, тревоги, свою, ни на минуту не угасающую во мне обиду, и думаю о тебе, Семен, о ребятах, о Василии. Да, и о Василии. Тут ничего не поделаешь. Думая о вас, я немного успокаиваюсь, и это страшное «За что? За что меня так?», которое как кислота все время жжет душу, как бы притупляется. Начинаю засыпать. И тут, где-то на грани сна, вдруг слышу ненавидящий шепот:

— Нет, господин Винокуров, не быть по-вашему... Не выйдет... Этому не бывать...

И опять сна как не бывало. Стараюсь отвлечься. Дети... Поп говорил — начали работать школы. Определила ли их Татьяна?.. Интересно, как мои раненые восприняли известие о моем аресте... И вдруг, я не знаю даже почему, я поверила, что меня отпустят... Поверила — и все. Поверила и сразу уснула.

Ну, кажется, рассеялась эта вчерашняя морока, навеянная разговором о смерти. Что там ни говори, Ланская актриса и в жизни, и эти ее разговоры тоже из

какой-нибудь пьесы. Честное слово. Только играла она так ловко, что я не на шутку за нее встревожилась.

Сегодня в первый раз взяли на допрос эту гадину Кислякову. Все мы свободно дышим, будто вынесли из камеры зловонную парашу и пустили свежий воздух.

Ланская оживилась, она позволила Валентине расчесать и уложить богатую свою косу. Снова декламировала стихи о стенном солнечном зайце. Даже сказала:

— А все-таки, товарищи дамы, жить еще можно.— И принялась рассказывать какой-то старый соленый анекдот.

Анекдот немудрящий, но мы все трое хохотали. Хохотали так, что наш коридорный долго смотрел в окошечко, не понимая, очевидно, что это творится с тремя сумасшедшими бабами, прежде чем постучал: «Прекратите шум».

Нет, в самом деле, убралась, хотя и ненадолго, эта гадина — и все мы почувствовали себя лучше. Как мало, в сущности, надо человеку для того, чтобы получить кусочек радости.

Потом они уселись рядом и завели полушепотом старые песенки, которые я слышала когда-то еще девчонкой,— про бананово-лимонный Сингапур, про какого-то мулата, танцующего в красном фраке, про даму в черных перчатках в притоне Трех бродяг. Чушь, дикая мещанская чушь!.. Но голоса у обеих хорошие, и нелепые песенки эти, которые ты бы, Семен, наверное, слушать не стал, врывались в камеру, как тот стенной зайчик от острого вечернего луча, пробивающегося сквозь фанерную доску.

Надзиратель был где-то поблизости. Мы иногда слышали шорох или стук каблука. Но он не стучал. Может быть, тоже слушал. Эх, хоть бы подольше не появлялась эта скверная баба!

Почему-то они стали рыться в своих вещах. У них есть в чем рыться. Изголовья коек, под которыми они держат свое имущество, высоки, как у хирургических кроватей. Примеряли какие-то тряпки, даже, кажется, чем-то менялись. Я сидела и тихонько посвистывала. У меня нет даже сменного лифчика. Я стираю свой во время оправок, а потом штопаю иглой, которую как-то удалось пронести Валентине.

В этот день хорошо думалось, и я очень ясно видела и ребят, и свой госпиталь, и раненых, и Василия, и тебя,

Семен, хотя я не знаю, жив ли ты, и, честно говоря, твой облик как-то уже расплывается в памяти. Потом я воспроизводила ход следствия, вспоминала вопросы, ответы и сегодня пришла к заключению, что дела мои не так уж плохи. Обвинение, видимо, построено на каких-то ошибочных или злонамеренных доносах, и никаких иных статей, мне кажется, пришивать не собираются. Серега Дубинич! Неужели он отступится от меня? Неужели он не найдет в себе мужества пойти к этому Боеву или к кому-нибудь еще и сказать, как и почему я осталась?..

Случайно и просто
Мы встретились с вами,
В груди зажила уже старая рана.

Тихонько ведет низким голосом с цыганским придыханием Ланская, и вот они уже обе поют:

Но пропасть разрыва
Легла между нами,
Мы только знакомы, как странно.

Василий, ведь он авторитетный человек. Все эти страшные дни оккупации прошли у него на глазах. Его я тоже назвала как свидетеля. Пусть они вызовут его. Старый большевик, полковник Сухохлебов душой кривить не станет... «Случайно и просто мы встретились с вами...» Неужели расстанемся, даже не простившись? Неужели «пропасть разрыва»? Фу, какая чушь! И слова-то глупые... О чем ты думаешь, Верка, мужняя жена, мать двух детей? Да и о каком разрыве может быть речь, когда ничего и не было...

Вот ведь на какие мысли может навести это мещанское вытье...

«Как странно. Как странно все это...» Что, что? Кажется, я им подпеваю?.. Верка, что с тобой происходит?.. Но ведь я же, черт возьми, не старуха и не монахиня! Семен, Семен, ты очень осуждаешь меня за это? Поверь, сама эта мысль мне и в голову бы не пришла, будь ты рядом. Но мы уже столько времени не виделись, и даже твое письмо, эту последнюю ниточку, связывающую нас, оборвали. Нет и ее...

Кислякову что-то задерживают. Хоть бы она провалилась совсем, эта тишайшая ведьма! А мои бабочки даже навели красоту. У кого-то из них нашлась

косметика, подмазали губы, глаза, натерли щеки шерстяным одеялом. Чем-то благоухают. Жизнь есть жизнь! Что я, хуже их, что ли?

— А ну, у кого есть помада?

Ланская сама наводит мне красоту. Подводит губы, как-то по-особому взлохмачивает волосы. Третьего дня во время оправки мне удалось помыть их, правда, холодной водой. Но вода здесь мягкая, они у меня легко ложатся. Эх, жаль, нет зеркала!..

Гремит, скрежещет замок, дверь открывается. Кислякова. Какая-то обалдевшая. Тихо бредет в свой угол. Села. Сидит, и черные глаза не зыркают по нашим лицам, не выспрашивают, не соглядатайствуют. В них — страх. Я знаю: нужно подойти к ней, потолковать, выслушать ее, что ли... Так ведь всегда мы делаем, когда кто-нибудь из нас возвращается с допроса. Но я не могу себя заставить сделать это. Змее, вероятно, тоже когда-нибудь приходится худо, но кому придет в голову жалеть змею. Но и злорадства нет. Какое-то холодное равнодушие.

Посидев несколько минут молча, она начинает плакать. Острые плечи вздрагивают, топорщатся. И вот Валентина не выдержала, подходит, садится рядом:

— Ну чего ты, чего?

Кислякова начинает плакать шумнее. Я вспоминаю Раю, ее черные тугие косички, загибающиеся вверх, как хвостики, ее большие глаза, то детски озорные, то вдруг печальные, совсем взрослые. Нет, нельзя жалеть эту женщину. А вот Валентина жалеет. На выпуклых, телячьих глазах ее, наверное, красивых, но глупых, настоящие слезы.

— Да что с тобой?

— В суд... в суд хотят передать.

— В суд? Так это же хорошо. Защитника возьмешь.

— Хорошо? — Кислякова вдруг вся подбирается, как кошка, выпустившая когти.— Хорошо? А чего хорошего? Они ж там, эти стервы с «Большевички», такое на меня наклепают... Это, что ли, хорошо? Тебя бы туда, к ним. Они бы тебе показали трули-люли, как с гитлеровскими офицерами спать...

После вечерней оправки и отбоя я что-то много думаю о маленькой Рае, о моих ребятишках и с мыслью о них засыпаю быстро и крепко.

Будит меня нечеловеческий вопль. Вскакиваю в одной сорочке и ничего не могу понять. Горит свет,— стало быть, еще ночь. У койки Ланской — Валентина. Стоит и истошно кричит.

— Что такое?

Ланская лежит на спине. Глаза закрыты. Лицо спокойное, спит. Бросаются в глаза тщательно уложенные волосы и не сорочка, а светлая шелковая кофточка, кружевная бахрома на рукавах этой кофточки. Только потом я уже вижу полную руку, свисающую с койки. Хватаю эту руку — холодная. Пульса нет. На всякий случай приникаю ухом к сердцу. Мертво. Эх, зеркальце бы... Хотя и без того все ясно. А лицо, хотя и осунулось,— как живое. Легкий румянец, яркие губы так и лезут в глаза.

Может быть, это один из тех редчайших случаев, о которых нам говорили на лекциях,— летаргический сон? Но тут же догадываюсь: румяна, помада. А Валентина все вопит. И уже топот шагов в коридоре. Гремит, скрежещет замок.

— Что, что тут такое? — кричит старшая надзирательница, прибежавшая без гимнастерки, босиком, в одной форменной юбке.— Что за крики?

— Она умерла,— говорю я.

Толстуха поражена. То, что произошло, не сразу даже доходит до ее сознания.

— Как умерла? Почему умерла? Какое право... Врача, буди врача! — кричит она коридорному, а сама могучими своими руками трясет тело Ланской. Прическа у Ланской разрушилась, коса развалилась, обильные волосы ее, как рассыпавшийся сноп, спадают к полу. В этом их движении столько жизни, что и я, врач, только что установившая смерть, начинаю на что-то надеяться.

— Что же ты стоишь? Делай что-нибудь! Ты же, кажется, доктор! — кричит толстуха, прижимая голову Ланской к обширной своей груди. Холод тела убеждает ее.— Ай-яй-яй, как же это ты? Не болела, не жаловалась, в санчасть не просилась...

— Отравилась она,— произносит Кислякова.

— Отравилась? Что ты там каркаешь? — грозно наступает надзирательница.— Молчи! У меня таких ЧП сроду не было.— Но в фарфоровых глазах испуг. Она

уже не требует, а просит: — Молчи ты, молчи, пожалуйста.

— Я — что ж, вот пусть прочтет.— Кислякова, усмехаясь, тянет мне записку, которая, оказывается, лежала на столе. Она набросана на полоске, оторванной от какой-то газеты. Без труда разбираю четкий, красивый почерк: «Я никогда, никого, никому не предавала. Меня предал и продал один мерзавец. Вы в этом убедитесь. Прощайте. К. Ланская».

Надзирательница вырвала записку.

— Так что же ты со мной сделала? — с укором обращается она к покойной.— А кому отвечать? Мне? Ну и подвела меня седьмая камера под монастырь.— И к нам: — А вы куда глядели? В сговоре были?

Ланская лежит спокойная, безучастная к этим страстишкам, кипящим возле нее. Прибежавший наконец тюремный врач, пожилой, по-видимому опытный, сразу же констатирует смерть. Смерть от отравления. А потом, когда тщательно осматривает койку покойной, находит и вощеную бумажку, в которой, по-видимому, она хранила снотворные таблетки.

Сделали грандиозный обыск, перевернули все вверх тормашками. Перебрали все наши вещи. Надзирательница вызывала нас по одной к себе, делала личный обыск, и я чувствовала, как мелко дрожат ее большие, толстые руки, а губы шепчут:

— Вот уж не думала, не гадала... Подвели вы меня, подвели!..

Явился начальник тюрьмы и еще какие-то энкаведешники. Тут же с нас сняли показания. Но что мы могли сказать? Я попыталась только объяснить смысл записки, рассказала о подлейшем замысле Винокурова. Человека, записывавшего мои слова, это, видимо, не удивило. Он только криво улыбнулся и произнес фразу, которую я не сразу поняла:

— Скоро встретятся. Там сведут счеты.

— Этот негодяй должен ответить. Он же ее довел...

— У него только одна жизнь. Второй нету, нечем ему будет за нее отвечать.

Тут же последовал приказ разбросать нас по разным камерам. С Валентиной я на прощанье все-таки обнялась, обнялась искренне, а вот заставить себя хоть для виду попрощаться с Кисляковой не смогла. Не смогла —

и все. Когда я пошла к выходу, та как-то проворно опередила меня, встала у двери, протянула свою сухонькую ручку.

— А со мной неужто и не проститесь? — Стараясь не смотреть на нее, я продолжала идти.— И руку не возьмешь? Брезгуешь?

Она стояла, загораживая проход. Надзирательница нетерпеливо перебирала ключи. Они позвякивали.

— А ведь я про ваш разговор-то насчет снотворного слышала. Слышала и никому пока не сказала. А за это ведь тоже не похвалят.

Не знаю уж, откуда у меня взялись эти слова, но я крикнула ей:

— Заткнись, зануда!

17

В новой камере я не успела даже как следует осмотреться и познакомиться с ее обитательницами, встретившими меня не очень радушно, ибо и без меня им было тесно. Раздался грохот и скрежет замка.

Как всегда здесь, все взоры при этом звуке сразу обратились к двери. Раздавшись в неурочное время, он не предвещал обычно ничего хорошего. Появился коридорный.

— Трешникова Вера, на выход! — Его голос был для меня как звук разорвавшегося снаряда. Я даже отпрянула. Он сделал паузу и добавил: — С вещами...

На выход с вещами! Семен, ты ведь знаешь, что это может означать? Перевод в одиночку, перевод «в трюм», то есть в карцер, или даже в другую тюрьму. Я сразу решила: эта мокрица Кислякова уже насучила про мою беседу с Ланской.

Смерть Ланской, ее лицо с нарумяненными щеками и накрашенными губами, эта ее игра, продолжавшаяся уже за пределами жизни, так меня поразили, что я не испытывала страха. Пусть даже карцер. Карцер все-таки не гроб. Это ненадолго. Одиночка, конечно, хуже. Но тоже можно пережить.

Надзиратель торопил:

— Укладывайтесь быстрее, Трешникова.— Почему-то на невыразительном его лице чудилось мне что-то необычное. Радуется? Но почему? Ведь я не сделала ему ничего плохого, даже в прения с ним, подобно Ланской, никогда не вступала.— Все вещи забрали?

Он критически смотрел на узелок, который я держала в руке.

— Нет у меня больше вещей.

— Ну нет — так пошли, чего время терять.

Что-то сегодня он уж очень разговорчив. До этого только и слышали: «Тихо!», «Прекратите шум!»... Ну чему, чему ты радуешься, чудак? Ну, посадят меня в одиночку, а тебе-то от этого какая корысть?

Старшая надзирательница тоже выглядела как-то необычно. Сразу приметила темные круги вокруг ее светлых, фарфоровых глаз, вид у нее растерянный. Ну конечно, ей нагорело от начальства!

И тут вдруг увидела у нее на столе мои золотые часики, подаренные тобою, Семен, в день рождения Стальки. И ключи от нашей давно разбомбленной комнаты. А у стола холщовый мешок с номером, куда прячут верхнюю одежду заключенного. Только тут мелькнула догадка: свобода! Неужели свобода?.. Нет, я не верю этому. Не позволяю себе верить. Разочарование было бы слишком страшно.

— Забирай и распишись вот здесь! — говорит надзирательница.

Должно быть, вид у меня обалдевший. На расстроенной ее физиономии появляется что-то вроде улыбки.

— Ай не догадалась?.. Выпускают же тебя!

Вот теперь я догадалась. И то, что она обращается ко мне на «ты», заставляет в это окончательно поверить. Я как-то сразу слабею, мякну, плюхаюсь на стул. Она придвигает ко мне свою табуретку:

— Дыши, дыши глыбче, помогает.

Дышу глубже. Действительно, почему-то помогает. Вскакиваю, целую ее. Она не сердито отстраняется.

— Ну, ну, не положено это! — И вздыхает.— Эх, дамы, дамы, подвели вы меня! Теперь меня затюкают: откуда таблетки, кто пропустил? — И переходит на дружеский тон: — А ведь хорошая актерка была, два раза ее смотреть ходила. Как она там, в театре, под гитару купцам каким-то пела: «Бедное сердце так трепетно бьется...» А вот оно и не бьется уж вовсе... А с меня за это спросят.

На прощание она жмет мне руку так, что слипаются пальцы.

— Ну, гуляй!

Это очень смешно звучит: «Ну, гуляй». Какой-то пожилой энкаведешник с тремя шпалами, сидящий в кабинете начальника тюрьмы, предлагает мне папиросу: «Курите?» Я почему-то беру. Он щелкнул зажигалкой, долго держал ее передо мной, прежде чем я сумела прикурить. Первым же глотком дыма я поперхнулась, закашлялась. Папироска упала на пол. Он поднял ее, положил в пепельницу.

— Не стоит начинать, товарищ Трешникова... Следствие по вашему делу прекращено. Вы свободны.

Он что-то еще говорит, но я не слушаю, не могу слушать. Во мне на все лады звенит и поет: «Товарищ Трешникова, товарищ Трешникова...» Я как бы держу в руках это драгоценное слово «товарищ», любуюсь им, и мне нет дела до того, какие тяжелые выдвигались против меня обвинения и какие были улики, как они были постепенно опровергнуты. «Товарищ Трешникова!» — вот это важно и еще то, что сегодня я увижу ребят, и солнце, и дохну свежего воздуха, и могу идти, куда захочу.

Все еще продолжая говорить, он лезет в стол, достает мой паспорт, старый обтёрханный паспорт, на котором еще синеет штамп немецкой комендатуры. Тебе еще предстоит, Семен, пережить такую минуту, и тогда ты поймешь, почему твоя Верка сразу поглупела. Ведь черт знает что подумал этот пожилой энкаведешник с тремя шпалами, когда товарищ Трешникова, взяв в руки паспорт, вдруг разревелась у него на глазах, как белуга. Я реву и не замечаю даже стакана с водой, который он мне подает. Потом все-таки заметила, выпила.

— У вас, товарищ Трешникова, красивый головной убор. Жаль, что такие не носят в наших госпиталях. Это, наверное, потому, что в них что-то монашеское. Впрочем, «сестра милосердия», «сестра» — это ведь тоже, наверное, от монастырей.

О чем это он вам говорит, товарищ Трешникова? Ах, да, о косынке с красным крестиком.

— Но у меня нет ничего другого,— почему-то оправдываюсь я.

— Это действительно красиво. Но на дворе зима... Может быть, достать вам шапку? А? — И вдруг спрашивает: — Вы были в одной камере с Ланской?

Я смотрю на него во все глаза. Что это, снова допрос? Ведь я уже товарищ Трешникова. В чем дело?

— Вас оклеветал один и тот же человек.

— Винокуров? — вскрикнула я.

— Один и тот же,— повторяет он.— Это хитрый, злой негодяй. Злой, но неопытный, неумный. Следователь провел небольшой эксперимент, и все стало ясным. Основное обвинение, выдвинутое против Ланской, тоже отпало...

Некоторое время он молчит, катая пальцем по столу карандаш. Мне кажется, он сам подавлен случившимся. Потом подбирается, выпрямляется.

— Итак, возвращайтесь в свою семью, приступайте к работе,— бодрым голосом говорит он.— Желаю всего доброго.

И вот я на улице. Мамочки! Как хорошо! Вовсе не холодно. Даже сыровато. Должно быть, недавно шел снег, такой же мягкий и пушистый, как в ночь, когда мы устраивали елку. Он обложил все, все. Будто раны ватой, затянул воронки, пожарище и развалины. Подушками лежит на проводах, на ветвях деревьев. Все так бело, что с отвычки режет глаза. А воздух! Какой воздух! И главное, нет стен, нет дверей — иди куда хочешь.

А куда я хочу? Да конечно же поскорее на тихую улочку, в домик Петра Павловича, к детям. Воздух такой вкусный, что от него кружит голову, как от того французского коньяка, которым угощала покойная Ланская. Покойная?.. Как не подходит ей это прилагательное! Не вышло из вас, Кира Владимировна, ни Жанны д'Арк, ни Марии Стюарт, ни даже товарища Ланской. И доиграли вы свою жизнь, как Бесприданница, та самая, за которую когда-то вы так хорошо пели под гитару «Бедное сердце, куда ты стремишься...». В сущности, все логично: вы пожали, что посеяли. Основное обвинение отпало, а остальные?.. И все-таки ничего с собой не могу поделать: жалко, очень жалко мне эту непутевую, буйную голову, этот большой и яркий талант.

А голову кружит, кружит. Срываю сосульку с трубы и жадно сую ее в рот. Великолепная, красивая сосулька... Знакомая длинная улица — бывшая ямская слобода на большом тракте из Петербурга в Москву. Она не меняла своего облика сто лет, но за спиной деревянных домиков с резными наличниками тут и там встали кирпичные громады нового, незаконченного проспекта. Все они здорово покалечены артиллерией и, видимо, необитаемы.

А вот деревянные домики почему-то уцелели и стоят себе, смотря на улицу двумя-тремя промерзшими окошечками. За стеклами — фикусы, герань и конечно же местный любимец, этот самый круглый год цветущий ванька-мокрый. Цветы моего детства. Еще, помнишь, Семен, ты смеялся надо мной: «Зачем тебе эта мещанская чепуха?» А вот сейчас вижу за одним из окон скромные розовые точечки и радуюсь, как другу.

Остановилась, заметила в стекле свое отражение. Впервые за много дней. Знаешь, что меня поразило? Я даже, кажется, немножечко поправилась. Честное слово. Пища, конечно, была дрянная, но куда калорийнее, чем та, которой последние недели потчевала нас добрейшая Мария Григорьевна... Да, все познается в сравнении... И выгляжу я не так уж плохо. Только эта бледность, да очень уж велики глаза. Они совсем круглые, как у совы.

Словом, я осталась довольна, даже подмигнула себе. Подмигнула и вдруг вижу — за окном, из-за этого самого почтеннейшего ваньки-мокрого, смотрит на меня старуха. Удивленно, вопросительно смотрит. Не знаю уж, за кого приняла она меня, только на лице ее изобразился испуг. Наверное, подумала — сумасшедшая. Я помахала ей рукой и побежала дальше. На тротуаре был ледок, раскатанная ногами школьников дорожка. Разбежалась, прокатилась, споткнулась и попала в объятия какого-то пожилого красноармейца. Он не дал мне упасть.

— Этак и нос расшибить нетрудно, дорогой товарищ, — сказал он, как-то особенно вкусно упирая в последних словах на «о».

Мамочки, какая же я дура! Но что это звенит? Трамвай? Пустили трамвай? Ну да. Вот он, визжа колесами, со скрежетом разворачивается на кольце. Моторный вагон, два прицепа, и на всех них не больше десятка стекол. Остальное забито фанерой, толем. Но ведь трамвай! Пустили. А говорили, что немцы украли все медные провода. Наверно, не успели, или, может быть, их уже заново натянули. И электричество откуда-то берется. Трамвай, трамвай! Молодцы земляки! Не зевали, пока Верка Трешникова томилась в темнице сырой.

Я бегу к трамваю и успеваю уже на ходу вскочить на последнюю подножку. Еду, еду, черт возьми! Поворот, еще поворот. Миновали татарскую мечеть, возле которой стоят почему-то в очередь военные грузовики,

Живут, живут люди... Спешат по улицам, торопятся... Кто-то теребит меня за рукав. Ага, кондуктор, пожилая тетка, лицо которой, озябшее, красное, еле выглядывает из-под шали... Ах, да, билет! Я как-то совсем забыла, что на свете существует такая вещь, как трамвайные билеты.

Роюсь по карманам — ни копья.

— У меня нет денег.

— Тогда ходите пешком. На следующей слезете.

— Ты что, сестру медицинскую выставляешь? Сдурела? — слышатся голоса, и несколько рук тянут пятачки.

Платит за меня какой-то пожилой человек. Вручил мне билет и пристально смотрит. Лицо его мне почему-то знакомо. Наверное, просто коренной верхневолжец. Заплатил, потом встал, показывает рукой на освобожденное место:

— Садитесь, товарищ Никитина.

Семен, он знает и меня и тебя. Он назвал твою фамилию. Я, разумеется, благодарю, но не сажусь. Хватит, насиделась. Я иду на переднюю площадку и оттуда через единственное сохранившееся стекло смотрю на город. Милый наш Верхневолжск, да ты совсем молодец! Ты напоминаешь мне одного из моих раненых — лысого, лобастого дядю, этого самого Гуляй Ногу, которого я на восьмой день после операции, когда у него еще не отпали швы, накрыла на кухне. Он чистил картошку и рассказывал тете Фене какие-то скабрезные анекдоты божественного содержания, а та давилась от смеха и замахивалась на него тряпкой.

Город наш, ты живешь уже своей обычной трудовой жизнью. Спешишь, хлопочешь, печалишься, смеешься. Радиорепродукторы орут во все горло. На перекрестках милиционеры. Ты будто даже и забыл, каким был совсем недавно, когда по твоим улицам ходили немецкие патрули.

Но вот и площадь. Точный восьмиугольник красивых двухэтажных зданий, построенных, как говорят, знаменитым Казаковым на миллион, ассигнованный Екатериной Второй. Когда через эту площадь меня провозили на допрос, я невольно закрывала глаза. Это был род психоза, стоило на нее посмотреть — и я как бы со стороны видела себя рядом с Винокуровым, Раздольским в толпе гитлеровских офицеров и потом долго не могла избавить-

ся от этого видения. А сейчас вот расчистила рукавом стекло, запотевшее от моего дыхания. И не боюсь. Вижу памятник Ленину. Нет, не памятник, конечно, а его гранитный постамент, за ним могилы, венки из пожухлой хвои с красными лентами. Наверное, тут похоронен и твой отец, и Иван Аристархович, и тот, третий, кого Мудрик назвал комиссаром, а может быть, и наша Антонина. Эх, Антон, Антон!..

Тот день! Разве его забудешь? Видел бы ты, Семен, лицо своего отца, вдохновенное, яростное, совсем не старческое. Видел бы, как он метнул стул в коменданта, слышал бы его клич, обращенный ко всем нам. Видел бы ты, как, будто сороки, летели гранаты и как этот Шонеберг, пластаясь по земле, трусливо жался к колесам машины-эшафота... Тут мысли мои перекинулись на Мудрика. Как-то он? Если я правильно его оперировала, он должен бы быть уже на ногах. Милый Мудрик, самый лучший из всех жонглеров, жонглер с гранатами... Мудрик... Дети... Почему так медленно все-таки тащится трамвай?

— Следующая — Больничный городок,— объявляет кондуктор.

Я встряхиваюсь и начинаю отчаянно толкаться, протискиваясь к выходу.

— Проспала,— слышу сзади иронический голос.

— А что мудреного? — защищает меня женщина.— И проспишь. Раненых, чай, валят и валят. Уперся фашист, голыми-то руками не возьмешь. Сколько им, бедным сестричкам, сейчас работы...

Выскакиваю. Но куда же? В мой госпиталь, конечно. Но бегу я в противоположную сторону, к домику Петра Павловича, по той дорожке, где мы везли когда-то на санках мертвого Василька. Но теперь это уже улица: проезд, тротуары. Окна в домах прозрели, из труб дымы. С отвычки я все-таки задохнулась и остановилась у калитки, не в силах повернуть кольцо. Под ногами свежеоттиснутый след машины. Разглядеть его не успела. Раздалось пронзительное:

— Вера, наша Верочка! — это кричала Сталька, несясь босиком по обледенелым ступенькам крыльца.

Но Домик обогнал ее. Оба повисли у меня на шее так, что, не выдержав тяжести, я вынуждена присесть.

— Мамочка! Мама, мамуньчик!

Нет, должно быть, со мною что-то случилось, так я стала слезлива. Слышала только учащенное дыхание,

ощущала мокрые поцелуи... Ребятки, кровиночки мои, ну вот ваша мамка и опять с вами... Держись, держись, Верка, не пугай ребят слезами! Да они же еще и не одеты. Выскочили в чем были. Я схватила Стальку, прикрыла пальто босые ножонки. Так втроем и втиснулись в дверь, а там Татьяна. Новые объятия и новые поцелуи.

— Всё? Отпустили?.. Отбили тебя твои раненые? Ох, они тут дали жизни!

— А Семен? От Семена есть вести?

Татьяна, кажется, не расслышала вопроса.

— И суда у тебя не будет?.. Чистый паспорт?.. Вот здорово!

— Ну а как вы тут без меня жили?

— Сталька, сейчас же обуйся, вон валенки на печке. Придумала — на снег босиком... А ну, и ты, Вера, к печке. Вот, в батино кресло. Сейчас тебе обо всем расскажем. Я теперь, между прочим, директор школы, той самой, где ты училась, шестой. Мужчин-то нет, всех в армию позабрали, ну, сунули меня: молодой кадр...

У них тепло и — или это мне кажется с отвычки? — очень уютно. Сижу в кресле Петра Павловича, ребята — возле на полу. Сталька обхватила мои ноги, прижалась к ним. Домка держит руку. В глазах Татьяны бесчисленные вопросы. А что я им расскажу?

— От Семена так ничего и не было?

Татьяна как-то вся выпрямилась. Становится напряженной, отрицательно поводит головой, должно быть не желая вести этот разговор при детях.

Но эта педагогическая предосторожность напрасна. Сталька, разумеется, все поняла и уже деловито щебечет:

— Дядя Вася рассказывал — многих сейчас выпустили, реабилитировали, призвали в армию. Дядя Вася говорит — у него в штабе...

Чувствую, что краснею. Глупо, стыдно, мучительно краснею. И даже перебиваю ее:

— Какой дядя Вася?

— Дядя Вася Сухохлебов, какой же еще?

— Полковник Сухохлебов,— уточняет Домка.

На нем теперь синий костюмчик. Я купила этот костюмчик в прошлом году. Он совсем новенький, но рукава чуть не по локоть, штаны узки. И вот сейчас мне почему-то бросается в глаза, что штаны эти заправлены в хромовые офицерские сапоги большого размера...

— Василий Харитонович нас не забывает,— подхва-

тывает разговор Татьяна. И я вижу, как остывают, холодеют ее глаза.

— Он нам свой аттестат оставил,— мрачно говорит Домка.

— Какой аттестат? — спрашиваю я, чувствуя, что щеки мои не только полыхают, но и повлажнели от жара.

— Денежный,— уточняет Сталька.

— И вы взяли?.. Ты, Татьяна, взяла?

— Что поделаешь, на учительские-то разве их прокормишь.

— Дядя Вася сказал — у него никого нет, а мы для него вроде родные. Сказал, что деньги все равно пропадут... И пропадут, очень просто. Картошка-то вон на рынке тридцать рублей кило,— хозяйственно говорит Сталька, по обыкновению повторяя чьи-то слова.

Аттестат... Вроде родные... У меня теплеет па душе. И в то же время мне здорово не по себе. Ну чего, чего вы все смотрите на меня?

— Что все это значит? — спрашиваю я, стараясь говорить тверже и строже.

— Тебе лучше знать,— отвечает Татьяна.— Ну, это потом, а сейчас ты, наверное, голодна?

Голодна? Да это мое привычное состояние, я его почти не замечаю.

— Нет, не очень. А у вас... есть что-нибудь?

— У нас суп «ура Суворову» из чечевичных концентратов и еще картошка вареная,— извещает Сталька.

От одной мысли о чечевичном супе у меня начинается обильное слюновыделение.

— Крепко живете, милые мои.

— Дядя Вася свой доппаек нам возит.

Кастрюлька с супом булькает на плите. Мой обостренный нюх, необыкновенно чуткий ко всем кулинарным запахам, жадно ловит пресный аромат вареной картошки. Нет, в самом деле они, кажется, ничего устроились. С лиц ребят сошел тот зеленоватый оттенок, какой имеют ростки овощей, проросших в подвале. Домка даже порумянел, и на лице можно пересчитать все веснушки.

Суп «ура Суворову» — объедение. Опустошаю миску и прошу добавки. Как бы это у них половчее спросить о Василии — где он? Когда заезжает? Простой, естественный вопрос, но вот почему-то никак не наберусь духу его задать. Начинаю расспрашивать о раненых. Военные? Они уже почти все в армии. Последние приходили из за-

пасного полка прощаться в госпиталь неделю назад. Мудрик? Он уже в форме. Тоже пока еще где-то недалеко... Говорят, представлен к большому ордену, даже будто в Герои Советского Союза.

Мария Григорьевна? Эта дома. Муж из эвакуации воротился, сын после ранения на побывку долечиваться прибыл. Да еще внуки...

— Ну, а полковник Сухохлебов — он сначала где-то был, а теперь по приказу командования доукомплектовывает свою Верхневолжскую ордена Красной Звезды гвардейскую дивизию,— наконец-то произносит Домка.

— У него машина настоящий «козел» — четыре колеса и все ведущие. Вот,— заявляет Сталька,— он сегодня меня до угла довез.

— Как? Он был здесь сегодня? — Невольно вскрикиваю я.

Сразу вспоминается несостоявшаяся встреча в двенадцать ноль-ноль. Опять не повезло, опять разминулись.

— Он отсюда к нам в госпиталь поехал,— говорит Домка.

— В госпиталь? Зачем?

— По старой памяти. Скучает,— поясняет Сталька тоном Василия.— И еще с ним военврач второго ранга какой-то... Они у нас только что пьянствовали.

— Не говори глупостей,— сердито, даже, пожалуй, слишком сердито одергивает ее Татьяна.— Какое это пьянство — сели двое мужчин и распили поллитровку.

— Спирту,— уточняет Сталька.

— А разве он пьет? — как-то машинально спрашиваю я.

— Ну а как же? Им в армии по приказу наркомовская полагается.

И вдруг меня потянуло в госпиталь, в наше подземелье. Расцепив Сталькины ручонки, обнимавшие меня, я встала. Три пары глаз вопросительно уставились мне в лицо. Только Сталька спросила:

— Ма, ты туда?

Я торопливо одевалась.

— Ну конечно же в госпиталь... Я ведь туда и не заехала, прямо к вам... Надо же мне там объявиться... Посмотреть моих раненых...

— Твои все уже ушли. Там теперь другие,— авторитетно поясняет Домка, грустно следя за тем, как я надеваю пальто.— Там военврач первого ранга Громова на-

чальник. Из наших только тетя Феня да на вешалке эта Зинаида, новая Райкина мама. Они сейчас за нашими шкафами обе и живут.

— А ты откуда все знаешь? — спрашиваю я, одергивая косынку.

— Как откуда? — удивился Домка.— Я ж там работаю. Брат милосердия...

— Он там работает, а меня вот демобилизовали,— жалуется Сталька.— Дядя Вася говорит — не насовсем, временно. А ты меня призовешь? Да? Домка у нас рабочий паек получает.

— Что ж сделаешь,— точно оправдываясь, говорит Татьяна.— На фабриках и помельче сейчас работают.

Я вижу, с какой обидой все трое следят за моим одеванием. Родные, с какой бы радостью я с вами осталась, но я же не могу, мне же нужно...

— Вера, ты хоть картошки поешь! Успеешь.

— Там сейчас никого из врачей и нет. Только к вечернему обходу подойдут,— говорит Домка.

А эта невыносимая Сталька бухает:

— Ты, ма, зря, он, наверное, уже уехал.

Татьяна хмурит черные брови. Домка отвешивает сестре звонкий шлепок.

— Я скоро.

— Ну хоть теплое на ноги надень, нельзя же в туфлях по морозу.— Татьяна, сняв с лежанки, бросает мне свои фетровые боты. Они велики, но как тепло ногам! В прихожей останавливаюсь поправить у зеркала косынку и слышу в комнате разговор.

— И часа с нами не посидела...— ворчливо произносит Сталька.

— Не сметь так о нашей Вере! — обрывает Домка, но голос у него печальный.— Картошка... Так ни одной и не съела.

Милые, милые вы мои! Знали бы вы, как трудно от вас уходить. Но я же ненадолго. Сейчас приду, надо же мне повидать раненых, госпиталь, в котором я столько пережила, Громову Валерию Леопольдовну. Надо же хоть показаться. Я — мигом.

18

А на дворе совсем прояснилось. Небо лежит над городом голубое, свежее. Кругом белым-бело, и сейчас, когда солнце клонится к западу, все отливает перламутром,

а тени совсем фиолетовые. Мне даже чудится, что пахнет весной. Хотя откуда же? Рано. На миг я останавливаюсь, рассматривая у калитки рубчатые оттиски шин. Они совсем свежие.

— Ма, старый ход в подвал теперь заперли. Раскопали тот, другой, Мудриков, через который мы его тащили! — кричит с крыльца Домка.

— Ладно, ладно, найду. Ступай в комнаты, не простудись!

Почти бегу, наслаждаясь мягкостью свежего снега, бесшумно падающего под подошвами ладных бот, и фиолетовыми тенями у сугробов, и начинающим багроветь закатом, и воздухом, необыкновенно вкусным, чистым, и самой возможностью бежать, двигаться. Двигаться куда угодно... Громова — начальница госпиталя. А Дубинич? Куда делся Дубинич? Бедняга, что же он теперь делает, без руки? Безрукий хирург — это певец, лишившийся голоса... Бегу — и вдруг на углу дорогу мне пересекает большая, растянувшаяся колонна военнопленных. Неторопливо вытекает она из полуразрушенных ворот Больничного городка и разворачивается по улице. Пленные возникают неожиданно, как видение страшного и такого недавнего прошлого. Все во мне инстинктивно настораживается. Я даже отворачиваюсь: ведь все из-за вас, из-за вас, проклятых!

Немолодой боец в шинели третьего срока, как видно конвоир, стоя на выходе с винтовкой под мышкой, негромко торопит:

— А ну, давай, шнель, шнель! Ты! Очки! Не отставай!

Заметил меня, приосанился.

— Вот, сестричка, нация — разрушать мастаки, но и робют чисто, погонять не приходится... Это я так, для порядка, им: «Шнель, шнель...» Чтобы не зазнавались...

— Они с нами не церемонились.

— А кто же церемонится? Мы тоже не церемонимся. Попробуй какой из них зафилонить! Так ведь не филонят, работают... Плохо вот, одежонка у них дрянь, шинелишки ветром подбиты, зябнут, черти... Эй, очки, держи ряд!

Боец присоединяется к другому, что замыкает в хвосте колонну, и оба они, о чем-то негромко переговариваясь, идут позади, мягко ступая по снегу подшитыми валенками... Ага, уже почти восстановили терапевтический

корпус, коробка которого не была разрушена. Вот их куда приспособили...

Колонна, удаляясь, завертывала за угол. «Шинелишки плохие, зябнут...» Да тебе бы, дядя, посмотреть, как они вешали Петра Павловича, как хотели всех нас заживо сжечь... «Шинелишки, подбитые ветром», а они вон Райку сиротой сделали... Райку? Мне очень захотелось повидать эту шуструю девчурку. «Новая Райкина мама»,— стало быть, она где-то здесь, при Зинаиде, может быть, и увижу...

Все это я додумывала на ходу, вернее — на бегу. Домка мог бы мне и не говорить, что в госпиталь другой вход. Прежний, возле которого последняя граната Мудрика уложила факельщиков, даже снегом занесло, а к новому ведет проторенная дорога. Возле даже стрелка с красным крестиком и надписью: «Хозяйство Громовой». Возле входа, в тени лип, санитарный автомобиль. Кухонную трубу удлинили. Она теперь, как телеграфный столб, на проволочных распорках, но дым, выкатывающийся из нее, стелется по земле... Чувствую запах подгорелого сала и лука и сглатываю слюну. Не худо бы было все-таки съесть еще тарелочку этого супа «ура Суворову» и горячей картошечки, особенно картошки...

Все, все тут уже переделано. Даже дощечки висят — «гардероб», «приемный покой». У вешалки в белом халате — Зинаида. Увидев меня, она оторопела, распахнув свои синие глазищи. Потом худенькое, угловатое личико с опущенными уголками губ просияло.

— Вера Николаевна, вы? Вас...— Выбежав из-за деревянной загородки, бросилась ко мне. Повторяет мое имя и больше ничего не говорит.

А я все оглядываюсь. Во всем — в большом и мелочах — чувствуется твердая, опытная рука Громовой. Госпиталь, настоящий военный госпиталь. Не то что в мои времена.

Кудахтание Зинаиды привлекло любопытных. В дощатый коридор — а теперь есть у них и коридор — повысыпали дяди в синих халатах. В дверях — а у них теперь и двери появились — замаячили заинтересованные физиономии. Лупят глаза, и никто, никто меня здесь уже не знает.

— Зинаида, а как Рая? — спрашиваю я.

— А в садике она, Раечка, тут, рядом,— как-то сразу приходя в себя, отвечает гардеробщица, и уголки губ ее

снова опускаются.— Где ей быть? В садике... Только уж больно у них плохо, так плохо, что и сказать не могу. И помещение никуда не годится, сквозняки, простуду уж раз девочка схватила.

Но я не слушаю. На вешалке, среди верхней одежды, я заметила длинную шинель. Шинель с четырьмя шпалами в петлицах и каракулевую папаху.

— Что, начальство какое нагрянуло? Инспекция? — спрашиваю я как можно равнодушнее, хотя сердце у меня колотится так, что я боюсь, как бы Зинаида не услышала его стук.

— Шинель, что ли?.. Так это ж наш Василий Харитонович. Тут он. Навещает... С ним еще какой-то подполковник, что ли...

— Тут, тут! — тарахтя это на ходу, тетя Феня бежит по коридору, будто катится круглый белый шарик.— Господи, спаси и помилуй, Вера Николаевна, живая, здоровая! — точно соля, она осыпает меня маленькими торопливыми крестами.— Стало быть, помог господь, услышал наши молитвы. Отбили тебя наши раненые.

Она говорит что-то еще, всхлипывая, поминутно поднося марлечку к пухлому лицу. Но из этого потока восклицаний в сознание мое входит только одно: меня отбили раненые. Как так отбили? Что это значит?

— А вы не знаете? Тут такое было... Погремели костылики: «Не дадим в обиду нашу Веру!» Куда-то там всем гамузом ходили! Начальство большое приезжало, успокаивало: дескать, идет следствие, не торопите, по совести все разберут...— И вдруг, прервав поток слов, уставилась на меня.— Вернулась, вернулась наша Вера Николаевна, вышла, как пророк Иона на чрева китова...

Наконец я собралась с духом и спросила:

— А Василий... Василий Харитонович, он здесь? Мне его повидать надо.

— Да говорю вам — тут.— Она наклонилась и шепотом сообщила: — Здесь, с другим каким-то и вроде малость выпивши. Я его в ваш «зашкафник» завела. Теперь это наша с Зианаидой резиденция... Полковнику нельзя на людях выпивши, спрятала я его. Может, не надо вам сейчас к нему-то, а? Пусть поразветрится.

— Хорошо, хорошо, я сама знаю, что надо и что не надо.

Что это с ним? И как на него не похоже. Я было направилась по знакомому пути, но Зинаида окликнула:

— А халатик? У нас тут сейчас строго. Товарищ Громова так нас греет. Наденьте-ка вот, я вам по росту свеженький выбрала, глаженый.

Вот это порядок. Мне бы такой. Я набросила халат и, сопровождаемая взглядами незнакомых больных, пошла по таким знакомым мне палатам. Тот, последний отсек, где мой «зашкафник» был, как видно, в забросе. Его еще не переоборудовали — громоздились доски, кирпич. Тусклая лампочка освещала картину полнейшего разгрома. Но все-таки этот мрачный угол, где мы столько пережили, был мне очень дорог. Шкафы стояли на прежнем месте, и в щелях между ними виднелся свет.

Тетя Феня кругленьким колобком катилась за мной. Преодолев томительную неловкость, я все-таки сказала ей:

— Мне надо поговорить с ним один на один.

— Понимаю, понимаю, Вера Николаевна. Понимаю, голубка моя,— заторопилась старуха, и мне показалось, что она действительно все понимает. Даже больше, чем нужно. Ну, черт с ней, не беда, — главное, что она исчезла. И даже с преувеличенной тщательностью прикрыла скрипучую дощатую дверь.

Набравшись духу, я направилась к шкафам. И остановилась. Оттуда слышался рокочущий бас Василия. Он был не один. С кем-то разговаривал. Остановилась... Опять! Вот досада: никогда не бывает один... Собеседник его говорил тихо, издали его голоса не было слышно, но у Василия я различала каждое слово.

— Зачем, ну зачем вам это надо?! — упрекал он кого-то с гневом и болью.— За вас люди на смерть идут... Зачем?

С кем это он? Скверно, что приходится подслушивать разговор. Но и уйти нельзя. Услышат шаги — подумают, что подкралась нарочно.

— ...Я вам о ней дважды писал. Писал старый большевик Сухохлебов. Красногвардеец. Командир бронепоезда. Делегат Десятого съезда партии. Кронштадт штурмовал... Вы даже и не ответили. Почему?

Собеседник молчал.

— Она прекраснейший человек, коммунист с большой буквы, хотя у нее всего только давно просроченный комсомольский билет... Разве так можно с людьми...

Неужели обо мне? И кто там с ним? Секретарь обкома?.. И почему он так тихо отвечает? Ничего не слыхать.

— ...спасла восемьдесят воинов, рисковала жизнью, детьми. Кстати, знали бы вы, как они назвали своих ребят. Сын — Дамир. Это значит: даешь мировую революцию. И Сталина... Ну почему, почему вы не верите людям, нашим, советским людям? Им нельзя не верить... Вы не смеете им не верить... Слышите... Молчите? Нечего говорить?.. Стыдно?

Я замерла. Нет, уйти тихо, поскорее уйти. О, черт, шаги! Твердые мужские шаги... Поздно. Раскрывается дверь: Громова! В халате, в шапочке, как всегда прямая, как палка от щетки. Я помню, как она посмотрела сквозь меня тогда, в день освобождения города, и вся сжалась. Но Громова шла прямо ко мне, протянув обе руки.

— Вера Николаевна, вы здесь?.. Справедливость восторжествовала! Поздравляю, голубчик, поздравляю!

Сжала руки так, что мне больно. Разговор за шкафом оборвался. Оттуда вышел военный. Нет, если бы не эти широко посаженные глаза, в которых всегда живет улыбка, я, может быть, не сразу бы и узнала Василия. Новая форма сделала его еще выше, еще прямее. Лицо и голова выбриты, и от этого как-то выделились густые клочковатые брови. Движения точные, ступает пружинисто. Поскрипывают ремни портупеи. Словом, военная косточка.

Громова, конечно, не могла не заметить, как при виде меня просияло сухое, мужественное лицо, как весело сложились у глаз и разбежались от уголков рта морщинки-трещинки. Но она разве что-нибудь понимает, кроме хирургии, эта Громова? А я, пораженная его преображением, молчала, не зная, что сказать. Он первый оправился от неожиданности.

— Ты что же, не узнаешь меня, Вера? — Он целует мне руку и кланяется Громовой, кланяется так, как умеют это делать кадровые военные: не сгибая спины, наклонил голову и стукнул каблуком о каблук.

А его собеседник? Тот, с кем он спорил? Должно быть, при посторонних он не хочет выходить?.. Нашла о ком думать, главное, что мне радостно, хорошо и... немножко неловко. Василию, по-моему, тоже, но он человек выдержанный, искусно это маскирует. Вот не повезло... Там, за шкафами, кто-то, а тут еще Громову принесло.

— Полковник нас не забывает,— говорит она резким голосом.— Можно сказать, шефствует над нами. И очень

хорошо, что вы зашли, полковник. В вашем присутствии я должна глубоко извиниться перед Верой Николаевной.

Мамочки! Ну почему, почему ты ничегошеньки в жизни не смыслишь? Помолчала бы уж, что ли...

— Я не оправдываюсь, но о вас, Вера Николаевна, столько болтали там, в эвакуации... Простите великодушно, простите меня, голубушка. Кстати, главный хирург Верхневолжского фронта профессор Кривоногов сам осматривал ваших пациентов и констатировал исключительно хорошее заживление ран. И это в таких ужасных условиях. Конечно, все крайне истощены, но только три смертных случая... Еще раз извините.

Как бы порадовал меня этот разговор несколько минут назад. А сейчас... Провалилась бы ты со своими извинениями! Ну как ты не видишь?

— А во-вторых,— ничегошеньки не замечая, продолжает Громова,— а во-вторых, мы открываем в здании школы номер один большой клинический госпиталь. Не знаю уж, что там было у немцев, они все страшно загадили, но ремонт заканчивается. Будет огромный стационар. Я приглашаю вас туда на должность хирурга-ординатора. Подумайте и завтра утром сообщите решение.

Ну, теперь-то хоть все? Оказывается, нет. Теперь она взялась за Василия:

— А вы, полковник, полюбуйтесь, какие у нас здесь условия. Невозможные. За такие нас надо судить. Мне для чего-то присвоили звание военврача первого ранга. Я во всех этих ваших шпалах и звездах плохо разбираюсь. Но вы командир дивизии, начальство, и я заявляю вам, а вы уж там сами скажите или доложите, что ли, кому нужно: так нельзя... Пора налаживать нормальную медицину. Вот извольте, полюбуйтесь. Я вам сейчас покажу.— Она берет Василия под руку и уводит так решительно, что он едва успевает бросить мне жалобный взгляд.

Хлопает дверь. Шаги удаляются. Фу, как глупо, даже словом не перемолвились! Я — одна. Нет, не одна. Я вспоминаю о собеседнике Василия. Почему так тихо за шкафами? Прячется? А почему ему прятаться?.. Нет, я ничего не понимаю... Кашлянула. Кашлянула громче — никакого ответа. Не может человек так тихо сидеть.

Стараясь ступать как можно шумнее, подхожу к шкафам. Ни звука. По-прежнему простыня закрывает вход.

Моя простыня. Я ее из дому принесла. Вот и метка: «В. Т.». Но как ее захватали! Даже черная стала, хотя бы постирали, что ли. Увидит Громова — быть грому. Открываю простыню — никого. В «зашкафнике» все постарому. Только из-за одной подушки высовывает свой длинный восковой нос богородица.

Дверцы большого шкафа открыты. Ага, и тут попрежнему. И портрет товарища Сталина висит там, где его повесил когда-то хитроумный Домка.

Никого. Да с кем же разговаривал Василий? Неужели с самим собой?.. Ну что ж, ведь есть же у него такая привычка.

19

Я дома, лежу на настоящей постели, на чистой простыне, покрытая стеганым домашним одеялом. Ни еды, ни дров в этот день Татьяна с ребятами не пожалели. Накормили до отвала жареной картошкой, кислой капустой, духовитыми огурцами из запасов покойного Петра Павловича, чудесными, умопомрачительными огурцами, которые до сих пор сохранили свой чесночно-смородиновый аромат и хрустят как малосольные.

Тихо. Рукомойник роняет в таз тяжелые капли. Сверчок, настоящий довоенный сверчок, неторопливо поскрипывает где-то в углу, на печке, источающей благотворное тепло. И будто нету рядом большой, страшной войны, будто еще не стонут под немцем огромные пространства советской земли... Но на один-то день можно об этом забыть?

Дома! Дома же! Дети рядом. Сыта, в тепле, в тишине. И этот сверчок. Как же это хорошо быть дома и так вот лежать на чистой простыне, под стеганым одеялом, и думать, думать и, по старой моей привычке, как бы мысленно писать тебе, Семен, письмо, рассказывая о нашем житье-бытье.

Что же произошло со мной после того, как я оказалась одна в этом нашем «зашкафнике»? Ничего особенного. Действительно, ничего особенного. Но ведь мы с тобою были всегда откровенны, и я должна к этому добавить — ничего и многое.

Да, да, вот так бывает с нами, женщинами. Ничего и многое. И вот сейчас я радостно перебираю кусочки этих

воспоминаний. Но прежде всего в «зашкафник» вкатилась тетя Феня. Она, видите ли, сегодня в «отгуле». Дела у нее нет, и наше Совинформбюро стало выдавать мне длиннейшую сводку о том, что происходило тут без меня. Дорогие новости о близких мне людях. Но, честно говоря, слушала я ее вполслуха, все время была настороже — не хлопнет ли дверь, не раздадутся ли твердые шаги? И они раздались. Решительный стук костяшками пальцев по шкафу.

— Вера, можно?

— Да, да, конечно, Василий.

Ты извини меня, тетя Феня, верный мой Санчо Панса! Прервав твои рассказы, я вскочила, глянула в затемненное стекло шкафа, еще верно служащее зеркалом, при этом я даже забыла об удивительной способности тети Фени впитывать и распространять слухи.

Василий сразу заполнил собою весь «зашкафник». В нем стало тесно троим. Но тетя Феня, чтоб ей пусто было, не ушла, а лишь отодвинулась вглубь, куда-то к своей богоматери.

— У тебя тут много дел? — спросил Василий с несвойственной ему и потому даже немного смешной робостью.— Я бы довез тебя до дому. У меня тут машина.

Подвезти! Два квартала? Гм-гм... Ну чего он, чудак, темнит? Но, должно быть, уж так устроен человек, что иногда и самые серьезные, мужественные люди могут вдруг превращаться в ребятишек, прячущих что-то всем, всем очевидное.

— И верно, и правда, и подвезите ее,— посыпала свой горошек тетя Феня.— И подбросьте.— И я была ей за это очень благодарна.

Молча прошли мы с Василием через палаты. Должно быть, все-таки новым раненым известна история нашего госпиталя. Может быть, они даже догадались, кто мы? На нас смотрели из всех палат... А, все равно! Пусть думают что хотят.

Так дошли до раздевалки.

На стуле против вешалки сидел военный с тремя шпалами и медицинскими эмблемами на зеленых петлицах. При нашем появлении он встал.

— Вот, познакомься, Вера. Это военврач второго ранга Светличный, начальник медсанбата нашей дивизии. Пока еще медсанбата, правда, у него нет...— Василий усмехнулся.

— Но будет, товарищ полковник, будет,— ответил военный.

Мы пожали друг другу руки.

В дверях появилась Мария Григорьевна, и я сразу забыла об этом начальнике будущего медсанбата.

Мгновение мы стояли друг перед другом. Лицо Марии Григорьевны, как всегда, было неподвижно, замкнуто на все замки. И вдруг я увидела то, чего ни разу не видела на нем,— улыбку. Такую удивительную, что она как-то сразу преобразила не только суровое, некрасивое лицо, но и всю эту женщину. Будто от этой улыбки в холодной, сырой раздевалке, где под потолком еле теплилась слабенькая электролампочка, разом стало и суше, и теплее, и светлее.

Из-за спины Марии Григорьевны выглядывали лихо загнутые вверх косички Раи.

— Здравствуйте, Вера Николаевна! — только и сказала Мария Григорьевна.— Это коза-стрекоза,— она вытолкнула вперед девочку,— вот эта прибегла ко мне и кричит: «Нашу Веру выпустили! Вера вернулась!..» Корыто бросила — и сюда.

Больше она ничего не сказала. Поддернула концы темного платка, покрывавшего ее голову. Улыбка погасла.

— Здравствуйте, Василий Харитонович!

И Василий, став строгим, даже торжественным, отвесил ей такой же почтительный военный поклон, как только что Громовой.

— Здравствуйте, Мария Григорьевна!

Наша сестра-хозяйка посмотрела на меня, на него, на Зинаиду, застывшую с моим пальто в руках. Мне почему-то вспомнилось: большие хлопоты и печали, казенный дом, трефовый король на сердце... или что-то в этом роде. Нет, не карты твои, а сама ты, отбельщица с «Большевички», великий сердцевед. Все-то ты видишь, все-то ты знаешь. И вот сейчас вместо всяческих восклицаний, приличествующих случаю, вместо охов, ахов сочувствия и слез ты коротко произносишь самое для меня нужное:

— Ну, поздоровались и попрощаемся. Меня белье ждет, мой-то, может, и не сообразит бак с плиты составить. Перекипит.

Она повернулась и ушла так торопливо, что девочка даже огорчилась.

— Мама Зина, чего это она? Я бегла-бегла, а она взяла да и ушла.

— Так, видишь, боится, белье перекипит,— ответила ей Зинаида и принялась энергично напяливать на меня пальто.

Василий уже оделся. В шинели, в папахе, он стал еще выше. Его начальник медсанбата в своей ушанке кажется рядом с ним малорослым, а ведь тоже дядя — дай бог... Еще и он тут! Неужели так мы и не сможем поговорить?

— Товарищ Светличный, вы сами передайте доктору Трешниковой свои предложения. Я в ваши ученые дела вмешиваться не могу,— говорит Василий и, присев на корточки, заводит разговор с девочкой. С детьми он всегда говорит серьезно; должно быть, этим и привлекает их к себе.

Светличный сразу, как говорят, берет быка за рога.

— Вера Николаевна, что вы скажете, если я предложу вам место хирурга в нашем медсанбате? Полевая военная хирургия — самая лучшая школа, это еще Пирогов говорил...

Ну вот, здравствуйте пожалуйста, всем сразу понадобился зауряд-врач Верка Трешникова! Василий еще болтает с девочкой, но я ловлю его вопросительные взгляды. Ну да, я понимаю, это и его предложение... Как же быть?

— Спасибо, подумаю,— отвечаю Светличному.— Я подумаю,— повторяю громко.— Мне надо посоветоваться... с домашними.

Светличный вопросительно смотрит на Василия.

— Мы завтра будем в городе и заедем к вам,— отвечает тот и добавляет: — За ответом.

Потом, втроем, мы покидаем госпиталь. Я все еще никак не привыкну к свежему воздуху, он кажется каким-то необыкновенно вкусным. Жадно вдыхаю его, и, вероятно, поэтому снова кружится голова и стучит сердце...

Небо черное, как бумага, в которую завертывают рентгеновские снимки. И все, все в мелких дырочках, и дырочки эти колюче сверкают. Снег мерцает, будто флюоресцирует. И тишина. Такая пронзительная тишина, что слышно, как где-то далеко, за «Большевичкой», скрежеща колесами, развертывается на кругу трамвай.

У входа стоит костлявая машина, похожая на голенастого кузнечика. От нее отделяется тень — красноармеец

в полушубке, в валенках. Вытягивается и, вырвав руку из меховой варежки, берет под козырек.

— Отвезете военврача второго ранга Светличного в его хозяйство,— приказывает Василий. И другим, не столь повелительным тоном добавляет: — Вернитесь сюда и ждите. Если к одиннадцати тридцати не буду, езжайте до хаты и распрягайте коня.

Василий решительно берет меня под руку. Машина с воем вырывается из сугроба, выруливает на улицу, и скоро красный ее огонек тонет во тьме.

— Ну, а куда мы? — спрашиваю я.

— Куда-нибудь,— отвечает Василий.

Мы идем под руку по улице. По пустынной улице. Снег проседает под ногами — идем будто по ковру. Сугробы светятся, а над ними остро сверкают звезды. И, должно быть, от избытка кислорода, которого долго так не хватало моим легким, кровь шумно пульсирует в висках.

— Куда же мы все-таки, Василий?

— Прямо.

— А потом?

— Потом повернем.

— Куда?

— Куда-нибудь... Тебе не холодно?

— Нет, мне хорошо.

— Мне тоже.

И верно, хорошо идти, когда тебя вот так крепко ведут под руку. К этому «хорошо» еще нужно привыкнуть. Оно очень неустойчиво. Я боюсь его спугнуть и потому ни о чем не говорю. Что думает Василий — не знаю. Но он тоже ни о чем не расспрашивает, ничего не произносит.

— Василий, с кем ты разговаривал сегодня?

— Я разговаривал? Где?

— Там, у меня в «зашкафнике».

— В «зашкафнике»? — Он, кажется, искренне удивлен.

— Ну как же, вспомни... Ты, кажется, говорил... обо мне.

Молчание. Он, конечно, вспомнил. Но не хочет отвечать.

— Я все равно все слышала. Только не подумай, что я подслушивала. Просто вошла, а ты ведь почти кричал. Так с кем же?

Молчит. Резко хрупает снег под его подошвой. И вдруг я начинаю понимать. Я угадываю его собеседника и настаиваю с новой энергией:

— Ну, с кем же, с кем?

— С совестью,— глухо отвечает он.

С сóвестью? Гм! Ну, пусть так. Молчание прервано. Мы идем так согласно — шаг в шаг. Но молчать уже не можем и разговариваем о каких-то пустяках.

Так миновали мы еще несколько кварталов. Приблизились к центру города. Стали попадаться прохожие. Идут навстречу и обгоняют нас слепые трамваи. Репродуктор вызванивает где-то «Широка страна моя родная». Голос Юрия Левитана начинает передавать очередную сводку Совинформбюро. На миг мы останавливаемся, стараясь что-то расслышать. Нет, далеко, не разберешь. Но мы почему-то догадываемся: сообщается о новом наступлении.

Город еще не спит. Он только притаился за маскировочными шторами. Редко-редко увидишь — мелькнет на фасаде незамаскированная полоска. Идем дальше. Движется колонна машин. Они идут как привидения, будто ощупывая перед собой дорогу синими приглушенными огнями. Трамвайная дуга высекает искру о провода. Улица возникает на мгновение даже как-то излишне четко, будто при вспышке молнии. Возникает и исчезает. И ночь становится еще темнее.

Разговариваем. О чем? Не вспомню. Кажется, он рассказывает, что он тоже где-то проходил проверку, а потом о том, что дивизия его почти уже готова. Скоро им выступать. Это стыдно, это скверно, но я в эту ночь не хочу думать ни о войне, которая бушует еще совсем недалеко, ни о том, откуда я сегодня вышла. И даже постоянная моя мысль, которая живет во мне, мысль о тебе, Семен, мысль о том, каково-то там тебе, даже она покинула меня.

Мне даже не важно, что он мне говорил, и совсем уже ничего не значит, что я ему отвечаю. Важно, что мы идем рядом, что он держит меня под руку, что звучит его голос. Иногда я вспоминаю, что ушла из дома, что ребята меня ждут, и меня тянет к ребятам. Но я продолжаю идти. Куда? Не знаю. Зачем? Не знаю.

Мы миновали мост через Тьму. Его уже починили, яму, в которую тогда сиганул через борт полицай,

засыпали. От этого воспоминания на миг становится жутко. Ведь еще утром сегодня фанерный щит загораживал окно, грохотали при подъеме койки... Нет, нет, не ковыряться в этих ранах, не наслаждаться болью воспоминаний! Пусть это скорее забудется, как скверный сон. Ковыряться в таких вещах — занятие малодушных...

И вдруг мне вспомнился сон, который мучил меня перед страшным днем исхода: бескрылые, похожие на гусениц, летающие машины, эти серые существа — воплощенный ужас. И жуткое сознание собственного бессилия. Вспоминается все, что я пережила на мосту, поток людей и машин, зарево, отчаяние одиночества в этой грустной, но единой толпе.

— Вера, что с тобой?

Ночь безлунна. Выходная она сегодня, эта луна, что ли?

Но в фосфорическом сиянии мягких, молодых снегов я вижу просторную площадь, уже освобожденную от немецких крестов, развалины дворца-музея и свою школу.

— Что с тобой, Вера? Замерзла?

Мы остановились как раз перед зданием школы. Той самой, где я училась, где учился Домка, где директорствует сейчас наша Татьяна. Верхнее крыло раскрыто взрывом, и виден похожий на кусок сцены наш класс. Почему-то мучительно интересно узнать: висит ли еще на месте портрет Тимирязева?

— Пойдем посмотрим.

Да, портрет висит. Его даже довольно хорошо видно. Сколько времени прошло с того окаянного утра, когда после взрыва моста я одна стояла на этой площади? Год? Десять? Сто лет?.. Да что там? Сколько времени прошло с сегодняшнего утра, когда слепой трамвай нес меня через эту площадь, а я стояла с узелком под мышкой? Смотрела в единственное стекло и не без страха думала: что же будет, что меня ждет?

— Вера, ты опять ушла куда-то? — Василий взял мои руки, греет их дыханием.— Сегодня ты все время куда-то убегаешь.

— Нет, нет, я здесь... Но куда мы все-таки идем?

— Мы? Идем, как говорится, куда глаза глядят.

— А где ты живешь? — неожиданно для себя вдруг спрашиваю я.

— Где живу?

— Ну да... Не может же гвардии полковник жить под открытым небом.

Минуту мы молчим. От этого молчания нам обоим становится как-то по-хорошему неловко.

— Ну, отвечай... В гости, между прочим, к тебе не напрашиваюсь. Так просто, забота врача. В каких условиях долечиваются его больные.

— Живу в сорока километрах от города. Там мой штаб,— говорит он наконец.

— Так пошли обратно. Шофер ждет. Если мы опоздаем к одиннадцати тридцати...

Он, этот человек, у которого на все готов ответ, в явном замешательстве. Больше всего его, кажется, удивило, что я запомнила это его распоряжение. Мне даже немножко смешно оттого, как он так смутился. Во всех нас, должно быть, еще сохраняется детское. И это очень здорово.

— Я остановилась у золовки и, увы, теперь не могу предложить гвардии полковнику даже койку,— назидательно говорю я.

Улыбаемся. Начинаем хохотать. Он хватает меня и кружит, как девчонку. Я смеюсь, болтая ногами, будто действительно девчонка. Когда он опустил меня и поставил на землю, мы поцеловались. Ну и что? Что в том худого, если двум немолодым людям с нелегкой судьбой вдруг померещился на мгновение призрак счастья и они потянулись друг к другу?..

Будто студенты какие, держась за руки, шли мы обратно. И опять разговаривали. Эти-то разговоры я запомнила. Говорили о его денежном аттестате. Он просил получать по нему хотя бы... пока мы не встанем на ноги, не оперимся. К чему ему, одинокому, на войне деньги?

Говорили о моем будущем. Предложение Громовой заманчиво. Быть ученицей такого человека, как она, хирургом огромного госпиталя — это же здорово. А с другой стороны — медсанбат... Гитлеровцы не разбиты. Война в разгаре, фон шонеберги еще ползают по нашей земле, и скольким Петрам Павловичам и Иванам Аристарховичам грозит виселица, сколько Раечек могут стать сиротами. Что там сиротами! Просто ничем, прахом. Миллионы наших маются, как маялись мы в Верхневолжске. И разве там, на фронте, будет лишней пара опытных рук?.. Полевая хирургия... Доктор Пирогов... С первого курса знаю. У Толстого описано... Верка Трешникова —

военный хирург! А что? Сколько раз там, в камере, я мечтала именно о том, чтобы идти на войну и работать, где всего нужнее. Там будет некогда ковыряться в прошлом, малодушно подсчитывать свои обиды.

Война... Я уже знаю: на войне судят о людях не по анкетам, там по делам о человеке судят. А дела? Будущее покажет...

Все это так. Но дети? Как они без матери? Я так стосковалась по ним. Татьяна, конечно, умная, добрая. Они без меня проживут. А я без них?.. К ним, к ним... Ведь я их почти и не видела.

Теперь я тянула Василия за руку, и мы шли не так уж согласно. А тут, на грех, остановил комендантский патруль. Пожилой лейтенант откозырял по всем правилам Василию и... потребовал пропуск. Василий пропуска не знал. К счастью, документы были при нем, и нас отпустили. При этом во время проверки двое бойцов посматривали на нас так многозначительно и насмешливо, что мне стало не по себе.

Так мы дошли до нашего домика и на прощанье, каюсь, расцеловались. У меня даже закружилась голова, моя бедная взбалмошная голова, в которой уже есть и седые волосы.

— Так завтра мы с начсанбатом заедем за ответом?

— Завтра я дам ответ.

Василий повернулся и, будто от чего-то убегая, быстро зашагал к Больничному городку. А я стояла у калитки, слушала его твердую поступь, потом бросилась в калитку, как трусы бросаются в холодную воду. Я же трусиха, и ничто меня от этого, должно быть, не излечит...

...И вот я лежу на свежей простыне, покрытая уютным одеялом. Часы давно уже прохрипели двенадцать. Сонное дыхание ребят слышится с раскладушек. Да еще флегматичный стук маятника. И этот симпатичный сверчок, умница, понимающий, должно быть, как мне дорог домашний уют во всех его проявлениях, работает сегодня уже вторую смену...

Василий рассказывал: когда-то, еще на Халхин-Голе, в короткий перерыв страшной канонады он вдруг услышал пение птиц. А у меня сверчок. Ну-ну, что же ты смолк, баюкай! Мне завтра столько решать, что нужна свежая голова, а для этого надо выспаться. Ведь так?

Завтра утром Громова потребует ответа. Завтра утром заедет военный врач и спросит, как я решила. Пойду ли я к нему в медсанбат?.. Нет, как это здорово, что не кто-то и не что-то, а я сама завтра буду решать свою судьбу.

Что мне им ответить? Что бы, Семен, ты мне посоветовал? Ты далеко, совета твоего я не услышу... Вот что, Верка, засыпай-ка ты сейчас, а ты пили, пили, товарищ сверчок. Утро вечера мудренее.

Ох, отныне мне всегда и все надо будет решать самой.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПОСЛЕ...

Итак, вы, читатель, расстались с доктором Верой, и если она вам понравилась, эта русская женщина с нелегкой судьбой, предвижу вопросы. Уехала ли она на фронт или осталась в родном городе? Если попала на фронт, вернулась ли живой? Что с ее детьми? Как они живут?.. Сколько таких вопросов слышишь обычно на встречах с читателями. Ну что ж, признаюсь, я, автор, расстаюсь с доктором Верой вместе с вами и не знаю, как дальше сложилась ее жизнь.

А вот о том, как живет моя землячка, чей тихий, малоизвестный подвиг дал мне толчок для написания этой книги, могу сказать, почерпнув эти сведения из того же очерка «Родина помнит», написанного ее коллегой в газете «Медицинский работник». Она добровольно пошла на войну, стала главным хирургом медсанбата одной из самых боевых дивизий Отечественной войны. Меньше чем через год, после боев под Тихвином, получила первый боевой орден. На фронте, в разгар боев, подала заявление и была принята в КПСС. Ранена. Поправилась. Вновь встала к операционному столу. Получила еще несколько боевых наград и демобилизовалась после окончания войны. Вернулась в родной город. Ныне заведует травматологическим отделением городской больницы.

Уже реабилитирован, вернулся домой, восстановлен в партии ее муж — мой старый друг, настоящий большевик-ленинец, который когда-то рекомендовал меня в комсомол. Когда мне случается приезжать в родной город, я захожу в их квартиру в новом доме, на новой улице нового района моего старого города. И радостно видеть, как эти люди растят внуков. О прошлом, хорошем и плохом, они вспоминать не любят. Оба они — в настоящем. Но это уже другая книга, которую пусть пишет кто-нибудь другой.

Москва, 1964—1965

АНЮТА

ПОВЕСТЬ

Памяти моего фронтового друга Николая Жукова — хорошего человека и замечательного художника

1

До отъезда на аэродром оставалось еще около часа. Чемодан уложен. Вот только несессер с бритвенными и умывальными принадлежностями куда-то делся, и Владимир Онуфриевич Мечетный никак не мог его отыскать. Каждая вещь в его маленькой квартире имела свое место, определенное однажды и навсегда. И он отчетливо помнил, что, вернувшись из последней командировки в Новосибирск, положил несессер на место, и именно на вторую полку платяного шкафа, где у него хранились носки, носовые платки и всякая мелочь. И носки и платки были на месте, сложенные аккуратными стопками, а вот несессера там не было.

Впрочем, и все остальное в шкафу было переставлено, перевешено по-другому. Может быть, умнее и удобнее, но так, как он не привык. Черт возьми, ну зачем Серафима роется в его вещах? Не может побороть в себе этот вечный бабский инстинкт: чистить, мыть, вытряхивать и все переставлять по-своему.

Конечно, можно обойтись и без несессера. Велика беда завернуть все эти стрижки-брижки в газету. Да и несессер в конце концов можно купить, ну хотя бы в ларьке московского аэропорта, где предстоит пересаживаться на южный самолет. И все же пропажа расстроила и даже обозлила: ну куда она могла его засунуть?

Нет, просто беда, когда, воспользовавшись ключом, который Мечетный отдал ей, Серафима в его отсутствие принимается наводить порядок в квартире. Не раз пытался он отучить ее от этой манеры. Выговаривал, просил. Однажды даже пригрозил отобрать ключ. И вот пожалуйста, опять. Во время его совсем короткой командировки в филиал института снова побывала, убралась, навела порядок в платяном шкафу и куда-то засовала несессер. И именно теперь, когда Мечетный собирается в дальнюю дорогу и когда эта вещь ему нужна.

А главное, зачем, зачем все это делается? — досадовал Мечетный, снова обшаривая все углы.— Кто ее просит

тащить в его сугубо мужскую квартиру этот бабский уют? Кому он здесь нужен? Ну конечно же неспроста, а чтоб углубить их отношения, стать для него полезной, необходимой. Ведь все равно на Серафиме он не женится, хотя в лаборатории их давно уже сосватали и однажды директор завода, к великому смущению и досаде Мечетного, сказал ему на совещании: «Ну а эту работу поручите, пожалуйста, вашей жене». Жена? Ну, нет. Отлично прохолостяковал все последние годы, привык. Теперь жениться? Связать себя по рукам и ногам этими так называемыми семейными узами. Зачем? Серафима, конечно, славная женщина — недурна собой, умна, неплохой работник... Но жить в одной квартире, приноравливаться к ее привычкам, перестраивать свой такой сложившийся и удобный одинокий быт? Нет, на это он не пойдет: одна голова не бедна, а бедна — так одна. Пусть уж Серафима, если хочет, продолжает с ним прежние отношения, остается, как злословили в лаборатории, его «приходящей супругой». Но не женой. И надо прекратить, решительно прекратить эти ее попытки совать нос в его личные дела...

Однако куда все-таки делся несессер? Вот-вот должно прийти заказанное такси. Мечетный посмотрел на часы. Серафима, наверное, еще в лаборатории. Он снял телефонную трубку и, быстро набрав номер, попросил инженера Киселеву.

— Это я. Да. Не помните, куда вы, наводя у меня порядок, засунули несессер? Мне через несколько минут на аэродром.

— Вы, конечно, за мной заедете,— ответил глубокий, низкий голос.— И почему вы такой сердитый?

— Куда вы дели несессер?

— Нашли о чем волноваться. Он был такой заношенный, старый, этот ваш несессер, он расползался по швам.

— Куда вы его дели?

— Выбросила. Выбросила на помойку. Я подарю вам новый, современный, очень удобный, на семь предметов.

— Выбросила... Выбросила такую нужную вещь! — почти крикнул Мечетный, но тут же сдержал себя и, прежде чем положить трубку, сухо сказал: —Вы же знаете, что я не люблю, когда без спроса трогают мои вещи.

— Вы когда уезжаете? Я хочу вас проводить.

— Не надо. Не к чему.

Теперь Мечетный сердился по-настоящему. И прежде всего на самого себя за то, что повысил тон, почти кричал. И все же, как это можно выбрасывать чужие вещи! Конечно, старая, конечно, затасканная, конечно, расползавшаяся по швам, так что уже несколько раз приходилось зашивать ее по краям суровыми нитками. Но сколько лет эта вещь служила ему и сколько еще могла прослужить! Этот старый несессер был первой собственностью, которая появилась у него после того, как он все потерял в дни войны. Вещь — друг. И вот, пожалуйста, взяла и выбросила... Нет, с этим нужно кончать. А то и в самом деле из хорошей знакомой Серафима превратится в жену со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Тщательно завернув бритвенные принадлежности в целлофановый пакетик, Мечетный застегнул чемодан, посмотрел на часы. Как-то там с такси? Вышел на балкон. У подъезда машины не было. Впрочем, время еще есть, и, оглядевшись, он невольно залюбовался открывавшимся отсюда, с двенадцатого этажа, видом, жадно вдыхая холодный, влажный воздух зарождающейся весны.

Новый дом — Столбик, как именовала его людская молва, стоял на самой окраине молодого города. Глухая нерубленая тайга стеной наступала на него с юга, а с севера, за улицами и площадями города, в закатных лучах прорисовывался завод. Огни уже зажжены. Целый ворох огней как бы прикрывает багровое зарево. Все это утопает в фиолетовой весенней полутьме, хотя солнце, завалившееся за гребень тайги, все еще высвечивает с одной стороны острые верхушки елей, а с другой — заводские трубы.

Воздух влажен, остро холоден, чист, но к хвойным ароматам весеннего леса отчетливо примешивались запахи завода, дышавшего в полутьме. Май в этом краю запаздывал. Днем тепло, а на ночь лужи прихватывает иглистыми кромками, и в тайге под деревьями еще белеет жухлый, крупитчатый снег.

Завод жил своей обычной круглосуточной жизнью. В сгущавшейся тьме огни его разгорались все ярче, гася звезды, появляющиеся на потемневшем небосводе. И Мечетному вдруг показалось странным. Послезавтра завод будет также работать день и ночь, сотрудники его лаборатории, как всегда, утром переоденутся в халаты, встанут на свои места, жизнь будет продолжаться в обычном

напряженном ритме, а он, Мечетный, будет далеко от своего молодого города, далеко от привычных забот, и где-то там, в неизвестной ему Гагре, будет лежать на берегу тоже незнакомого ему теплого моря.

Сколько осталось в лаборатории недоделанного, незавершенного, требующего его постоянного внимания! При мысли этой ему стало тревожно и грустно. Санаторная путевка, лежавшая у него в кармане, вдруг потеряла свою заманчивость. Черт его знает, в самом деле, может быть, плюнуть на билет, вернуть путевку, доделать незавершенное и со спокойным сердцем поехать в эту самую Гагру на фруктовый сезон, который по-старинному именуется бархатным...

В комнате негромко бубнил радиоприемник: передавали последние известия. Думая о своем, Мечетный рассеянно слушал новости: «...Вступила в строй первая очередь... выполнили план на столько-то процентов... своим ударным трудом на весенней вспашке обеспечили хороший урожай...» И вдруг из потока привычных уху новостей, которые сознание не фиксировало, сразу приковала внимание Мечетного неожиданно прозвучавшая фамилия — Лихобаба. Он вздрогнул, насторожился, даже вцепился в перила балкона. Диктор продолжал дочитывать Указ Президиума Верховного Совета... Лихобаба Анна Алексеевна награждена орденом «Знак Почета»... За что, Мечетный не услышал. А диктор уже читал новости спорта.

Лихобаба, Лихобаба... Анна Алексеевна Лихобаба... Анна... Анюта. Неужели она? Боже ты мой... Нет, нет, конечно же не она. Среди четверти миллиарда граждан страны множество людей с одинаковыми именами и фамилиями. Но Лихобаба — не Иванова, не Петрова и не Сидорова. Таких фамилий при всей громадности населения Советского Союза вряд ли много, а тут еще Анна, да еще Алексеевна. Неужели она? Нет, это невозможно. Сколько лет прошло!

Мечетный стоял потрясенный и не услышал, как таксист, уже ожидавший у подъезда, заявил о себе гудком. Подошел к телефону, торопливо набрал номер редактора городской газеты.

— Привет! Говорит инженер Мечетный... Да, да, тот самый — начальник заводской лаборатории... Нет, нет, я не о статье, бог с ней, с этой моей статьей. Печатайте когда хотите. Но у меня к вам просьба. Вот только что я прослушал последние известия, было сообщение о на-

граждении Лихобабы орденом «Знак Почета». У вас по этому поводу не принято никаких подробностей?

— Минуточку, Владимир Онуфриевич. Сейчас посмотрим, что там нащелкал телетайп. Как вы сказали, Лихобаба? Мужчина или женщина?

— А, какая разница. Ну, девушка, девушка. И «Знак Почета»...

Слышно было, как в трубке шелестели бумагой. С улицы доносились уже нетерпеливые, частые гудки таксиста. Но Мечетный, все еще не слыша их, переступал с ноги на ногу. Наконец раздался голос редактора:

— Нет, в вечернем присыле вашей Лихобабы нет. Может быть, в ночном будет. Я вам тогда позвоню... Кстати, ваша статья...

— Да будет вам об этой статье,— невежливо перебил Мечетный.— И звонить не надо, я уезжаю на месяц, а со статьей — распоряжайтесь как хотите: правьте, сокращайте, выбрасывайте, ваше дело.

— А что она, эта Лихобаба, кто она? И вообще в чем дело? — заинтересовался редактор.

Но Мечетный уже бросил трубку, и тут дошли до него разом и нетерпеливые гудки таксиста, и скрежет ключа, открывавшего замок. В дверях стояла Серафима, из-под меховой шубки торчали полы лабораторного халата, на голову был наброшен пуховый платок. Она тяжело дышала, и на высоком лбу выступали капельки пота.

— Ух, слава богу. Думала, вас уже и не застану.— В руках она держала черный несессер из глянцевитой кожи.— Почему, ну скажите, почему вас так расстроила история с несессером? Послезавтра у вас день рождения. Я купила вам в подарок новый, современный, чехословацкий. Но раз уезжаете, принимайте подарок досрочно.

— А, спасибо, спасибо,— ответил Мечетный, рассеянно принимая действительно красивую вещь и проходя с чемоданом к двери.— Простите, но, слышите, таксист гудит, мне пора. Прощайте.

— Я еду с вами на аэродром.

— В халате? И вы же знаете, что я терпеть не могу, когда меня провожают.

Лицо Серафимы, обычно спокойное, малоподвижное, на этот раз не могло скрыть волнения. Серые миндалевидные, широко посаженные глаза, делавшие женщину похожей на какую-то египетскую богиню, смотрели просительно, даже умоляюще, что очень к этому лицу не

шло. Она отерла пот, и не носовым платком, который держала в руках, а тыльной стороной ладони.

— Нет, я все-таки вас провожу.

— В таком виде?

— А, все равно, кому какое дело...

Мечетный только пожал плечами.

Всю дорогу он молчал и на попытки заговорить отвечал односложно: да, нет. Сидел, смотрел в окно на тайгу, которую будто саблей разрубило широко разграфленное белилами шоссе. Весна по-настоящему еще не наступила. Сугробы тут и там белели под деревьями, но лес был уже полон весенних ароматов, и ветер порывами забрасывал их в машину.

Когда вдали замелькали огни аэродрома, Серафиму наконец вывело из себя его упорное молчание.

— Неужели вы такой мелочный, и пропажа старой сумки, которую и в руки-то брать противно, вас так расстроила... Это что-то новое. Не знала, не знала.

— Ну так знайте.

— Из-за грошовой вещи устраивать скандал?

— Скандал? — искренне удивился Мечетный, направляясь к толпе пассажиров, уже теснившейся и шумевшей около выхода. Но, заметив, что на длинных ресницах миндалевидных глаз Серафимы скопились слезы, он, двигаясь к выходу, сказал: — Ну ладно, ладно, черт с ним, с несессером. Спасибо за подарок. Я ведь забыл про этот самый свой день рождения.— И он торопливо приложился губами к ее высокому прохладному лбу.— Прощайте.

2

Нет, не о своих вдруг осложнившихся отношениях с Серафимой и конечно же не об истории с несчастным несессером думал Мечетный всю дорогу до аэропорта и сейчас вот, сидя в авиалайнере, несшем его над бесконечной тайгой. Неизвестная женщина со странной фамилией не выходила у него из ума. Лихобаба, Лихобаба... Анна Алексеевна Лихобаба... Неужели она? Неужели столько лет спустя она нашлась? Такое может случиться только в многосерийном телевизионном фильме. Разве в жизни такое бывает? Может, ослышался? Перепутал фамилию?

А если не ослышался, где она? Что делает? Где живет? И наконец, за что ее могли наградить?

Как все это узнать?..

Поднявшись, лайнер лег на курс и, как казалось,

просто застыл в воздухе. Как и всегда на дальних трассах, пассажиры, так суетившиеся и нервничавшие при посадке, рассевшись на своих местах, утихли, перезнакомились, начали обживаться. Кто-то уже докладывал соседу о своем житье-бытье, кто-то раскрыл книгу, кто-то, вытащив из кармана дорожные шахматы, нашел партнера и склонился над доской... Кряжистые ребята с темным зимним загаром на лицах, выпросив у стюардессы бумажные стаканчики, «соображали на троих». Пожилые коренастые женщины, распустив по плечам клетчатые шали, грызли кедровые орешки, аккуратно собирая скорлупу в горсточку. Какой-то бородач, склонив голову на изголовье, тут же уснул, исторгая такой храп, что покрыл им даже вежливый, свистящий звон моторов.

Сидевший рядом с Мечетным молодой румяный попик, от которого сильно потягивало коньячком, попытался тут же с ним заговорить, но нелюдимый сосед не ответил. Тогда жаждущий общения священнослужитель, пригладив длинные волнистые волосы, как бы думая вслух, начал развивать теорию о том, что Иисус Христос, по некоторым сегодняшним соображениям, был пришельцем с других, более старых и мудрых миров, где техника развилась до пределов невероятных, а нравственность поднялась до недосягаемой высоты, с планеты, где люди, давно забыв распри и войны, живут высокогуманными идеалами братства и любви...

— Чепуха,— отозвался наконец Мечетный, не выдержавший философствований своего соседа.

— Ан, не скажите, не скажите,— сразу обрадовался и оживился попик.— Библия — величайший документ, вобравший в себя тысячелетнюю мудрость человечества. Этого ведь и Энгельс не отрицал. Не так ли? Так вот в числе другого прочего в Библии есть прямые указания на прилет пришельцев в те далекие библейские времена. Да, да. Там в Книге Пророка Иезекииля, есть прямые указания на прилет инопланетян на космическом корабле. Вы не читали Библию? И напрасно, напрасно. Очень советую вам почитать, почтеннейший. Иезекииль прямо рассказывает, как в огне и в дыму появились эти пришельцы. Даже о том, как блестели их прозрачные скафандры, которые он сравнивает с кристаллом. Даже технику их передвижения по земле сей Иезекииль описал — колеса, огонь, дымный хвост. Там говорится даже, что, улетая, один инопланетянин оставил ему свиток с поучениями.

Вероятно, какие-то химические или математические формулы. Но Иезекииль, представьте себе, этот свиток... съел. Да, да, так и пишет, съел, дабы приобщиться к божьей благодати. Ну что с него возьмешь. Невежественный дикарь слопал, может быть, ту самую ниточку, которую инопланетяне протянули нам, землянам, из своего благословенного богом мира. Все это описано в Библии. Что вы теперь скажете?

В разговорной колоде ультрамодернового священнослужителя эта библейская история, по-видимому, была козырной картой, позволявшей ему втягивать в беседу самых неразговорчивых людей. Но, погруженный в свои мысли, Мечетный остался глух и к увлекательным приключениям библейского мемуариста.

— Чепуха,— повторил он, будто отмахиваясь от комара.

Но попик не угомонился. Встал, одернул свою габардиновую ряску, достал с полки синюю аэрофлотскую сумку, извлек из нее салфеточку, разложил на столике, а на ней расположил куски розового свежего балыка, икру двух сортов в аккуратных стаканчиках, румяно поджаренные, маслянистые шанежки.

— Давайте потрапезуем, чем бог послал,— предложил он с общительной улыбкой на полных ярких губах.— Потрапезуем дарами обильной нашей уральской земли, извините только за рыбное — сегодня постный день.

— Благодарю, я сыт,— ответил Мечетный, хотя от запахов «посланной богом» постной еды у него, что называется, потекли слюнки.

В руках запасливого соседа оказалась плоская бутылочка. Он отвинтил пробку-стаканчик, наполнил его.

— Ну хоть это-то откушайте — фирменный. Десятилетней выдержки. Сие, как говаривали отцы наши, и монаси приемлют.

— Не пью.

— Ну, как знаете,— вздохнул попик,— не смею неволить,— и опрокинул стаканчик в рот, вытер губы салфеточкой и довольно огладил волнистую бородку.

Мечетный покосился на обстоятельно «трапезующего» соседа и неприязненно подумал: «А бог таки посылает попам довольно щедро»,— и сделал вид, что спит.

Отчаявшись его разговорить, спутник достал из кармана рясы журнал и, включив лампочку индивидуального освещения, принялся решать кроссворд.

Но Мечетный не спал. Нет. Закрыв глаза, чтобы отделаться от назойливого попика, он думал, вспоминал, сопоставлял... Лихобаба... Лихобаба... Анюта... Нет, наверное, все-таки она. Сочетание такой редкой фамилии, имени да еще отчества у кого-то другого казалось просто невероятным. А что, если действительно она? Сначала Мечетному и в голову не приходило, что он будет делать, если выяснится, что радио говорило о той Анюте, которую он когда-то знал. Потом стал думать практически. Ну а если она, как он поступит, что предпримет? Какая досада, что не удалось услышать Указ полностью... Постойте, постойте... Его вдруг осенила мысль: Указ могут повторить в ночном выпуске последних известий.

Открыл глаза, взглянул на часы. Через несколько минут пойдут последние известия. Да, да, и весьма возможно, что Указ повторят. Он сразу встряхнулся и позвонил.

Тоненькая стюардесса с кукольным личиком тотчас же наклонилась над ним.

— Вы звали?

— Да. Я прошу вас передать командиру, что мне хотелось бы послушать выпуск последних известий.

— К сожалению, нельзя. В рубку пилотов пассажирам теперь входить строжайше воспрещается. В связи с этими угонами — новая инструкция...

— Обещаю вам самолет не угонять. Просто доложите командиру, что пассажир просит его разрешения пройти в пилотскую кабину и прослушать известия.— И хотя Мечетный никогда не упоминал о своем звании и только в праздники надевал Золотую Звездочку, тут он добавил для верности: — Просит Герой Советского Союза, кандидат технических наук, инженер Мечетный.

— Хорошо. Я скажу.— Девушка скрылась.

— Простите великодушно мою назойливость. Назовите, пожалуйста, популярное слабительное средство из восьми букв,— попросил его вдруг попик, отрываясь от кроссворда.

— Что, что?

— Кроссворд не решается. Зашел в тупик. Все уперлось в это загадочное слабительное. Уж вы извините.

— Касторка,— ответил Мечетный и двинулся по проходу вслед за девушкой.

Теперь, ночью, когда огни в салоне были притушены, казалось, что самолет не летит, а висит в воздухе. В иллюминаторе виднелось черное небо, изрешеченное

ярчайшими звездами. И оно тоже висело над белым облачным полем, курчавившимся, как баранья шкура. Это подсвеченное луной бесконечное поле медленно отплывало назад.

Первый и второй пилоты в белых рубашках с закатанными рукавами сидели неподвижно, как монументы, на фоне толпы светящихся приборов. Бортрадист, худенький курносый паренек, протянул Мечетному большие пухлые наушники.

— Пожалуйста, известия сейчас пойдут,— и полюбопытствовал: — А зачем вам? Что там передадут? Чего ждете?

Мечетный сделал вид, что не расслышал вопроса. Он не знал, что ответить, и, подумав об этом, сам удивился. Чего он ломает голову? Что случилось? Почему вдруг накатила на него эта волна, накатила и захлестнула все его мысли? Странно. Очень странно.

В последние годы жизнь его наладилась, шла ровно, по проложенной им самим колее. Мало что, кроме работы, волновало и увлекало его. Жил строго, по составленному им самим графику. Зимой и летом в трусах делал на балконе гимнастику, обливался ледяной водой. Сам варил себе кофе, жарил яичницу с грудинкой, выпивал стакан кефиру. Ровно в девять подводил свой «Жигуленок» к крыльцу лаборатории и появлялся в ней с такой точностью, что по приходу шефа сотрудники могли проверять часы. В лаборатории, где сейчас велись изыскательские работы больших масштабов, были, конечно, и трудности, и переживания, и волнения, но и в эти часы инженер Мечетный внешне сохранял спокойствие и даже нагоняй давал своим сотрудникам тем же ровным, или, как они сами определяли, «тусклым», голосом.

И вот он, славящийся и гордящийся своим хладнокровием, стоит в коридорчике тесной кабины и, прижимая к уху губчатый наушник, явно волнуется на глазах этого курносого паренька.

...Последние известия текут в наушниках в привычном ритме. Звучат знакомые фразы: «В Колонном зале Дома союзов состоялось... досрочно достроена и сдана в эксплуатацию... в результате предмайского соревнования на восемь дней раньше срока пущен агрегат самой большой в Европе... успешно закончили культивацию посевов зяби и дали обязательства...». Ага, вот! «Указом Президиума Верховного Совета...» Мечетный просто втискивает

в щеку мягкий губчатый наушник и чувствует, что рука у него вспотела от волнения. «...За исключительное мужество и самоотверженность, проявленные при спасении школьников, начальник высокоширотной геологической партии Лихобаба Анна Алексеевна награждается...»

Лихобаба Анна Алексеевна. Мечетный протянул радисту наушники, рука его дрожала.

— Ну что, прослушали? — Курносый парень просто изнемогал от любопытства...— Что сказали-то? Хорошее? Плохое?

— Не знаю,— ответил Мечетный и направился к двери.

В полумраке салона можно было все-таки кое-что рассмотреть. Молодой парень в могучей бороде, который ухитрился перехрапеть звон моторов, сейчас проснулся и, разложив на откидном столике какие-то бумаги, старательно писал. Те трое, в брезентовых штормовках, играли в карты. Тетки-колхозницы, что щелкали кедровые орешки, спали, закутавшись в свои клетчатые шали. Шахматисты все еще млели над доской. Спала и куколка-стюардесса, свернувшись, как котенок, в свободном кресле. Словом, комфортабельнейший самолет на этом далеком рейсе теперь напоминал зал ожидания на какой-нибудь маленькой станции.

Попик тоже спал. Но, когда Мечетный усаживался с ним рядом, он открыл глаза.

— Великая вам благодарность за касторку.

— За какую касторку?

— А за ту самую, которую вы по своему великомудрию мне подсказали. Сижу, ломаю голову: Иисусе Христе, слабительное, какое же такое народное слабительное. Ревень? Нет... Чернослив — не подходит... Олиум Рициний? Два слова. А тут благодаря вашей догадливости кроссворд сразу решился. Позвольте поинтересоваться, что же вы такое услышали в последних известиях?

Не ответив, Мечетный снова откинулся на изголовье и плотно закрыл глаза. Теперь он обдумывал новые сведения, полученные в последних известиях. Спасала школьников. Это, казалось бы, подтверждало его догадку. Спасать, помогать — в характере Анюты. Но геолог, начальник партии... Геология — вообще работа для сильных, закаленных людей... Типично мужское дело. И потом геолог и школьники. Какая тут связь? Ведь геологические партии работают обычно вдали от населенных мест, тем более

на малообжитом Севере, где, судя по всему, и произошло это дело. И потом, ну, спаси этих школьников учитель, милиционер, какой-нибудь рыбак, тракторист или там на Севере — олений пастух, все было бы ясно, а здесь геолог. И вообще могла ли девушка с тонким детским голоском, который сейчас звенел в ушах Мечетного, войти в эту суровую профессию? Маловероятно. Но вот спасение ребят от какой-то, и видимо немалой, беды — это на Анюту похоже.

Про себя он уже решил: кто бы она ни была, эта Лихобаба Анна Алексеевна, он начнет ее розыск. По прибытии в Гагру напишет ей. Напишет? А куда? Север — земля без края. И там, конечно, сейчас работает много экспедиций, ищут нефть, газ, редкие металлы, алмазы... Но вот орден! Уже зацепка. Может быть, это поможет в розыске. Не многие, очень не многие так получают сейчас ордена. От ордена, пожалуй, и можно протянуть ниточку к Лихобабе Анне Алексеевне. Написать в Верховный Совет или в Министерство геологии. Но ведь посмеются. Скажут, нашел себе справочное бюро. Тут уже и Звезда Героя, наверное, не поможет. И все-таки стоит попробовать. Может, ответят. Но ждать этот ответ, наверное, долго и куда просить ответить: в санаторий, в Гагру, или на завод, в лабораторию?

Обдумывая, как ему найти эту самую Анну Лихобабу, Мечетный заснул и открыл глаза, когда попик осторожно тряс его за плечи, говоря извиняющимся тоном:

— Осмелюсь побеспокоить, Москва — столица нашей Родины. Город-герой. Подлетаем. Огни аэродрома уже видны, скоро посадка.

3

Проснулся Мечетный с ощущением неясной радости. Что такое, почему? Отпуск? Курорт? Нет, не только это. И тут вспомнил: ах да, этот Указ! Радость сменилась беспокойством, тревогой. Ну и что же теперь делать?

А тут еще выяснилось, что из-за встречного ветра самолет опоздал и тот, который должен был доставить Мечетного до места назначения, уже улетел. Следующий же рейс в этом направлении будет лишь вечером. В запасе целый день. Но день в Москве — это тоже неплохо.

Прокомпостировав билет и оставив в камере хранения чемодан, Мечетный зашагал на остановку автобуса-экспресса. Многие ожидающие были знакомы по самолету. Впереди оказался какой-то военный. Он стоял, уткнувшись в газету, и, как видно, тщательнейше изучал отчет о хоккейных баталиях. Мечетный был тоже не чужд хоккейных страстей и через плечо соседа принялся читать отчет. И тут взгляд его упал на напечатанный на видном месте уже знакомый ему Указ и на заметку под этим Указом, озаглавленную «Подвиг геолога».

Забывшись, он просто навалился на плечо владельца газеты. Тот удивленно обернулся.

— Дайте, дайте, пожалуйста... На минуточку. Мне надо прочесть.

Военный осмотрел его с головы до ног, но газету отдал.

— Пожалуйста. Возьмите себе, я уже проглядел. Но «Спартачок»-то, «Спартачок» как идет... А? Что вы скажете?

Вот что узнал Владимир Онуфриевич Мечетный из заметки. На Крайнем Севере, в дельте большой реки, недалеко от промыслового поселка Рыбачий, ребята-первоклассники, забавляясь рыбной ловлей, сгрудились на молодой льдине, а льдина оторвалась от припая. Течение, подгоняемое ветром, потянуло в открытое море. Испугавшись, дети бросились на другой конец льдины, она перевернулась. Все очутились в воде. И тут оказавшийся недалеко руководитель геологической партии Лихобаба Анна Алексеевна бросилась в воду и одного за другим спасла ребят.

Заметка была написана наспех, как говорится, к Указу. Подробности этого удивительного происшествия не сообщались. Как могла одна женщина спасти восемь школьников, тоже не разъяснялось. Отсутствие реальных фактов восполнялось в заметке похвальными словами в адрес Лихобабы Анны Алексеевны и громкими рассуждениями о добром и самоотверженном сердце советских женщин. О личности и биографии спасительницы не говорилось ни слова. Геолог, и все тут.

И тем не менее, несколько раз прочитав заметку, Мечетный почему-то уверился, что совершившая необыкновенный этот поступок женщина именно и есть та самая Анюта, которую в дни войны он знал, любил, которая столько для него сделала и которую он внезапно потерял да так и не нашел, хотя долго и упорно разыскивал после

войны. Она исчезла, как бы растворилась среди миллионов воинов, возвращавшихся в те дни с фронта в родные города и села.

Постепенно Мечетный смирился с неудачей розысков. Было по горло дела, сначала продолжение учебы в институте, практика, овладение инженерной профессией. Потом, честно говоря, он уже и позабыл о своем необыкновенном старом романе. Только иногда, очень редко, эта самая Анюта приходила к нему в снах, а с пробуждением уходила в небытие, и сама память о ней оттеснялась все дальше и дальше делами, бытом, женщинами, с которыми он встречался и дружил, докторской диссертацией, отнимавшей в последние годы все его свободное время.

И вот этот Указ. Она ли живет где-то там, на далеком и неведомом ему Севере? Ей ли адресована эта награда? Той ли девушке с детским голоском, которую он знал, или незнакомой женщине, ее однофамилице, одному из бесчисленных геологов, которые сейчас странствуют по глухим краям громадной страны, отыскивая в земле скрытые от людей богатства.

«Наверное и вероятнее всего, это все же однофамилица»,— пробовал он успокоить себя. Но старая, почти забытая любовь теперь воскресла и заслонила от него и сегодняшие заботы и радость от того, что с сурового Урала едет он отдыхать в благословенный край, где все уже цветет и благоухает, где ему предстоит провести отпуск, первый отпуск за два нелегких и суматошных года, и где, если повезет, он закончит наконец свою диссертацию.

Инженер Мечетный давно не был в Москве. Лаборатория его по научной линии была в непосредственной связи с Новосибирским филиалом Академии наук. Со всеми серьезными делами он ездил туда. Нужды в посещении столицы не было, и он, может быть, даже и неосознанно, избегал ее.

И вот теперь роскошный автобус-экспресс с красивым названием «Икарус» мягко вносил его в Москву. Слева и справа от шоссе возникали новые, совершенно незнакомые Мечетному районы, дома-кристаллы поднимались над зелеными полями, упираясь своими плоскими крышами в голубое весеннее небо, а между ними тут и там виднелись приземистые постройки необычной архитектуры, и можно было только догадываться, что это: торговый центр, или кинотеатр, или крытый рынок.

Наконец автобус вынес его на широкий и тоже незнакомый проспект, разделенный на три полотна шеренгами уже немолодых, покрытых нежной, желтоватой весенней зеленью лип. Архитектура стала спокойней, привычней, приблизилась к облику знакомой Мечетному Москвы. Но этот проспект тоже был новый. Все пассажиры, прилетевшие с Мечетным, прильнув к стеклам, жадно вглядывались в эту Москву, обсуждали ее новинки. Три тетки в клетчатых шалях застыли с ореховой скорлупой на губах, шумно дивясь обилию магазинных витрин.

Но сам Мечетный сидел погруженный в свои мысли и почти не смотрел на Москву. Он думал, думал, думал. Думал о девушке Анюте, которая так внезапно вернулась в его жизнь. Это странно, но он совершенно не помнил ее лица. Перед его мысленным взором неясно вырисовывалась лишь фигурка маленького смешного солдатика, в пилотке, надвинутой на уши, как капор, в непомерном бушлате, перетянутом так туго, что фигурка эта напоминала цифру 8. И еще вспоминались начищенные кирзовые сапоги. Они были тоже непомерно велики, из-за чего, судя по всему, легкая походка девушки была какой-то скребущей.

В роте, которой командовал капитан Владимир Мечетный, относились к своему маленькому санинструктору шутливо, посмеивались над ее фамилией Лихобаба и, игнорируя ее сержантские лычки, звали по имени — Анной, Анютой, Аней, Нюрой и даже Нюшей. По фамилии, с упоминанием ее звания — старший сержант обращался к ней только он, Мечетный. Причем, когда он это ее звание произносил, она сразу вытягивалась и брала руки по швам.

Смешная фигурка маленького солдатика легко вставала в памяти, а вот лицо нет. Вспоминались лишь рыжеватый чуб, всегда выбивавшийся из-под надвинутой на уши пилотки, да яркие веснушки, которыми была густо побрызгана ее переносица. И еще отчетливо вспоминался голос, вернее, голосок, тонкий, почти детский. Просто звенело в ушах: «Товарищ капитан... слушаюсь, товарищ капитан... будет исполнено, товарищ капитан... никак нет, товарищ капитан».

Мечетный так углубился в мысленные поиски утерянного, забытого образа, что прослушал обращенные к нему слова молодого попика, оказавшегося его соседом и по автобусу.

— Что вы сказали?

— Приглашаю вас полюбоваться, какая красота! — Попик показывал на окно, за которым плыли пейзажи Москвы.— Ныне мы пожинаем щедрые плоды трудов своих.— И, перекрестившись на старенькую пеструю церковку, как бы заблудившуюся между строгими прямоугольниками и кубами, прихотливо выстроившимися вдоль новых улиц, добавил с пафосом: — Нет предела трудам народа нашего и щедрости правительства нашего.

— Да, да, конечно.

Мечетный продолжал раздумывать о своем. Со стереоскопической четкостью, в мельчайших подробностях встали перед ним его последние военные сутки. В самый разгар весеннего наступления рота Мечетного, считавшаяся штурмовой и двигавшаяся в авангарде авангардного полка, получила задачу с ходу форсировать Одер. Переправочные средства еще не были подтянуты. Мостопарки тащились где-то позади по разбитым войною колеям. Роте предстояло переправиться на подсобных средствах.

Река была еще подо льдом, но в месте, избранном для форсирования, на речной стремнине была широкая, незамерзающая, курящаяся паром полынья. Воздушная разведка установила: здесь у неприятеля укреплений нет. По-видимому, считалось, что полынья эта для форсирования — место самое неудобное. Вот его и избрали для первого броска через реку, сюда и нацелили штурмовую роту.

Весна еще только завязывалась. Были очень морозные ночи. Вокруг полыньи все одето крупным пушистым инеем, особенно оттенявшим черноту быстро несущегося водного потока. Опытным, закаленным в долгом и непрерывном наступлении от самого Львова бойцам штурмовой роты удалось под покровом ночного тумана на подсобных средствах — держась за полено, бревно, какую-нибудь дверь или мешок, набитый соломой,— словом, воспользовавшись всем, что оказалось под рукой, удалось без существенных потерь вплавь форсировать полынью. Через шуршащие заросли вмерзших в лед камышей прошли без единого выстрела. Добрались до берега, гремя обледенелой одеждой, выбрались на него.

Особенно запомнились Мечетному первые секунды форсирования: страх перед этим быстрым потоком, перед ледяной водой, перед неизвестностью, ожидавшей на той, на неприятельской стороне. Понимая, что бойцы испытывают эту тягостную нерешительность, Мечетный бросился

в воду первым. Бросился, поплыл, и, хотя по протоке несло мелкие льдины и мокрый снег, который называется салом, он, к удивлению своему, даже не ощущал холода. Благополучно выбравшись на неприятельский берег, он приказал роте рыть окопы под защитой высокого обрывистого откоса. И сам работал лопатой. Копали яростно. Бойцы знали, что только вот такая самозабвенная работа согреет и убережет от простуды. Еще знали они, что с восходом солнца их обязательно обнаружат и попытаются любыми средствами сбросить в воду или уничтожить. Работали так, что от людей валил пар, как от загнанных лошадей.

И когда из пелены густого тумана поднялся краешек оранжевого, озябшего солнца, узенькие окопчики и пулеметные гнезда были уже отрыты, укреплены и по возможности замаскированы. На той, на нашей, стороне уже подтянули плавсредства. Через протоку ходило несколько надувных лодок. На одной из этих лодок подвезли канистру со спиртом. Вместе со старым усатым бойцом-санитаром от окопчика к окопчику ходил маленький старший сержант и дрожащей рукой подносил согревающую дозу в аптекарской мензурке. Спирт обжигал рот. Иные морщились, кашляли, а многоопытный санитар советовал:

— Со сталинградской закуской, со снежком, со снежком.

Санинструктор детским своим голоском убеждала:

— Не бойтесь. Это же лекарство. Лекарство от простуды.

Подошла эта пара и к капитану Мечетному, уже расположившему свой командный пункт в пещерке, врытой в крутой берег. Он сидел у костра в нательной рубашке. Одежда и обувь сушились. В роте знали, что у их командира малопонятная странность. Он не брал в рот хмельного и свою «ворошиловскую дозу» неизменно отдавал кому-нибудь из комвзводов, тому, кто в этот день особенно отличился. В силу этого даже подозревали, не принадлежит ли он к какой-нибудь изуверской безалкогольной секте.

Так вот, добравшись до наблюдательного пункта, усатый санитар осторожно, боясь, как бы не уронить на снег драгоценной капли, налил мензурку и протянул комроты вместе с комком снега.

— Ух, как согреет, товарищ капитан...

Но Мечетный отмахнулся от него, как от назойливого комара:

— Ступайте, не буду.

И тогда, это Мечетный хорошо запомнил, возле него возник маленький сержант и детским своим голоском, в котором вдруг зазвенели приказные нотки, произнес:

— Пейте, товарищ капитан. Это лекарство. Пейте в медицинских целях. Не то простудитесь и сляжете — пейте.

И Мечетный, посмотрев на своего санинструктора, себе на удивление, опрокинул мензурку в рот, передернув плечами от отвращения. А девушка, уже протягивая ему снег снова как бы приказывала:

— Заешьте, нельзя без закуски...

Пара двинулась дальше, к следующему окопчику, и вот тогда капитан Мечетный, чувствуя, как тепло разливается по телу, как сразу унялась зябкая дрожь и перестали стучать зубы, подумал: «А девчонка — молодец».

Как раз в это мгновение и послышался крик дозорного:

— Воздух!

Сквозь редеющий туман просочился скребущий звук моторов и где-то в небе скорее угадался, чем увиделся, неторопливый неприятельский самолет. «Рама»! Так называли фронтовики воздушного разведчика — двухфюзеляжный самолет «фокке-вульф», обычно плавающий высоко в небе на труднодостижимой для зениток высоте. Мечетный знал, конечно, что сулит появление «рамы». Говорили, что с помощью своих приборов самолет этот может с большой высоты разглядеть и заснять каждую морщинку местности, каждого отдельного солдата, может по радио предупредить своих о любом передвижении самых маленьких групп и вызвать на них прицельный огонь.

Натянув подсохшую одежду, капитан выскочил из землянки:

— К бою!

И пошел вдоль линии окопчиков, вырытых под защитой крутого прибрежного откоса. У него были опытные бойцы. Они форсировали на своем пути немало водных преград, в том числе и широкую Вислу, при переходе которой подразделение Мечетного тоже шло в ударном эшелоне. Теперь вот цепь окопчиков, врытых в гребень откоса, окопчиков, недоступных для пуль и обычного снаряда,

надежно прикрывала захваченный кусок берега. «Тет де пон»,— вспомнил вдруг капитан уставное название такой вот захваченной прибрежной территории. Но «рама», конечно, видела этот «тет де пон», видела лодки, которые уже перевозили через протоку живую силу и грузы, видела скопление солдат у этой, только что наведенной переправы.

Капитан отдал приказание маскироваться. Чем? А хотя бы вот этим сухим камышом, который во множестве торчит изо льда в замерзшей части речного русла. Бойцы работали споровисто.

Но капитан знал: у «рамы» очень зоркий глаз и очень опытные пилоты-разведчики. От них не скроется даже самая тщательная, а не такая вот, скороспелая, маскировка.

— К бою! — повторил приказ Мечетный, пробегая вдоль линии окопчиков, и, натолкнувшись на девушку и усатого солдата, все еще разносивших «горючее», выбранился: — Путаетесь тут под ногами... Готовьте в затишке место для раненых. Быстро.

— Оно уже готово, товарищ капитан,— ответила девушка, пристукнув при этом каблуками.

И действительно, в крутизну берега была врыта пещерка. Земляной вход в нее был прикрыт плащ-палаткой. У входа стояли наготове свернутые носилки, а над входом обвисал в безветрии белый флажок с красным крестом.

Теперь вот, вспоминая, Мечетный устыдился, что в спешке даже и не поблагодарил тогда своего рачительного санинструктора. Да и некогда было. Из-за гребня берега уже доносился нарастающий шум моторов. К крохотному предмостному укреплению, к этому пятачку захваченной за рекой уже немецкой земли, двигались машины. «Ага, очухались, начинается»,— подумал он и, приникнув к окулярам бинокля, разглядел вдали приближающиеся машины.

— Едут! — доложил боец из дозора.— Четыре бронетранспортера с солдатами. И простые грузовики... Солдаты в черных бушлатах.

— Минометы? Пушки?

— Минометов и пушек не видно. Похоже, только с автоматами.

Было ясно, «рама» сделала свое дело. К месту форсирования подтягивались войска. Черные — значит СС.

Отсутствие серьезных огневых средств говорило, что форсирование, произведенное на этом участке, для неприятельского командования было все-таки неожиданным. Оно направило к предмостному укреплению первое, что оказалось под руками... Но эсэсовцы! Старый фронтовик, Мечетный знал, что это такое. Встречался он с этими эсэсовцами, скрещивал с ними оружие. Вояки хоть куда. Но и в его роте — закаленные солдаты. Знал он и то, что захваченный им приречный пятачок слишком мал для настоящего боя. Крутой прибрежный и укрепленный теперь окопчиками откос защитит от прямой атаки. Танками тоже его не взять. Разве что пустят их в обход по пойме. Да и артиллерия мало что может сделать солдатам, врубившимся в берег. А вот миномет с навесным огнем... Да, минометы... Или если «рама», продолжавшая с зудением плавать в воздухе в окружении зенитных разрывов, вызовет авиацию.

Все это разом промелькнуло в голове Мечетного. Он приказал роте рассредоточиться вдоль откоса. Сам влез в узкую земляную щель, вырытую на самом гребне для дозорного. Отсюда открывался вид на зеленые пространства озимей, вытаявших уже из-под снега, на дорогу, которая, петляя вдоль овражка, вела в какое-то селение. По этой-то дороге и приближались машины. Трофейный цейсовский бинокль помог Мечетному рассмотреть даже лица солдат противника. Это были дюжие, один к одному, молодцы, совсем непохожие на немецких пехотинцев 1945 года, уже познавших горе и страх длинного отступления. С такими Мечетный уже встречался на Висле, когда шли бои за Сандомирский плацдарм. «Черные черти», как называли солдаты эсэсовцев, дрались умело, контратаковали напористо, упорно и, несмотря на густой огонь артиллерии, наносивший им немалый урон, продолжали снова и снова бросаться в контратаки. Умирать они тоже умели. Умирали, сражаясь. И несмотря на зловещую славу этих отборных частей, нельзя было не отдать должное их боевым качествам.

К моменту, когда колонна машин остановилась поодаль и солдаты, высыпавшие из кузовов, тут же приняли боевой порядок, Мечетный уже прикинул, что численно они не очень превосходят его роту. Штыков сто, не больше. Такие силы он мог из-за прикрытия берега отразить без особых даже потерь. Только бы не авиация, только бы не успели подтянуть минометы!

— Подпустить... Без приказа не стрелять. Команда — свисток,— скомандовал он, взволнованно рассматривая уже приближающегося неприятеля. Успокаивал себя: обороняться легче, чем наступать,— откосы берега их надежно прикроют.— Передать взводным: только прицельный огонь, с короткой дистанции!

Волновался ли он при этом? Конечно, волновался, хотя его рота уже била этих «черных чертей» на Сандомирском плацдарме. И как била! Правда, и сама понесла немалые потери, отражая их яростные атаки. Но ведь то, что однажды пережито на войне, опытного воина уже не пугает.

— Бить прицельно,— повторил он приказ.

Но, пока приказ этот доходил до бойцов, все изменилось. Воздух загудел. В тусклом сереньком небе появились неприятельские самолеты. Мечетный сразу определил — самолеты-пикировщики «Ю-87», «лаптежники», по фронтовому прозвищу. И хотя тотчас же с правого берега ударили по ним зенитки и в небе стали распускаться как бы пухлые коробочки хлопка, самолеты эти, зайдя со стороны солнца и будто соскальзывая с горы, устремились вниз на занятый Мечетным пятачок. О, этот напряженный рев пикирующих самолетов! Даже вспоминать о нем жутко. Но, втиснувшись в мерзлую землю своей щели, Мечетный все же следил за их атакой.

Бомбы, ясно видные на сером небе, отделились от самолетов и, как брызги, стряхнутые с кисти, со свистом летели вниз. Рев самолетов заглушал свист падающих бомб. Удар был нанесен тремя сериями, и все три серии бомб легли в прибрежной низине, рота не понесла особых потерь. Убило двух бойцов, которые, не выдержав адского свиста, сорвались со своих мест и бросились бежать к реке; потопило резиновую лодку с подкреплением и подожгло сухой камыш.

«Ничего, пронесло»,— подумал с облегчением Мечетный, отирая рукавом со лба обильный пот. Но он знал, хорошо знал: радоваться рано. «Рама», конечно, все видела сверху. Видела промах, скорректировала. «Юнкерсы» развернутся и пойдут на второй заход. Воздушные разведчики точно наведут эту вторую атаку.

— Из окопов не вылезать, к воде не спускаться,— скомандовал Мечетный, но через малое время передал другую команду: — Приготовиться к отражению атаки с земли! — И повторил: — Без приказа не стрелять!

Тем, что двигались по полю в черных бушлатах, не был виден промах бомбового удара. Они пошли, вернее, ринулись в атаку. Бежали, не нагибаясь, строча на ходу из автоматов, и Мечетному под свист пуль, визжавших над головой, вдруг вспомнилась атака каппелевцев в фильме «Чапаев», виденном им давным-давно. Он снова повторил приказ:

— Бить прицельно, каждому по своей мишени, по свистку.

Наступающие приближались. Берег молчал. «Молодцы ребята»,— думал Мечетный, сам прижимаясь щекой к прикладу винтовки, принесенной ему ординарцем. Недаром с неделю, когда наступление остановилось на Сандомирском плацдарме, штурмовая его рота по приказу маршала Конева вместо отдыха снова и снова, до изнеможения отрабатывала разные варианты наступательных операций. Ворчали бойцы: столько времени от самого Львова в непрерывном наступлении. Теперь вот, пока копятся силы для нового рывка, самая бы пора отдохнуть, а тут опять и опять бегай, ползай по снегу, стреляй в пустоту, измученным вались спать на еловые лапы у костра.

Зато, когда вот тут, за рекой Одер, солдаты его роты перед лицом неприятельской атаки сумели до поры подавить в себе жгучее желание стрелять, Мечетный благословлял эти напряженные и утомительные учения.

Атакующие были уже близко. Они бежали в полный рост. Мечетный хорошо различал их возбужденные лица, их потные лбы. Он взял на мушку высокого парня, который, казалось, двигался прямо на него.

— Огонь! — крикнул Мечетный наконец, нажимая спусковой крючок, и потом уже для верности дал свисток.

Вся кромка откоса ощетинилась судорожными огнями. Воздух задрожал от автоматных очередей. На флангах заработали пулеметы. Треск отдельных выстрелов слился в напряженный грохот, как будто рвали туго накрахмаленный коленкор. Несколько темных фигур сразу упали в зелень озими. Появившиеся санитары стали вытаскивать раненых из огня. Но наступление продолжалось. Солдат в черном, которого взял на мушку Мечетный, перебежками двигался вперед. Он был совсем уже близко.

— Огонь, огонь! — неистово хрипел капитан.

Однако в пылу борьбы он не терял голову. Помнил, что оставаться на укрепленной позиции больше нельзя, знал, что «рама», плавающая в небе, откорректировала цели и следующие серии бомб упадут точно на окопы. Надо поднимать людей с берегового откоса, вырвать их из удобных, защищенных позиций и бросить на открытое поле. Знал, что и судьба маленького и такого важного для дальнейшего наступления пятачка, захваченного на немецком берегу, и жизнь людей его роты, столь успешно и при малых потерях форсировавшей водную преграду, и в конечном счете жизнь его самого, капитана Мечетного, зависят от того, как сумеет рота сменить позицию. Для этого надо поднимать людей, заставить их перешагнуть через смертный рубеж защищающего их откоса, выскочить на открытое поле и бежать навстречу противнику.

Для этого мало свистка, мало команды. Для этого нужен только личный пример. И Мечетный, весь напружинившись, одним махом перескочил через откос и, подняв пистолет, ринулся по полю. Ринулся с криком «Ура! За Родину, за Сталина!». Разумеется, в грохоте боя никто, разве что последовавший за ним его ординарец, не услышал этот крик. Но пример, личный пример командира подействовал, и, устремляясь вперед за солдатами в черном, которые, упорно отстреливаясь, стали отступать к своим машинам, Мечетный, не оглядываясь, знал, что его люди преодолели смертный рубеж и, наступая, следуют за своим командиром.

Торжество, яростное торжество, какое ему за всю войну не приходилось испытывать ни разу на всем боевом пути — от Нижней Волги до этой вот немецкой реки, овладело им. С надсадным криком «Вперед, за Родину!» он бежал по полю, слыша за собой топот своих солдат. Споткнулся об убитого неприятеля, упал, вскочил, побежал дальше, помня лишь о том, что нельзя отрываться от уходящего противника, надо наступать ему на пятки.

Он не слышал ни свиста пикирующих «лаптежников», ни грохота бомб, разрывавшихся позади у пустых окопчиков на гребне берега, ни шипения осколков, пролетавших над головой. В эти мгновения его вело вперед упоение боем, какое, может быть, испытывали в древности всадники, врубаясь мечами в гущу вражеского строя. Он снова хотел крикнуть «ура», но в это мгновение где-то рядом полыхнуло красноватым огнем, что-то резануло его по лицу, свет погас, и он упал.

Ах, как ясно вспоминалось теперь, столько лет спустя, мгновение этого падения, которое порой еще и теперь приходит к нему во сне. Эта последняя секунда атаки. Этот удар о жесткую, мерзлую землю, холодное дыхание замерзших озимых. Вспоминался во сне обрывок и последней мысли: все, конец.

Сколько пролежал без сознания, он так и не узнал. Очнувшись, ощутил резкую боль в лице. Все тело звенело и ныло, будто через него пропускали электрический ток. И еще ощутил он, что кто-то его тащит. Сквозь звон в ушах донесся тоненький, будто детский, голосок:

— Товарищ капитан, потерпите... Миленький, хороший, потерпите немножко... Ну, совсем немножечко.

Он узнал голос своего санинструктора, понял, что его волокут, понял, что сам он кричит или стонет, и, поняв, стиснул челюсти так, что заскрипели зубы. Потом пришел в себя, но темнота не рассеялась: выбиты глаза, понял он. И снова потерял сознание.

Вторично очнулся, когда шумы боя доносились уже издали. За рекой грохотали пушки, над головой шелестели снаряды, и земля дрожала от разрывов, происходивших где-то уже в глубине занятой территории. Он сообразил, что к месту переправы уже подтянута артиллерия и что она начала отсечный огонь, прикрывая завоеванный плацдарм. Понял, обрадовался, повернул голову в сторону разрывов и опять ничего не увидел — густая, плотная тьма, будто он был погружен в чернила.

Вблизи, над его ухом, кто-то плакал. Проворные руки перевязывали ему голову. Как-то странно неловко перевязывали, и перевязывающий сам постанывал. Постанывал и в то же время лепетал:

— Больно? Я знаю, мне тоже больно. Ну, потерпите. Потерпите, товарищ капитан. Сейчас будет лучше. Сейчас все будет хорошо.

Ну конечно же это его старший сержант медицинской службы, девушка со странной фамилией.

— А немцы? А наш пятачок? Удалось его удержать?

— Удалось, миленький, удалось, хороший. Пушкари, они бьют из-за реки. Разнесли все их машины. И подкрепление на резиновых лодках подходит. Вы не заботьтесь, товарищ капитан, не заботьтесь, все хорошо. Артиллеристы их так жахнули. О-ох! — Последняя фраза перешла в стон.

И снова забытье. Потом хлюпанье воды. Всплески весел, незнакомый мужской голос с северным, жестким говорком:

— Ты о себе подумай, сестрица. Вон у тебя повязка-то как набрякла. Опять кровушка пошла. Больно?

— Ох, мамочки-тетечки, больно! Но ничего, ничего. А ему-то каково?

И тут Мечетный понял, что голова его лежит на чьих-то коленях, и понял, на чьих именно.

— Что с вами, старший сержант Лихобаба?

— Ничего, ничего, товарищ капитан. Потерпите. Сейчас вот переплывем, а там до санбата машиной. О-ох!

Что-то теплое капнуло на руку Мечетного.

— Эх, капитан, девке этой тебе в ноги поклониться надо. Сама раненая, а тебя, можно сказать, из самого огня выхватила,— говорил жестковатый голос.— От горшка два вершка, и как только она тебя такого подняла?

— А самого-то тебя как, дядя? — спросил кто-то.

— А... ни черта. Поцарапало. Обидно только, когда царапнуло-то. И куда. Со всеми ведь шел, не отставал. Шел впереди других некоторых. И — ка́ тебе, угодило в задницу. Теперь в санбате житья не дадут; щепетильное место.

— То-то я смотрю, сидишь как собака на заборе.

— Ну вот, начинается. Давай-давай...

Мечетный сквозь густой звон в ушах отчетливо слышал разговор. Но тело свое плохо чувствовал, оно будто онемело, как, скажем, нога, когда ее отсидишь. Контузия, понял он. И, поняв, немного успокоился. Контузия уже была у него под Сталинградом. Около месяца провалялся он в госпитале, в маленьком городке. Он даже «выгадал» тогда на контузии, получив по выходе из госпиталя две недели «на поправку», но этих двух недель не исчерпал, вернулся в часть. Однако глаза. Что с глазами? Эта острая жгучая боль, как будто кто-то с садистским усердием пальцами давит ему на роговицу. И ничего, ну ничего не видят, кругом черно.

— Сержант, что со мной?

— Бомба авиационная. Воздухом откинуло вас. Вроде бы серьезно и не задело, а вот лицо все в крови. Первую помощь я вам оказала.

— А глаза? Почему не вижу?

— Так я же вам голову забинтовала. Ну, может, кровью залило глаза. Ой, мамочки-тетечки... О-о-ох...

— А с вами-то что?

— Не знаю, рука.

— Сильно?

— Больно очень. Так вроде бы ничего, и кровь уже не течет, а вот как повернусь...

— Когда же?

— Да вот когда я вас в воронку укладывала. Пулевое ранение. Я бы сама с вами и не управилась, да вот этот товарищ солдат помог.

— Перевязывает вас, а у самой кровь из рукава,— поясняет солдат, которого так нескладно ранило.

Толстый бок резиновой лодки зашуршал о камыш.

— Слезай, приехали,— говорит кто-то.

Но Мечетный это уже не слышит, он снова впал в забытье.

4

Маленький плацдарм за Одером, этот первый занятый нами кусок немецкой земли, удалось закрепить и расширить. Но потери при этом были немалые, и все палатки медсанбата, раскинутые в негустом сосновом бору, оказались забиты ранеными. Мест не было, и так как женщин среди раненых, кроме маленького сержанта со странной фамилией, не оказалось, девушку положили в общую палатку, и по ее просьбе койка ее оказалась рядом с койкой капитана Мечетного.

Персонал медсанбата в этот день сбился с ног. Раненых из-за реки везли и везли. Хирурги работали не разгибаясь и только под вечер сумели осмотреть и как следует перевязать капитана Мечетного и старшего сержанта медицинской службы Лихобабу. Промыв девушке пулевую рану, перевязав ее, хирург наложил гипсовую повязку и приказал носить руку на бинте.

— До свадьбы заживет,— сказал он, подмигивая в сторону капитана.

С Мечетным было хуже. Контузия не очень сильная, ничем, кроме госпитальной лежки, не угрожала, а вот с глазами дело было плохо. Когда при первой обработке отклеили засохшие бинты и удалили запекшуюся кровь, хирург даже свистнул. Ничего не сказав, он приказал снова наложить повязку, не произнеся обычных ободряющих слов. Только распорядился:

— В пепеге обоих. Там окулисты разберутся. Заполните на них карточки передового района.

ППГ. Мечетный не знал этого термина. В самом сочетании этих букв послышалось ему что-то зловещее.

— А что это там у вас, медиков, за пепеге? — спросил он у старшего сержанта.

— Полевой подвижной госпиталь, товарищ капитан. Он во втором эшелоне. Там есть специалисты. Они и займутся вашими глазами как следует.

Лица девушки Мечетный, конечно, не видел, а по голосу заподозрил, что она его просто утешает.

— Так что же — глаз совсем нет, что ли?

— Да что вы, что вы! — испугалась девушка.— Глаза целы. Просто неспециалисту определить трудно: глазницы — сплошная рана. Но ведь вас пока смотрел только полевой хирург.

— Коновал чертов! — выругался Мечетный и сам удивился, как такое сорвалось с губ. Он был человеком твердого характера — во всяком случае, таким себя считал — и не прощал людям слабости, терпеть не мог проявлений истерии. Он стойко перенес первую свою серьезную рану и контузию, полученные под Сталинградом. Но теперь было другое — глаза...

А раненых все везли и везли. Среди них появились артиллеристы, саперы, обожженные танкисты. Это говорило о том, что маленькое предмостное укрепление, захваченное ударной ротой, расширяется, что в бой на земле Германии вступают все рода войск. Мест не хватало. В промежутки между койками ставили носилки. Носилки стояли и прямо в лесу, на снегу, под звенящими соснами. Санитарные машины были в постоянном движении, и вывезти капитана в полевой передвижной госпиталь сразу не удалось.

В эту ночь Мечетный не спал. И не то чтобы мучила боль. После того, как ему что-то впрыснули, навязчивая, как бы звенящая боль отступила, приглушилась. К странному состоянию бесчувственности своего тела он начал привыкать. Нет, спать не давала неотступная мысль — глаза. Вернется ли зрение или он теперь слепец, и жизнь придется доживать в страшном мраке?

Неужели навсегда ушло от него богатство красок? Неужели не увидит он никогда этих звенящих над головой сосен, звездного неба? Нет-нет, успокаивал он себя, ну что этот «коновал» из медсанбата понимает в глазах. Вот посмотрят специалисты, что-то там сделают, заживут раны, вернется свет.

А если все-таки не вернется? Что тогда? Оставаться на всю жизнь слепцом? Жить на ощупь? Пальцами читать какие-то огромные книги, как это делает знакомый ему земляк-сталевар, которому пламенем обожгло глаза? И перед мысленным взором вставал этот крепкий, могучий человек, сидящий у окна своего домика и с утра до вечера склеивающий какие-то всегда одни и те же коробочки. Впрочем, «с утра до вечера» — этого тоже для него не было. Его окружала вечная мгла, и, вероятно, потому на этом лице с крупными, мужественными чертами всегда дрожала робкая, виноватая улыбка. Вспоминая этого земляка, которого все в поселке знали и жалели, Мечетный холодел от страха: нет-нет, только не это.

А организм уже начинал приспосабливаться к новому положению. Заметно начал обостряться слух. Он слышал, как за полотном палатки протяжно и звонко шумят вековые сосны, как откуда-то издалека ветер иногда доносит крик петуха, как во сне храпят и постанывают соседи и как где-то, в другой палатке, криком кричит лейтенант, которому ампутировали разбитые ноги. С соседней койки доносилось дыхание маленького сержанта, она что-то бормотала во сне. И уже издалека слышались звуки канонады. Ухо фронтовика ясно различало, что в орудийный хор уже вплелись басы тяжелой артиллерии. Залпы легонько встряхивали землю и заставляли звенеть мензурку, стоявшую на тумбочке: здорово наступают, бьют уже по резервам...

Под утро капитан ненадолго забылся в тяжелом, беспокойном сне. Но и сквозь сон его обострившийся слух донес до него новый необычный звук, раздавшийся в палатке. Он инстинктивно приподнялся на локти, повернув голову в сторону этого звука. Ничего, разумеется, не увидел, но угадал, что это плачет его соседка. Плачет тихо, взахлеб, по-детски шмыгая носом.

— Что вы, сержант, что с вами?

Рыдания стихли, девушка затаилась.

— Что случилось, что у вас там?

— Ничего, товарищ капитан, плохой сон видела.

— Зачем говорите неправду? Больно? Позвать дежурного?

— Нет, нет, что вы, товарищ капитан. Зачем? У меня уже прошло.

— Дежурный!

Послышались шаркающие шаги.

— Чего тебе, милый, чего кричишь? — спросил женский, явно старческий голос.

— Не я, вот она...

— Ну о чем говорите: неловко повернулась, раненую руку потревожила. Вы уж, тетечка, меня извините, ступайте, подремите...

— Это я звал,— вступил в разговор Мечетный.— Вы что, не понимаете, что ей больно и надо оказать помощь?

— А тут, милый, всем больно. Больно — терпи. Христос терпел и нам велел,— ворчала невидимая Мечетному старуха, неведомо как очутившаяся среди военных. А потом, обращаясь уже не к нему, потеплевшим голосом добавила: — Сколько же тебе годочков-то, милая? Ох, война, война! Никого она не щадит. Ни старого, ни малого, дети — и те воюют. А ты, начальник, больше не кричи, не буди людей. Вторые сутки глаз не смыкают...

На миг этот разговор рассердил было капитана. Он же командир, как можно с ним так разговаривать. Потом вспомнил, что никакой он здесь не командир, что на госпитальной рубахе погоны не полагаются, что обладательница старческого голоса, конечно, права. Понял, устыдился и, когда старуха спросила, может, все-таки разбудить сестричку, торопливо ответил:

— Нет-нет, не надо, ступайте отдыхайте.

— Поспите, нянечка. Какие сутки-то у вас тяжелые были,— сказала девушка.

— И не говори, милая, и не говори...

По тому, как скрипнула койка, Мечетный понял, что старуха присела на уголке его постели и в общем-то не прочь поболтать.

— Уж куда тяжелее. Такой был день, не приведи господи. Наши-то, говорят, через этот самый немецкий Одёр шагнули. Бои страшенные. Новых и новых везут. Сестричка наша совсем с ног падает. Как села, так и уснула. Спит сидя, и папироска к губе приклеилась... Мы-то, что называется, на хвосте у войны, и то нам нелегко. А каково-то вам в голове идти. О-хо-хо... Где же это вас, товарищ начальник, благословило? Уж не за Одром ли в Германии?..

Голос у старухи был дребезжащий, однако еще сохранял былую звучность. Этой звучностью он напоминал голос матери, которую Мечетный потерял, когда был подростком. Захотелось увидеть лицо старой женщины, неведомо как и почему оказавшейся в медсанбате первого

эшелона. Инстинктивно повернул голову в ее сторону и ничего не увидел, кроме тьмы. И снова подумал: неужели навсегда? Подумал и застонал.

...С особой четкостью вспомнилась кандидату технических наук, инженеру Мечетному эта первая слепая ночь, проведенная под брезентом медсанбатовской палатки. Вспомнилась во всех деталях: и подрагивание земли при залпах тяжелой артиллерии, и мирное пение петуха, неожиданно вторгавшееся в эту боевую ночь, и старческий голос, и то, как старуха смешно звала немецкую реку: Одёр.

5

Настало утро. Мечетный не увидел розового солнечного луча, протянувшегося из-за откинутого полога палатки в густую полутьму, где тесно, почти впритир стояли койки и носилки. Но он почувствовал прикосновение этого луча на своей руке. Издалека послышалось позванивание умывальников. Потом возникли знакомые шаркающие шаги и старческий голос сказал:

— Ты тут одна из женского пола. Тебя первой и умою.

— Нет-нет, я сама,— всполошилась старший сержант, и койка у нее энергично заскрипела.— Мамочки-тетечки, я ж сама великолепно умоюсь одной рукой. Зачем мне вас затруднять?

— Давай-ка, девонька, без разговоров. Ты теперь раненая. Тебя беречь положено.— Старуха гремела кувшином и тазом. Голос ее звучал по-другому, чем ночью, уже деловито, энергично.— Сколько же тебе все-таки лет-то, милая, будет?

— Семнадцать... семнадцатый...

— Дитя, совсем дитя... Приподнимись-ка на локоток, а мы подушечку подобьем, вот так... Как же это тебя в армию-то допустили, ведь таких несмышленышей не берут?

— А мы с подружкой в паспорте год подчистили. Я-то ладно, а вот вы-то? Как вы-то в армию попали? Сколько вам лет?

— Седьмой десяток разменяла. Смоленские мы. Все у нас супостат перекрошил: ни кола ни двора, одни печки. Сыны в армии, неведомо где, и живы ли еще, не знаю. А мужа моего, Федора Григорьевича, фрицы расстреляли... Одна я осталась, как былинка в поле. Ну и прибилась к медсанбату, солдатам портки стирать. А сейчас вот

достиралась, в санитарки произвели. С санбатом моим вон куда, в Польшу, дошла. На эту самую немецкую реку Одёр. И ранена была, что ты думаешь? Правда, чуть царапнуло осколком, когда он, поганый, на медсанбат, на красный крест осколочную бросил. Дай-ка я тебя, милая, вытру. Не сохнуть же тебе на ветру.— И вдруг: — А что сосед-то, капитан, суженый, что ли, твой?

Мечетный, слушавший этот разговор сквозь дрему, сразу насторожился: суженый.

— Командир мой, ротой нашей командовал.— И с гордостью: — Наша рота, тетечка, первая в Германию шагнула. А впереди всех он, капитан Мечетный.

— Отвоевался твой герой. Глаза-то ему, наш врач говорил, больше, видать, и не открыть.

— Тш-ш.

— А что тут, милая, таиться? Обманывать такого человека — большой грех. Ложь никому никогда пользы не приносила. Пусть уж смотрит правде в глаза.

— Было бы чем смотреть,— включился в разговор Мечетный.

Старческая шершавая рука легла на его руки.

— Вот и жаль, что вы бога демобилизовали, не верите. А ведь с богом-то в беде легче было: человек предполагает, а бог располагает.

— А идите-ка вы со своим богом знаете куда?! — уже кричал Мечетный, чувствуя, как на него, подавляя его волю, разрывая самоконтроль, накатывает волна ярости.

Старческая рука опять легла на его руки, опять послышался голос, какими-то интонациями напоминавший Мечетному голос матери.

— А ну не шуми-ка, аника-воин,— примирительно сказала старуха.— Давай-ка я и тебя умою.

— Что умывать? Повязку, что ли?

— Зачем повязку, а рот, а подбородок-то, а руки? Все, что видно, то и умою. А то будешь лежать, как медведь в берлоге,— велика радость.

Старческие руки заплескались в тазу, потом полотенцем крепко вытерли то, что было омыто.

— Ну вот видишь, всегда найдется что умыть,— сказала старуха, отходя к следующему раненому.

— Зря вы ее так, товарищ капитан.

— А что она со своими сентенциями: бог да бог...

— Не надо бы: добрая тетечка,— упорствовала де-

вушка.— У нее вон медаль «За боевые заслуги» есть. Видели ведь?

— Видел! Чем я могу видеть? — опять взорвался Мечетный.

И послышался старческий голос:

— А ты, командир, все-таки веру-то не теряй. Бог для тебя плох, в руки человеческие верь. Тут ведь все хирурги. А в пепеге специалисты. Наши-то режут, а там лечат. Может, над тобой специалист какой-нибудь поколдует и спасет тебе глаза. Мало ли такого я нагляделась, пока с нашего маленького смоленского Днепра до этого самого Одра наступала. Веры, командир, не теряй, с богом или без бога — верь.

В полевом подвижном госпитале, расположившемся в маленьком польском городке, Мечетного не задержали. Торопливо сменили повязку. Сделали отметки в его карте передового района и отправили дальше в тыл, в город Львов, в госпиталь челюстно-лицевой хирургии. Старшего сержанта хотели было оставить, рана ее, хотя и не была легкой, не требовала специального лечения.

Когда об этом намерении сообщили Мечетному, он затосковал. Он уже привык к тому, что рядом с ним в непроглядной тьме все время находится старший сержант медицинской службы со смешной угрожающей фамилией и нежным именем Анюта, что где-то в этом огромном, потрясаемом гигантской войной бескрайнем мире для него, погруженного во мрак, существует заботливая душа. Привык к тому, что девушка приглядывает за ним, стараясь не только выполнить, но и предупредить его просьбы, привык к тонкому детскому голоску и к звуку ее шагов.

Сержант Анюта, как он теперь мысленно ее называл, мужественно переносила свое ранение; и хотя рука ее, прибинтованная к дощечке, висела на привязи, она уже свободно расхаживала по госпиталю, помогала няням и сестрам, тяжелые, непомерно большие сапоги ее бодро скребли о пол, и было в ней, живой, внимательной, что-то такое, что притягивало сердца людей. Стоило ей ненадолго выйти из палаты, как со всех концов слышалось:

— Куда же это наша Аня-то делась?

И просьбы:

— Анюта, прочтите-ка мне письмецо.

— Анечка, повязка съехала. Поднимите.

А то и просто:

— Старший сержант, что ты все бегаешь и бегаешь, посидела бы с нами, рассказала бы чего-нибудь.

Она откликалась на все эти просьбы и, едва оказавшись в новой палате, сразу становилась нужным всем человеком. И что было странно, даже самые квалифицированные ухари и сердцееды из героев второго эшелона не приставали к ней: то ли побаивались сурового капитана, то ли, и это тоже было возможно, стеснялись этой маленькой, приветливой, отзывчивой девушки с детским голоском и твердым, ох, твердым характером.

Но больше всех она была, конечно, нужна Мечетному. Он называл ее «мои глаза» и начинал беспокоиться, нервничать и даже тосковать, если долго не слышал ее голоса, ее шагов. И когда незаживающие лицевые раны начинали болеть и дергать и он, несмотря на изрядные дозы снотворного, не мог заснуть, то думал о ней, и мысли эти как-то успокаивали и будто даже утишали боль.

Но, странное дело, думая о ней, он никак не мог вспомнить ее лица. Одна за одной вставали в памяти все детали их в общем-то короткого знакомства. При форсировании Вислы погиб санинструктор его роты, добродушнейший и немолодой уже человек из сельских фельдшеров — хрипун, матерщинник и выпивоха. Но дело свое он знал. И хотя в походной его аптечке никогда не задерживался спирт, необходимый для разных лечебных нужд, даже замполит роты, строгий, аскетического склада человек, старался этого не замечать и вместе со всеми вопреки уставу звал его Митрич.

Убило Митрича разрывом снаряда в момент, когда он выволакивал на плащ-палатке раненого из боя. Совершилось удивительное: раненый уцелел, его лишь окропило песком, а Митрича разорвало на куски. Собрали то, что от него осталось, сложили эти обрывки человека в могилу на шинель, и каждый боец бросил горсть земли, прежде чем к делу приступили люди из похоронной команды.

И вот за Вислой вместе с пополнением в эту изрядно поредевшую на переправе роту вместо массивного, солидного Митрича, сам вид которого внушал доверие к медицине, прислали игрушечного солдатика с тоненьким голоском, в непомерных кирзовых сапогах, державшихся на маленьких ногах лишь с помощью нескольких портянок. Рота оставалась верной памяти Митрича. Новый санинструктор еще не обжился в военном быту. Солдат называла она по имени, тех, кто постарше,— по имени-

отчеству и даже командира роты именовала Владимиром Онуфриевичем.

Однажды Мечетный, как и все нестроевые офицеры, с особой тщательностью относившийся к субординации, строго отчитал за это санинструктора:

— Армия есть армия, война есть война, и на войне все должно быть по-военному, товарищ старший сержант!..

— Так точно, товарищ капитан,— ответила девушка, вытягиваясь.

С тех пор она как бы забыла, что у людей есть имена, и обращалась к окружающим: товарищ старшина, товарищ лейтенант, товарищ капитан. Получалось это у нее немножко смешно, но получалось. С приданными ей санитарами, пожилыми дядьками, она обращалась строго. В бою не терялась, под огонь без толку не лезла, делала свое полезное дело с солдатской выдержкой, и спирт никогда не иссякал в ее сумке. Постепенно даже самые близкие друзья Митрича перестали ревновать ее к памяти погибшего.

— Хороший мы с вами, капитан, медицинский кадр получили,— сказал о ней хмурый замполит, вообще-то не разбрасывающийся похвалами человек.

Капитана Мечетного девушка побаивалась и избегала. Впрочем, в те дни, когда войска фронта по приказу маршала Конева на Сандомирском плацдарме отрабатывали детали нового прорыва, капитан был так занят, что почти не видел своего санинструктора и уж конечно не думал о ней. Где тут было думать, когда командующий, вообще любивший образные выражения, отдал в приказе команду: наступать врагу на пятки. Рота, предназначенная для прорыва, отрабатывала прорыв и день и ночь.

Вспомнилось Мечетному и такое. Когда подготавливали списки и наградные листы на бойцов, особо отличившихся на Сандомирском плацдарме, замполит вставил в этот список и санинструктора Лихобабу. Он, Мечетный, отвел это представление: рано, без году неделя в роте, бросаться наградами не годится.

Все это факт за фактом восстанавливал Мечетный в памяти в бессонные больничные свои ночи. Все-все живо представлял. Из этих отрывочных воспоминаний как бы и составился портрет сержанта Анюты, а вот лицо, хоть убей, не мог вспомнить. Что-то такое круглое, сероглазое, густо осыпанное веснушками по переносью. Вот вес-

нушки он хорошо помнит, да еще рыжеватый, нависший на лоб вихор, который девушка всегда безуспешно старалась заправить под пилотку.

В момент прыжка через Одер он вроде бы даже ее и не видел, не знал, переправилась ли она через протоку вместе со всеми вплавь на подсобных средствах или ее перебросили уже потом, на надувной лодке, на которой подвозили боеприпасы. Но хорошо помнил, как она вместе с санитаром заставила его выпить мензурку спирта «в чисто медицинских целях». Тогда он даже удивился, как она тут очутилась да еще успела организовать санитарный пункт в наспех вкопанной пещерке. А вот как она спасла из-под огня его самого, как сумела нести или тащить волоком мужчину, весящего семьдесят пять килограммов,— это оставалось загадкой, в этом чудилось ему что-то невероятное, что и представить себе было трудно. Зато ясно звенел в ушах тоненький голосок: «Товарищ капитан, миленький, потерпите, потерпите немножко, сейчас я вас перевяжу». И ведь перевязала. Неужели одной рукой?

— Анюта, как вы очутились за Одером на нашем пятачке?

— А на этой, на надувной колбасе. Грузили боеприпасы, ну и я тут как тут. Не хотели брать, а я разревелась, как дура. Сумка с красным крестом помогла. Взяли.

— А как же вы меня вытаскивали?

— А вот этого и не помню. Помню, как вы побежали с пистолетом впереди роты, а потом будто бы споткнулись и носом в землю. Подняла вашу голову — застонали. Обрадовалась, мамочки-тетечки, жив наш капитан. А лицо в крови. Положила вашу голову себе на колено, а кровь хлещет. Что делать? На курсах изучали мы пулевые ранения, раны сквозные и глухие, и повреждения кости, и переломы всякие, а тут лицо — сплошная рана. Мамочки-тетечки, не изучали мы лицевых ранений. Должно быть, потому, что нас срочно готовили и досрочно с курсов вышибли. И перевязала-то я вас кое-как. Стыдно вспомнить.

— А как же перевязывали? Одной рукой?

— Нет, зачем же, обеими. Ранили меня уж потом, когда мы с санитаром вас на носилках на переправу несли.

— Ну как же вы несли? Ведь такая стрельба была?

— Ну и что что стрельба. Не в одну меня стреляли. Вы же не боялись, когда из окопа выбрасывались и людей прямо на этих самых эсэсовцев повели?

— Нет, мне было страшно,— признался Мечетный.— Но какой же я командир, если страх не преодолею?

— А какой же я санинструктор, какой я старший сержант, а потом ведь, товарищ капитан, такое дело: одно дело — бояться, а другое — когда страшно. Страшно-то всем, наверное. И самому маршалу Коневу, про которого бойцы говорят, что он пулям не кланяется. Думаете, маршалу не страшно? Страшно. А он виду не показывает. Страшно, а не боится.

Так разговаривали они иногда подолгу. Говорили о жизни, о войне на равных, и Мечетный всегда поражался, откуда у этой девушки, которой шел всего семнадцатый год, такая житейская умудренность. Ведь тоненький голос и эти постоянно повторяющиеся «мамочки-тетечки» настойчиво напоминали об истинном ее возрасте.

Когда капитана готовили в дальний путь во Львов и делали очередную запись в его уже изрядно исписанную карту передового района, человек, заполнявший эту карту, усталым голосом предупредил, что с Анютой придется им расстаться. Капитан сразу же загрустил. Он знал, что на войне все положено делать по уставу. Что не положено, то и не положено. И все же попросил, нельзя ли отправить их вместе.

— Старшему сержанту Лихобабе положено лечиться здесь. У нас обычный и неплохой госпиталь. А вас, капитан, направляют в специальный, челюстно-лицевой,— усталым голосом ответил ему врач-эвакуатор.

— Но, может быть, все-таки можно сделать исключение? Мы ведь сослуживцы, из одной роты.

— Даже если бы представили удостоверение о браке — нельзя. Инструкция есть инструкция. Специалистов-глазников в армии — наперечет. Они, наверное, со своими-то пациентами едва управляются а кто там с ней будет возиться? — Обладатель усталого голоса будто бы разъяснял детям что-то такое, что всем давно было известно.

Но тут в разговор ворвалась Анюта:

— Со мной не надо будет возиться.

— Вы военный медик, старший сержант, и должны понимать, что нельзя. Война. В госпиталях каждая лишняя пара рук — драгоценность.

— Так точно, товарищ подполковник. Каждая. Но капитана одного вы все равно не направите. Придется санитара прикомандировывать. Ведь так? А тут вот эту самую пару рук вы и сэкономите для войны. Я старший сержант, и я квалифицированней любого санитара.

В логичности такого довода отказать было нельзя.

— Вы же сами ранены, как же вы будете раненого опекать? Вас саму лечить надо,— как бы уже сдавался усталый голос.

— Это моя забота. Буду бегать в какой-нибудь простой госпиталь на перевязки, я ж ходячая.

— Ну, глядите. Ваше в конце концов дело. Я, как вы понимаете, сам такого решения вопреки инструкции принять не могу. Но попробую поговорить с начальником госпиталя.

— И скажите ему, начальнику, что наша героическая рота наказала мне быть при капитане и заботиться о нем...

Скрипнул стул. Шаги удалились. Анюта присела на койку капитана. Он взял ее маленькую, шелушащуюся от дезинфекции руку и приложил ее к бинтам, которыми была окутана его голова.

В этот день на санитарном самолете они вылетели в город Львов.

6

Челюстно-лицевой госпиталь помещался во дворце какого-то богатого сахарозаводчика. В гостиных и залах койки стояли рядами. Гардины были сняты. Солнечные лучи беспрепятственно врывались в палаты через огромные окна со сплошными стеклами. Дом этот, где теперь густо пахло карболкой, антисептиками, йодом, запахами крепкого мужского пота и воспаленных, гноящихся ран, еще не забыл все-таки своего прошлого.

На раненых, с забинтованными головами, с заклеенными пластырями глазницами, с потолков смотрели жирненькие амуры, а по стенам на фресках, в которых воспроизводились сцены охоты, неслись всадники и всадницы в старых польских костюмах, своры собак, живописные егеря. Все это крикливое великолепие вызывающе смотрело на людей с изуродованными лицами без подбородков, без челюстей, со страшными ранами, с пустыми глазницами.

В одной из таких расписных палат и поместили капитана Мечетного. Его койка оказалась под фреской, изображающей пышную даму на коне, со сворой собак, нетерпеливо толпящейся у точеных лошадиных ног. Эту роскошную амазонку в палате называли «Цацей». И саму палату, хотя она, разумеется, имела свой официальный номер, в госпитале именовали «Цациной».

К удивлению и радости Мечетного, в госпитале глубокого тыла сержанта Анюту, хотя ранение ее и не соответствовало госпитальному профилю, приняли без особых разговоров. Начальник госпиталя Платон Щербина, высокий украинец, безукоризненно одетый, подтянутый подполковник медицинской службы, с любопытством посмотрел на раненую девушку, прибывшую со слепым капитаном, и только спросил:

— Жена? Невеста?

Лицо сержанта Анюты при этом залилось краской, да так, что перестали быть видными ее веснушки.

— Никак нет, что вы, товарищ подполковник! — воскликнула она.— Я сопровождающее лицо.— И по-детски попросила: — Не гоните меня, товарищ подполковник, пригожусь, помогать буду.

— Ну, а почему вы при нем?

— Наша рота поручила мне его сопровождать. Капитан наш — герой. Он первым вступил на немецкую землю.

— Первым? Ух ты. Це добре... Ну, а ваша собственная рана?

— Заживет, что ей сделается. Могу и сама ее перевязывать. Я ведь, мамочки-тетечки, медицинское образование имею: ускоренные курсы военных фельдшеров, товарищ подполковник.

Подполковник усмехнулся, снова произнес свое «це добре».

— После ранения вам ведь отпуск на долечивание полагается? Ведь так? Вот здесь и будете долечиваться. Сдайте начхозу свой продовольственный аттестат. Таким образом, мы вас и с героем вашим не разлучим и правила не нарушим.

Мечетный, сидевший в соседней комнате, своим обострившимся слухом уловил весь разговор. Его больно царапнуло столь торопливое и даже будто с испугом произнесенное «никак нет». Подумал: и в самом деле, ну зачем ей калека? Сейчас вот нянчится, жалеет, а вон ведь как испугалась, когда назвали женой: никак нет! Теперь он —

инвалид, человек второго сорта. Жалеть его, конечно, будут, а вот полюбить, по-настоящему полюбить, кто ж полюбит, кому он, слепой, нужен? Случается, что и жены от инвалидов уходят. А в молодые годы кто ж захочет добровольно надевать на шею хомут? Подумал и сказал: «Конченый ты человек, Владимир Онуфриевич. И жизнь провекуешь один, и институт тебя твой уже не ждет, и не работать тебе больше по-настоящему: слепого ведь и вахтером никуда не поставят».

От мыслей этих ему стало обидно, и ночью он бесшумно плакал, благо лицо его было забинтовано, и слез его никто не видел.

Сержанта Анюту в палату с жирными амурами и роскошной «Цацей», конечно, не поместили. По распоряжению начальника госпиталя ей поставили раскладушку в каком-то свободном уголке, и в первую ночь Мечетный, лишенный привычного соседства, чувствовал себя одиноким, брошенным.

«Цацина» палата была, на госпитальном языке, тяжелая. Здесь лежали люди с лицевыми и черепными травмами. Днем было еще ничего, болтали, рассказывали соленые байки, шумно забивали козла и даже выпивали, когда каким-то образом удавалось раздобыть спиртное. А вот ночью вступала в палату тоска. Кто-то плакал во сне, кто-то матерился, кто-то скрежетал зубами, а в дальнем конце длинного коечного ряда кто-то шептал слова молитвы на незнакомом языке. И обостренный слух Мечетного выделил в этом бормотании: «Аллах, аллах, аллах...»

Один из новых соседей, сосед слева, судя по голосу, молодой парень, не выдержав этого бормотания, свирепо выкрикнул:

— Заткнись, зануда! Без твоего аллаха тошно.

Все проснулись.

— Ну, чего орешь? Молится ведь человек... А ты, если хочешь, пой себе в утешение.

— Хватит, ребята, довольно вам, спите.

— Какой тут, к дьяволу, сон! Мечеть устроили...

И вдруг среди ночи заговорили каждый о своей ране, о своей беде, о невеселом будущем, ожидавшем многих.

Капитан настороженно слушал. Обсуждалось недавнее происшествие, случившееся в этой палате.

— ...Лейтенант как узнал, что навек слепец, так из окна и выбросился.

— Убился?

— Ну, а как же. Второй этаж. Лбом асфальт разве прошибешь?

— А один тут тоже тосковал, тосковал — да и отравился. Снотворными пилюлями отравился. Прямо горстью в рот. Уснул и не проснулся. Утром сестрица к нему с градусником, а он мертвый... Тихо-смирно, никого не беспокоя.

— А чем отравился-то?.. Где он отраву взял?.. Что за пилюли? — поинтересовался кто-то.

— Лиманал какой-то, что ли. От бессонницы дают.

— Люминал, а не лиманал.

— Ну все едино... А мне говорили, один бритвой жилы себе перерезал... Право слово: безопасной бритвой. У него весь рот искорежен был, челюсти не было. А в тылу девчонка имелась, все писала ему, дескать, жду. Так вот сняли повязку, добрел он до зеркала, увидел, каким красавцем стал, и себя — бритвой ночью. Кровью истек.

— Прекратить! — скомандовал сосед слева.— Нечего нищего за нос по мосту таскать. «Цаце» вон и то тошно слушать.

Палата тотчас же стихла. Снова послышались тяжелые всхрапы, сонное бормотание, стоны, и снова зазвучали едва слышные стенания: «Аллах, аллах, аллах...»

Стало понятным, что обладатель резкого голоса имеет авторитет, что его почему-то даже побаиваются.

Мечетный, разумеется, не мог видеть ни палаты, где лежал, ни роскошной всадницы, изображенной над его койкой, которую прозвали «Цацей», ни своих соседей справа и слева. Но дни, прошедшие с момента, когда он потерял зрение, научили его мысленно рисовать и обстановку, его окружающую, и незнакомых людей, с которыми сводила судьба, и даже эту самую «Цацу», которую он довольно живо представил по описаниям соседей.

Соседа справа, неразговорчивого белоруса, танкиста с раненной рукой и обожженным лицом, в палате звали дядя Микола. Ни о своей беде, ни о себе он ничего не рассказывал. Лежал молча, не принимая участия в разговорах, и оживлялся лишь, вспоминая о своем колхозе, ныне сожженном и разрушенном, и о своей тракторной бригаде, которую организовал еще в первые годы колхозного строительства и возглавлял до самой войны. Даже во сне она, эта бригада, жила в его мыслях, и, когда дядя Микола уснул, Мечетный услышал, как во сне он от-

четливо бормотнул: «...Нельзя ж, нельзя заливать столько солярки». Лицевые ожоги дядю Миколу не беспокоили: с лица не воду пить, а вот рана, наполовину парализовавшая руку, удручала: с такой рукой ни на танк, ни на трактор не сядешь. И он весь день скрипел пружинной машинкой, разрабатывая руку. Этого человека Мечетный сразу себе представил: эдакий пожилой здоровяк с тяжелыми, жилистыми руками, с которых никогда не смывается дочиста машинное масло.

А вот соседа слева, что ночью несколькими словами, а главное, интонацией голоса сумел утихомирить палату, ударившуюся в тоскливые разговоры, он представить себе не мог, хотя в первый же час, с его же слов узнал о нем абсолютно все. До войны жил этот парень разудалой жизнью, имел «срок» — и немалый. Под конвоем строил канал Москва — Волга, но «срока не допилил». Немцы рвались к Москве, и он прямо из-под конвоя попал в армию.

— ...Я дитя Новороссийского порта, и жизнь моя полна зигзагов, — заявил он Мечетному, сидя на его койке.

Действительно, «зигзаги» были. Предприимчивый и смелый, он врос в военный быт, за сметливость был определен в разведку и еще в дни боев под Москвой отличился, перехватив в тылу противника штабного мотоциклиста с важными оперативными документами. Был награжден, но вскоре за расстрел захваченного им же самим «языка» был лишен награды и отправлен в штрафную роту. Со штрафниками снова отличился — уже при штурме Великих Лук: первым вскарабкался с гранатами на стену старой крепости, подавил пулеметное гнездо, сдерживавшее штурмующих, увлек за собой роту. О нем написали в армейской газете. Поэт посвятил ему стихи. Из штрафроты его вернули в строевую часть, отдали прежнюю награду, наградили еще одной. По пути от древнего города Великие Луки до польской границы прослыл он в дивизии непревзойденным специалистом по добыче «языков» в тылу врага, был произведен в ефрейторы, получил еще награду, но снова потерпел, как он выразился, по обыкновению коверкая слово, «кастарофу»: поспорил с офицером и сгоряча ударил его.

— Ты ж как та дурная корова: молоко щедро даешь, а потом подойник опрокидываешь,— прокомментировал со своей койки дядя Микола.

— Но-но, дядя, ты меня перед капитаном не зем-

ли,— отозвался сосед слева, и в голосе его послышались жутковатые нотки угрозы.

— Кто тебя землит, сам же язык распускаешь. Ты расскажи капитану, за что Боевое Знамя тебе отвалили.

— А-а, дуриком получил, и говорить неохота.

— Такой орден дуриком? Это же высший военный орден,— удивился Мечетный.

— Ну что ж что высший,— подфартило, и все. Я за собой ту награду всерьез не считаю. Вот как было дело, капитан. На этом самом Сандомирском плацдарме, когда наш Конев их так долбанул, что они колбасой покатились, я со своим корешом был в ночной разведке. И в лесу напоролись на двух ихних офицеров и одного цивильного· из окружения они выбирались. Мы сзади на них с автоматами: хенде хох, миляги. И сделали они — хендехохочки. И пистолеты отдали — и обыскать дались. Надо вести, а как? Нас двое, их трое — разбегутся. А побегут — стрелять нельзя, опыт имею, обжигался. Принимаю решение: снять с них подтяжки, ремни и обрезать пуговицы на штанах — со спущенными штанами далеко не убежишь... Стали пуговицы со штанов обрезать. Офицеры — ничего, дались. Только этот старичонка цивильный — ни в какую. Прямо офонарел, на автомат лезет, кричит по-своему. Что — не понимаю, но одно слово ясное· генерал, генерал... А по мне хоть фельдмаршал — держи штаны руками, и все. Всех троих ночью в полк и доставили самоходом. Целенькими. Без этих, как их, без инсидентов... А цивильный и верно генералом оказался да какой-то гитлеровской шишкой. И за этого самого старикашку, пожалуйста, такой орден..

— Чего ж его на своем иконостасе не держишь?

— А то и не держу, что нет его у меня, этого ордена, жизнь моя еще зигзаг дала, опять катастрофу: налетел на прыгучую мину — и здравствуй, «Цаца», как поживаешь? Принимай к себе под подол.— И подытожил: — Вы, капитан, держитесь за меня, как вошь за полушубок. Я парень фартовый, со мной не пропадешь.

Фамилия соседа слева была странная — Бичевой. Лечение у него шло туго. Картечью мины-лягушки ему раздробило челюсть. Восстанавливали ее как бы по частям, с трудом восстанавливали, но он не унывал, даже не терял надежды вернуться на войну «в самое трофейное время», а когда рассудительный дядя Микола, возвращая его к действительности, говорил, что на войну ему, по всему

видать, уже не поспеть, что надо думать, как жить с развороченным лицом, бесшабашно отмахивался:

— А что лицо? В кино мне не сниматься, а что касается баб, им на лицо наплевать, им всякое другое нужно, а тут у меня порядок полный. Держись, «Цаца», я в строю!

В ночь, когда «Цацина» палата ударилась было в разговоры о самоубийствах, Бичевому удалось двумя словами оборвать этот разговор. Но Мечетному так до утра и не удалось уснуть: не выходило из головы то, о чем говорилось среди ночи, рисовались те ребята, что добровольно ушли из жизни, не выдержав беду, на которую обрекли их раны и увечья.

От мыслей этих уже утром оторвали его знакомые шаги. Сержант Анюта! Вошла, детским своим голоском поприветствовала всех, сообщила, что на дворе весна, утро теплое, капе́ль, снег падает пластами с крыш, а главное, что в парке, где стоит госпиталь, грачи. Настоящие важные грачи с белыми носами и крыльями, отливающими синевой. Пошмыгала носом, удивилась:

— Ох, и атмосферочка у вас тут, граждане! — Прошла к окну.— Открою, возражений нет? — И в комнату, пропитанную тяжкими госпитальными запахами, вместе с прохладой ворвалась свежесть тающего снега. Стало слышно, как увесистая капель долбит о железо карниза, донесся возбужденный грачиный грай.

Над ухом Мечетного прозвучало:

— Ну как спали на новоселье, товарищ капитан?

Вопрос ничего не значил. Так спрашивали обычно и сестры, разнося утром градусники, и врачи во время обходов. Но Мечетный, услышав этот голос, сразу забыл бессонную ночь с ее тягостными и мрачными разговорами.

— Хорошо спал. Вас во сне видел. Хороший такой приснился сон.

— Ну да, меня, скажете тоже, товарищ капитан,— отозвалась девушка, но все же поинтересовалась: — А как же вы меня видели? Что я делала в вашем сне? Шутите небось?

На шутливый этот вопрос Мечетному так и не удалось ничего сочинить, он лишь смущенно сказал:

— Так, говорите, на улице весна?

— Да еще какая!

— А когда меня лечить начнут? Вы ж там общаетесь с начальством?

— Лечить — неизвестно. Вас пока обследовать будут. Подполковник медицинской службы сказал, что какого-то важного профессора на консультацию вызвали из университета; самое большое здешнее светило. Ждите.

И ушла, постукивая каблуками.

— Добрая дивчина,— сказал сосед справа.

— Фартовая баба,— определил Бичевой.— Повезло тебе, начальник. После войны и выбирать не придется, с собой в вещевом мешке привезешь.

Мечетного осматривали госпитальные врачи. Начальник госпиталя Платон Щербина присутствовал при этом. Осматривали долго, тщательно. В соседней комнате состоялся консилиум. Что там говорили, капитан не разобрал. Но по тому, как долго длился разговор, и по самому его тону понял, что дела его плохи.

Так и вышло. После консилиума его отвели в кабинет к Щербине, и тот певучим своим баритоном сказал:

— Вы, капитан, храбрец. Мне доложили, как вы там, за Одером, на пятачке воевали. Обманывать вас нельзя. Левый глаз придется удалить.

— А правый? — Мечетный весь съежился, чтобы не вскрикнуть.

— Правый? За правый будем бороться. Не стану я вам медицинскими терминами голову морочить: тяжело, очень тяжело.

— Но надежда-то есть? Хоть какая-нибудь...

— Надежда всегда должна быть. Будем еще раз вас консультировать с опытнейшим специалистом. А пока, капитан, как говорят охотники, держать хвост пистолетом. Тут, во Львове, в университетской клинике, есть светило окулистики, приглашаем его.

Перед обедом Мечетного вновь отвели в какую-то комнату. К знакомым ему уже голосам врачей присоединился еще один, незнакомый, уверенный, выговаривающий русские слова с польским акцентом. Этот, новый, обладал легкой походкой, и от него исходил аромат каких-то тонких духов.

Осмотр на этот раз был долгим, трудным и болезненным. Мечетный лежал, вцепившись руками в стол. Острая боль пронзала, как игла, с головы до ног. Он старался не скрежетать зубами и, чтобы отвлечься, вспоминал, как он лежал когда-то за Одером и сквозь грохот тяжелой артиллерии и уханье разрывов тоненький детский голосок говорил ему: «Потерпите, товарищ капитан, потерпите,

сейчас легче будет». Мысленно слушая этот голосок, он набирался мужества.

Осмотр проводили молча. А когда он окончился, тот, новый, незнакомый человек сказал почему-то: «Иезус Мария».

— Ну как, товарищ профессор? Есть надежда? — прозвучал баритон Щербины, в котором явно слышалась тревога.

— Все в руках неба,— ответил собеседник.

Дальнейшую беседу Мечетный слушал уже сквозь дверь. Она происходила в соседней комнате.

— Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти ему глаз. Мы обязаны это сделать,— напористо говорил Щербина.

— Вы делаете, что можете. Но мы с вами, коллега, не матка Боска Ченстоховска, нам не можно творить чудеса.

— Но вы говорите, что есть какой-то магнит, который может извлечь этот осколок.

— То, пан подпулковник, в Вене есть такой сильный магнит, в знаменитой венской клинике, известной всему миру. Очень дорогой прибор производства доброй немецкой фирмы «Сименс Шукерт». Когда я практиковал в Вене, я этот прибор видел. Отличный дорогой прибор. Но нам с вами, пан подпулковник, не можно попасть в Вену. А у вас даже и не знают такого прибора.

— Что же мы можем все-таки сделать?

— Отправить пана капитана в клоштер на Ясной Гуре, там Матка Боска творит чудеса... Мы, слава Иезусу, божьи холопы, и нам такое недоступно.— И деловым голосом: — Ваш шофер, пан подпулковник, доставит меня до университета?

Послышались мягкие шаги, профессор, видимо, удалился.

— В палату,— резко скомандовал Щербина, и в коротком этом распоряжении, в самом его тоне Мечетный услышал растерянность, которую Щербина пытался замаскировать резкостью.

Когда каталку, на которой лежал Мечетный, выкатили в коридор, он услышал возле шаги сержанта Анюты. Она шла рядом и тонким голоском частила:

— Ничего, ничего, товарищ капитан, все будет хорошо... Вот увидите, все будет хорошо.

— Ничего не будет хорошего, Анюта,— ответил Мечетный, все еще находясь под впечатлением только что подслушанного.— Ничего не будет хорошего, товарищ старший сержант.

7

С этого дня Мечетный стал прятать таблетки с люминалом, которые выдавали ему перед сном. Мучился тяжелой бессонницей, подавлял боль в глазницах, но таблетки не принимал.

Госпитальная жизнь шла своим чередом. Делались перевязки, давались лекарства, больных увозили на процедуры и возвращали назад. Мечетный, уже не страшась, поднимался с койки. Ему разрешалось даже гулять. Анюта в таких случаях помогала ему надевать пилотку, выводила его в большой сад, окружавший аляповатый дворец сахарозаводчика. Под руку водила его по садовым дорожкам и тоном экскурсовода рассказывала обо всем, что происходило вокруг:

— Снега уже почти и нет. Вон только в кустах белеют последние лоскутки. И почки на кленах набухли. Смешные, бархатистые, как котята. Вы знаете, они сейчас похожи на кулачок. Вот разожмется этот кулачок и выпустит зеленые листки... Чувствуете, как пахнет?.. Это тополя. Они уже развесили красные сережки... Ну, что вы все молчите, товарищ капитан? На улице так хорошо.

Мечетный, неразговорчивый по природе, после подслушанного во врачебном кабинете стал и совсем молчаливым. Упорно копил люминал, откладывал таблетки день за днем и, чтобы их не обнаружили, завертывал в марлю и держал под тюфяком. Про себя он уже принял решение. Только вот не знал, сколько таблеток нужно для того, чтобы исполнить то, что сделал неведомый лейтенант. Он уже смирился с мыслью — тихо, никого не беспокоя, уйти из жизни, как это сделал тот, о ком с сочувствием говорили ночью соседи по палате.

Для себя, как для коммуниста, он даже обосновал это свое решение. Капитуляция? Нечестный поступок, недостойный члена Коммунистической партии? Отчего, почему нечестный? Он не может теперь быть полезным своему Отечеству, ничего не может дать людям. Едок. Потребитель. Будет отныне только брать, требовать забот,

средств к существованию. Будет существовать... Нет-нет, спокойно. Неэтичного в том, что он задумал, нет. И он никого из персонала не подведет. Уснул и не проснулся. Война. Мало ли бездыханных тел выносят по утрам из госпиталей на носилках, покрытых простынями?..

И плакать о нем некому: отца он не помнит, матери нет, а то — его давнее горе... Нет, там о нем и не вспоминают, для тех он давно умер...

В тот день на город Львов внезапно налетел первый весенний ливень, какие иногда случаются тут, в Прикарпатском краю. Рванул ветер, да такой, что тучи пыли разом загородили солнце и крупные песчинки, подхваченные вихрем, стали сечь стекла. Потом без разминки разом на город обрушились целые потоки воды, пыль прибило, стало светлее, вода промыла стекла.

Бичевой закричал:

— Вот подфартило-то. Как там, за окном, баллон катает...

Он рванул раму, и в окно вместе с мелкой дождевой пылью влетел влажный чистый воздух, от которого всем стало весело на душе.

— Вот тебе сейчас подфартит. Дежурный даст тебе за то, что людей простужаешь.

— Не даст. Вставай на стреме. Чуть что — поднимай шухер, мигом раму на задвижку.

Ливень за окном клокотал и шумел, волнами бросая потоки воды.

— Добро, добро...— довольно говорил сосед справа.— Золотой дождик. Поля вымоет, озими напоит. Такой один может по центру па гектар прикинуть, а то и больше.

Все ходячие сгрудились у окна. Каждый по-своему переживал весенний ливень. Анюта была среди них.

— Мамочки-тетечки, хорошо-то как!

И только Мечетный, неподвижно лежа на своей койке, думал о том, что этот чудесный весенный ливень может быть для него последним. Что вскоре для него не будет ни солнца, ни свежего ветра, ничего не будет.

— Владимир Онуфриевич, что-то вы какой-то сегодня не такой,— сказала Анюта, кладя на его горячие руки свою маленькую, мокрую от дождя.— Что-нибудь случилось?

— Ничего не случилось, сержант Анюта. Что может у меня теперь случиться?

Мечетный так и не объяснил для себя потом, почему под веселый шум этого весеннего ливня он решил именно сегодня, когда все уснут, привести свой замысел в исполнение. Под одеялом он развернул заветный марлевый узелочек и стал деловито пересчитывать скопленные таблетки. Одиннадцать таблеток, наверное, хватит. И в это мгновение услышал голос Анюты, раздавшийся у него над ухом:

— Понюхайте, Владимир Онуфриевич, какая прелесть, Бичевой с улицы принес. Тополь, распокались почки, и шкурки у них блестят, как компрессная клеенка.

По госпиталю девушка теперь ходила в тапках, шаг стал совершенно не слышен. Голос ее прозвучал неожиданно, и Мечетный инстинктивно дернул рукой, пересчитывавшей таблетки. Они, как град, застучали по полу. Он вскочил.

— Не беспокойтесь, я сейчас все соберу.

Анюта встала на колени, принялась собирать и вдруг спросила шепотом:

— Что это такое? Откуда? Для чего столько люминала? — И потом уже совсем растерянно, даже с ужасом: — Что же это, Владимир Онуфриевич? Как же так? — И вдруг зарыдала, положив ему голову на грудь.

Мечетный растерялся.

— Ну что случилось? Что ты подумала?.. Нехорошо, люди кругом, видят, слушают. Перестань.

Действительно, палата насторожилась. Люди, только что шумно радовавшиеся весеннему ливню, слушали, ничего не понимая, старались разгадать, что происходит, чем и почему обидел капитан эту маленькую «сестренку», как теперь называли ее все.

А девушка сквозь рыдания требовательно шептала:

— Не смейте, не смейте... Дайте мне слово, матерью поклянитесь, что выкинете это из головы.

Чтобы прекратить эту сцену, Мечетный сказал сквозь зубы:

— Ну ладно, даю слово. Успокойся.

— Нет, матерью. Матерью поклянитесь.

Только приняв эту клятву именем умершей матери, Анюта, вскочив, выбежала из палаты.

Сопалатники Мечетного так ничего и не поняли, но с чуткостью, свойственной людям, объединенным общей бедой, почувствовали, что это дело, в которое вмешиваться

нельзя. И когда лейтенант, лежавший на другом конце палаты, спросил:

— Ребята, да чего там у вас случилось? — Бичевой одернул его:

— Молчи, тут шухерить нечего...

Вечером к Мечетному неожиданно пришел сам начальник госпиталя. Пришел, присел на койку. Сначала задавал без особого интереса чисто медицинские привычные вопросы: как чувствуете, какая температура, есть ли жалобы? А потом вдруг сказал:

— Все знаю... Мы вот что сделаем. Откомандируем вас в столицу, в институт к знаменитому Преображенскому Виталию Аркадьевичу. Мой учитель. Куда перед ним этому львовскому светилу с его Маткой Боской. Виталий Аркадьевич чудеса творит. Но, капитан, вам приказ: терпеливо, слышите, терпеливо ждать благословения генерал-майора медицинской службы. Не так-то просто попасть к Преображенскому. У него и в мирное время клиника была битком набита. Из-за границы за тридевять земель к нему летели. Да и согласится ли — нравный старик.

Мечетный не сразу даже поверил в эту добрую весть. Диагноз светила, путавшего в своей речи русские, украинские и польские слова, так вот просто не забывался. Но все-таки теперь, когда как бы в конце туннеля забрезжил свет, настроение изменилось. Будто весенний ливень, прошумевший над Львовом, вымыл из головы беспросветную тоску. Теперь Мечетный уже осуждал свое малодушие. Стыдился истории с таблетками и все гадал: почему начальник госпиталя явился к нему с доброй вестью именно в этот день и в не положенный для врачебных обходов поздний час.

Лишь потом, немного времени спустя, он узнал, как все было.

Выбежав из палаты, Анюта, сжимая в кулаке таблетки люминала, ворвалась прямо в кабинет Щербины. Оттолкнув пожилого санитара, исполнявшего при начальнике госпиталя обязанность секретаря, она предстала прямо перед подполковником.

— Что случилось? — спросил он, хватаясь за китель, висевший за ним на стуле.

— Чепе! — И Анюта прямо на стол высыпала горсть таблеток.

— Какое чепе? Что это такое?

Девушка, рыдая, не могла произнести ни слова. Отчаявшись прекратить эти рыдания, Щербина рявкнул:

— Доложите по форме, старший сержант.

Это сразу отрезвило Анюту. Вытянулась, вытерла марлечкой заплаканное лицо и рассказала о своем открытии. Начальник госпиталя, уже надевший, застегнувший на все пуговицы свой отглаженный китель, перебирал на стекле стола замызганные, грязные таблетки. Потом налил из графина воды, протянул Анюте.

— Прекратите слезотечение. На улице и так сыро. Откуда столько люминала, кто дал?

— Не знаю, не знаю. Накопил, наверное, последние дни он был какой-то не такой.

— Насчет самоубийства с вами не заговаривал?

— Ну что вы, разве такой скажет! Это же, мамочки-тетечки, стальной человек. Жалобы не услышишь. Все в себе.

Подполковник пощупал пальцем свежий, накрахмаленный подворотничок.

— Задали вы мне задачку, товарищ старший сержант.

— Неужели ничем нельзя помочь?

— Не знаю, не знаю. Здешнее светило утверждает, что во фронтовых условиях ничего не сделаешь, нужен какой-то сверхмагнит. Он видел такой в венской клинике, где, по его словам, практиковал когда-то... Нет у нас такого магнита, но есть в Москве профессор Преображенский, мой учитель, бог окулистики, творит буквально чудеса...— Подполковник рассуждал сам с собой.

— Отправьте его в Москву. Отправьте его к этому самому богу. Это же такой герой...

— В Москву мы можем отправлять лишь в чрезвычайных случаях и то лишь с благословения генерал-майора медицинской службы.

— Мамочки-тетечки, ну попросите этого генерала. Ну хотите, я сама к этому генералу прорвусь, в ноги к нему брякнусь.

Подполковник с удивлением смотрел на собеседницу: какое упорство, какой напор! Смотрел и почему-то гадал: сколько ей может быть лет. Восемнадцать? Навряд ли восемнадцать. И успела повоевать, ранена. И ранение это свое как старый солдат переносит. И вдруг неожиданно даже для себя спросил:

— Вы его очень любите?

— Я? Нет... То есть да. Но не так, как вы думаете,

Нет-нет, не так.— Веснушки как бы исчезли, растворились в румянце свекольного цвета.

Подполковник уже с интересом разглядывал заплаканное лицо собеседницы. У маленького солдатика с забинтованной и висящей на повязке рукой странно сочеталась эта способность краснеть и смущаться от самого простого житейского вопроса и не теряться в обстоятельствах, которые нелегки и для бывалого человека. В этом была какая-то особая привлекательность.

Щербина встал из-за стола и зашагал по кабинету.

— Вот что, сержант. Я даю слово попытаться выбить для него Москву. Сложно будет. Ох, не любит наш генерал беспокоить столицу. И неизвестно, как к этому отнесется Москва, она тоже не любит, когда ее беспокоят. Да и сам бог окулистики — человек нравный... Но попытаемся... Обещаю. Сделаю, что смогу.

...В те дни Мечетный не знал об этом разговоре. Он узнал только его результат. Но в ту ночь впервые со времени своего ранения он спал хорошо.

8

А утром Анюта влетела в палату с газетой и криком: «Ура! Ура!»

— Владимир Онуфриевич, Указ. Награды за форсирование Одера.— Она победно потрясла номером «Красной звезды».— Длинный список. И вот впереди: капитан Мечетный Владимир Онуфриевич — звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда!

Список Анюта читала, будто стихи. В нем было несколько знакомых фамилий, в том числе и замполита из роты Мечетного с пометкою: «Награжден посмертно».

Мечетный был просто ошеломлен этой вестью. Конечно, знал, что операция по форсированию такой большой реки, в которой авангардом шла его рота, дело серьезное, значительное, даже в армейском масштабе, но Звезда Героя свалилась на него неожиданно. Герой! Хорош герой!.. Теперь ему было жгуче стыдно за тот самый вечер, когда Анюта случайно обнаружила у него запас люминала.

И еще поразило его, как в госпитале восприняли эту новость. До самого завтрака палата гудела, будто растревоженный улей. Поздравляли, хлопали по спине и пониже, целовали прямо в бинты. Бичевой вызвался по такому случаю — кровь из носа, но добыть самогон, именовав-

шийся в этих краях «бимбером». Деньги мало что стоили в ту пору. Бичевой обещал провести обменную операцию. Из-под кроватей извлекли заплечные мешки-«сидоры», в которых хранилось все так тщательно сберегаемое солдатское богатство. Кто дал для общего дела теплые подштанники — все равно зима кончилась,— кто меховые рукавицы, кто трофейную бритву. Со всем этим добром Бичевой отправил на базар пожилого санитара из местных жителей, слывшего среди раненых «понимающим» человеком. Так добыт был знаменитый «бимбер». Бичевой, вложивший в эту сложную операцию душу, радовался шумно, разливая мутноватое зелье по мензуркам. Вскочил на стул, провозгласил:

— За нового Героя Советского Союза, за фартового парня... Эх, держись, «Цаца», я в строю!

Выпил и Мечетный. Заставили выпить Анюту. Она глотнула, закашлялась и потом под смех палаты часто и шумно дышала, будто ее только что вытащили из воды.

— Салажонок,— ласково сказал сосед Мечетного справа. И добавил поучающе: — Не научилась на фронте пить, так и не учись. Глядишь для тебя война и без рюмки кончится. Я сам до войны этого зелья и нюхать не любил. Недаром Лев Толстой называл его чертовым изобретением.

— Дядя Микола, по такому случаю и сам господь бог с нами бы чепурашку опрокинул.

Кто-то, порывшись в своем мешке, извлек оттуда плоскую бутылку с неизвестным напитком при яркой немецкой этикетке.

— Хранил вот до дому. Клаху свою угостить со свиданьицем. Но такой случай, пейте уж, чего там.

— Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец.

И потом, будто от всей палаты, немногословный дядя Микола потребовал:

— Капитан, давай расскажи, за что Звезда-то на тебя упала?

И Мечетный, никогда и никому о себе не рассказывавший, усевшись на койке, вдруг принялся повествовать, как бойцы его роты, идущие в авангарде, бросились в ледяную воду протоки, как плыли, толкая перед собой доски, бревна, двери, туго перевязанные снопы, на которых лежало их оружие, как шли на них эсэсовцы, будто каппелевцы из фильма «Чапаев», и как контратакой отбила их атаку его рота. И день, когда все это произошло,

казался Мечетному далеким, далеким. И он тот день, когда получил столь тяжелую травму, вспоминал сегодня даже с удовольствием...

А между тем весть о награждении капитана из «Цациной» палаты тяжелых разнеслась по госпиталю. Приходили люди из других палат, приходили врачи, сестры, а под вечер в палату торжественно вплыл большой пирог, сооруженный по этому случаю госпитальным поваром, который когда-то был шефом на кухне в известном здешнем ресторане «Жорж». И в палате «под Цацей», где обычно раздавались ахи и стоны, впервые за все время ее существования завязалась негромкая песня, и все — русские, украинцы, белорусы и даже тот самый азербайджанец, который по ночам, корчась от боли, вспоминал аллаха, все пели знаменитую «Катюшу».

Это был первый день, когда, разогретый стаканом вонючего «бимбера» и этой дружбой окружавших его людей, Мечетный не терзал себя мыслями о своем безрадостном будущем.

Администрация посмотрела сквозь пальцы на пирушку, устроенную в палате «под Цацей», а в заключение этой пирушки пришел начальник госпиталя подполковник Щербина. Он был без халата, в тщательно отглаженном кителе, при орденах.

— Ну, капитан, поздравляю, и готовьтесь в путь. Генерал дал добро. Столица нашей Родины ждет вас.

— А Анюта... А старший сержант Лихобаба?

— Поедет с вами. Семь бед — один ответ. Заполнили ваши карточки, выписали и ей путевку как медсестре, сопровождающей раненого. Передавайте привет моему учителю, Виталию Аркадьевичу.

— Спасибо,— только и сказал Мечетный, но сказал это так, что прозвучало убедительнее, чем самые бурные рукопожатия и горячие благодарности.

9

Когда Анюта объявила, что санитарная машина уже пришла, в палате «под Цацей» началась суматоха. Все ходячие повскакивали со своих коек и, отчаянно мешая друг другу, принялись собирать Мечетного в дорогу.

— Большого фарта тебе, капитан,— сказал Бичевой, неся его чемодан.— Скорешились мы — расставаться жалко. Давай адрес, напишу тебе, как у меня пойдут дела с нашей «Цацей».

— Нет у меня адреса.

— У меня тоже нет. Тот адрес, с которого я на войну ушел, не мой теперь адрес.

— Все мы без адреса. Сколько народу Гитлер адресов лишил... Писал на колхоз — вернулось. Писал на свою эмтээс — вернулось...— сказал сосед справа.

— Хватит баллон катать,— оборвал Бичевой, не терпевший горестных разговоров...— Счастливый ты, капитан, твой фарт с тобой едет.

Первые минуты пути на аэродром Анюта и Мечетный молчали.

Оба волновались, и каждый по-своему. Он думал о том, что-то скажет «бог окулистов», этот самый Виталий Аркадьевич, на которого возлагались последние надежды. И она гадала, как-то встретит их столица, как-то живут сейчас люди в глубоком тылу, где даже снято затемнение и почти каждый вечер гремят победные салюты. Анюта не только не обиделась, но как-то даже и не заметила или сделала вид, что не заметила, что в списке награжденных за форсирование Одера не оказалось ее фамилии. Радовалась за других. И уже успела ночью написать поздравительные открытки всем, кого знала в длинном списке награжденных. Столица, свидание со столицей занимали все ее мысли.

— А я ведь никогда не была в Москве,— вдруг сказала она.

Перспектива оказаться в огромном незнакомом городе, да еще в необычной роли раненой и в то же время сопровождающей раненого медицинской сестры, совсем ее не смущала: есть же везде хорошие люди. Не может быть, чтобы они не отыскались и в Москве.

Теперь, когда после дней тягостной неясности все прояснялось и вставало на свои места, ее радовало все: и весенние жухлые грязноватые снега, еще белевшие кое-где в лесной чаще и на теневой стороне наполненных водой канав, и возбужденный гомон воробьев, и монументальные фигуры грачей, солидно расхаживавших по зеленому бархату уже тронувшихся в рост озимей, и сосны, растущие вдоль дороги и по-весеннему позванивающие своими вершинами. А когда машина согнала двух зайцев и они, забавно петляя, заскакали по полю, не разлучаясь, парочкой, путаясь ногами в густых озимях, она высунулась из машины и отчаянно закричала им вслед, отчего зайцы остановились, встали столбиком и удивленно запрядали ушами.

— Мамочки-тетечки, какие симпатяшки.

— Кто, кто симпатяшки? — спросил Мечетный, не без труда отрывая мысли от грядущего свидания со всемогущим богом окулистики.

— Да зайчишки.

— Какие зайчишки? Где?

— А там, на поле, страшно смешные.— И вдруг сказала: — Как хорошо-то, товарищ капитан.

«Совсем ребенок», подумал Мечетный и, обняв за плечи, ласково прижал девушку к себе. Рука его ощутила жесткий ремень портупеи, а девушка сразу отстранилась.

До аэродрома доехали молча. Он хранил еще воспоминания о былой своей красоте, этот аэродром, искалеченный, изуродованный бомбами. Руины разрушенного, выгоревшего аэровокзала топорщились железными ржавыми балками. Бетон посадочных полос пестрел наскоро наложенными заплатами. Тут и там темнели остовы сожженных самолетов, а у полосатой метеорологической будки возвышалась целая гора искореженного алюминия. Он, этот аэродром, напоминал больного, еще только начавшего возвращаться к жизни. Самолет с красным крестом стоял в стороне от посадочной полосы. В него вносили раненых.

Анюта помогла Мечетному спуститься из машины и повела его к самолету. Странную они представляли пару. Высокий, плечистый капитан с забинтованной головой, шагавший по бетону бравой походкой, и маленькая девушка в военном, семенившая впереди него. Одна рука была у нее на перевязи, а другой она, будто на прогулке, вела за руку капитана.

— Битый небитого везет,— сострил кто-то, когда они подошли к месту погрузки.

— Капитан хоть слепой, а вкус у него ничего себе... Вон какую пэпэжонку отхватил.

— И вовсе не остроумно,— сердито отпарировала Анюта.— Это Герой Советского Союза. Он первый на немецкую землю за Одером вступил.

— Анюта, не надо. Зачем это, нехорошо.

— Ничего, пусть знают пустобрехи.

Звание Героя Советского Союза в войсках ценилось очень высоко. Им тотчас уступили дорогу, и дюжий летчик в кожаной куртке на «молнии», куривший в стороне, бросил папиросу и чуть ли не внес Мечетного в кабину.

Старенькая санитарная машина изнутри напомнила Анюте учебный макет: человека с содранной кожей, по которому она на курсах изучала мускулатуру и сухожилия. В алюминиевом чреве были обнажены все конструкции. Летчик подвел Мечетного к месту в центре металлической скамейки, тянувшейся по борту.

— Садись, капитан. На центроплане спокойнее.— Сам присел возле.— Так, значит, форсировал Одер? Большое дело. Москва за вас здоровенный салют грохнула... Так как же тебя, капитан?

— Наша рота первая на ту сторону перешагнула. Первая на вражескую землю вступила,— с детским хвастовством зачастила Анюта.— Мы захватили, как его, ну этот самый, как там по-военному, тэт де пон, ну, пятачок...

— А как же вы реку переходили? По льду?

— Да нет, вплавь. Двенадцать человек у нас из роты ордена и медали получили. А вот капитан — Героя.

— Анюта, не надо.

— Нет, отчего же... Интересно... Я на земле не воевал...

Летчик оказался словоохотливый и боевой. Свою старенькую машину не раз выводил он в тыл врага, к партизанам, и вывез оттуда через линию фронта немало людей. Дважды летал с боевым грузом в Югославию, к тамошним партизанам, и очень гордился тем, что немцы звали эти машины, по ночам пролетавшие над ними на большой, почти недосягаемой для зенитных орудий высоте, «Титобусами». При всем том он даже представить себе не мог, как это можно зимой форсировать незамерзшую реку вплавь да еще при оружии. Он засыпал Мечетного вопросами. Тот отвечал однозначно, зато Анюта не жалела слов, рассказывала все в деталях, так что и Мечетный не без интереса слушал ее рассказы.

Из командного отсека вышел пожилой штурман.

— Командир, кончай пресс-конференцию. Закругляйся, старт дают.

Пилот ушел, взвыли моторы. Самолет, подрагивая крыльями, побежал по неровной разбомбленной полосе. Мелькнул за окном безобразный остов сгоревшего аэровокзала, земля будто опустилась вниз, и облака, обступив самолет, вовсе закрыли его.

Из пилотской кабины вышел молоденький радист. Он принес два одеяла.

— Командир приказал укрыть капитана. Наверху холодно будет.

Мечетному до этого случая не приходилось ни разу подниматься в воздух, и, когда самолет, пробивая облака, проваливался в воздушные ямы, он испытывал страх, весь сжимался, судорожно держась за алюминиевую скамеечку, а на одном таком ухабе даже вскрикнул. Вскрикнул, застыдился, но страха подавить в себе не мог.

Анюта обняла его за плечи, прижала к себе.

Но и сама она испытывала тягостное чувство, как на качелях, когда доска стремительно идет вниз: холодело в животе, комок подступал к горлу, клейкая слюна заполняла рот. Она едва успевала ее сглатывать и все-таки продолжала прижимать Мечетного и непослушными губами бормотала:

— Ничего, ничего, товарищ капитан, привыкнете, все пройдет.

Летчик снова вышел в салон. Критически осмотрел своих пассажиров — и сидящих и лежащих на носилках.

— Ну как вы тут у меня?

— Все в порядке, товарищ командир,— ответила за всех Анюта.

— Вижу, вижу, какой порядок,— усмехнулся пилот, глядя на ее побледневшее лицо, на котором просто-таки сияли крупные зеленые теперь веснушки. Она безуспешно старалась проглотить подступавший к горлу ком.

— Мы спим, товарищ командир.

— Вижу, вижу, как ты спишь, старший сержант! — Заглянув в пилотский отсек, он принес пробирку с таблетками.— Проглоти и ему дай. В случае если не поможет, своди его в хвост — пусть там за занавеской облегчит душу. Ступай, ступай, я возле него посижу.

Анюта выполнила этот совет — «облегчила душу». А когда, осторожно пробираясь между ранеными, вернулась в салон, летчик еще сидел около Мечетного, поддерживая его за плечи.

— Ну, смена караула,— сказал он и, мягко ступая в своих собачьих унтах, скрылся за дверью.

Мечетный похрапывал. Девушка тоже ненадолго задремала, и когда наконец машина, снизившись, побежала по бетонным плитам московского аэродрома, Анюта была совершенно измотана: подламывались колени, кружилась голова. Теперь уже не она вела Мечетного, а он вел ее,

крепко придерживая за талию. Она уже не была «сопровождающим лицом», а только его глазами.

До войны Мечетный жил в своем далеком уральском городе, растянувшемся вдоль великой реки, там кончил школу, учился в институте, готовясь стать инженером-металлургом, и почти уже окончил его, но началась война. Студенты их курса имели бронь. Но он был комсомольцем и с группой комсомольцев-однокашников прервал учебу и добровольно отправился на фронт, на пополнение своей уральской дивизии, отбивавшей в те дни яростные атаки неприятеля недалеко от Москвы, в лесах под городом Калинином. Столицу их эшелон проходил ночью, и повидать ее в тот раз ему так и не привелось. А когда потом в огромной битве на подступах к Москве был сокрушен гитлеровский «Тайфун», как по разбойничьему коду захватчиков именовалась запланированная операция по захвату и уничтожению Москвы, дивизия, в которой воевал Мечетный, пошла вперед в западном направлении, и столица осталась далеко за спиной.

А теперь, когда санитарная машина везла их по улицам, он не мог видеть. Он только слушал Москву, и она входила в его сознание рыком встречных машин, звоном трамваев, шуршанием шин, бойким говором москвичей, доносившимся до него, когда машина останавливалась у светофоров. Москва врывалась под брезент запахом талого снега и бензиновой гарью. Да и не до московских красот и диковин ему было. Приближался час, когда на самой высокой медицинской инстанции в клинике знаменитого окулиста будет решаться судьба его глаз: пан или пропал.

Поэтому длинная дорога с аэродрома прошла для него незаметно.

В приемном покое снова ударил в нос тяжелый госпитальный запах. И эта привычная теперь атмосфера успокоила его, Анюта провела его в комнату, где стучала машинка, шуршали бумаги. Капитан Мечетный, тот самый Мечетный, что бесстрашно поднял за Одером свою роту и повел против атакующих эсэсовцев, боялся этого стука пишущих машинок и шуршания бумаг. И хотя они с Анютой уже пережили не одну процедуру нелегкого оформления, он снова растерялся и, как бы отступив на второй план, предоставил действовать Анюте. И та действовала с прежним напором.

— Вот вам карта передового района. Вот направление из санупра армии. Видите, сам генерал-майор подписал.

А вот еще письмо. Я должна его передать лично полковнику медицинской службы Преображенскому от подполковника медицинской службы Щербины. Он тут все о нас докладывает.

— Письмо потом... Капитана принимаем, а вас, милочка, направим в обычный госпиталь. Мы с такими ранениями не лечим. В нашей клинике, голубушка моя, только глазами занимаются.

— Я не раненая, я сопровождающее лицо. Так в письме от генерал-майора медицинской службы и написано. Прочитайте.

— Вижу. Приказ вы, милочка, выполнили, капитана доставили в целости и сохранности, за то вам спасибо. А сейчас займитесь-ка вы собственной рукой.

— Мне приказано сопровождать капитана и быть при нем.

— Кто приказал быть при нем? Из чего это видно? Вы, голубушка, мне голову морочите.

— Я не «милочка» и не «голубушка» — я старший сержант медицинской службы. И вам ничего я не морочу. Наша рота мне приказала.

Мечетный молча слушал эту уже знакомую ему словесную дуэль и в спор не вступал. Он, разумеется, не видел собеседника Анюты. Но по голосу, по манере говорить, по этим самым ласковым обращениям «голубушка», «милочка» он нарисовал его старым бюрократом из тех, которых трудно переспорить и нельзя убедить.

Но Анюта не сдавалась. Она выбросила на стол свой главный козырь:

— Капитан Мечетный — Герой Советского Союза. Он первый вступил на землю врага.

— Он-то да, а не вы, милуша. Вы-то Одера не форсировали.

— Как раз форсировала. Вместе с ротой. Я с самой передовой его везу. Не верите?

Собеседник вздохнул.

— Верю, милуша, верю. Но не можем, понимаете, не можем. Все койки заполнены. В коридорах, на лестничных клетках стоят. Не можем мы, права не имеем принимать раненых не по нашему профилю.

Мечетный услышал, как Анюта тяжело задышала, зашмыгала носом. Испугался: неужели заплачет?

— Мда, история.— Мечетный услышал, как забулькала наливаемая из графина вода.— Выпейте-ка, голу-

бушка. Выпейте и успокойтесь. И поймите — не могу... Мы вас на машине в хороший госпиталь переправим. Ну как мы с вами можем нарушать правила?

— А вы сделайте исключение. Я же ваша — медичка, я же вашему персоналу помогать буду.

— С раненой рукой, с повязкой на шее?

— Да, с раненой рукой и с повязкой на шее.— После нескольких глотков воды голос Анюты снова обрел прежнюю напористость.— Помогала же я сестричкам во Львове. Еще как помогала-то. Запросите Львов. Ведь так, товарищ капитан?

— И этому, голубушка, верю. И все-таки вы не наш профиль.

И тут Мечетный услышал явный тоненький плач.

— Ну вот те на... Говорит, что Одер форсировала. Выпейте-ка, выпейте-ка водички. И не плачьте. Деды наши говорили: Москва слезам не верит. Увы, милая моя, не верит и до сих пор.

Зажужжал телефонный диск.

— Пришлите в приемный покой санитара взять больного.

Хлопок двери. Стук тяжелых сапог.

— Проводите капитана в третью палату.

— Подождите! — выкрикнула Анюта.— Подождите, а письмо? Мне же поручено вручить пакет лично полковнику медицинской службы. В собственные руки.

Что было дальше, Мечетный уже не слышал. В какой-то другой комнате с устойчивым запахом несвежей солдатской одежды его переоблачили в больничное. Отвели в палату, подвели к застеленной койке. Прохладное, жестковатое, пахнувшее мылом белье облекло его. Он односложно отвечал на вопросы, какие обычно задают новичку в любой госпитальной палате: как звать, где ранен, какое звание. Ответив, он сделал вид, что уснул, но не спал. Обдумывал свое новое положение.

Вот он тут, в клинике, где, по словам львовских врачей, «бог окулистики» вершит свои чудеса. И он, Мечетный, сейчас в таком положении, о котором человек с его ранением может только мечтать. Шансы сохранить зрение повысились. Но он лишился Анюты, которая была его глазами, его надеждой, его утешением. Только теперь вот, когда Анюты рядом не было, он понял, какой необходимой стала ему эта девушка, прошедшая с ним весь

нелегкий путь от немецкой реки Одер до Москвы-реки. Трудный путь. Полюбил ли он ее? Нет. Это, наверное, не любовь. И относился он к ней не как к женщине, а как к девочке — с осторожностью, с боязнью ее обидеть словом или жестом, и все же при всем том сердце его сжималось, лицо полыхало жаром, когда кто-нибудь из окружающих принимал ее за его жену или когда случайно соприкасались их руки или колени.

Про себя он даже загадал: если единственный глаз будет спасен и он будет видеть, он, как это писали в старых книгах, предложит ей руку и сердце. Но только в этом случае, не раньше. Даже в мыслях не допускал, чтобы Анюта по жизненной неопытности или из жалости связала свою судьбу со слепцом. Но вот если зрение восстановится, тогда...

И вот не будет этого тогда. Случай развел их внезапно, сразу. Растерявшись, он даже не успел с ней проститься. И в душе образовалась пустота. Он чувствовал: эту пустоту уже не заполнишь. После ранения, после операции, лишившей его левого глаза, это было третье крушение. Третье крушение за один год. А может быть, и лучше вот так сразу? Может, и хорошо, что судьба твердой рукой разъединила их.

Это был вывод разума, но не сердца. А сердце вопреки всему еще жило ожиданием. А может быть... А вдруг... С этим «вдруг» он уже по-настоящему уснул, сломленный усталостью и переживаниями этого битком набитого событиями дня.

10

Спал он крепко. Ни шум в палате, ни разговоры новых соседей, на все лады обсуждавших новичка, не нарушили его сон. Но сразу разбудил его тихий звук такой знакомой легкой походки. Ухо сразу отличило его среди других звуков, наполнявших палату. Анюта? Мечетный сразу же сел на койке. Сна как и не бывало. Действительно, пришла Анюта. И не одна. Кто-то пришел вместе с ней. У этого кого-то была скользящая походка и один ботинок легким скрипом отмечал шаг.

— Владимир Онуфриевич,— начала было Анюта.

Но раскатистый бас человека со скрипучим ботинком перебил ее:

— Ну, как себя чувствует у нас достопочтенный Ромео? Как перенес дорогу? Глаз не болит, не дергает?

— Владимир Онуфриевич, это полковник медицинской службы, профессор...

— Хватит, хватит чинов и званий. Просто старый русский лекарь Преображенский. Виталий Аркадьевич Преображенский. Будем знакомы. Милая Джульетта в сержантском звании ввела меня в ситуацию. А мой ученик Платоша Щербина вас весьма живо описал в своем послании.

У профессора Преображенского был вкусный поволжский говорок, и круглое, как бублик, «О» так и выкатывалось из его речи: «ЖивО Описал». И грохотал этот голос, будто исторгался из глубины кувшина. Профессор привычным жестом взял руку Мечетного, нашел пульс.

— Ну, а как самочувствие?

— Нормальное.

— Действительно, нормальное. Пульс семьдесят два. Как и полагается герою Одера. Ну-с, измерим давление. Нет-нет, Джульетточка, я сам. Разве вам справиться одной рукой? Ого, ну вы просто жонглер...

— Меня здесь оставили. Он приказал,— послышался заговорщический шепот Анюты.

— Ну что же, отличное давление. Такое, наверное, и у Ильи Муромца было. Только он об этом не знал, тогда еще Риворочи не изобрел этот хитрый прибор... Ну что ж, витязь, мне мой ученик Платоша Щербина о вас все доложил. Не скрою, написал о том, что от вас отказался мой высокоуважаемый львовский коллега... Так-то вот. А мы все-таки попробуем побороться за ваш глаз. Сталин-то ведь недаром сказал: нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Но терпение, Ромео, терпение! Будем вас исследовать и готовить к операции. Отдыхайте, набирайтесь сил и о Джульетточке своей не беспокойтесь. Она девица ученая, ускоренные курсы военных фельдшеров кончила, мы ее на подхват к сестрам. А теперь, как это там у поэта, «...пора, мой друг, пора, покоя сердце просит».

И профессор ушел, поскрипывая подошвой и сопровождаемый запахом хорошего табака и кофе.

А Анюта осталась. Присела на койку и вдохновенно затараторила, больше, чем всегда, пересыпая свою речь любимым присловием: мамочки-тетечки.

— Тот старый бюрократ, ну который все «милочка» да «голубушка», чуть было мне от ворот поворот не сделал. Не наш профиль — и все. Канцелярская промокаш-

ка. А я как заору: сперва письмо профессору Преображенскому дайте вручить, а потом гоните... Без этого не уйду, хоть комендантский взвод вызывайте... Я ведь и не знала, что там, в письме, думала, так, какие-нибудь анализы. Мне бы только до профессора добраться, сказать, что не смеют они выкидывать раненую на улицу. Ну эта «промокашка» профессору все-таки доложил. И вдруг, мамочки-тетечки, сам профессор. И басит: кто тут бунтует, кому я нужен? Он ведь в цивильном ходит, однако ж все вскочили, и «промокашка» навытяжку. Ну и я, конечно, здоровую руку по швам, рапортую по форме: старший сержант Анна Лихобаба, согласно приказу, доставила раненого Героя Советского Союза капитана Владимира Мечетного.

Анюта просто захлебывалась, рассказывая.

— А он, только подумайте, Владимир Онуфриевич, он улыбнулся, спросил вдруг: как вы назвали свою фамилию? Рубаю по уставу: старший сержант Анна Лихобаба, товарищ полковник. Засмеялся и говорит: какая же вы Лихобаба? Нет, нет, не по вас фамилия. Вам бы Тихомировой или Милосердовой именоваться.

Анюта засмеялась.

— Сколько я из-за этой дурацкой фамилии горя хватила. А тут она мне вроде бы даже и помогла. Ну, говорит, Лихобаба так Лихобаба. Пойдемте-ка ко мне в кабинет, почитаем, что там Платоша пишет. Он ведь меня по телефону о вас предупредил. Ну, как он там в своем госпитале командует?.. Все такой же щеголь?.. Владимир Онуфриевич, вы не спите, нет?

Мечетный, разумеется, не спал. Он лежал сомкнув веки, стараясь представить себе все, о чем рассказывала девушка.

— Пришли мы в кабинет, чудной кабинет: по стенам картинки, стол цивильный, кабинетный, на столе плитка, на плитке кофейник. Усадил в кресло, вскрыл письмо, читает и ухмыляется. На меня поглядывает. И вдруг: знаете, Лихобаба, как вас во Львове эскулапы называли? Ромео и Джульетта. Дальше читает и опять ко мне: а Ромео-то ваш, оказывается, опасный человек. За ним глаз да глаз нужен. И о вас тоже сообщает, что вы весьма опасная особа, что вы Сталину жаловаться собрались, когда вашему Ромео в операции отказали...

Тут Анюта прервала рассказ, поняв, что сболтнула лишнее.

— А ты действительно Сталину писать собиралась?

— Ну собиралась не собиралась, а припугнула их.

— Он, что же, и историю с таблетками профессору сообщил?

— Да,— чуть слышно ответила Анюта.

— Стало быть, и подполковник Щербина об этом знал?

— А как же, знал, конечно.

— Кто же ему рассказал?

— Мамочки-тетечки, ну я же. Кто же еще?.. Даром, что ли, тогда вашу койку к самым дверям поставили, мне велели возле самых дверей с той стороны на раскладушке спать. Слушать вас.

— И ты спала в коридоре у двери!

— Ну ясно... Мамочки-тетечки, дура я дура, как это я проболталась.

Мечетный нашел руку девушки и приложился к ней губами. Руку она отдернула.

— Не надо... Он странный, этот дядечка профессор. Его тут никто не боится, но все слушаются. Говорят, никого никогда не ругает, даром что по званию полковник.

— Ну, а ты, Анюта, как? Как тебя устроили?

— Разрешил оставаться. Приказал принять у меня аттестат, а дислоцироваться меня определили в сестринской. Там уж одна беспризорная сестричка из вольнонаемных обитает. Тоже на заячьих правах. На лицо симпатичная, но ядовитая, прямо уксус. Едва познакомилась и сразу съехидничала: я тебе завидую. С фронта, прямо в Москву да еще при своем хахале. Ну, я, конечно, мамочки-тетечки, показала ей «хахаля»... Будьте спокойны. Не забудет. Меня этот профессор все Джульетточка да Джульетточка, и опять эта новая знакомая съязвила: ты, говорит, ловкая и к старику уже подкатилась... Только тут, говорит, не выйдет. У него жена молодая. Он и с ней-то не управляется... Вот ведь какая язва, чего придумывает. Калерией ее звать. И имя-то ядовитое — Калерия...

11

Джульетта... Ромео. За что же это их так именовали во Львове? — раздумывал Мечетный. Смутно он помнил пьесу Шекспира, в которой вроде бы говорилось о каких-то средневековых девчонке и парнишке, но при чем тут

он, капитан Мечетный, человек зрелого возраста? Но все же приятно: Ромео и Джульетта. Звучит хорошо.

И вообще как все здорово устроилось, как ловко решились все мучившие Мечетного вопросы. А может, и верно этот профессор с грохочущим голосом и поскрипывающим ботинком спасет-таки ему глаз?..

Весь день Анюты не было. С фронта, уже из глубины Германии, пришел поезд с ранеными. Среди них оказалось немало с глазными травмами. Были тяжелые. И Анюта, со свойственной ей неугомонностью включившись в жизнь клиники, помогала сестрам и санитарам. Она как-то быстро и здесь прижилась, стала нужной. И опять с разных концов слышалось:

— Анюта!

— Аннушка!

— Старший сержант Лихобаба! Куда она делась?

И даже:

— Нюша!

И опять как-то на всех хватало ее заботливости, доброжелательства. Для каждого припасено доброе слово или шутка. Мечетный стал даже ее ревновать. Весь день в чужих делах, а о нем, к которому она прикомандирована, из-за кого ее и оставили здесь, о нем забывает.

Только после ужина выкроилось время и для него. Она помогла ему одеться и повела гулять в старый парк, окружавший здание клиники. Из всех времен года Мечетный любил именно раннюю весну, когда на припеке греет, но в тени еще прячется острый зимний холодок, когда тут и там белеют горбы нестаявшего снега, обсосанного солнцем, а небесная синева становится особенно густой. Красок этой весны он уже не мог видеть. Но с тем большей жадностью слушал весенние звуки — тихий шорох еще голых древесных крон, ласково перебираемых теплым ветром, возбужденный птичий щебет и звон шагов прохожих, как-то особенно четко раздающийся в весеннем воздухе. И весенние запахи он ощущал теперь особенно отчетливо. Они заменяли ему краски — запах оттаявшей земли, крупчатого последнего снега и этот властвующий над всем запах распускавшихся тополей, которые толпой подошли к самой клинике. Тут, в старом парке, этот тополиный аромат побеждал бензиновую гарь, и солоноватый сернистый запах подмосковного угля, и вонь нечистот, которыми дышали мусорные баки, выставленные во дворе.

Мечетный наслаждался весной, прислушиваясь к звонким девичьим голосам студенток, стайками выбегавших порой из институтских, забитых ранеными коридоров глотнуть свежего воздуха. Он молчал, а Анюта все говорила, говорила. Рассказывала о том, что последний эшелон с ранеными пришел уже из глубины Германии, откуда будто бы и сам Берлин уже виден. Рассказывала, что, по словам вновь прибывших, земля и воздух дрожат не смолкая, столько там артиллерии, авиации, и о том, что немцы в занятых городах вывешивают из окон белые простыни, а по дорогам куда-то на запад бредут вереницы беженцев, катят велосипеды и детские коляски, груженные разным житейским скарбом, ведут и уносят детей.

—...Ну как мы когда-то от них уходили,— вдохновенно повествовала Анюта.— А летчик один, его в воздухе подожгли, он до своих все-таки дотянул, но при посадке лицо себе разбил, так этот парень говорит, что теперь наши полные хозяева в воздухе, что хотят, то и делают. А противник, говорит, хоть в последние дни с козыря пошел, пустив какие-то самолеты без винтов, а ничего против нас поделать уже не может: хенде хох, и все тут.

Мечетный не очень вникал в рассказ. Просто приятно было слушать ее голосок.

— ...А наш профессор меня увидел и поздоровался. Спрашивает, как вы, Джульетточка, у нас адаптировались? Как ваш Ромео? На днях, говорит, оперировать его буду. Может быть, глаз ему и починю, у меня, говорит, рука легкая.

— Так и сказал? Сказал «починю»?

— Так и сказал. А потом даже байку рассказал. Приходит будто к нему на консультацию больной. Вот, говорит, профессор, помогите. Свет в глазах меркнуть стал. Вокруг туман, с каждым днем вижу все хуже и хуже. А я его, говорит, сразу вылечил. Я говорю, милый друг, стекла очков протрите, грязные они у вас. Протер и сразу все видеть стал. Вот, говорит, милая Джульетточка, какие чудеса исцеления старик Преображенский совершает...

— Это он с тобой такие разговоры ведет?

— Да. А что? И не только разговоры. К себе приглашал. Заходите, говорит, в перерыв. Кофе угощу. Такого, говорит, кофе тебе нигде не предложат, мне, говорит, один армянин, которому я свет вернул, такую кастрюлечку подарил, в которой кофе по-особому варится...

— А ты пойдешь? — ревниво спросил Мечетный.

— А почему не пойти? И кофе попью, и за вас похлопочу. Между прочим, спросил, какого цвета у вас глаза. А я и не знаю. Поругал: нехорошо, говорит, товарищ Джульетточка. Ваша тезка, наверное, знала, какие у Ромео глаза были... А какие в самом деле у вас, Владимир Онуфриевич, глаза?

— Пока что никаких нет,— нервно ответил Мечетный, но почувствовал, как дрогнула рука Анюты, добавил: — Карие, карие... были.

Девушка поняла, что прикоснулась к больному месту, и уже спешила увести разговор в сторону:

— Он меня все Джульетточка, Джульетточка, а я ведь и не знаю путем, кто такая Джульетта была. Вы знаете?

— Пьеса такая. О парнишке и девчонке, которые так любили друг друга, что потом вместе и умерли. Знаешь, Анюта, интересно было бы эту пьесу почитать.

— А что же, почитаем. Здесь в клинике есть библиотека. А не найдем, я в Ленинскую библиотеку съезжу. Там все книжки, какие только есть на свете.

Так с томика Шекспира чтение и вошло у них в обычай. Большинство пациентов этой клиники сами читать не могли. Ходячие весь день толпились у черных тарелок репродукторов. Через радио приходили к ним все новости. Дважды в день над всеми звуками и шумами этого большого старого здания господствовал голос диктора Юрия Левитана, читавшего сводку Советского Информбюро. В эти минуты в клинике все замирало, стихали боли, на самом интересном месте обрывались споры, кости домино застывали в руках играющих. Наступала тишина, которую никто не смел нарушить ни словом, ни вздохом.

Все события жизни воспринимались на слух. А вот теперь, после того как в палате, где лежал Мечетный, появилась Анюта с томиком Шекспира и обитатели палаты, слушая ее, мысленно пропутешествовали в итальянский город Верону и вместе погоревали о печальной судьбе средневековых парня и девушки, чтение вслух как бы вошло в обиход. Приходили раненые из соседних палат, рассаживались на койках, а то и на корточках вдоль стен. Слушали. Учтя столь ярко проявленный интерес к литературе, комиссар госпиталя перенес громкие читки в зал, где по утрам устраивались врачебные пятиминутки. Но слишком много горя было в те дни в палатах клиники,

и вслед за шекспировской трагедией Анюта, по совету комиссара, стала читать рассказы Зощенко и тоненькие книжечки из библиотечки «Крокодила». Слуша е"ей становилось все больше.

Эти чтения попали в сводку политической информации. Были одобрены свыше как ценное начинание, рекомендованы в другие госпитали. После вечернего обхода люди теперь ждали Анюту с очередной порцией юмора.

— Золотая девка! — доложил о ней комиссар начальству.

12

Наконец в госпитале прошел слух, что сам Преображенский будет делать операцию капитану Мечетному.

Вечером Анюта была приглашена в кабинет руководителя института. Он все еще жил, как тогда говорили, на казарменном положении.

— Я сейчас как флотоводец Ушаков перед сражением у острова Фидониси,— сказал профессор, усаживаясь в кресло напротив девушки.— Слишком уж велики шансы противника и мало, очень мало шансов для победы.

— Товарищ полковник, вы победите. Обязательно победите! Должны победить.

— Одной уверенности, Джульетточка, увы, мало.

— Но про вас говорят, что вы «бог окулистики».

— Бог. Богу легко. Предполагается, что он сидит высоко, где-то там, куда не достигают страсти и боли человеческие. Ой, девочка, богу хорошо, он все знает наперед. А я вот сейчас не знаю, не ведаю.— Профессор волновался, и потому волжское, круглое «О» особенно выделялось в его речи.— Таких операций не только мне, но и никому, наверное, не доводилось проводить. И вот в иной час думаю, не отказаться ли, пока не поздно. Неудача в моем возрасте — незаживающая рана. У молодого рана быстро затягивается, а у меня будет кровоточить до гроба. Стоит ли рисковать?

— Товарищ полковник, миленький, умоляю, вы же знаете, что с ним было там, во Львове, вам же товарищ подполковник Щербина писал про люминал.

— Я очень к вам обоим привязался. Вы удивительная пара. Ромео и Джульетта Отечественной войны. Но ведь вы знаете, чем закончился их роман.

— Знаю, только что прочитали. Пусть и так кончится, но вы от нас не отказывайтесь... Ну как мне вас уговорить? Я готова, ну на все готова...

О том, как происходил этот разговор, как девушке удалось заставить ученого бросить вызов львовскому коллеге и пойти на почти безнадежную операцию, Мечетный узнает лишь много лет спустя. Тогда он узнал лишь о финале этого ночного разговора. Утром Анюта объявила, что его берут на операцию, что операция будет в четырнадцать ноль-ноль и что ее будет делать сам.

В положенный срок профессор явился в палату в сопровождении стаи ассистентов, сам проверил пульс у больного, измерил давление.

— В операционную! — скомандовал он, и из слова этого явственнее, чем всегда, выкатились округлые нижневолжские «О».

Операция шла под местной анестезией. Мечетный слышал все, что происходило. Сомнения и колебания, которые Анюта услышала в ночном разговоре, исчезли, по-видимому, не оставив и следа. Уверенно, даже воинственно звучал бас профессора. Короткие слова летели, как полководческие команды на поле боя:

— Поднять стол... Свет, точнее свет... Лупу...

«Зачем ему лупа?» — подумал Мечетный, отчетливо слышавший все, что происходило вокруг. И тяжелое дыхание оперирующего, и позвякивание инструментов, и незнакомые слова: векорасширитель... Пинцет... Не тот, для роговицы... Ножницы роговичные...— И наконец, сложное слово «криоэкстректор».

«Что это такое криоэкстректор?» — думал Мечетный, стараясь отвлечься от происходящего. Особых ощущений он не испытывал. Боль была тупая, приглушенная. Но вот звуки, улавливаемые обостренным слухом, пугали. Тяжело дышал профессор. Точно нес какую-то тяжесть. Слышно было, как нервно переступает он с ноги на ногу, как все чаще раздается команда: «Сестра, уберите пот с лица».

Операция шла уже третий час.

— Гарпун! — скомандовал наконец профессор, скомандовал властно, резко, но его точно из глубины кувшина исторгающийся голос явно дрожал от усталости.

«Гарпун... Какой гарпун? Зачем здесь, в операционной, гарпун?» — думал Мечетный, отвлекая себя от тревожной мысли, рожденной сознанием, что вот сейчас решается, видеть ему или не видеть, вернуться в строй нормальных

людей или навсегда остаться калекой. Отгоняя от себя страх за исход операции, он старался думать о мелочах: что такое гарпун, что значит копье, крючок.

Время от времени профессор спрашивал:

— Как себя чувствуете?

— Нормально.

— Что испытываете? Болит?

— Терпимо.

— Если очень больно, скажите.

— Скажу.

И опять сквозь вязкий полусон звучали непонятные слова: векорасширитель... криоэкстректор... гарпун. Скоро ли это кончится?

Кончилось через три с лишним часа.

— Ух! — раздалось наконец.— Воды... Нет, простой... Терпеть не могу эту газированную дрянь!

Тяжелые, медленные глотки.

— У вас, Виталий Аркадьевич, вся спина черная.

— Еще бы... тремя потами омылся... Ну, друг капитан, задали вы мне работенку. Как себя чувствуете?

— Нормально.

— А я вот нет. Я подняться с табуретки боюсь. Ноги подламываются. Такая операция не жук на палочке.— На этот раз голос был слабым.

— Товарищ профессор, ну как, есть надежда?

— Надежда? Что значит надежда? Абстрактное понятие. Могу только сказать, как тот древний римлянин: я сделал, что мог, пусть больше сделают могущие... А надеяться, капитан, всегда надо надеяться на лучшее. Вот когда ваш глаз, который я, можно сказать, из лоскутьев сшил, увидит свет, в тот день старику Преображенскому можно будет вручить медаль за отвагу.— И распорядился: — Увезите больного.

Каталка мягко поскрипывала. Ее вывезли в коридор. Тут к поскрипыванию ее колес приобщились легкие шаги Анюты. Она шла рядом, шла молча. Но на своих руках, лежащих поверх одеяла, Мечетный чувствовал тепло ее ладони.

13

В эти последние дни палата тяжелых травм, как, впрочем, и все остальные палаты, просыпалась задолго до восьми часов, когда раздавали термометры и начинался официальный больничный день.

Даже самые слабые, даже завзятые любители поспать поднимались словно по сигналу в шесть часов, когда передавалась утренняя сводка Советского Информбюро. Новости она приносила теперь только хорошие. Объявлялось об успешном развитии наступления по всему гигантскому фронту, о форсировании новых рек, о взятии новых городов. Профессор Преображенский шутил: сводка эта в его клинике стала самым действенным лекарством. И сам следил за тем, чтобы черные тарелки репродукторов, развешанные по всем палатам, были всегда в порядке, действовали безотказно.

Искалеченные и часто совсем ослепленные люди, лежавшие на койках, были опытными солдатами, знали, что такое война, и не без основания считали каждую победу, на каком бы участке гигантского фронта она ни происходила, своей победой, каждый салют — своим салютом, и потому сразу же после этой утренней передачи в клинику вступало радостное волнение.

В коридоре висела большая карта Европы. Ежеутренне на ней перекалывались красные флажки. И те, кто мог ходить и видеть, целый день толпились возле этой карты, азартно обсуждая передвижение фронтов, гадая, как дальше будет развиваться наступление, куда пойдет Жуков, что предпримет Конев, что сделает Рокоссовский или какой-нибудь другой командующий, причем каждый болел за своего полководца с тем же азартом и страстью, с какими до войны любители футбола болели за свою команду.

Мечетный не видел карты. Оперированный глаз был закрыт плотной повязкой. Ему сказали: пройдет немало времени, прежде чем можно будет его открыть и узнать результаты уникальной операции. К карте он не подходил, но подробно допрашивал своих зрячих соседей о всех происходивших на ней изменениях и мысленно представлял картину войны.

В солнечное утро, когда в открытые окна палаты врывался свежий запах умытой вешним дождем земли и галочий грай, на карте обозначилось берлинское направление. Ведь это только подумать — берлинское направление! Форсирована Шпрее — самая немецкая из всех немецких рек! В это утро всем показалось, что голос Юрия Левитана, который в дни войны звучал как вечевой колокол, возвещавший народу и о бедах и о торжествах,

этот такой знакомый всем голос звучал как-то особенно торжественно.

Берлинское направление — ведь это только подумать!

Мечетный в составе своей гвардейской уральской дивизии вступил в войну, когда бои шли на близких подступах к Москве. Но и тогда вся огромная, терзаемая фашистскими дивизиями страна мечтала, и страстно мечтала, о том далеком, очень далеком дне, когда советские дивизии подойдут к Берлину. Мечтали, верили и, веря, сражались и работали, не зная устали, покоя, не щадя себя. Мечтали четыре тяжелых года. И вот оно обозначилось — берлинское направление! Красные флажки на карте, висевшей в коридоре, подвинулись к самой столице гитлеровского рейха, охватывали, окружали ее.

В этот день в клинике все говорили громко, возбужденно, как будто все приложились к стаканчику, хотя строжайшие порядки, установленные профессором Преображенским, исключали всякую возможность проникновения спиртного.

Никто не стонал, не охал, не ворчал, и Мечетный, у которого все время не выходило из ума, будет он видеть или не будет, захваченный этой новостью, в этот день почему-то проникся уверенностью, что да, видеть будет. И думал он в этот день не о своем несчастном глазе, а все старался представить карту Европы, по ней мысленно провести разгранлинию своего Первого Украинского фронта и вообразить, как далеко прошла его рота от того первого клочка чужой земли за Одером, в бою за который для него, капитана Мечетного, погас свет.

Ну, а вечером, в час очередного салюта, все, в том числе и незрячие, толпились у окон, откуда были видны многоцветные сверкающие огненные всплески. Слушали раскаты пушечных выстрелов и даже с удовольствием ощущали, как залпы слегка встряхивают стены старой клиники и как позванивают мензурки на тумбочках.

В этот день, совершая традиционный обход, профессор Преображенский остановился у койки Мечетного.

— Ну как, герой Одера?

И даже обиделся, услышав обычное «нормально». Обиделся и тихонько сказал:

— Нормально. Что значит нормально? Вам сделана уникальнейшая операция, которая, может быть, войдет в историю окулистики, о ней можно научную статью писать. А он — нормально! Теперь вы сами, друг мой, яв-

ляетесь отступлением от любой до сих пор известной нормы. Ваш глаз, если он прозреет, может стать лучшим моим шедевром.

— Если прозреет... А когда я узнаю, прозреет он или нет?

— Терпение, мой друг, терпение! Как говорил небезызвестный Козьма Прутков, торопливость показана лишь при ловле блох, а народ еще точнее сказал: поспешишь — людей насмешишь.

— Ну, а надежда-то, есть хоть надежда?

— Как поется в одном жестоком романсе: верь, надейся и жди... Ладно, капитан, будем считать, что этот вопрос мы с вами выжали досуха.— И повторил: — Верь, надейся и жди.

Хотя одна рука у Анюты была все еще забинтована, девушка все-таки ухитрялась заменять то одну, то другую из сестер и еще продолжала по вечерам свои громкие читки. Урывала она и время погулять с Мечетным. Они бродили по больничному парку, ощущая на лицах ласковое прикосновение солнечных лучей, слушали мягкий шелест молодой, нежно зазеленевшей листвы. Бродившие по парку больные, студенты, выбегавшие на воздух подышать, привыкли видеть эту неразлучную пару.

В день, когда было объявлено, что Первый Белорусский фронт завязал бои на окраине Берлина, а Первый Украинский охватывает столицу Германии с юго-запада, Мечетный с Анютой грелись на солнышке, сидя на старой, шелушащейся скамейке. Испытывая веселый подъем, капитан неожиданно для себя обнял, прижал к себе и поцеловал Анюту.

Она не противилась, но и не ответила. Лишь, слегка отодвинувшись от него, сказала:

— Сюда идут.

Потом встала и потянула Мечетного за собой.

— Пойдемте. Солнце скрылось, я что-то озябла.

Вернувшись в палату, Мечетный принялся обдумывать это «сюда идут». Действительно кто-то шел или это было сказано, чтобы вежливо одернуть его. Если действительно шли, значит, она не возражает, чтобы все повторилось в более благоприятных условиях. Если это хитрость, выдумка, тогда?.. Что тогда?

Это надо обязательно выяснить.

Теперь он уже не сомневался, что любит, любит по-настоящему, крепко любит эту девушку, с которой свела

его судьба. И именно любовь, настоящая любовь делала его в обращении с ней неуверенным, застенчивым, даже робким.

В своем чувстве Мечетный был уверен. Испытывал радость, когда хотя бы издали слышал ее голос, ее шаги. Ревновал, когда девушка присаживалась на койку к кому-нибудь из его соседей и болтала с ними. Ревновал к профессору Преображенскому, с которым у нее, на удивление всей клиники, установились отношения шутливой дружбы. Ревновал к тому, что этот пожилой человек с ухающим, будто из кувшина доносящимся голосом иногда вечером, когда клиника стихала, приглашал Анюту к себе в свое, как он выражался, «бомбоубежище», поил кофе, угощал конфетами.

О личной жизни «бога окулистики» в клинике поговаривали разное. Точно знали, что он, у которого старший сын был уже доктор наук, женат на женщине втрое моложе его. Знали, что в доме его сама — сам, и потому профессор в грозный военный год, как и весь персонал, живший на казарменном положении, до сих пор продолжал обитать в своем кабинете и редко уезжал к себе домой. Злословили, что, спасаясь от вздорной молодой жены, он все же был не прочь пригласить в свое «бомбоубежище» какую-нибудь пригожую медицинскую сестру. Слухи эти доходили до Мечетного, и потому, когда Анюта простодушно рассказывала, что опять побывала у Виталия Аркадьевича и говорила с ним о том-то и о том-то, Мечетный весь каменел. И она, эта ревность, не имея выхода, росла. В иные дни ему казалось, что он начинает ненавидеть человека, сделавшего ему столько добра.

Но от Анюты он тщательно скрывал и ревность и любовь. Ах, если бы он был уверен, что его глаз будет спасен! А пока это неясно, разве он имеет право на долгие годы обрекать это юное существо, эту девушку, которая спасла ему жизнь и столько делает теперь для него, на роль домашней сестры милосердия при слепом муже, требующем только забот и не могущем обеспечить жене даже сносного существования?.. Вот почему маленькое происшествие в парке, когда его не отвергли, нет, но и не ответили на его объятия и поцелуй, так смутило его.

Нет, он не имеет права больше допускать что-нибудь подобное! Вот снимут повязку, выяснится, что глаз видит, тогда он прямо предложит ей стать его женой...

И вот Берлин был взят.

Нацистский рейх капитулировал. Черные картонные тарелки репродукторов с самого утра исторгали в тишину палат марши, песни, и дикторы всех передач на разные голоса снова и снова читали мужественный, энергичный приказ Верховного Главнокомандующего и рассказывали о том, как Красное знамя было водружено над рейхстагом. Никто не уставал слушать эти повторы. Слушали и глубже осмысливали значение огромной новости: победа! Да это же конец войны!

В тот день, неожиданный для всех, в час обеда по приказу самого профессора Преображенского по палатам разнесли и выдали всем без изъятия по «ворошиловской дозе» водки. Подходящей посуды не оказалось, подносили в кружках из-под компота, и это служило предметом всяческих соленых шуток. Суровая госпитальная тишина, всегда царившая в клинике, была разрушена. Все говорили. Говорили громко, возбужденно, не слушая и стараясь перекричать друг друга. В коридор врывались песни, а в одной из палат, где у танкиста с обожженным лицом нашелся под кроватью трофейный аккордеон, затеяли даже лихой пляс.

В этот день профессор и сам нарушал строжайшие традиции своего всемирно известного учреждения. Ходил вроде бы даже и под хмельком, и его бас звучал то в одной, то в другой, то в третьей палате. Говорили, что где-то он даже и пел вместе со своими пациентами.

А вечером разнесся слух, что по его приглашению к раненым приедет певица Лидия Русланова и даже будто бы будет петь в большом зале, где по утрам происходили врачебные пятиминутки. И хотя в зал этот отовсюду таскали стулья и табуретки, в слух этот не сразу поверили. Русланова! Ну кто из фронтовиков не знал ее песен! Ее пластинки заигрывались в землянках до полнейшей хрипоты. Умельцы из войск связи ухитрялись их размножать на старых рентгеновских снимках. И самодельные эти диски были почти обязательной принадлежностью всех ленинских уголков. И вдруг приедет, запросто приедет. И они не только услышат, но и увидят Русланову. Как это может быть?

А время шло, поужинали, полюбовались в окно грандиозным праздничным салютом, прослушали вечерние

известия, очень даже радостные известия, и в разочаровании стали уже готовиться ко сну, когда в коридоре послышался громкий стук сапог.

— Едет!

И снова была нарушена вернувшаяся было в палаты тишина. Анюта подбежала к койке Мечетного.

— Мамочки-тетечки, приехала, Русланова приехала! — И, схватив его за рукав халата, потянула к выходу.— Приехала со своим аккомпаниатором, будет петь. Идемте вниз, в вестибюль.

Артистка прибыла с какого-то концерта, не переодеваясь, и когда она скинула на руки своего аккомпаниатора — цветущего молодца с русым волнистым чубом — пальто, то оказалась в бархатном полусачке, в папеве и богато расшитом сарафане. И тут Мечетный, которого Анюта протащила вперед, услышал, как ее низкий, такой характерный голос произнес кому-то:

— Ну, здравствуй, земляк. Откликнулась-таки на твой зов, прибыла. После четвертого праздничного концерта к твоим раненым пожаловала. Цени. Мне бы сейчас в самую пору рюмочку да на боковую, но разве тебе откажешь? Невозможно в такой день отказывать.

Глубокое ее контральто звучало устало, но весело.

— Ну показывай, куда тут у вас идти. Забыла я уж твою знаменитую клинику.

— Сюда, сюда, на второй этаж, в зал, Лидия Андреевна. Ну, а как глаза-то ваши глядят?

— Как у молоденькой, Виталий Аркадьевич, как у молоденькой. Я уж и забывать стала про ту беду, от которой ты меня избавил. И очки даже потеряла. Мне они теперь и не нужны очки... Ну, а ты все глаза чинишь, все гудишь, как дьявол на амвоне?

— Да все вот гужу или гудю, не знаю уж, как это слово и произнести.

— Ну, а что мне петь-то твоим, посоветуй. Что вы тут любите?

— А пойте наши волжские, Лидия Андреевна, лучше вас их никто, даже сам Федор Шаляпин, не пел.

— Ну и льстец ты, Виталий Аркадьевич... Шаляпин. Эх хватил! Шаляпин — гора, а если мы все хоть холмики или пригорочки, и то бога благодарить должны.

Мечетный слушал и поражался: знаменитый врач и известнейшая певица беседовали как друзья, встретившиеся после долгой разлуки, и в разговоре их так и пере-

катывалось, выпадая из любой фразы, круглое, звучное волжское «О».

— Ну, молодцы, пошли, что ли, на сцену? Чего время-то зря терять?

И начался этот импровизированный праздничный концерт.

Певица и ее розовощекий аккомпаниатор, прижимавший к себе баян, как любимую подругу, поднялись на сцену. Остановившись посредине, Русланова торжественно отвесила в зал глубокий земной поклон.

— Спасибо вам, доблестные воины, спасибо за спасение Отечества, за славную победу вашу!

Потом, не объявляя номера, запела, и будто разом раздались толстые стены старой больницы, раздались до необозримых просторов, и в атмосферу, перенасыщенную тяжелыми госпитальными запахами, точно бы ворвался волнами волжский ветер.

Самые свои любимые песни пела в этот вечер Лидия Русланова для притихшей замершей аудитории: и «Вниз по Волге реке», и «Ты подуй, ветер низовой», и «Выйду ль я на реченьку», и, конечно, о волжском «Утесе». И хотя это был у нее уже пятый по счету праздничный концерт, певица была необыкновенно щедра, песни звучали не затихая, будто бы загорались одна от другой.

— Мамочки-тетечки, полковник-то наш плачет! — шептала Анюта на ухо Мечетному. Впрочем, все сидели с растроганными лицами и потому, вероятно, никто не аплодировал.

А когда певица, опять-таки без всяких объявлений, перешла на частушки, она так разошлась, что Мечетный услышал ритмичную дробь ее каблуков. Чувствовалось, что не только слушатели, но и она сама увлечена, сама радуется силе, тембру своего голоса, радуется, чувствуя, как загрубевшие за годы войны солдатские сердца людей, израненных и искалеченных, широко раскрываются навстречу ее песне.

Все жадно следили за каждым движением этой немолодой уже, полной женщины с круглым, таким русским лицом, естественный румянец которого подчеркивали густо насурмленные брови и темные, с легкой проседью волосы, зачесанные без затей со строгим пробором. Мечетный не видел артистки. Ее образ доходил до него через песни, и она казалась ему то мудрой пожилой крестьянкой, скорбящей о судьбе замерзающего ямщика, то вол-

жанкой, любующейся с крутого берега на всклокоченные ветром просторы родной реки, то разудалой вдовушкой, которой сам черт не брат, то лукавой сельской девчонкой, не унывающей ни при каких обстоятельствах.

Говорят, я некрасива,
Знаю, не красавица,
Но не все красивых любят,
А кому что нравится...

Разные женские облики рисовали Мечетному песни, но в любом своем облике Русланова была такой русской, такой народной, будто в необычный этот день сама матушка Россия пришла к своим раненым воинам.

Сколько продолжался необычный этот концерт, Мечетный не знал, и закончился он внезапно.

— Ух,— шумно вздохнула певица,— уморилась я с вами. Феденька, разверни-ка мехи пошире. Твоя очередь.

Баянист заиграл, но зал взорвался такой овацией, что мелодия утонула в нем, и в этом внезапно возникшем громоподобном шуме, возбужденном соприкосновением с настоящим искусством, как бы вырвалась из больных, измученных ранами сердец вся радость, поднятая в народе известием о том, что далеко, в неведомой никому из них столице Гитлера, над куполом не виденного никем здания под наименованием рейхстаг взвилось, развернулось и развевается родное Красное знамя.

Лишь немалое время спустя баянисту удалось начать свой номер. Он заиграл им самим сочиненное комическое попурри из любимых фронтовых песен, и тут произошло то, что навсегда запомнил Мечетный. Ловкий и, несомненно, даровитый парень этот, отлично управлявшийся со своим многоголосым инструментом, играл эти отрывки в самом развеселом, джазовом темпе, и все песни в его исполнении, даже нежные «Синий платочек», даже торжественная песня о Днепре, приобретали шутливое, комическое звучание. И по мере того, как развивалась мелодия, в восторженный несколько минут назад зал входила сначала настороженная, потом недоуменная и, наконец, зловещая тишина.

И тут вдруг раздалось:

—Стой, не смей!

Баянист, пародировавший в этот момент знаменитую «Землянку», ничего не понимая, смотрел в зал.

— Стой, прекрати!

И какой-то солдатик, маленький, щуплый, с забинто-

ванной головой, расталкивая соседей, рвался через ряды к сцене. Лица его не было видно. Из марлевого тюрбана торчал лишь клок рыжих волос.

— Сволочь, паскуда, не смей наши песни поганить!

Этого человека пытались утихомирить, держали за халат, но он вырвался из рук и, оставив халат, в одном белье рвался к сцене.

— Успокойся, угомонись... Ну что тут такого?.. Чего психуешь?..

— Мы эту песню как молитву пели, а он?.. Мы ее в бой несли, а он?.. Разве он видел бой, этот Феденька... С этакой-то будкой всю войну от боя за баян прятался, тыловая крыса!

Он уже прорвался на сцену, но тут певица встала между ними. Заступив дорогу, она как-то по-матерински обняла и прижала к себе маленького солдатика, продолжавшего еще дрожать от возбуждения.

— Ну полно, полно. Угомонись, сынок... Разбушевался. Федю моего ты зря тыловой крысой обозвал. Он со мной по всем фронтам ездил. На передовой пели, пулям не кланялись, ясно? Сколько раз пели под пушечный аккомпанемент... А песня... песню, родимый, опохабить нельзя. Затаскают, залапают, захватают скверным исполнением, а она, песня, если она действительно хорошая песня, любую грязь с себя отряхнет... Давай-ка напоследок я вам вашу «Землянку» спою. Не мой репертуар, конечно, не для моего голоса, но в такой день попробую. Федор, заводи.

И запела она не в обычной своей манере, а тихо, как бы притушив свой богатый и звучный голос, запела раздумчиво и последние слова произнесла почти шепотом. И тогда вместо бурных аплодисментов снова услышала благоговейную тишину и, сходя с подмостков в зал, сама смахивала со щек слезы.

— Вот, Виталий Аркадьевич, что значит песня для русского человека,— тихо сказала она, отвечая на взволнованное рукопожатие профессора.

— Вы, Лидия Андреевна, сегодня превзошли саму себя.

— Такой день сегодня. Мы с тобой, землячок, об этом дне четыре года мечтали, мы с тобой да и весь народ с нами.

— Устали, Лидия Андреевна?

— Будто на пристани соль грузила, да в такой день нельзя уставать. Всю себя отдать не жалко.

Потом, обращаясь к кому-то, и Мечетному показалось, что именно к нему, она сказала:

— Вот я все вашего главнокомандующего: «землячок» да «землячок». Удивляетесь, поди? Вы к нему по чину да по званию, а я — «землячок». Так вот мы с ним — старые знакомые. Односельцы, из села, что над самой Волгой, на крутизне стоит. Он сын нашего священника отца Аркадия, а я сельская сирота, которую мир призрел, в церковном хоре пела. Отец Аркадий, профессора вашего тятя, меня в уезд в приют определил, а при приюте хороший хор был, и я там девчонкой солировала. Купцы семьями ходили слушать, как я пела. Так вот с того и стала Лидка Приютская человеком благодаря тому самому отцу Аркадию, как говорили раньше, царство ему небесное. Чуете, какие мы с ним знакомые?

— Ну, к чему вы об этом, Лидия Андреевна? Вы нас сегодня таким концертом угостили, не знаю уж, как и благодарить вас.

— А ты, Виталий Аркадьевич, не благодари, я у Преображенских должница вечная: отец голос мой разгадал, а сын глаза мне вернул. Чем благодарить, ты бы, землячок, накормил бы нас как следует, так ведь нас в воинских частях приучили. Это у Островского, что ли: мы артисты, наше место в буфете.

— Накормим, Лидия Андреевна, накормим. Пошли ко мне в «бомбоубежище».

— Это какое же такое «бомбоубежище»? Какие сейчас бомбежки?

— Житейские, Лидия Андреевна, житейские. От житейских бомбежек я там прячусь.

— Ну в «бомбоубежище» так в «бомбоубежище», только скорей. У нас с Федей сегодня с утра маковой росинки во рту не было.

— И вы пойдете с нами,— пророкотал профессор, подхватывая Мечетного за талию.— Рекомендую, Лидия Андреевна,— герой Одера, первым свою роту на землю врага вывел. А зовем мы его Ромео. А вот его Джульетта в сержантском звании. Пошли, Джульетточка. Пошли и вы тоже с нами, защитник песни. Только чтобы у меня больше истерик не закатывать...

Так в сопровождении целой толпы они дошли до кабинета, и Мечетный очутился в комнате, где аромат хороших папирос и кофе побеждал стойкие больничные запахи.

— А ты все живописью увлекаешься, Виталий Аркадьевич,— сказала артистка, шурша своим жестким, густо расшитым сарафаном.

— Где тут живописью, на стенах все старье. Четыре года война свободной минутки не давала. Попробовал я как-то вот эту нашу Джульетточку изобразить — только хорошую бумагу испортил. А вы садитесь, садитесь кто где.

— Можно разуться? — спросила вдруг артистка.— Ноги гудут, спасу нет.

— Разувайтесь, разувайтесь, Лидия Андреевна, будьте как дома, в нашем селе, где мы оба босиком бегали. И доспехи эти ваши театральные можете снять, там за ширмочкой висит красивый халат, из Средней Азии один мой подопечный прислал...

Все в этот день поражало Мечетного: и этот неожиданный концерт, и сила этого низкого, гибкого, сочного голоса, и истерика, которую закатил маленький солдатик перед финишем концерта, и строй беседы певицы с профессором, и это волжское «О», так прочно живущее в них обоих, и, наконец, новость о том, что профессор пытался рисовать Анюту, и все это так неожиданно... Герой Одера сидел молчаливый, настороженный.

Под конец трапезы, сдобренной отличным «фирменно» изготовленным кофе и ароматным коньяком, певица, будто сбросив усталость и превратившись в задорную волжскую молодуху, без приглашений вдруг запела волжские припевки:

Ох, уж эти мне подружки,
Отбивают друг у дружки.
Я сама гляжу того,
Как отбить бы у кого.

— Наша, саратовская,— гудел бас профессора.— Знаете, кого вы сейчас мне напоминаете, Лидия Андреевна? Княгиню Марию Дмитриевну из «Войны и мира». Помните, там у Толстого Мария Дмитриевна в разгар веселья пустилась в пляс?

— Так то ж старуха была, Мария Дмитриевна, у Толстого, а я хоть и в годах, еще ничего себе, а? Как?.. Еще могу?

Эх, в лодке вода
И под лодкой вода.
Девки юбки промочили.
Перевозчику беда.

Подтягивай, Виталий Аркадьевич, не забыл наши волжские?

И уже два голоса: глубокое сопрано и сипловатый бас — вывели припев:

Ростов-на-Дону,
Саратов-на-Волге.
Я тебя не догоню,
У тя ноги долги.

И вдруг без всяких переходов:

— Эх, разгулялась я у вас, земляк! Все медицинские ваши запреты — к чертям, ничего не страшно: день-то, день-то какой! Как подумаешь, что война кончилась, что наш флаг над рейхстагом, какие тут медицинские запреты, ничего мне не страшно, мечтаю в этом самом Берлине перед этим самым рейхстагом русские песни спеть... А? Как?

За столом Мечетный выпил всего лишь маленькую рюмочку коньяка, но в голове радостно шумело, и все вокруг казалось ему сулящим только хорошее. В этот день он, сам не зная почему, поверил, что развеется столько времени окружавшая его тьма, что он будет видеть, вернется в строй нормальных людей и, став полноценным человеком, в тот же день предложит Анюте стать его женой.

15

Но до того, как с глаза его сняли плотную шторку и решилась его судьба, прошли еще дни, и в жизни его за это время произошло немало и радостных и печальных событий.

На место удаленного глаза ему вставили протез, отличный, как его уверяли, глаз, который закрыл образовавшуюся после операции пустоту. Несколько дней организм привыкал к этому инородному, мертвому, втиснутому в него телу, а когда протез как бы прижился и опала первоначально окружившая его опухоль, все зрячие сопалатники нашли, что глаз хоть куда, ничем не отличается от живых. И Анюта, которая одна могла помнить его здоровые глаза, громче и старательнее всех уверяла, что «глаз как живой».

Сосед по палате, сапер, пострадавший при взрыве мины и лежавший с такой же травмой, как Мечетный,

ушел. Ушел горестно, так и не прозрев, несмотря на то что ему два раза делали операцию. Он тоже терпеливо ждал приговора, и приговор этот вышел не в его пользу. Сняли повязку — он ничего не увидел, по-прежнему его окружала тьма. Когда его вернули в палату, там настала тишина, которая так и продержалась до самой ночи. Сапер не жаловался. Не вздыхал. Молчал. И лишь ночью Мечетный услышал глухие мужские рыдания.

Сапер был москвич. На следующий день за ним приехала жена — пожилая женщина. Она уводила его под руку, с наигранной бодростью бормоча:

— Ничего, Колюшка, ничего. Главное, жив, вернулся... Ребятишки-то как тебя ждут... Они там в садике, их не пустили. Вот поглядишь, как они тут без тебя выросли. Вот увидишь.

— Ничего, ничего я больше не увижу! — крикнул сапер, и хриплый негромкий этот вскрик, как ножом, резанул Мечетного. Но сапер уже взял себя в руки, тихо сказал жене: — Извини, Машенька...— А в дверях бодро бросил всем: — До свидания, братцы!

Когда шаги их стихли в коридоре, в палату опять вошла томящая тишина. Лишь несколько минут спустя кто-то как бы выдохнул:

— Да-а!..

И вот пришел день, когда настала очередь Мечетного определить свою судьбу. Профессор сам пришел за ним в палату, сам под руку довел его до операционной. Рука его лежала на руке Мечетного. Сзади слышались шаги медицинской свиты, и среди этих шагов Мечетный отличал легкую походку Анюты. Потом шаги Анюты перестали звучать. За Мечетным закрылась дверь какой-то комнаты.

Его усадили в кресло. Голову заключили в жесткое изголовье. Легкими прикосновениями проворная и осторожная рука стала отклеивать марлевый щиток, закрывавший глаз. Боли не было, но Мечетный весь вжался в подлокотники. Сейчас... Сейчас... Вот сейчас все узнается. Его просто трясло от волнения, и он никак не мог подавить в себе эту дрожь...

Щелкнул выключатель. К лицу поднесли что-то источавшее мягкое тепло. Лампочка? Да, наверное, лампочка. И вдруг в плотной тьме, окутывавшей Мечетного столько дней, мелькнул свет.

— Вижу! — закричал он не своим голосом.

— Тише, капитан. Спокойно,— пророкотало над ухом, и, как всегда, у профессора в минуту волнения как бы выкатилось из горла три круглых «О».

Теперь Мечетный различил контуры большой головы, пряди седеющих волос, выбивавшихся из-под колпачка, усы, небольшую бородку клинышком. Так вот он какой, этот «бог окулистики»! И почему-то показалось ему, что когда-то и где-то он уже видел эту голову, этот широкий, утиный нос, эту уютную бородку.

— Ну, герой Одера, здесь бы нам с тобой самая пора перекреститься и возблагодарить бога, которого, увы, нет. А надо бы перекреститься и мне и тебе.

Голова исчезла. Мечетный довольно четко отличил во тьме сверкающие контуры какого-то прибора.

— Ну что, видишь?

Мечетный молчал.

— Он в обмороке,— произнес чей-то мужской голос, и к носу Мечетного поднесли пузырек с нашатырем.

— Ну что, хлопцы, есть еще порох в пороховницах? Не иссякла казачья сила у старика Преображенского! — с детским нескрываемым самодовольством произнес профессор.— Этот старый черт Преображенский еще покажет вам, молодые люди, на что он способен! Ведь видит, видит наш герой Одера... Ну что, очнулся, вояка? Чего морщишься?

— Глаз больно.

— Это ничего, это пройдет. На первый раз нагляделся, и хватит! — И на лицо Мечетного плотно опустилась марлевая шторка, и вновь обступила его непроглядная тьма. Но он ее уже не боялся.

А профессор продолжал хвастать, обращаясь не то к нему, не то к каким-то своим помощникам или ассистентам, находившимся в комнате, не то к самому себе:

— Ведь случай-то, случай-то какой! Из ничего, можно сказать, глаз собрал. Из клочков. А ведь видит, видит! Злорадство — качество противное, но обязательно отстукаю телеграмму во Львов этому венскому низкопоклоннику Недоле. Дескать, где немцу смерть, там русскому здорово... Или наоборот, что ли.

Мечетный сразу ощутил в себе прилив сил. Хотел было сам идти, но наткнулся на дверь. Его остановили, взяли под руку, и опять над ухом послышалось:

— Не торопись наперед батьки в пекло, потерпи. Походите недельку-другую с повязкой. Раньше снимете —

под хвост собачий все мои труды... Нет, други мои, как операция-то проведена! Старый Преображенский превзошел сам себя, премия ему за такую операцию полагается.

Сразу же, как только открылась дверь, послышался возбужденный голос Анюты:

— Ну что, ну как?

— Нормально,— ответил Мечетный своим любимым словом, которое в это мгновение было явно не к месту. Но он был так полон своей радостью, что кружилась голова, и не мог он взвешивать слова.

— Видите?

— Немного видел...

— Ой, здорово! — Анюта обняла Мечетного, влепила ему в щеку громкий поцелуй.

Все в том же состоянии полусна Мечетный вошел в лифт. Вместе с ним и Анютой поднимались какие-то врачи, по-видимому, свидетели его прозрения.

— Ну, наш старик от скромности не умрет. Он каждую фразу начинает с «я», а кончает «меня», «мне».

— Расхвастался! И ведь, наверное, из озорства отстукает во Львов свою телеграмму. Он из тех, кто на каждой свадьбе чувствует себя женихом, и на каждых похоронах покойником...

И тут Мечетного из его наркотической рассеянности вывел голос Анюты:

— Как вам не стыдно. Это ведь такой... такой человек.

Собеседники притихли.

— Старший сержант, не стоило бы вам вмешиваться в разговоры офицеров.

— На нас белые халаты, погонов не видать. А офицерам судачить, как бабам, и вовсе не к лицу!

А когда лифт остановился и щелкнул дверью, Мечетный успел еще услышать:

— Эта пэпэжонка совсем обнаглела!

— Не связывайтесь с ней, еще настукает.

Мечетный дернулся было к обидчикам, но дверца лифта уже щелкнула, Анюта, крепко сжав его руку, довела до койки.

Сон схватил Мечетного сразу. Он уснул, не успев ничего рассказать товарищам по палате. Проснулся он только поздно вечером, проснулся с ощущением большой, просто-таки распиравшей его радости. И все-таки не сразу вспомнил, чему же он радуется. Потом вдруг

дошло: вижу, вижу. Глаз смотрит, черт его возьми! Вспомнил, как во тьме занавешенной комнаты разглядел свет лампы, вспомнил, как на фоне этого света вырисовывались контуры пожилого человека, волосы, выбивавшиеся из-под шапочки и падающие на лоб, усы, маленькая бородка. Вон он какой, этот «бог окулистики!» И где же, где он, Мечетный, мог его видеть раньше?

Где? Когда? При каких обстоятельствах?

16

В таком счастливом настроении и отправился он с Анютой на прогулку.

День с утра завязался жаркий. Солнце грело на совесть. Шум шагов гасил размягченный асфальт. Листва на липах лишилась нежной весенней желтизны, и листья уже шумели от прикосновения теплого ветра. Решено было на этот раз оторваться от больничного парка, где они всегда гуляли, пешком пройтись до Москвы-реки.

Уверенность, что теперь он будет видеть, совсем переродила Мечетного. Шаг из робкого, нащупывающего стал твердым. Теперь уже Анюте не надо было его вести. Хотя по-прежнему для него все было погружено во тьму, он шел уверенно, ориентируясь на звуки шагов.

Радуясь этому жаркому, почти летнему дню, солнцу, теплому ветру, девушка неумолчно болтала, всему удивляясь: ох, какая красивая церквушка, прямо из сказки... А улицы широченные. Мне никогда не приходилось ходить по таким улицам... А машин, машин! Владимир Онуфриевич... Тут и зрячему надо ходить осторожно, а то как раз и угодишь под колеса...

Ну, а Мечетный молчал и думал про себя: все, теперь уж недолго ждать. Не сегодня-завтра вернется зрение, и тогда, в первый же день, когда с глаз снимут повязку, он прямо скажет Анюте, что любит ее и просит выйти за него замуж. Откажет? Почему? Вряд ли откажет. Не так уж он теперь плох, капитан Мечетный. И как они вдвоем заживут! Ведь за время, что они провели вместе, узнали друг друга, притерлись характерами. Она будет хорошей женой, Анюта, и матерью, наверное, будет хорошей, и дети у них обязательно будут. Ох, скорей бы уж!

Москва-река показалась как бы внезапно. Для Анюты открылась сразу с крутого берега широкая водная

гладь, млевшая под солнцем в крутых, закованных в гранит берегах. Мечетному река повеяла в лицо своей влагой.

— Ой, как тут хорошо-то! — воскликнула девушка, улыбаясь реке, водным трамваям, большому теплоходу, неторопливо плывшему вверх по течению.

Сколько они простояли тут, у гранитного парапета, Мечетный не запомнил. Стояли до момента, пока Анюта тревожно не воскликнула:

— Ой, гроза идет, Владимир Онуфриевич,— и заторопила: — Пошли, пошли...

Из-за огромного серого, будто сложенного из гигантских кубов здания выползала тяжелая, свинцовая туча.

Мечетный не увидел этой надвигавшейся на Москву тучи, но слышал далекие раскаты грома, так напомнившие ему орудийные залпы, какие звучат при артиллерийской подготовке. И залпы гремели все ближе и ближе.

Теперь молодые люди уже бежали. Анюта тянула Мечетного за руку.

— Молния, молния-то какая! — со страхом вскрикивала на ходу девушка.— Они, как снаряды «катюш», будто тучи вспахивают!

Раскаты артиллерии, казалось, звучали уже над головой. Потом рванул ветер. Об асфальт застучали увесистые капли. Девушка затолкала Мечетного в какую-то подворотню.

— От такой бомбежки не убежишь, давай окапываться,— сказал он, снимая плащ и накрывая им спутницу. И действительно, когда дождь припустил, вдруг пахнуло холодом. Ветер порывами заносил в подворотню брызги, стало сыро, зябко, неуютно.

— Мамочки-тетечки, вот это дождище! Вода вдоль тротуаров ручьями бежит.

Мечетный попытался закутать Анюту плащом, но она запротестовала:

— А вы? В одной гимнастерке... Ну нет!

Она развернула плащ и накрыла их обоих. Теперь они стояли, прижавшись друг к другу. Мечетный ощущал теплоту ее тела, мягкую округлость груди. Он стоял неподвижно и, боясь спугнуть это ощущение близости, старался не шевелиться. Девушка не отстранялась и будто бы даже крепче прижималась к нему, но, может быть, это только казалось.

— Вот бы где настоящая плащ-палатка пригодилась,— сказал он хрипловатым голосом только для того, чтобы нарушить молчание, становившееся уже многозначительным и тягостным.

— Дождь-то, дождь, потоком хлещет...

И действительно, дождь хлестал вовсю, и обостренный слух Мечетного отмечал не только порывистые всплески падающего на землю дробного водного потока, но и журчание ручья, несущегося вдоль тротуара. Гром теперь раскатывался прямо над головой, так что земля вздрагивала, и напоминал он уже не залпы далекой артиллерийской подготовки, а разрывы снарядов большого калибра.

Под плащом, хотя он и не накрывал их совсем, а только окутывал головы, Мечетному было необыкновенно хорошо. Сквозь шум дождя он слышал дыхание девушки, чувствовал аромат ее мокрых волос. Хотелось обнять ее, прижать к себе, целовать ее повлажневшее лицо, находившееся от него так близко. Усилием воли он подавлял это все крепнувшее влечение и говорил себе: нет, нет, это будет нечестная игра, вот снимут повязку, тогда.

Шум грозы как бы изменил свой ритм.

— Дождь стихает, да?

— Стихает,— ответила Анюта, и в ответе этом Мечетный услышал не то огорчение, не то недовольство. Потом девушка резко отстранилась, вышла из-под плаща.

— Дождь кончился. Чего же стоять? Пошли.

Потоки воды еще стекали с крыш, по водосточным трубам будто колотили палками, ручьи журчали вдоль тротуаров, а воздух был так чист, так свеж, что хотелось дышать как можно глубже.

«Чего она похолодела? Будто бы даже рассердилась. Почему идет молча и так резко тащит за руку? Может быть?.. Нет-нет... Ну день, ну два, снимут повязку, прозрею, раз видел свет, раз различил, довольно четко различил эту странно знакомую голову «бога окулистики», значит, вижу, значит, все будет хорошо, и это хорошо наступит совсем скоро».

В этот день мечты об Анюте начали приобретать практические очертания. Они поженятся еще тут, в Москве. А потом вместе — на Урал. Он вернется в свой институт. Как демобилизованного воина его обязательно восстановят на последний курс, с которого он ушел.

Правда, за четыре года все позабыл. Ну и что? Не страшно, нагонит. А Анюта? Она теперь медик. Наверное, мечтает о врачебном дипломе. Ну, что же, в городе есть медицинский институт... Или пока поступит в больницу. Она умница, настойчивая, она свое место в жизни найдет!

С этими мыслями расхаживал Мечетный по коридору, что-то даже напевая себе под нос. И тут послышался голос Анюты:

— Владимир Онуфриевич, вы что же, позабыли, сегодня же ваш день рождения. Сами говорили. Вот вам мой подарок.— И она протянула ему что-то, что он на ощупь определил как какую-то четырехугольную сумочку.

— Это несессер. Пригодится, когда поедете домой. Хорошая штучка. Их сегодня по случаю Победы выкинули в военторге, ну один я схватила. Тут шесть отделений: и для зубной щетки, и для кисточки, и для бритвы, а еще не знаю для чего. Он красивый, увидите.

Растроганный Мечетный обнял девушку и расцеловал.

— Ну вот, война кончилась, начинаем вещами обзаводиться... Спасибо.

Теперь счастье было совсем рядом, к этому счастью можно было притронуться рукой.

17

Если раньше госпитальное время тащилось, как обозная кляча, теперь оно неслось кавалерийским галопом. Для Мечетного наступила пора везения. Искусственный глаз прижился, и то ли по случайности, то ли по счастью, он, по свидетельству профессора, оказался хорошей парой своему живому прозревшему соседу. В затемненной комнате снимали повязку, давали посмотреть несколько минут, Мечетный жадно рассматривал вырисовывавшиеся в полутьме приборы, висевшую на стене табличку с буквами разных размеров. Смотрел радостно: различал все до пятой строчки.

А потом ему дали детскую, крупным шрифтом набранную книгу, и он прочел несколько страниц из смешной сказочки о похождениях мистера Твистера в Ленинграде.

Профессор Преображенский, называвший его, как он выражался, собранный из кусков глаз своим лучшим

произведением, сам возился с Мечетным. К великому удивлению пациента, он оказался совсем не таким, каким прежде рисовался из-за его глухого хрипловатого баса. По голосу он казался могучим, крепким стариком, каких много в старых городах Урала. А на поверку оказался невысок, узок в плечах, и вихор, выбивавшийся из-под шапочки, и усы, приютившиеся под широким носом, и козлиную бородку — уже побелило изморозью проседи. Но глаза сохраняли чистую голубизну и были такими живыми, какие бывают у детей.

Приглядевшись к своему спасителю в минуты, когда снимали повязку, Мечетный разгадал, почему это лицо кажется ему знакомым. «Бог окулистики» напоминал по облику Михаила Ивановича Калинина, портреты которого были почти обязательной принадлежностью всех сельских изб на Урале.

Профессор по-прежнему называл капитана Ромео, Анюту — Джульеттой, Джульетточкой и даже Джульеттушкой и держался с ними попросту, даже по-товарищески, интересовался их делами.

— Ну, а как мы, капитан, жить будем? — спросил он однажды.— Какие планы у героя Одера?

— Поеду домой доучиваться, Виталий Аркадьевич.

— Так, дело. Ну, значит, война не все еще из головы вытрясла! Но ведь нелегко, наверное, будет?

— Догоню.

— Ну, а Джульеттушка куда собирается?

— Не знаю,— ответила Анюта, вопросительно посмотрев на Мечетного. В голубых глазах профессора засветился такой лукавый огонек, что девушка опустила взгляд.

Разговор происходил в том же кабинете ученого, в «бомбоубежище», где специфические медицинские запахи перемешивались с домашними запахами хорошего табака, свежего кофе. Профессор как раз в эту минуту и варил этот кофе на электрической плитке, в медной кованой старинной кастрюлечке.

Когда кофе был готов, он разлил его в три чашечки, маленькие, как раковинки.

— Пейте. Такого кофе, какой варит старик Преображенский, никто вам в Москве не сварит. Знаете, молодые люди, я ведь с вами отдыхаю. Ей-богу!

Достал папиросу с длинным мундштуком, погремел спичками.

— Ничего, что курю? Дама разрешает?.. Вот никак не могу отвыкнуть. А надо бы, надо бы. А то так вот с папироской в зубах и умрешь однажды... Так как же, молодые люди? Ведь вы на мой вопрос так и не ответили. Как жизнь-то дальше потечет: вместе или порознь?

Мечетный почувствовал, что даже ладони у него вспотели от волнения. Человек, который бежал впереди своей роты на автоматы эсэсовцев, растерялся и даже испугался этого неожиданного вопроса:

— Я как-то... Мы как-то... То есть, в общем...

— В общем, не обсудили, времени не было.— Голубые глаза откровенно смеялись.— Что же вы это так, други мои? Мой ученик Платоша Щербина написал, что еще во Львове вас молва сосватала. Но по свидетельству Вильяма Шекспира, этот самый Ромео был посмелее и попредприимчивее, чем наш герой Одера, да и Джульетта, как мне помнится, была решительная девица.— И вдруг ни с того ни с сего перевел разговор на другие рельсы.— Знаете, какая разница между шизофреником и истериком? Не знаете? Так вот, как медик сообщаю вам, что шизофреник считает, что дважды два — пять, и очень этим доволен, а истерик знает, что дважды два — четыре, и это его страшно раздражает. Ну, так как же все-таки мой вопрос? Может, Джульеттушка ответит, ее тезка и у Шекспира была побойчее своего любимого.

— Товарищ полковник, так, может, капитан не хочет?..

— Анюта, как ты можешь? Ты, ты... Я столько об этом...— Мечетный схватил девушку, прижал к себе. Он все еще не видел ее лица, не видел ее взгляда. Но по тому, как она сразу подалась вперед, как прижалась к нему, он понял, что это его так и не высказанное предложение принято.

Профессор держал перед носом чашечку кофе и, казалось, был весь поглощен его ароматом.

— Ну вот и ладно. Сватовство — опасное дело. Как говорят, свату первая чарка, но и первая палка. Ничего, рискнул... Ну, а это вам свадебный подарок...— Он достал из стола два билета из жесткого лакированного картона.— Завтра — парад Победы. Это билеты на Красную площадь. Там на трибунах будут особые места для раненых воинов. На мою клинику прислали один билет с просьбой вручить самому достойному. Но вы у меня два самых достойных. Другой билет я выскулил у горвоенкома.

Он у меня тоже полежал с глаукомой. Берите... Только уговор, герой, повязку не снимать. Джульеттушка будет вашими глазами. — Профессор встал. — Ну, вот, операция под кодовым названием «сватовство» завершена. Старшему сержанту позаботиться об экипировке, чтобы завтра все блистало и сверкало. Не посрамите знаменитую клинику Преображенского.

18

Госпитальная машина с красным крестом довезла молодых людей почти до Манежа.

Дальше они пошли пешком. Анюта не вела Мечетного. Они шли под руку. Шагали в ногу, прижимаясь друг к другу. И хотя серая дымка плотно затягивала небо Москвы, погода казалась Анюте прекрасной.

В проходах оцеплений, преграждавших путь к площади, девушка с гордостью предъявляла пропуска. Бинты на голове Мечетного и рука Анюты, все еще висевшая на свежей повязке, производили впечатление. Контролеры оцеплений козыряли дружески, даже почтительно.

Пройдя вдоль Александровского сада к Кремлевской стене, они миновали несколько оцеплений. И вот из-за кирпичной махины Исторического музея перед ними открылась такая знакомая площадь, на которой ни он, ни она никогда не были. Анюта прошептала свои «мамочки-тетечки» и остановилась.

— Что, не туда зашли? — спросил Мечетный.

— Нет, туда. Именно туда.

— Так что же?

— Какая большая-то... И Мавзолей, и башня, и вон часы, те самые, которые по радио полночь отбивают. Мамочки-тетечки, а Мавзолей-то, он маленький...— Она говорила, а Мечетный словно сам увидел простор Красной площади, брусчатку, отполированную подошвами многих поколений, тускло лоснящуюся под хмурым небом, и людные уже трибуны по обе стороны Мавзолея. Анюта испугалась и сказала Мечетному, как, мол, они, по-видимому все же опоздавшие, найдут свои места. Но милицейский начальник, снова проверивший их пропуска, видя темную повязку на голове Мечетного, распорядился милиционеру:

— Товарищ не видит. Отведите их на места, предоставленные инвалидам Отечественной войны.

Раненые, которых привезли из госпиталей, оказались на левом крыле правой трибуны, совсем близко от Мавзолея. Мечетный их не видел, но Анюта — его глаза,- рассказывала, и он все это представлял живо, в красках, словно видел сам: люди с забинтованными головами, люди на костылях, люди с руками, висящими на повязках. Сверкали праздничные погоны, начищенные ордена, медали, пуговицы мундиров. В первой шеренге стояло санитарное кресло, в котором сидел человек с ефрейторскими погонами. На груди его соседствовали три ордена Славы.

— Отсюда вы все увидите,— тоном радушного хозяина, угощавшего гостей, сказал совсем молоденький милиционер.— Вы сразу за дипломатическим корпусом. Почетные места.— И, щелкнув каблуками, простился: — Здравия желаю...

Торопливо подходили и занимали свои места дипломаты и в штатском и в парадной военной форме. Анюта, освоившись с ролью комментатора, все замечала и тут же рассказывала Мечетному.

— Эти, их военные, как петухи. И ордена, и золотые галуны, и эти самые висюльки, как их... Один в юбочке, ей-богу, в коротенькой клетчатой юбочке, и колени голые... Как елки разукрашены, честное комсомольское.

— Что верно, то верно. Чем армия хуже воюет, тем шире у нее фуражки, тем больше на груди этих самых побрякушек и блях,— отозвался их сосед слева, офицер с худым, нервным лицом, на выцветшей гимнастерке которого алели два ордена Красного Знамени. Один старый, привинченный, другой — на колодке.— Теперь вот стоят на почетном месте и не вспоминают, как в Арденнах от немцев драпали.

— Оно всегда так бывает. Один с сошкой, а семеро с ложкой,— поддержал коренастый, коротко остриженный старшина, тоже при орденах с пуговицами, надраенными до ослепительного блеска, и следами зубного порошка на кителе.

— Ладно, нашли время счеты сводить! Нехорошо так разговаривать... Наверное, кто-нибудь из них нас слушает...

— Ну и пусть слушают. Неверно, что ли? Мы всю войну на своем горбу вынесли, а они к третьему блюду пожаловали.

Спор разгорался, но здесь по трибунам прошел сдержанный гул.

— Ой, мамочки-тетечки, Сталин! — громко воскликнула Анюта.— Владимир Онуфриевич, и совсем близко... Молотов, Ворошилов... и Михаил Иванович с палочкой.— Голос девушки срывался от возбуждения.

В эту минуту по всем огромным трибунам, битком набитым людьми, пронесся шквал аплодисментов, и Мечетный, тоже аплодируя до боли в ладонях, слушал, как Анюта возбужденно сыпала свои комментарии.

— А Сталин-то совсем невысокий, пониже других. И одет простенько. Военный плащ, фуражка и усы, здоровенные усы и совсем не черные, а рыжеватые.

А тем временем за спиной часы на башне стали медленно, неторопливо ронять свои густые, знакомые всему миру удары. Звуки падали в абсолютно настороженную тишину, проносились над застывшими трибунами, раскатывались по простору площади и возвращались эхом.

— Под башней раскрылись ворота,— комментировала Анюта.— Ага, стучат копыта... Кто-то выехал на белой лошади.

— Не кто-то, а Маршал Советского Союза Жуков,— строго поправил старшина, сверкающий своими регалиями.— Надо знать, старший сержант. Из всех первых — первый.

— Ладно вы, кончай спорить!

Мечетному передавалось волнение Анюты, он чувствовал, как она жадно вбирала в себя все происходящее, все казалось ей важным, и обо всем хотелось рассказывать: и о том, какая лошадь под маршалом Жуковым, и о том, какой огромный оркестр, от звуков которого ощутительно вздрагивал гранит трибун, и о том, как один за другим из проходящих колонн, сменявших друг друга на площади, выходили командующие фронтами, как подходили они к Мавзолею и, отсалютовав шашкой трибунам, поднимались на его правое крыло. Она рассказывала, тараторя со скоростью работающего пулемета, боясь что-нибудь пропустить. Может быть, в эти мгновения ей казалось, сама история тут, рядом, и как могла она что-нибудь прозевать, обделить его, Мечетного, который не мог всего этого видеть!

— Ну и шпаришь ты, старший сержант! — сказал старшина с медалями.— Не завидую твоему мужику. Заговоришь ты его до смерти.

Мечетный услышал, как девушка засмеялась, словно отмахнулась, продолжая свой индивидуальный репортаж.

А тем временем из-за Исторического музея на площадь наплывала лохматая туча. Анюта сказала ему и об этом. Туча совсем закрыла солнце, дунул ветер, и стал сыпать нечастый, некрупный дождик. Капли его застучали о козырек новой фуражки Мечетного. Гранитные торцы площади почернели, залоснились, но парад продолжался как ни в чем не бывало, гремела музыка, слышался дружный топот ног проходящих колонн. Дождика просто не замечали. Колонны фронтов проходили через площадь и, уйдя за пестрый храм Василия Блаженного, строго сохраняя строй, стекали вниз к Москве-реке. Один за другим проходили фронты — части гигантского фронта, протянувшегося от севера к югу. Смену фронтов Мечетный, не видя, узнавал по смене мелодий, ибо всезнающий старшина с медалями сообщил, что каждый фронт пойдет под свой марш.

— Владимир Онуфриевич, наши! — громко вскричала Анюта.— Первый Украинский. Наш Конев впереди. Ух, как рубит, мамочки-тетечки, лучше всех. Шашку поднял, сапоги бутылками, блестят... Вы ж его знаете, Владимир Онуфриевич?

— Видел. Он к нам в полк приезжал, когда мы на Сандомирском плацдарме наступление отрабатывали. Стоял, наблюдал. Наша рота как раз по-пластунски на локтях ползла. Подошел к одному бойцу, а тот толстый, неповоротливый. «Как ползете? Вашу казенную часть неприятель за километр заметит». Лег на землю и показал, как ползти... Где он сейчас, наш командующий?

— Поднялся на трибуну. Совсем рядом от нас... Его, видать, уважают. Все с ним здороваются...

Гремела музыка, исторгаемая громадным оркестром. Слушая Анюту, Мечетный по доносившимся к нему звукам старался представить себе картину того, что происходит на площади, старался и не мог. Слишком все было необыкновенно. Не хватало воображения. И в то же время он думал о себе, думал о том, сколько пришлось ему пройти, сколько боев выдержать, скольких товарищей потерять, прежде чем попасть на этот парад. Думал о своей роте: где-то она закончила войну, где, в каком немецком городе дислоцируется сейчас? Думал о своем замполите, всего на несколько минут заместившем его в бою и награжденном уже посмертно. Думал о Митриче, похоро-

ненном на польской земле, на холме, над рекой Вислой, рядом с фигуркой чужеземной мадонны, увенчавшей холм. И об увечье своем думал. О глазе, спасенном «богом окулистики». И о тех, кому зрение не вернет уже никакое медицинское мастерство, для которых на войне свет погас на веки вечные. Всю гигантскую, нечеловечески трудную войну, весь невиданный еще народный героизм как бы подытоживал этот парад, и, вспоминая о друзьях — живых и мертвых,— Мечетный в эти минуты ощущал, что жизнь свою он прожил не напрасно, что был хорошим солдатом и сделал для победы все, что мог.

И будто в ответ на свои мысли Мечетный услышал хрипловатый голос, донесшийся сзади:

— Вот так подумаешь, ребята, какую же мы войнищу выиграли, какого врага победили. Первая Отечественная, когда Россия Наполеону накостыляла, что она по сравнению с этой нашей. Наша, Отечественная, куда больше и злее. Со всем фашизмом воевали... Кутузов, Барклай, Раевский, Давыдов — кто их сейчас, сто лет спустя, не знает. А Жуков, Конев, Рокоссовский или там, скажем, наш Исидор Артемович Ковпак,— они же в десять раз больше сражений выиграли. И вот мы их видим. Вон они перед нами на Мавзолее стоят... Можно сказать, рядом.

Говоривший не закончил мысль. По правому крылу трибуны прошла волна аплодисментов.

— Сталин подошел к краю Мавзолея,— взволнованно говорит Анюта.— Вон стоит, улыбается, показал на небо, головой покачал, дескать, дождь не по программе... поднял воротник плаща. Сейчас на нас, на нас глядит, усмехнулся, дескать, что нам дождь...

Аплодисменты, продолжая раскатываться, волнами ходили по трибунам...

— ...Он тоже в ладоши хлопает.

Вот когда Мечетный особенно горько пожалел, что нельзя нарушить запрет, сорвать повязку.

— ...Ушел... Встал с другими. Что-то говорит Ворошилову, и оба смеются... А Климент-то Ефремович тоже невысокий.

Вся захваченная впечатлениями, Анюта перестала рассказывать. Мечетный ее и не торопил. Слушал гром оркестра, слушал четкий шаг проходящих частей. Потом гром танков. Потом шуршание орудийных шин и совсем уже тихий проезд механизированных частей, следовавших на машинах.

Анюта замолчала потому, что заметила, что какой-то майор с костылем под мышкой и с палкой в руке, с мальчишеским льняным чубом, выбившимся из-под фуражки, стоявший впереди почти у самой веревки, отделявшей группу раненых от иностранных дипломатов, все время оглядывается и смотрит на Мечетного. Был майор плотный, веселый и обликом своим напоминал артиста Михаила Жарова, которого Анюта видела недавно в фильме «Воздушный извозчик». Чего ему надо, этому майору с озорным мальчишеским лицом? Почему он так смотрит на Мечетного и на нее?

Конечно, Мечетный всего этого не видел и не мог догадаться, почему замолчала Анюта. Лишь потом, припоминая до мелочей все, что произошло тогда на Красной площади, каким-то обостренным чувством понял и представил, как это было. Тогда же он лишь почувствовал непонятное беспокойство Анюты. Майор снова оглянулся и весело подмигнул ей; ну точь-в-точь как Жаров в фильме. И ее беспокойство переросло в тревогу. Она этого майора никогда раньше не видела, а подмигнул он, несомненно, ей.

Как раз в это время на площадь вступила колонна солдат, каждый из которых нес опущенное к земле знамя или древко с блестящим и непонятным знаком на конце. Когда эта колонна поравнялась с Мавзолеем, раздалась команда, колонна остановилась, развернулась. Музыка оркестра рассыпала тревожную барабанную дробь. Тут уж трибуны разглядели, что несли эти солдаты.

— Гитлеровские знамена несут! — вскрикнула девушка.— Ой, мамочки-тетечки, сотни знамен. Шеренгами подходят к Мавзолею.

Барабаны усилили дробь. Теперь дробь эта как бы заполнила до краев огромную чашу площади. Мечетный вытянул вперед голову, как будто что-то мог рассмотреть сквозь повязку. Зазвучал стук дерева и металла о камень.

— Бросают... У Мавзолея бросают. Мамочки-тетечки, сколько их!..

Знамена, штандарты с эмблемами и символами фашизма, реликвии разбитых дивизий, корпусов образовали у подножия Мавзолея уже целый и довольно высокий ворох, а солдаты подходили шеренга за шеренгой и все бросали и, бросив, будто избавившись от неприятного

груза, развертывались и продолжали шагать по площади к пестрому, будто ситцевому храму.

Тут Анюта увидела, что майор, которого она для себя называла Жаровым, стал пробиваться к ним, протискиваясь сквозь плотно стоявшую толпу. Теперь видно было, что у него на груди несколько рядов пестрых ленточек.

Майор пробирался прямо к ним, рассыпая направо и налево:

— Простите... Виноват... Извините... Позвольте пройти.

И хотя нагловатое лицо его было добродушным и с полных губ не сходила улыбка, Анюта почему-то почувствовала безотчетную тревогу, даже страх. Мечетный держал ее руку в своей и тоже заволновался.

19

А площадь между тем вся засверкала медью труб огромного сводного оркестра. Широкими, почти на все пространство площади развернутыми рядами надвигался этот оркестрище на опустевшее, омытое дождем и потому потемневшее пространство брусчатки. Сотни, может быть, тысячи труб согласно исторгали звуки торжественного марша, и две шеренги музыкантов с турецкими барабанами производили такой грохот, что казалось, вздрагивает и сама крепостная башня.

Но девушка рассказывала об этом как-то вяло, словно рассеянно, смотрела перед собой и не обращала внимания на это сверкающее медное великолепие. По трибунам снова раскатились аплодисменты.

— Что такое? Анюта, что происходит?

— Сталин и другие руководители сходят с трибуны, спускаются куда-то вниз..

И в этот момент Мечетный услышал радостный и очень знакомый голос:

— Володька!

Мечетный вздрогнул.

— Владимир Мечетный? Владимир Онуфриевич?

— Славка! — крикнул Мечетный.— Славка Воронов. Откуда ты взялся, черт полосатый?

— Оттуда же, откуда и ты, из госпиталя... Раненый воин. Что с тобой, почему тебе так котелок забинтовали?

— Глаз. Один глаз выбили, а другой — кто его знает, может, и уцелел. А у тебя?

— Нога, брат, нога. Коленная чашечка. Обещают починить, и вот уж третий месяц чинят... А я тебя, несмотря на бинты, сразу издали узнал. Смотрю — Володька Мечетный с каким-то весьма симпатичным старшим сержантом... А ты меня не углядел?

— Мне, Славушка, пока нечем глядеть.

— Ах, да, глаза, понимаю. Однако ты, брат, и вслепую хорошенькую спутницу себе выбрал. У тебя губа не дура... Может, представишь?

— Мой однокашник по институту Станислав Воронов, по уличному прозвищу «Колобок»,— радостно произнес Мечетный и удивился, не услышав в голосе Анюты ответной радости. Она холодно рекомендовалась по полной форме:

— Старший сержант Анна Лихобаба.

— Как, как? — вскричал Воронов.

— Так, как вы слышали, товарищ майор.

— Ух и фамильице! Не страшно тебе, Володька, с такой спутницей ходить? — Мечетный слышал легкий звук костыля Воронова и представлял, как майор проворно прыгал на своем костыле, будто даже весело неся свою забинтованную ногу: костыль и палка бойко постукивали об асфальт.

Как и всегда это бывает при встрече давно не видевших друг друга однокашников, разговор шел по заведенному для таких случаев обычаю: «А помнишь?», «А знаешь?», «Такой-то теперь там-то», «Такой-то женился». При этом ни тот, ни другой не давали друг другу ответить на заданный вопрос, новые фамилии и факты наползали один на другой.

И вдруг майор спросил:

— Володька, а как твои? Как Наташка? Как Вовка?.. Сколько ему сейчас? Лет пять? Наверное, совсем уже мужичок стал.

Мечетный почувствовал, как Анюта насторожилась, но не придал этому значения. Не отвечая на вопрос, он торопливо заговорил:

— ...А Лешку Капустина я, представляешь себе, на Висле встретил. Командует БАО [1] в дивизии Александра Покрышкина. Майор технической службы. Маститый стал, разъелся, даже картавит для солидности.

Он явно уводил разговор в сторону.

---

[1] БАО — батальон аэродромного обслуживания.

— Ну, о Наташке-то, о Наташке ты не ответил,— перебил его майор, не поняв маневра Мечетного.— Знаешь же, я ведь тоже по ней до самого четвертого курса сох... Всю войну вы так и не видались?

— Видались... Один раз.

Мечетный слегка, но не очень аккуратно толкнул локтем майора. Но тогда не обратил внимания и на эту свою неловкость.

— Вас понял, перехожу на прием,— ответил тот и стал торопливо рассказывать, как и где приходилось ему воевать, где и сколько раз его ранило, где он лежал в госпиталях, в каком из них самые симпатичные сестры и какая это коварная штука — коленная чашечка, черт ее побери...

Анюта шла, как всегда, спокойно, только не дала Мечетному взять себя под руку, а вела его, как раньше во время прогулок. Увлеченный воспоминаниями и беседой с однокашником, капитан этого не заметил. Не обратил внимания и на ее молчаливость. Впрочем, все это можно было легко объяснить: такой день, столько впечатлений, и ей столько пришлось говорить.

— Ну, а как дальше будем жить? — спросил майор.

— Дальше демобилизуюсь, вернусь в институт. Думаю, примут. Мы ведь с тобой с последнего курса на войну подались. А ты?

— А я уж и не знаю. Может, переметнусь в авиационный. Я ведь теперь специальность приобрел — истребитель, летчик экстра-класса. Думаю, закончу авиационный, может, в начальство выгребу. А что? Очень свободно: ас второй мировой. Только вот нога, чашечка эта, черт ее возьми, заживет али нет?.. А ты знаешь, как меня в госпитале прозвали? Гуляй-нога, ей-богу.

На улице Горького простились. Майор весело заковылял в дверь метро, Анюта повела Мечетного к Библиотеке Ленина, где их должна была ждать госпитальная машина.

— Ты чего все молчишь? — спросил Мечетный.— Надоели мы тебе своей болтовней? Соскучилась?.. Славка не понравился?

— Нет, почему же, он симпатичный, веселый.

— Устала, да? А может, простудилась на дождике?

— Нет, все нормально, как вы любите выражаться...

Захваченный впечатлениями дня, Мечетный прозевал и это «вы». Он все еще продолжал жить парадом, в ушах

еще звучали оркестры, слышался шаг проходящих частей, лязг танковых траков, аплодисменты, которыми трибуны встречали руководителей партии и знаменитых полководцев, слышал особый звук древков поверженных неприятельских знамен и штандартов, стукающихся о камень.

Обо всем этом он, вернувшись в госпиталь, рассказывал своим соседям, рассказывал, не уставая. Сменялись слушатели, подходили новые, и он снова принимался рассказывать. Вдруг потянуло запахом кофе и папирос «Герцеговина Флор». Пришел профессор. Он тоже заставил все повторить, а потом сказал:

— Примите-ка на ночь снотворное, герой. Выспитесь как следует. Завтра снимаю вам повязку, с завтрашнего дня будете видеть, если старик Преображенский что-нибудь еще сто́ит.

— Завтра? Неужели завтра?

— Именно. И, как любите вы выражаться, в четыре ноль-ноль... Не волнуйтесь... Это мне надо волноваться, завтра я буду форсировать свой Одер и, как видите, бодр и весел...

Мечетный принял снотворное, заснул в радостном ожидании, и снились ему в эту ночь хорошие цветные сны, главной героиней которых была Анюта.

20

Проснулся он в том же настроении, с ощущением, что его ожидает что-то очень хорошее. Что? Ах, да, профессор обещал сегодня расшторить глаза... Видеть, видеть... Он, Мечетный, будет видеть. Он увидит ее лицо... И потом, сегодня, завтра, в ближайшие дни они с Анютой станут мужем и женой.

Но где же она, Анюта? Куда она делась? Всегда до утреннего обхода забегала к нему. Хоть на минутку, хоть только пожелать доброго утра. А вот сегодня где-то и застряла. И в одиннадцать часов, когда она, обычно управившись с утренними сестринскими делами, приходила поболтать, сидя на его койке, тоже не пришла.

Весь занятый мыслью об обещанном ему сегодня прозрении, Мечетный и на это не обратил особого внимания. Но когда Анюта не заглянула и после обеда, это всерьез обеспокоило его. Так где же она? Что с ней? Не заболе-

ла ли после того, как они вчера стояли под дождем?.. Упрямая! Ни за что, как он ее ни убеждал, не захотела надевать свой старенький фронтовой, закопченный у костров бушлат. Пошла в новой, наглаженной гимнастерке, а ведь был дождик. Короткий, небольшой, а все-таки дождик. Да и день был прохладный.

Обеспокоенный Мечетный пошел на сестринский пост, дорогу к которому знал по памяти.

— Не знаете, куда делась Анюта?

— Вам, капитан, лучше знать, где пребывает старший сержант Лихобаба,— не без яда ответили ему, и по голосу он отгадал, что это была та самая сестра Калерия, которая, не имея квартиры, делила с Анютой отведенный для них, как они говорили, медицинский чуланчик.

— Заболела?

— Нет, здоровехонька.

— Так где же она сейчас?

— Говорю, вам лучше знать. Ушла, и все!

— То есть как ушла?

— Обыкновенно. Ногами. Пришла с парада вроде бы расстроенная, ничего мне не сказала, сложила свои вещички. Мешок за плечи — и ушла. Со мной даже и не попрощалась, на что я, конечно, плюю с высокого дерева.

— Но куда, куда же ушла-то?

— Откуда мне знать? Говорю же, мне ничего не сказала. Она вообще какая-то ненормальная, эта ваша Нюшка.

Мечетный вцепился руками в стол, будто его внезапно ударили по голове. Новость была такая неожиданная, что трудно было сразу и поверить. Ушла? Как это ушла! Может быть, эта недобрая женщина просто разыгрывает его. Они с Анютой постоянно не ладили. Калерия завидовала девушке, не скупилась на ядовитые слова.

— Даже не попрощалась...

— Может, с кем и простилась,— многозначительно сказала Калерия, явно на что-то намекая.— Спросите-ка у профессора. Может, с ним простилась.— Потом, встав из-за стола, Калерия приблизилась к Мечетному вплотную.— А вы не переживайте, плюньте на нее, товарищ капитан, на Нюшку на эту. Она ведь вовсе не такая, как вы о ней думаете. Она не только к вам, она вон и к профессору подъехала, да как еще подъехала, старичок с

нее глаз не сводил. Вы-то не видите, а у меня оба глаза, слава богу, здоровые...

— Глупости.

— Так зачем вы с глупой разговариваете? Вы спрашиваете, я отвечаю. А насчет профессора вся клиника знает. Спросите кого угодно.— И уже разудалым тоном добавила: — Эх, капитан, капитан, вспомните, как в песне поется: была без радости любовь, разлука будет без печали... Нашего брата, баб, нынче большой переизбыток. Только свистните — сразу сбегутся: бери любую на выбор. Вот хоть бы и я. Не видите вы меня, а я ведь красивая. Нюшка передо мной замухрышка... Смотреть и то не на что...

Ничего не ответив, Мечетный зашагал в палату и от волнения наткнулся на стенку и больно ушибся. Он и сейчас не до конца поверил в это известие. Анюта ушла... Почему, почему? Вынесла из боя, рискуя собственной жизнью, вынесла. Столько с ним возилась. Столько препятствий преодолела, борясь за него. И вот ушла. Ушла накануне того самого дня, когда он должен прозреть. Как это просто: собрала вещички и ушла. Даже не посоветовавшись. Даже не попрощавшись.

Нет-нет, тут какое-то недоразумение. Врет, наверное, эта скверная завистливая баба. Уложила вещевой мешок, оформила аттестат... Не может быть, Анюта не могла поступить так жестоко. Это не в ее характере. Ведь после того странного разговора в профессорском «бомбоубежище» отношения выяснились. Она тогда не ответила «нет», она радовалась, явно радовалась. И на парад они шагали под руку, прижавшись друг к другу, как молодожены. Эта Калерия конечно же наврала или все извратила. Тут что-то не так...

Когда ординатор зашел, чтобы предупредить Мечетного, что через час его поведут снимать повязку, он неподвижно лежал на койке поверх одеяла, не сбросив тапочек. На сообщение врача не отозвался, даже не переменил позы и только спросил:

— Куда делась сестра Анюта?

— Как, вы не знаете? Ушла вчера вечером,— ответил врач, огорченный тем, что его сообщение имело такую слабую реакцию.

— Куда же, куда ушла?

— Да, наверное, в отдел кадров. Из клиники выписалась. Мы вчера многих выписали и она с ними.

— Да почему же?

— А я вот как раз вас собирался спросить об этом. Наш главнокомандующий, узнав, пришел в ярость: кто выдал документы, почему не доложили?.. Он и сейчас шумит. Несколько человек вылетели из его «бомбоубежища», как пробки... Стало быть, и вы не знаете. Странно... Ну, будьте готовы, за вами через час придут.

Как ждал Мечетный того, что должно было произойти! Как мечтал о дне, о часе, когда он снова сможет увидеть не приглушенный электрический, а настоящий дневной свет, когда он убедится окончательно, что страшная беда миновала и он снова стал человеком, деятельным человеком среди людей.

Сколько раз разговаривали они об этом дне, об этом часе с Анютой! И вот этот час настал, а Анюты-то и нет. Исчезла. Испарилась. Что бы это могло значить? Почему исчезла? Ведь не может же быть, чтобы она столько возилась с ним лишь для того, чтобы выполнить поручение роты?.. А что, все может быть и так. Возможно. И чувства свои, может быть, как бы жертвовала ему, чтобы утешить его в трудные минуты. Неужели ушла навсегда?.. Нет, нет, наверное, просто отлучилась по какому-то своему, неизвестному ему делу...

А как было вчера хорошо! Парад Победы, гром музыки, громовые шаги победителей, стук древков вражеских знамен, повергаемых к подножию Мавзолея. И этот тоненький детский голосок, с восторгом повествующий о том, что вокруг происходит. Она была его глазами, и парад был для него неотделим от этой девушки, от ее голоса. Так что же, черт возьми, произошло?

Почти позабыв о том, что ожидало его сегодня, он перебирал впечатления вчерашнего дня, обдумывал каждую его минуту, ища среди этих минут ту, что толкнула девушку на ее поступок. И вдруг его осенило. Просто-таки прозвучал в памяти вопрос майора: а как твои? Как Наташка, Вовка?.. Ну да, это самое. Он не мог вспомнить, что он ответил, но ему тогда казалось, что вопрос этот Анюта как бы пропустила мимо ушей. Продолжала молча идти, не вмешиваясь в беседу старых приятелей... Конечно, он не видел в эту минуту ее лица, но ему думалось, что она даже не обратила внимания на не очень ловкий ответ майора: вас понял, перехожу на прием.

Восстанавливая подробности минувшего дня, Мечетный вспомнил, что, расставшись с майором у входа в

метро, дальше продолжали путь уже не под руку. Она снова вела его, как водила раньше гулять, этак по-сестрински.

Да-да-да. Вчера, весь захваченный впечатлениями парада, он не обратил внимания и на это, потом, весь вечер повествуя все новым и новым слушателям о том, что происходило на Красной площади, он даже и не заметил, что Анюты-то рядом не было. Так вот оно что!

Теперь Мечетный был убежден, что беда произошла из-за болтовни майора, что, услышав этот вопрос о Наташе и Вовке, девушка решила, что где-то у него есть семья, которую он от нее тщательно скрывает. Обиделась? Испугалась? А может быть, решила не разрушать эту несуществующую его семью, не оставлять неведомого ей Вовку без отца. Ну да, это в ее характере. И со свойственной ей смелостью и прямотой она тут же приняла решение и, чтобы избежать тяжелого разговора, объяснений, увещеваний, решила разом уйти из его жизни. Ведь была уже уверена, что он не слепой и не нуждается больше в опеке и уходе... Да к тому же еще, наверное, и обиделась на то, что он никогда в разговорах с ней не упоминал этих, неожиданно прозвучавших для нее имен, и ничего не рассказывал о существовании этих людей.

Логично восстановив по минутам вчерашний день, Мечетный пришел к выводу: да, именно так и было.

21

Придя к такому заключению, он даже успокоился. Ведь ничего не стоило объяснить Анюте эту печальную, но в общем-то простую историю, каких, увы, немало случалось в дни войны. И он ее, эту историю, вовсе не прятал. Просто не любил он раскрывать уже давнюю страницу своей жизни, которую и сам старался забыть.

Да, была такая Наташа. Студентка, с которой Мечетный учился на одном курсе, в одном потоке, весьма способная студентка, к тому же еще отличавшаяся редкой красотой. Все в ней было хорошо: и фигура, и голос, и строгие, правильные черты лица. Чуть ли не половина студентов из их потока по очереди перевлюблялись в нее, впрочем, без особого успеха.

Мечетному — видному, широкоплечему парню с карими глазами и русым чубом, отличнику, спортсмену, не раз защищавшему честь института на разных городских и областных соревнованиях, повезло. После долгих сравнений и взвешиваний Наташа остановила на нем свой выбор.

Они поженились. И, не в пример многим студенческим парам, зажили вроде бы и неплохо. Когда учились на третьем курсе, у них появился сын. В честь отца его назвали Владимиром, Вовкой. У них была комната, к Владимиру-младшему Наташа вызвала из маленького уральского городка свою тетку — ворчливую, добродушную бобылку, взявшую на себя все заботы о двоюродном внуке и о хозяйстве молодой семьи. Владимир-старший, отказавшись от всех развлечений и даже от спорта, по ночам подрабатывал, делая чертежи для одного из местных заводов. Нелегко приходилось, конечно. Но он души не чаял в своей красивой жене и не жалел сил, чтобы она могла учиться, ни в чем не испытывая нужды. И жили, не ссорились, хотя особой теплоты в их отношениях не было. Он помогал Наташе в учебе, и они оба недурно перешли на последний курс.

Супружескую пару Мечетных студентам ставили даже в пример. И фотографии их не раз оказывались рядом на доске отличников...

Первое серьезное семейное недоразумение произошло, когда началась война. В дни, когда немецкие дивизии подступали к Москве, в городе из коммунистов и комсомольцев срочно формировалась одна из знаменитых впоследствии уральских дивизий. Как студент-выпускник Владимир Мечетный имел право на отсрочку. Но правом этим решил не воспользоваться и заявил своему семейству: идет проситься на фронт. Наташа этого не поняла: семейный человек, жена, сын, сам без пяти минут инженер, он не может, не имеет права бросить учебу, семью, рисковать их общим будущим. После ночи бурных объяснений, когда Наташа вслух пожалела, что вышла замуж за такого дурака, Владимир утром пошел в военкомат.

Простились все-таки сердечно. Наташа плакала на вокзале, маленький Вовка, хотя ничего и не понимал, тоже плакал, цепляясь за новенький полушубок отца. Обещали друг другу писать. И действительно, он аккуратнейшим образом посылал домой солдатские треуголь-

нички, уверял Наташу в своей любви, мечтал о возвращении и о том, как славно заживут они, когда победят немца. Наташа аккуратно отвечала. Со свойственным ей педантизмом Наташа нумеровала свои письма и, когда Мечетного, уже лейтенанта, ранило подо Ржевом, ему как раз и пришло двадцать восьмое письмо: маленькая, всего в несколько строк открытка, в которой сообщалось, что дома все хорошо, Вовка растет здоровенький и крепкий. Сообщались обычные домашние пустяки, которые всегда так дороги сердцу солдата.

Раненого Мечетного отправили в тыловой госпиталь, в город Калинин, который, хотя и сильно пострадал в дни оккупации, был уже глубоким тылом, раненых принимал гостеприимно. Госпитали этого города были известны хорошим, квалифицированным уходом.

Ранение Мечетного оказалось серьезным. Оно осложнилось тем, что в пылу наступления санитары не сразу его отыскали и при полевой обработке раны не было принято достаточных антисептических мер. Рана воспалилась. Опасались заражения крови. Однако квалифицированный уход и крепкий организм Мечетного победили недуг. Письма из госпиталя продолжали идти на Урал. Поврежденная рука плохо слушалась, Мечетный не мог еще писать и диктовал свои треугольнички соседу по палате. Чужой рукой повествовал он о госпитальном житье-бытье, о том, что получил он орден Красного Знамени за штурм Ржева, и о своей мечте скоро поправиться, с боями дойти до Берлина и с победой вернуться домой. Сообщил и о том, что изменился номер его полевой почты.

Наташа ответила и на новый номер. В письме была весть о том, что ей, как жене орденоносца, удалось получить вместо маленькой студенческой комнатки приличное жилье в новом доме, где он, вернувшись с победой, хорошо и удобно отдохнет. Мечетный порадовался. Уже своей рукой написал пространный ответ и сообщил, что, возможно, его отпустят долечиваться на родной Урал. Ответа на это письмо получить не успел. Его устроили в эшелон, отвозивший раненых в госпитали глубокого тыла. Обрадовался: обеспечен хороший медицинский надзор, а главное, в поезде хорошо кормят: не придется разменивать продовольственный аттестат. Это было счастьем, ибо не хотелось приезжать к жене и сыну с пустыми руками.

Очутившись в родном городе, он первым делом реализовал этот свой многодневный аттестат, набил вещевой мешок всяческими продуктами и, взволнованный, предвкушая радость встречи, пошел искать семью по новому адресу. Жила она теперь в новом районе, в поселке военных. Перепрыгивая через две ступеньки, Мечетный влетел на третий этаж. Едва переведя дух, нетерпеливо застучал в дверь.

Открыл ему невысокий плотный мужчина с круглой лысоватой головой. Он был в пижаме и тапках. Поправив на носу очки, он спросил:

— Вам кого, товарищ старший лейтенант?

— Наташу. Что, она здесь не живет?

— Почему же не живет, живет... Она сейчас сына кормит.— И громко: — Наташа, к тебе пришли.

Мечетный успел заметить на вешалке шинель. Офицерские, до блеска начищенные сапоги стояли под вешалкой. Ничего не понимая, он продолжал топтаться в дверях, когда появилась Наташа в халатике с ложкой в руках. Ложка была измазана в манной каше. Увидела его, застыла и только спросила:

— Ты?

На ее малоподвижном лице с очень правильными чертами было удивление и, как ему показалось, испуг. Да, конечно, испуг. И испуг этот был обозначен особенно четко.

Так и стояли они молча: мужчина в пижаме и тапках, испуганная женщина и он, ничего не понимающий Мечетный.

— Так сразу... Даже не предупредил... Ты разве не читал моего последнего письма? — бормотала женщина.— Письма за номером тридцать.

А пока они так стояли в дверях, появился мальчик лет четырех, здоровый, румяный, с круглой рожицей, перепачканной в манной каше. Он с удивлением смотрел на незнакомого военного в старой шинели, с мешком за плечами, на испуганное лицо матери. Должно быть, учуяв сердцем что-то недоброе, страшное, он бросился к мужчине в пижаме и уткнулся к нему в колени.

— Вовка! — бросился к нему Мечетный.— Вовка, сынок! Не узнаешь? Я же твой папка.

Мальчик, продолжавший прижиматься к мужчине в пижаме, вдруг заревел, закричал:

— Уйди, уйди, нехороший дядька! — И, обращаясь к человеку в пижаме: — Папочка, гони его, пусть он уйдет,

— Вовочка, Вовочка,— растерянно бормотала мать.
— Уйди, пусть уйдет этот дядька!

Человек в пижаме растерянно гладил русую головку ребенка и переступал с ноги на ногу.

Потом мужчины посмотрели друг другу в глаза. Обоим было тягостно, страшно. Но они не произносили ни слова.

— Ты скажи, где ты остановился. Позвони. У нас с Анатолием есть телефон. Я к тебе забегу, все объясню,— бормотала женщина побледневшими губами, и красивое, правильное лицо ее, смятое страхом, в это мгновение потеряло всю свою привлекательность.

Ничего не ответив, Мечетный повернулся и вышел. Вышел, не произнеся ни слова, но так при этом хлопнул дверью, что с потолка этого нового, еще пахнущего сырой известкой дома упало несколько увесистых кусков штукатурки.

На ночлег военный комендант направил его в огромный рабочий клуб, взятый под общежитие транзитников. Звонить Наташе Мечетный не стал. К чему? Все было ясно. Но она сама ночью отыскала его, ворвалась в комнату, где в разных углах на топчанах храпело человек десять. Ворвалась, заплакала по-бабьи, в голос, не обращая внимания на сонные головы, поднявшиеся с набитых сеном блинообразных подушек.

Мечетный быстро оделся. Они пошли по улицам города, где ему был знаком каждый уголок, города, который сразу стал для него чужим, неуютным. Он шагал с виду спокойно, четко отсчитывая шаг, и лицо его тоже было спокойным. Оно будто окаменело. А она, обычно такая немногословная, все говорила, говорила, вытирая слезы рукавом пальто и заправляя выбивавшиеся из-под платка волосы. И почему-то все повторяла: неужели ты не получил моего письма за номером тридцать? Там я все, все разъяснила. Наверное, он, Владимир, не знает, как живется тут, в глубоком тылу. Они же на фронте получают пайки, одеты и сыты, а ему к тому же дают офицерский, дополнительный. А тут карточки, какие-то граммы несчастные... Да еще настоишься за ними в очередях. Ей ничего, она хоть пообедает в институте, а Вовка. Вовка цвета молока не знал... А Анатолий, он такой добрый, такой заботливый. Они переехали к нему в его хорошую, теплую квартиру, Анатолий — инженер-майор. Он военпред на заводе. Теперь они хоть

вздохнули свободно. Ведь у Вовки все есть, ты же видел, какой он крепенький.

— Ах, если бы вы, фронтовики, знали, как нам тут, в тылу, живется. Ведь все мы вам пишем: живы, здоровы, живем хорошо. Так это в письмах, а на деле... У меня с Анатолием не как у некоторых девчонок... У нас с ним всерьез. Как только ты дашь развод, мы поженимся, а Вовку Анатолий усыновит. Он добрый, в Вовке души не чает. Ты же сам видел... У Анатолия семья погибла в Ленинграде. Он хочет дать Вовке свою фамилию... Ну что, что ты молчишь? Презираешь, да? Ненавидишь, да? Ты меня слышишь?

Мечетный слушал и не слышал. Он уже мысленно вычеркнул эту женщину из своей жизни. Не разлюбил, нет. Вычеркнул. Она была ему чужой. Если бы не было на свете цветущего карапуза с русой круглой головкой и толстыми губами, перепачканными в манной каше. И он не мог забыть, как этот карапуз со страхом глядел на отца, а другого мужчину называл папой и просил у него защиты.

Мечетный шагал по асфальту, и на пустынной улице слышно было, как поскрипывают подошвы его новых, полученных после госпиталя сапог.

— Ну что же ты молчишь? Скажи хоть, что ты обо всем этом думаешь? Ну?

— Наташа, ты не помнишь, какой это поэт сказал: «...так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат»?

— При чем тут какой-то поэт?.. Дашь ты мне развод?

— Война — великое испытание. Одни его выдерживают, укрепляются духом, а другие...

— Ну, как же насчет развода?

— Развода? Так мы уже разошлись...

В эту ночь комендантский патруль подобрал на окраине города офицера-фронтовика. Он был так пьян, что по дороге в комендатуру только мычал, бормотал что-то непонятное. По документам установили, что это старший лейтенант Владимир Мечетный, направленный в этот город для долечивания после ранения...

Документы, необходимые для развода, Мечетный послал уже с фронта. Переписал денежный аттестат с Наташи на имя сына и прервал с ней всякую связь. Он действительно вычеркнул ее из своей жизни. Не раскры-

вая, рвал письма, которые некоторое время еще догоняли его в наступлении, и заставлял себя не думать, не вспоминать даже о сыне, который, как он узнал от какого-то земляка, значился теперь сыном того инженер-майора и носил теперь его фамилию...

И вот столько времени спустя старая заржавевшая мина замедленного действия взорвалась. Наташа вдруг возникла из прошлого и снова сломала его наладившуюся было жизнь.

22

В день, когда стало известно об исчезновении Анюты, Мечетному и сняли шторку с глаза. Глаз видел. Видел неплохо. Как-то сразу вернулись все краски мира, и когда сестра Калерия вывела его в больничный парк, зелень вдруг показалась ему такой зеленой, голубизна неба такой яркой, что он, ошеломленный, зашатался и, возможно, упал бы, если бы спутница сильной рукой не подхватила его и не довела до скамейки.

Все, что вновь открывалось ему в этот день, поражало. Калерия, которую он с Анютиных слов представлял себе тощей, злой уродиной, оказалась совсем не такой. Это была крупная шатенка с грубоватым, но привлекательным лицом, с яркими припухлыми губами. Голубые глаза ее смотрели из-под пшеничных бровей вызывающе, насмешливо, а пожалуй, и печально. Старенький, стираный-перестираный больничный халат свой она, видимо, сама перешила, и он хорошо обрисовывал ее сильную фигуру.

Мечетный смотрел на нее с некоторым удивлением, и она, приметив это его удивление, усмехнулась:

— Ну что, не такой вам меня Нюшка рисовала? Говорила ж я вам, капитан, что я красивая. А я ведь никогда не вру.

Но, может быть, потому, что контраст между ожидаемым и увиденным был слишком велик, Мечетный без особых на то оснований проникся к Калерии неприязнью и даже отодвинулся, когда она, как ему показалось, слишком близко села рядом с ним на скамью.

— Не бойтесь, капитан. Я к вам на колени без приглашения не прыгну.

Сидел Мечетный на знакомой скамье с пригожей женщиной, а думал о другой: вот если бы вместо этой

Калерии была рядом Анюта. Увидел бы ее лицо. Как сблизил бы их этот день... Анюта. Куда же она ушла, где прячется? Теперь он не слепец, он полноценный человек. По пути в парк взглянул на себя в зеркало, висевшее в вестибюле: небольшие шрамы не испортили лица, глаза выглядели неплохо, только в том, который был настоящий, радужная оболочка казалась разорванной. Но это можно было заметить, лишь приблизив лицо к самому стеклу. Куда же ты делась, Анюта? Где тебя искать?

Эти мысли отравляли радость возвращения в строй нормальных, полноценных людей.

— Вы теперь, Владимир Онуфриевич, вольная птица, куда хотите, туда и летите. Я сегодня вечером свободна от дежурства. Пойдемте в кино, а? Идет что-то английское, какой-то «Джордж из Динки-джаза», говорят, смешной. А потом можно зайти в ресторанчик, омыть ваш глаз, тогда вы меня лучше разглядите,— весело болтала Калерия, но веселье ее почему-то казалось напускным. Не дождавшись ответа, она вздохнула: — Не слушаете вы меня, Владимир Онуфриевич...

Мечетный действительно не слушал. Все думал о своем. Ведь и верно: теперь он может идти куда глаза глядят, вернее, куда глаз глядит, что в сущности, оказывается, одно и то же. Мирное время, он штатский человек. Но как, как найти Анюту? Пойти в районный или даже в городской военкомат? Ведь она еще на учете. Наверное, там можно будет узнать, куда направился или где находится старший сержант Лихобаба. И он решил посоветоваться с профессором Преображенским. Ведь он принимал такое участие в их судьбе...

— Так как же насчет ресторанчика? Музыку бы послушали, потанцевали.

— Пошли в палату,— грубовато прервал Мечетный свою спутницу, все еще продолжавшую развивать тему омовения отремонтированного глаза.

— Да посидите, куда вам торопиться, день-то, день-то какой, словно специально для вас выдался.

Мечетный поднялся и ушел, оставив Калерию на скамейке.

Профессора в кабинете не оказалось. Сообщили, что он выехал в санаторий Архангельское для консультации. Только уже к ночи, несмотря на поздний час, в палате послышалось знакомое поскрипывание ботинок профессора. Он подошел к койке Мечетного, как всегда окружен-

ный запахом кофе и хорошего табака. Мечетный лежал поверх одеяла, заложив руки за голову, и смотрел в потолок, по которому ходила муха. Глаза у него были широко открыты — искусственный и живой. Он внимательно следил за этой мухой, точно бы принимая экзамен у своего отремонтированного глаза. Профессор улыбнулся.

— Видите муху?

— Вижу.

— Глядит?

— Глядит.

— Ну и как дела?

— Нормально.

— Хорош он, белый свет-то, а?

— Хорош.

— Так чего же не радуетесь? Ладно, можете не отвечать, у меня информация хорошо поставлена... Исчезла? И вышло по Шекспиру: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Так?.. Вот что, герой Одера, пойдемте-ка ко мне в мое «бомбоубежище», я на свое произведение, то есть на ваш глаз полюбуюсь и таким вас кофе угощу, какой когда-то разве что турецкому султану готовили.— Профессор был в преотличном настроении.— Надо мной тут один армянин шефствует, я уж говорил вам, мой бывший пациент. Тоже вроде вас, моя удача. Сейчас он где-то на Востоке, в Монголии. Так он мне и оттуда кулечек отличного бразильского кофе прислал, не забывает... Ну, пойдете?

— Пойду.

Мечетный шел за ним и удивлялся, что все кругом оказывалось не таким, каким он раньше представлял. Глазную клинику знаменитого института воображение рисовало светлым зданием самых современных форм, а оказалась она большой темноватой больницей с толстыми стенами, с длинными сводчатыми коридорами, где, как в туннеле, лишь в самом конце виднелся дневной свет. В полутьме, слабо освещенной тусклыми лампочками, тут и там встречались раненые, они почтительно приветствовали профессора, иные при его приближении вставали во фрунт, и он с той же мальчишеской чудинкой в голубых глазах весело рассыпал направо и налево: привет, привет.

Ну а кабинет Мечетного просто поразил. Он совсем не напоминал кабинет ученого, а больше смахивал на жилье старого интеллигента: цветы на окнах, книги на

этажерках, диван с лежащими на нем пледом и подушкой. Горка. За стеклом такой горки из резного красного дерева красоваться бы фамильному сервизу или фарфоровым безделушкам, а не хирургическим инструментам. И кругом акварели, рисунки, пришпиленные кнопками прямо к стене. И в комнате этой, имевшей такой жилой вид, у входной двери на вешалке — шинель с полковничьими погонами, папаха, а на распялке — тщательно расправленный китель, на котором ордена, медали и золотой знак Сталинской премии.

Вскользь осмотрев пейзажи, Мечетный невольно остановил взгляд на одном из них: речка, крутой песчаный обрыв, сосны с золотыми стволами. Это напомнило ему тот уголок подо Ржевом, где в волжский откос был врыт блиндаж, возле которого Мечетный получил свое первое ранение.

— Заинтересовались? Нравится? — прогрохотал бас хозяина диковинного этого кабинета.— Это мое хобби. Если хотите, дурь, а интеллигентно говоря, увлечение.— Профессор священнодействовал у диковинной кастрюлечки, в которой уже начала пузыриться коричневая масса, исторгавшая острый кофейный аромат.— Нравится вам моя мазня? Когда-то ведь каждое воскресенье на этюды ездил. Но это все старье, старье. За войну ни разу и вырваться не удалось.

Надев перчатку, он снял с плитки кастрюлечку и осторожно, чтобы не сбить пену, наполнил две маленькие чашечки. Одну придвинул к Мечетному:

— Ну что вы, капитан, сидите как сыч? Я, можно сказать, подвиг совершил — из ничего вам глаз смастерил, кофе вас угощаю, какого турецкий султан не пробовал, пока ему Кемаль по шее не дал, а вы не радуетесь.— Встал с кресла, передвинул на полке какие-то книги, достал из-за книг графинчик и крошечные стопочки.— Вот с чего надо разговор начинать. Вы там в палатах, поди-ка, думаете: старик Преображенский сухарь, зверь, от запаха алкоголя в бешенство впадает. Впадаю. Но бывают, капитан, в жизни обстоятельства, когда сие просто необходимо. Вот сегодня мы с вами этим и воспользуемся. За ваше прозрение и за мою великолепную работу.

С непривычки даже малая доза алкоголя ударила Мечетному в голову, развязала язык, и он торопливо, будто боясь, что его прервут, принялся рассказывать о своей беде, о болтливом майоре по имени Славка,

о Наташе, о сцене на лестничной площадке возле незнакомой квартиры, о сыне, который уже не его сын, и о том, как однажды он очнулся на жестком топчане на гауптвахте комендатуры.

Услышала Анюта про Наташу и Вовку, но даже виду не подала. Ничего не спросила и исчезла, не дав ничего себе объяснить.

Хозяин слушал гостя молча, смакуя маленькие глотки кофе. Не торопил, не перебивал вопросами. Только когда, выговорившись, Мечетный замолчал, он отодвинул свою чашечку.

— Все ясно, капитан. Диагноз такой: ситуация сложная. Ну, а вы эту самую Анюту здорово любите? Можете не отвечать. Давно это знаю.

Профессор встал, заходил по кабинету, один из его ботинков по-прежнему при каждом шаге поскрипывал, и скрип этот сейчас почему-то казался Мечетному печальным.

— Таких, как вы, капитан, не утешают. Вы не из тех, кто говорит, что дескать мне из того, что мир широк, когда у меня сапог тесен... Не из тех. Начинайте искать. Человек не иголка, пропасть не может. Ищите. В Библии сказано: стучите — и отверзнется. Стучите и не теряйтесь.

— Легко так говорить, Виталий Аркадьевич, когда у вас семья, дети.

— Есть одно дитя — сын. Сейчас сам профессор, видный клиницист в Казани. И не виделись мы с этим клиницистом с начала войны. А семья? Домой-то я только помыться в ванне да переоблачиться хожу. Понимаете?

— Виноват, не совсем.

— Эх, капитан, черт меня дернул жениться на девчонке. И вот, извольте видеть, спасаюсь в своем «бомбоубежище».— Он вновь наполнил чашечки кофе, вздохнул, покачал головой: — Не понимаю, и чего я с вами сегодня разболтался. Все, наверное, потому, что вы, капитан лучшая удача старого лекаря Преображенского.— И тут, плутовато сверкнув голубыми глазами, засмеялся вслух: — Я сегодня даже Платоше во Львов телеграмму отстукал, рапортовал: видит капитан, Ромео, можете об этом доложить достопочтенному профессору Недоле. Так-то...

Отставил чашечку, встал, повторил:

— Так-то вот, капитан.— И тоном приказа: — Ну, ступайте, а то, наверное, сестра Калерия хватилась: куда ее трофей делся... Или еще не трофей? Держите стойкую оборону? — А когда Мечетный был уже в дверях, крикнул ему вслед: — Стучите — и отверзнется.

Мечетный вернулся в палату, когда все уже спали, увидел на своей тумбочке несессер — подарок, сделанный ему Анютой в день рождения. Несессер был военторговский, стандартный, торопливо сшитый, как делались в военное время все бытовые вещи. Но это было единственное, что оставалось ему от Анюты, и, убедившись, что в палате все спят, он, укрывшись одеялом, прижал несессер к лицу и тихо, беззвучно заплакал.

23

...Стучите — отверзнется. Мечетный стучал. Стучал упорно, ходил по эвакопунктам, по учреждениям, ведающим учетом военных, звонил по разным телефонам, наводил справки даже в милиции, добился приема у военкома города Москвы. Все удивленно смотрели на него. Кто выражал сочувствие, кто насмешливо разводил руками. Старший сержант Анна Лихобаба так и не нашлась. Удалось лишь узнать, что из армии она демобилизовалась, получила деньги по аттестату, выправила право на бесплатный проезд. А вот куда — узнать так и и не удалось. Исчезла. Исчезла, будто растворилась в огромных потоках людей, которые по окончании войны двигались в разных направлениях, заполняя все поезда.

Усталый, разбитый возвращался он после этих тщетных поисков в клинику, где еще числился на долечивании. Все знали о его беде. Сочувствовали, удивлялись его упорству. И больше всех сестра Калерия, которая, как казалось, заинтересовалась им не на шутку.

— Чего зеваешь, капитан? — укоряли его доброхоты.— Мишень верная, баба что надо. Вперед, в атаку!

И когда Калерия предложила ему вечером пойти к ее подружке, у которой, по ее словам, была и своя отдельная комната и патефон с пластинками, он пошел, снабдив предварительно Калерию деньгами на покупку угощения.

Подружка Калерии оказалась маленькой толстушкой с пухлым круглым детским лицом и огненно-рыжими

крашеными волосами. Жила она в продолговатой комнатушке коммунальной квартиры, куда ее когда-то наскоро вселили после того, как сгорел ее дом, подожженный зажигательной бомбой. Заняв эту комнату, она обставила ее как могла, да с тех пор так ничего из настоящей обстановки и не сумела приобрести. Несколько разнокалиберных стульев и табуретов, пожертвованных ей когда-то соседями, тахта, устроенная на пружинном матраце, да длинный фанерный ящик, стоявший в углу и выполнявший обязанности буфета,— вот и вся обстановка.

Но веселая толстушка эта, работавшая в конторе какого-то завода, сохранила стремление к уюту. От пожара она спасла только патефон с пластинками да разные вышитые штучки: салфеточки, накидочки, занавесочки собственной работы. Все это теперь и было пристроено на спинках стульев, разложено на тахте, даже на подоконнике. Тахту отгораживала от комнаты причудливая занавеска, на которой крестиком (и не без искусства) было вышито озеро с плавающими лебедями и какие-то кавалеры и дамы в париках, кормящие гордых птиц.

Когда Калерия, проведя Мечетного по коридору, заставленному сундуками, шкафами, с висящими на крюках велосипедами и детскими ванночками, к третьей по счету двери, остановилась возле нее, горластый патефон исторгал из жестяных своих недр игривый мотивчик «У самовара я и моя Маша». Занавес с лебедями был откинут, на тахте сидел огромный дядя с обритой наголо головой. Китель его висел на стуле, и по измятым погонам, по рядам засаленных орденских ленточек Мечетный сразу угадал в нем бывалого фронтовика.

— Майор Дроздов,— отрекомендовался он тоненьким и таким неподходящим к его мощной фигуре голосом.— Подкрепления подошли, а боеприпасы на исходе. Там у нас, Капиталина, что-нибудь еще осталось?

— Мы со своим пришли, не беспокойтесь,— сказала Калерия, вынимая из сумки и ставя на стол водку, портвейн, маленькие свертки с колбасой, сыром и банку шпрот.— Вот на двести рублей товару... Глядеть не на что.

— Мы уж с Капкой за сутки пятую сотню проедаем... Вот, капитан, как они тут в тылу живут, пишут нам: живы, здоровы, живем хорошо, а на полтыщи горсть еды. Садись, садись, друг милый.— Майор был в самом благодушном настроении.— Капка говорила, ты уж

отвоевался, а я, брат, еще нет. Мой победный салют еще не грянул. Из эшелона я... Нам, должно быть, с самураями беседовать придется.

Мощной рукой, поросшей рыжим пружинистым волосом, майор сгреб со стола бутылку, одним ударом вышиб пробку и разлил водку по четырем стаканам.

— Ну, капитан, не теряя времени, за тех, кому еще воевать.

Выпил. Сморщился. Брезгливо отодвинул стакан и даже передернул своими массивными плечами. Женщины тоже выпили. Мечетный, сидевший на уголке тахты, продолжал держать свой стакан в руке.

— Ну что же ты, капитан?

— Не пью.

— Как не пьешь?

— Не пью, и все.

Все трое с удивлением смотрели на Мечетного.

— Ты зачем же тогда сюда пришел? — В голосе майора было простодушное удивление.

— Танцевать, будем танцевать,— торопливо защебетала хозяйка квартиры, чтобы как-то сгладить наступившую неловкую тишину.

Порылась в пластинках. Сквозь хрип и треск просочился сладчайший тенор, и как бы из давних довоенных дней в эту комнату, убогую обстановку которой лишь подчеркивали эти салфеточки, накидочки, шторки, вплыли слова старинного курортного танго:

...Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось,
В этот час ты призналась,
Что нет любви.

Тяжело приподнявшись, майор подхватил толстушку, и они попытались танцевать, теснясь в узком проходе между самодельной тахтой и импровизированным шкафом. Калерия несколько растерянно смотрела на Мечетного. Он продолжал сидеть все в той же напряженной позе.

— Ну, а вы? — В стареньком пестром платье из легкого крепдешина, с пышными волосами, топорщившимися перманентными завитками, Калерия как-то очень гармонировала со смешными словами старинного танго, которые пел сладчайший тенор. Платье ей было узко, оно облегало, как перчатка, ее плотную фигуру.

— Смешное платье, да? — сказала Калерия, перехватив взгляд Мечетного.— Оно у меня одно — и в пир, и в мир, и в добрые люди. До войны еще служило... Не беда, было бы на что платье надевать, а у меня, капитан, есть на что.— Она нервно усмехнулась. Круглые колени ее сильных ног выглядывали из-под короткой юбчонки, грудь просто разрывала легкую материю, так что на швах белели нитки.— Берегу это платье, чтоб голой не ходить. И, засмеявшись грудным смехом, еще нервнее сказала· — А впрочем, говорят, что настоящие бабы без одежды выглядят лучше, чем в самом красивом платье. Верно это, капитан? — Встав, она шагнула к Мечетному, протягивая к нему руки: — Ну, пошли, что ли, потанцуем?

— Не танцую,— ответил тот, продолжая сидеть на краешке тахты.

Руки женщины опустились.

— Не пьет, не танцует. А любить-то вы хоть умеете, а? Тоже нет?..

Калерия стояла против Мечетного, в упор смотря на него. В глазах ее была растерянность, и вдруг они наполнились слезами.

— Я пошла,— сказала она, решительно направляясь к двери.

— Как пошла? Куда пошла? А еда, вон ее еще сколько... И бутылки не пустые! — Толстенькая Капитолина растерянно смотрела на подругу, и на пухлом детском лице ее было недоумение.

— Прощайте.— На ходу Калерия чмокнула ее в щеку, потом оттолкнула от себя, ловко пронесла свою массивную фигуру меж шкафов, ларей, велосипедов, вышла на лестничную площадку и, не дожидаясь Мечетного, сбежала по лестнице. Он догнал ее уже на улице. Они пошли рядом.

— Вам стало противно, да? Я ж вижу. Думаете, разгулялись бабоньки... Презираете?.. На шею вам бросаюсь, так? — И с истерическими нотками, которые так не шли к ее осанистой фигуре, так не вязались с ее яркой красотой, зачастила: — Да, бросаюсь... А вы когда-нибудь там, у себя на фронте, думали, что война не только убивает, не только города разрушает и деревни жжет?.. Она тут, в тылу, жизнь людям калечит. Сколько баб война без судьбы оставила... Думали, ну?.. Видела, видела, как вы на меня смотрели!..

Шаг у нее был тверд, крупную свою фигуру она несла легко, уверенно.

— Разве вы, мужчины, представляете себе, что это значит для такой, как я, без судьбы остаться, без надежды судьбу устроить, всю жизнь хватать куски с чужих столов, да и в этом куске тебе отказывают, еще губы кривят... Чистюля поганая, зазнайка!.. Что, не думал об этом, герой Одера?.. А нас таких не тысячи — миллионы...

Мечетный еле поспевал за Калерией. Ведь действительно, охваченные фронтовыми заботами, они как-то никогда и не задумывались о том, о чем сейчас почти кричала ему разъяренная спутница, не размышляли над трагедией, которую готовила война множеству женщин. Ему стало жалко Калерию, но он не решился лезть к ней с сочувствием или утешением, понимая, что сочувствием он только оскорбит ее, а в утешениях она не нуждается.

Шли молча, а когда он попытался взять Калерию под руку, она с силой оттолкнула его.

— Не смей!.. Если кусок от души подадут, принимаю. А чтобы выпрашивать, чтобы из жалости,— нет, таким куском подавишься! — И вдруг уже перед самым подъездом сказала: — Эх, завидую я вашей Нюшке! По трамвайному билету десять тысяч выиграла и кобенится, черт те что из себя выламывает — побегай за ней, поищи ее... Дура... Набитая дура!

24

Отчаявшись отыскать следы Анюты, Мечетный выправил себе билет в тот самый уральский город, откуда ушел когда-то в армию, и, добравшись до этого города, пришел прямо в свой институт. И хотя в профессуре мало кто его помнил, героя Одера, вернувшегося с орденами и Золотой Звездой, тотчас же восстановили на последний курс, с которого он ушел на войну. Разумеется, многие знания он порастерял, но до начала занятий было целое лето. Мечетный засел за книги в институтской библиотеке. Потерянное наверстал и, будучи человеком упорным и способным, окончил весною курс не хуже других. Ему предложили остаться в аспирантуре. Лестно было институту иметь аспирантом Героя Совет-

ского Союза. Он понял причину такого неожиданного предложения, отказался и попросил направить его на строительство металлургического комбината, еще только начинавшего подниматься в нерубленой тайге, у безымянной станции, не имевшей еще своего наименования, а так и называвшейся «Остановка». Это была одна из первых больших послевоенных строек. Она особенно опекалась государством.

Как известно, на стройках в постоянном преодолении новых и новых трудностей люди растут необыкновенно быстро, а малодушные, что не выдерживают суровых условий, неустроенного быта, попытав свои силы, бегут. И получается как в золотодобыче: вода уносит песок и камешки, а остаются золотые крупицы. Зато выдержавший все испытания человек стоит десятерых новичков.

Мечетный прошел немалую фронтовую школу, был неглуп, работы не боялся. Он стал быстро расти вместе со своим поднимавшимся в тайге заводом.

В дни учебы в родном городе он ни разу не встретился с Наташей. Знал, однако, что, окончив институт, на работу по специальности она уже не пошла, что замужем, живет благополучно и что сын Мечетного, имеющий теперь другую фамилию, здоров и уже учится. Мечетный начисто вырвал их из своей жизни, не искал встреч и старался о прошлом не вспоминать. Постепенно в труде и заботах на новом заводе, который стал для него самым родным местом на земле, стал он забывать и Анюту, хотя безликий образ этой девушки изредка приходил к нему в снах. А сама Анюта если и вспоминалась, то тоже лишь как хороший, давно увиденный сон.

Встречались в его жизни и женщины, но ни одной из них он по-настоящему не увлекся, ни одну не полюбил и был вполне доволен своим положением одинокого холостяка, способного, преуспевающего ученого, погруженного в свои труды и производственные заботы.

И вдруг этот Указ о награждении геолога Лихобабы Анны Алексеевны. И снова, как это уже было однажды, в его жизни будто бы взорвалась старая, покрытая ржавчиной мина, пролежавшая в земле столько лет. Взорвалась. Оглушила. Потрясла. Разбудила воспоминания.

Анна Алексеевна Лихобаба! Геолог. А ведь Анюта, кажется, мечтала быть медиком... И все-таки вряд ли

может встретиться еще такое сочетание имени, отчества и редкостной фамилии...

Автобус нес Мечетного теперь по знакомым ему старым улицам. Но он не смотрел в окно. Он даже не думал ни о столице, которая постепенно открывалась за окнами, ни о неведомой ему Гагре, ни о теплом море, на котором он так мечтал отдохнуть. Даже о своей почти готовой докторской диссертации, которую он вез в чемодане, надеясь на отдыхе доработать, а может быть, и закончить, он тоже не думал. То и дело вынимал из кармана «Известия» с правительственным Указом и заметкой о героическом поступке геолога со странной фамилией, снова читал и опять начинал прикидывать.

«И все-таки она, наверное, она!» — думал. Думал, вспоминал, как бы перелистывая давние, пожелтевшие страницы своего бытия, и, как это бывает с целеустремленными людьми в минуты особых нравственных возмущений, вся жизнь его пронеслась в уме за то небольшое время, пока автобус вез его с Внуковского аэродрома до Московского аэровокзала на Ленинградском проспекте.

Погруженный в эти воспоминания и мысли, он как-то машинально вышел из машины. Вышел и остановился. Куда пойти? До отлета оставалось еще десять часов. Целый большой день. Чем его заполнить? Что посмотреть в Москве?

И вдруг пришла мысль: съездить в институт профессора Преображенского, он жив. Совсем недавно в газетах было широко отмечено его восьмидесятилетие. Был Указ о присвоении ему звания Героя Социалистического Труда. Мечетный сам посылал поздравления. Да, да, конечно же к нему! Старик, наверное, вспомнит, недаром же когда-то называл спасенный его глаз своим лучшим произведением. Как хорошо было бы посидеть в его «бомбоубежище», повспоминать!

Мечетный торопливо окликнул такси. Назвал институт.

— Знаете?

Таксист усмехнулся: ну кто ж, мол, не знает? Заехали на Центральный рынок. Мечетный купил букет роз. Жилой коммунальный запах, живший в кабине старой машины, был побежден вкрадчивым, но настойчивым ароматом цветов. Такси пронесло Мечетного по мосту над сверкающей на вешнем солнце Москвой-рекой. По

реке сновали бойкие катера; плыли солидные белые теплоходы, их палубы битком набиты народом, будто намазаны черной икрой; двигалась неповоротливая бокастая баржа, толкаемая маленьким коренастым буксиром. Наверное, они с Анютой и стояли у реки вот на этом самом месте, а потом шли по этой улице. И Мечетный снова пережил волнение, которое испытал, когда они с девушкой, прижавшись друг к другу, пережидали дождь в подворотне, накрытые одним плащом.

Проплыли мимо красивые массивные стены Донского монастыря, из-за которых виднелись сизые главы, уппиравшиеся своими облезшими крестами в московское небо. Почему-то вспомнился попик, объявивший Христа посланцем других, высокоразвитых, совершенных инопланетных цивилизаций, где «царит мир и в человецех благоволение». Но воспоминания о смешном этом попике сразу отсекла внезапно пришедшая мысль: а вдруг профессор что-то знает об Анюте, возможно, она заходила потом к нему или писала? А что? Все может быть. Ах, почему таксист едет так медленно!..

И вот такое знакомое место. Знакомое и незнакомое. Те же старые тополя обступили громоздкое здание клиники института. Но сама эта клиника неузнаваемо изменилась. Раньше она вырисовывалась среди листвы темной громадой старого кирпича. Корпус ее остался тот же. Но здание покрасили, белым выделили проемы окон, барельефы, карнизы. Все это придало старой больнице вид франтоватой, молодящейся старухи. Машина остановилась у знакомого подъезда, над которым теперь нависал современный козырек. Облупившуюся деревянную скамью, на которой когда-то Мечетный в первый раз попытался обнять Анюту, уютную старую скамью сменила другая — красивая, вероятно, удобная, но безликая.

Вступив в знакомое, можно сказать, родное здание, Мечетный не узнал его и изнутри. За большой из сплошного стекла дверью справа, за металлическим письменным столиком сидела девушка в накрахмаленном халате, и твердая, тоже крепко накрахмаленная косынка топорщилась у нее на голове, как труба.

— Простите, вы к кому? — вежливым, но каким-то, как показалось Мечетному, механическим голосом спросила она.

— К профессору Преображенскому. Он здесь?

— Да, здесь. Как ваша фамилия?

— Мечетный. Владимир Мечетный.

— Мечетный. Мечетный,— повторяла про себя накрахмаленная девица, шаря глазами по длинному списку, лежавшему под стеклом стола.— Мечетного здесь нет. Вы когда записывались?

— Я не записывался... Только что прилетел, я прямо с самолета. Пропустите, пожалуйста.

— К сожалению, не могу,— твердо произнесла девица.— Разве вы не знаете, к нам записываются задолго. У нас очередь.

— Но я издалека, с Урала.

— Ну и что же что с Урала? К нам и из-за границы записываются, из Франции, из ФРГ, из Англии. И вы могли бы записаться, заранее протелеграфировав. Все так делают. У нас правила.

Девица, «сидящая на пропусках», рассуждала резонно, говорила спокойно, убедительно и, может быть, именно поэтому показалась Мечетному накрахмаленной куклой. Он как-то сразу невзлюбил ее.

— Тогда соедините меня с академиком по телефону.

— Не могу. Это внутренний телефон. По нему могут говорить только сотрудники.

— Ну позвоните сами. Скажите: к нему Владимир Мечетный. Герой Советского Союза. Я тут у него лежал.

— Хоть вы и Герой, но порядок есть порядок. Его все обязаны соблюдать.

Мечетный не вытерпел. Не раздеваясь, не набросив даже халата, он, как был, в берете, плаще, отодвинул накрахмаленную девицу и прошел в дверь клиники. Дорогу в «бомбоубежище» он помнил.

Девица бежала за ним, шурша своими доспехами и возмущеннно выкрикивая:

— Это безобразие... вы нарушаете... я сейчас вызову коменданта... позвоню в милицию!..

Мечетный упрямо шагал по коридору, шагал наобум, ибо и изнутри клиника стала неузнаваемой: все блестело и сверкало при лампах дневного света, звук шагов заглушало пластмассовое покрытие полов. Все было перепланировано, по-новому размещались палаты. В этой обновленной и тоже будто накрахмаленной клинике Мечетный ничего не узнавал, и скорее инстинкт, чем память, привел его к двери, на которой висела голубая табличка «Научный руководитель, академик В. А. Преображенский».

Дверь была тоже незнакомая. Но Мечетный открыл ее, открыл и остановился удивленно. «Бомбоубежище» оказалось в этой перестроенной клинике как бы заповедным уголком. Тут ничего не изменилось. На прежних местах стояли и письменный стол на львиных лапах, и цветы на окнах, и домашняя горка, за стеклом которой все так же поблескивали какие-то инструменты. И запах был тот же — пахло кофе и хорошим табаком. И акварели на стенах. Только они как-то поблекли, пожелтели.

Хозяин кабинета сидел у маленького, накрытого скатеркой столика и, по-видимому, завтракал. Опередив Мечетного, накрахмаленная девица бросилась к нему.

— Виталий Аркадьевич, я не виновата... Я ему говорила про наши правила. Этот гражданин сам...

При этом неожиданном вторжении хозяин даже выронил рюмочку с недоеденным яйцом. На лице его появилось гневное выражение, гнев быстро сменился удивлением и, наконец, радостью.

— Ба-ба-ба, кто пришел-то?.. Герой Одера... Постойте, постойте, как же ваша фамилия? — пророкотал бас хозяина кабинета.

— Мечетный.

— Да-да, именно, именно Мечетный. Ромео, да?.. Ромео без Джульетты?

Старик выскочил из-за стола, вырвав из-за воротничка заткнутую туда салфетку, отодвинул тарелку.

— Не шумите, Галя. Бесполезное дело. Капитан Мечетный нас с вами все равно не послушает. Не такой человек. Он первым через Одер на немецкую землю перепрыгнул... А вы ступайте, ступайте на свой пост...

— Но, Виталий Аркадьевич, наши же правила...

— Усвойте: правила существуют для человека, а не человек для правил. Мы с капитаном никогда не жили по правилам. Ведь так? — И строго: — Ступайте.

И когда накрахмаленная девица, недоуменно пожав плечами, скрылась за дверью, старик обнял Мечетного.

— Ну, садитесь.— Он показал на одно из старых кресел, стоявших перед письменным столом, а сам сел в такое же напротив.— Ну как глаз?.. О, глаз в отличном состоянии. Так какой же недуг вас ко мне привел?

— Никаких недугов, Виталий Аркадьевич, у меня нет.— Мечетный положил на стол тяжелые розы.

— Ну, а что же вас загнало в мое «бомбоубежище»? Сюда нынче попасть не так-то просто. Ну, рассказывайте: кто вы, что вы, где вы?..

В странном этом кабинете, как казалось, жизнь законсервировалась. Да и хозяин кабинета на первый взгляд остался тем же. Все та же седая прядь выбивалась на лоб, теперь уж из-под черной академической шапочки, седые усы и бородка даже отдают в прозелень. И так как на его плоском носу теперь были очки, он еще больше напоминал Михаила Ивановича Калинина. Но когда Мечетный, подойдя, посмотрел на него почти в упор, он разглядел, что старик как бы усох: его руки с длинными «хирургическими» пальцами точно обтянуты компрессной клеенкой, синие вены на них вздулись, а лицо покрылось невидной издали сеткой мелких морщинок. Шея и веки были в морщинах глубоких, как у черепахи.

Да, время не прошло и мимо этого человека. Только вот глаза под седыми бровями не потеряли своей живости и голубизны.

— Ну, Мечетный, рассказывайте, что же вас ко мне все-таки привело? Чем, как говорится, обязан? Увы, без дела сейчас в гости никто не ходит.

Мечетный вынул из кармана уже изрядно потертый номер газеты «Известия» и, протянув собеседнику, указал на заметку.

Старик стал читать, и по мере чтения морщинки на его бескровном, как бы пергаментном лице постепенно разглаживались.

— Так, так-так... Ну что ж, молодец девка! Как говорят актеры, «из своего образа не вышла».

— Думаете, она?

— А вы не знаете?.. Стало быть, вы так ее тогда и не нашли?.. Теперь понимаю, что не воспоминания и не благодарность вас ко мне привели.

— Честно говоря, да.

Старик снова перечитал и Указ и заметку.

— Ну что ж, по-моему, она.

— Мне тоже так кажется.

— Ну что же, теперь Ромео мчится искать Джульетту?

— Нет. Лечу в Гагру, на курорт.

— Ах так! — разочарованно сказал старик, сразу будто бы охладев.— Счастливого отдыха.— И спросил: —

Так зачем же вы ко мне пожаловали?.. Кстати, вы женаты?

— Нет... То есть не совсем.

— Стало быть, все-таки не совсем. Что же вы теперь намерены делать после этого? — Старик похлопал себя по руке свернутой газетой.— Собираетесь искать эту самую Анну Алексеевну?

Мечетный смутился. До этого вопроса он как-то об этом всерьез и не думал, но ответил твердо, будто говорил о чем-то обдуманном и решенном:

— Буду искать.

— Выдающаяся была девица. Скольких лекарь Преображенский на своем веку людей перевидал! Перевидал и позабыл. А вот эту вашу Джульетту с широкой лычкой на погонах хорошо помню. Ведь как она за этот ваш глаз боролась!.. Что там греха таить, когда мы провели первое серьезное обследование, мне показалось, что он совсем безнадежен. Как и этому самому, львовскому коллеге, профессору, как его... Недоле. Взять вас на операцию значило бросить Недоле вызов. А тот ведь у себя до́ма светило. Можно ли бросать вызов, не веря в победу? Больше того, будучи почти уверенным в бесполезности операции. Все мои белые халаты говорили хором: не надо, откажитесь, ведь удач-то ваших никто не считает, а неудачу раздуют, ударят по вашему авторитету.

Вот так я этой девочке все откровенно и изложил, когда она однажды поздно вечером ворвалась ко мне в «бомбоубежище». Объясняю по-дружески, так и этак, не могу. Права не имею срамить Москву перед Львовом. А она никаких доводов не слушает: ну попробуйте, ну попытайтесь, это же такой человек, мне для него ничего не жалко! Сидит, слезы льет, и сквозь слезы глаза смотрят жестко, зло: неужели вы, знаменитый человек, трус? Трусите? Да? Трусите... Посмел бы мне кто такое сказать!

Мечетный напряженно слушал. Анюта, почти забытая им Анюта, возвращалась к нему из прошлого и как бы продолжала свою жизнь. Вспоминать ее, узнавать какие-то детали ее характера, ее жизни было необыкновенно радостно. Старик между тем достал из коробки папиросу с длинным мундштуком, постучал по крышке, покатал в пальцах табачную ее часть, а когда подносил к папиросе золотую зажигалку с какой-то выгравированной на ней дарственной надписью, рука его заметно дрожала.

— Так ведь и влепила мне: «Трус!» Тут взяла меня досада. Об этом мне теперь стыдно вспоминать. Решил я перейти в контратаку. Вот ты сказала: для него тебе ничего не жалко. Отвечает: да, не жалко. И зеленые глаза смотрят прямо в упор. Повторила: ничего. Дело идет о его жизни. И вот тут я и спросил: если, говорю, для этого потребуется пересадить ему твой живой глаз, отдашь? И она не задумываясь: берите, хоть сейчас берите, и поскорей. Признаюсь вам, капитан, мне при этом стыдно стало. Я почувствовал себя тем самым некрасовским губернатором из «Русских женщин», который мучил молодую княгиню Трубецкую, расписывая ужасы каторжного пути, помните там, у поэта: «...но, муча вас, я мучался и сам». И я, как тот губернатор, закричал: буду оперировать, завтра же буду оперировать. Вот так все тогда было. Не знали? Знайте...

Жизнь в институте шла своим чередом. Звонил телефон, но старик не поднимал трубку. Без стука залетел в кабинет какой-то важного вида человек в белом халате. Огрызнулся: не видите, я занят! А сам тем временем, повторяя весь, уже знакомый Мечетному, ритуал кофеварения, вскипятил в джезеле воду, засыпал кофе, поколдовал над этой своей покрытой чеканкой кастрюлечкой и наполнил две крошечные прозрачные чашечки.

— Я вот помню: возьмите мой глаз. Хоть сейчас! И лицо ее, каким оно было в ту минуту, помню. В глазах слезы, а смотрит сердито, в них и надежда, и требование, и злость... Черт его знает, шекспировские страсти!

— А какая она была... Анюта? Какое у нее лицо?

— То есть как это какое? Вы что же, забыли?

— Я ее не видел.

— Не видели... Не понимаю.

— То есть видел, конечно, там, на фронте, но не обращал внимания.

— Ах да, вы прозрели после ее исчезновения!

— Так какая же она?

— Да ничего особенного. Простое такое лицо, очень русское, круглое, осыпанное веснушками. Густо так осыпано, особенно по переносью. Волосы, кажется, рыжеватые, помню, короткие, под мальчишку. И никакая она была не Джульетта, скорее этакий твеновский Том Сойер в военной форме. Вам тогда на фронте это не бросалось в глаза, не помните?

— Не помню. Лица не помню.

— Постойте, Мечетный. Когда она исчезла, я попытался ее по памяти нарисовать. Может, наброски и сохранились. Только вот плохо получилось. Я же пейзажист.

По-стариковски кряхтя, не без труда присел возле одной из тумб своего громоздкого стола. Достал папку и, пошарив в ней, развернул перед Мечетным несколько набросков. Кто-то постучал.

— Занят! — свирепо отозвался старик.

Немолодой солидный человек в халате все же приоткрыл дверь.

— Виталий Аркадьевич, тут у меня...

— После, после,— рявкнул старик хриплым басом.— Минуты покоя не дадут... Как видите, Мечетный, ничего у меня не вышло. Несколько вариантов, и все разные.

Действительно, с кусков ватмана на Мечетного смотрели совсем разные девичьи лица. Общим на набросках был разве только вихор, вырвавшийся из-под белой медицинской шапочки.

— Ни на одном не похожа. Ускользнула... Не нашел я ее. А хотелось. Очень хотелось запечатлеть себе на память!.. А она вот, пожалуйте, не далась... Есть такие лица. Простое-то, дорогой мой капитан, всегда не просто, вам это в голову не приходило?

Мечетный все еще перебирал наброски. Перебирал с удивлением. Прежде, когда он пытался представить себе облик Анюты, она рисовалась ему красивой, тоненькой, нежной, какой и полагалось быть Джульетте. А из отдельных черт, запечатленных на листах бумаги, складывалось действительно нечто похожее на озорного мальчишку.

Старик снова подошел к книжному шкафу и, как уже было когда-то, отодвинув толстые тома, добыл граненый графинчик и стопочки-наперсточки.

— Давайте-ка мы, брат Мечетный, выпьем с вами за нашу Анюту, пожелаем ей здоровья и счастья, где бы она ни была.

Выпили. Мечетный забрал плащ и, осторожно пожимая худую холодную руку старика, был поражен, какой сильной она оказалась.

— Так будете ее искать, Мечетный?

— Буду. Вот приеду на курорт и начну розыски.

— Ну что же, найдете, передайте ей привет и обязательно сообщите, кто она, где она, адрес мне сообщите.

И когда Мечетный уже шел к двери, он услышал, как старик тихо сказал:

— А ведь я тоже ее любил, вашу Анюту. Да, вот так... Ну, идите, идите...

25

Накрахмаленная сестра, восседавшая у входа, проводила Мечетного любопытным взглядом. Взглянула на часы, должно быть, поразившись, сколько времени потратил академик на этакого грубияна, и пожала плечами. Он этого, впрочем, не заметил. В ушах его все еще звучала последняя, шепотом произнесенная стариком фраза. Любил! Это, конечно, отнюдь не значило, что и она любила его. И все же неужели правду говорила та женщина, которую, кажется, звали Калерией, когда намекала, что, мол, недаром старик поит Анюту по вечерам кофе в своем «бомбоубежище»? Недаром. А может быть, она заставила ученого пойти на операцию не только силою своего убеждения? Но он сердито оттолкнул это предположение: нет-нет, не может быть!..

Посмотрел на часы. До отлета было еще уйма времени. И чтобы обдумать все то новое, что он узнал об Анюте, Мечетный решил идти до аэровокзала пешком.

Москва, новая — знакомая и в то же время незнакомая Москва, открывалась перед ним. Она поражала шириной улиц, бетонными квадратами и параллелепипедами новых, неведомых ему домов, возникших за последнее десятилетие. Да и старые отремонтированные, точно бы помолодевшие, теснились возле этих кубов и параллелепипедов, как веселые, моложавые пенсионеры среди молодых рослых акселератов. Поражали Мечетного и подземные переходы, и щеголеватые милиционеры в фуражках с огромными напружиненными тульями, и густое, но организованное движение машин, и, увы, резкий запах бензиновой гари.

Даже древний Кремль как бы посвежел, приободрился. Пройдя мост, Мечетный сошел вниз в Александровский сад, к могиле Неизвестного солдата, которую он видел только в кино. У какой-то старушки купил букетик ландышей. Положил их у Вечного огня и долго стоял, смотря на его неторопливо трепещущее пламя, вспоминая своего замполита, старшего сержанта Митри-

ча и многих других солдат и офицеров своей роты, не вернувшихся с войны...

Настроение у него было приподнятое. В беседе с академиком он, не подумав, сказал, что будет разыскивать Анюту. Да, будет! И это, наверное, не так уж сложно. Действительно, райком заполярного городка конечно же должен знать и имя и адрес человека, совершившего такой незаурядный поступок. Поедет в Гагру. Напишет в райком запрос. Получит ответ, спишется с этой самой Анной Алексеевной Лихобабой. Одно только туманило его радостное настроение: последняя фраза Преображенского. Неужели?..

Но он отгонял эту мысль: нет-нет. Ведь если бы что-то подобное было, старик не вспоминал бы ее так, не пытался бы после ее исчезновения восстанавливать на бумаге ее облик, не хранил бы эти свои наброски. Ведь романы-поденки забываются на следующий день.

Вот так, обдумывая все детали разговора, Мечетный и шел по саду, дышавшему в его лицо зацветающей сиренью. Задумавшись, он как-то не обратил внимания на погромыхивание в небе и заметил надвинувшуюся грозу, лишь когда тяжелая, хмурая, лохматая туча наплыла на Кремль со стороны Москвы-реки и уже роняла на дорожки редкие, увесистые, теплые капли. Потом полыхнула молния и раздался такой раскат, будто рядом рванула сброшенная с самолета торпеда. Мечетный взглянул на небо. Туча была уже над ним. Солнце подсвечивало ее по краям, эти края золотились, и на фоне свинцовой хмари, сверкая крыльями, кружилась стая голубей.

Рванул ветер, взвихривая песок, остро жалящий лицо. Дождь хлынул такой, будто наверху опрокинули над землей огромную лейку. Мечетный растерянно огляделся, заметил невдалеке стрелку, указывающую на подземный переход, и бросился туда. Он изрядно промок, прежде чем достиг спуска в туннель. Но внутрь туннеля не пошел, встал с краю и стал наблюдать всю эту водяную круговерть. Дождь хлестал порывами, то ослабевал, то припускал, водяная пыль залетала в туннель, освежая лицо, мутные потоки неслись вдоль тротуара.

И вдруг с необычной яркостью возникла в памяти Мечетного картина такой же вот шумной весенней грозы, которая накрыла их с Анютой, заставив искать убежище в какой-то подворотне. Так же, точно залпы тяжелой артиллерии, гремели над головой громы, с тем же

веселым торопливым шумом барабанил по асфальту дождь, по тротуару неслись потоки, и водяная пыль, залетая в подворотню, так же вот освежала лицо и заносила бражный аромат влажного воздуха. Вспомнилось, как стояли они с Анютой, прикрывшись плащом, стояли прижавшись друг к другу. Он чувствовал ее дыхание, запах ее волос...

Ведь ничего, ничего не забыто, и захотелось Мечетному, неудержимо захотелось поскорее ее увидеть. Что письма? Почта нетороплива. Если даже направить письма авиасвязью в те далекие края, оно пробродит дней пять — восемь. Восемь туда, восемь обратно. В лучшем случае две с лишним недели уйдет только на то, чтобы установить ее адрес. А там снова письма. Пройдут недели, кончится отпуск, нагрянут весьма неотложные дела, и будет не до поисков...

А что, если сейчас отщипнуть от отпуска неделю и вылететь туда, на Крайний Север, за Полярный круг? Путевка... Да что такое путевка? Путевку, наверное, можно продлить. А билет сдать и сразу же купить другой, на заполярный самолет.

Когда гроза прошла, уронив последние крупные, как бы заключительные капли, и в промытом воздухе стало тихо, так тихо, что Мечетный вдруг расслышал и гудки автомобилей, и журчание вновь рожденных ручейков, он уже принял решение: немедленно вылетит туда, где живет и работает Анюта.

Теперь он уже торопился. У Исторического музея схватил такси и, рассеянно глядя по сторонам, думал о том, часты ли рейсы самолетов туда, в высокие широты. В какие дни вылетают? Есть ли на них билеты? Удастся ли ему этот билет добыть? Как все мальчишки его поколения, он в дни спасения челюскинцев, в дни исторических перелетов Чкалова и Громова через полюс на память знал карту Севера. Названия Амдерма, Ванкаурем, Тикси были для него знакомы. Он даже представлял себе, где в устье великой реки находится тот городок или город, вблизи которого геолог Анна Алексеевна Лихобаба спасала каких-то школьников. Далеко, очень далеко! Но ведь и сам он за несколько часов долетел до Москвы со своего Урала, жители которого встают на два часа раньше, чем москвичи.

Нет, в век авиации даже на карте огромной нашей страны не существует непреодолимых расстояний! А ког-

да Мечетный очутился в здании аэровокзала, лежавшего, как стеклянный кирпич, рядом с Ленинградским проспектом, и посмотрел на табло расписаний, все оказалось даже проще, чем он думал. Самолет вылетал в Заполярный круг завтра утром. Билет на юг у него приняли, только взыскали неустойку и какие-то сборы. Выписали новый на Север. Даже удалось как транзитному пассажиру да еще Герою Советского Союза получить номер в неплохой гостинице Аэрофлота, тоже напоминавшей стеклянный кирпич, но не лежащий боком, а поставленный на попа.

26

Автобус-экспресс доставил Мечетного в Шереметьево-II. Он прибыл вовремя, зарегистрировал билет. Вместе с толпой попутчиков девушка в форме Аэрофлота отвела его к самолету, отлетавшему в Арктику.

В Арктику! Одно это слово так много говорило ему — мальчишке тридцатых годов. Арктика — это бородатый Отто Юльевич Шмидт, это скромный героический Молоков, подтянутый Ляпидевский. Это кругленький Папанин со своей командой из первого ледовитого десанта на полюс. Все интересное, значительное, почти легендарное. Герой Одера, что там греха таить, теперь волновался перед неожиданным для него самого полетом в те неведомые ему, как когда-то писали в газетах, края белого безмолвия и неизученных просторов.

Но толпа, подошедшая вместе с ним к трапу авиалайнера, удивила и даже несколько разочаровала Мечетного: обычные, совсем не героические лица пассажиров, какие могли лететь и в Сибирь, и в Прибалтику, и на юг.

Но при ближайшем рассмотрении в этом обычном оказалось и необычное: группа дюжих, загорелых молодцов без шапок, но в мохнатых унтах и широченных куртках из чертовой кожи, что-то пела, окружив своего гитариста. В этой молодой толпе особенно выделялись два седых старика, одетых столь же небрежно. Еще один человек в такой же куртке и унтах, широкоплечий, с тяжелым загаром на круглом лице расхаживал возле самолета. Он был такой большой и грузный, что походил на матерого медведя среди медвежат.

У трапа стояла молодая женщина в легком цветастом платье. Она ухитрялась держать на руках ребенка, букет

красных тюльпанов и веник. Обычный березовый веник. Впрочем, веники, как заметил Мечетный, были у нескольких пассажиров. А там, где лежали рюкзаки, из одного из них торчал целый пук... «Веники, к чему им веники?» — подумал Мечетный. И еще подумал, что люди, несмотря на майскую влажную жару, были тепло одеты. А у него — берет, плащик да небольшой чемодан, в котором шорты, плавки да папки с его неоконченной диссертацией. Впрочем, женщина с ребенком была и вовсе без верхней одежды. А ведь летит туда же. А вот ребенок был погружен в пушистый меховой кокон: ребенок в мехах, а мать в легком маркизетовом платьице. Они представляли собой удивительный контраст.

Самолет стоял у самой кромки огромного аэродрома, невдалеке от веселого березового леска, деревья которого простирали ветки над крайними бетонными плитами. Промытый вчерашним ливнем лес выглядел ярко и красочно, будто был нарисован на рекламном плакате. Внизу сплошной стеной белели стволы берез, а сверху их накрывала курчавая, еще не загрубевшая на солнце листва. Там, в этом лесу, буйствовала весна, и когда ветер трогал макушки берез, оттуда, из этой молодой рощи, неслись ароматы распустившейся листвы, влажной травы, и ароматы эти побеждали даже аэродромные запахи керосина и смазочных масел.

Просто не верилось, что самолет, взмыв ввысь, за каких-нибудь пять часов перенесет пассажиров из этой вешней благодати в край снегов, льдов, в край холода и вечной мерзлоты. И сам город, куда летел Мечетный, представлялся ему толпою круглых яранг из тюленьих шкур. Что он, Мечетный, будет там делать в своем пижонском плаще и тонких шевровых ботинках.

Жалел ли он о том, что так вот сразу, увлеченный порывом, рожденным грохочущей весенней грозой, променял теплую душистую Гагру на ледяной Север? Он так мечтал об этом отпуске, о том, чтобы, хоть на месяц освободившись от захлестывавшей его деловой толкучки, обдумать последнюю, самую трудную, главу своей диссертации, на которую ему всегда не хватало времени... Нет, все-таки не жалел. Что сделано, то сделано! После беседы с Преображенским он уже верил, что геолог Анна Лихобаба — действительно его Анюта и что он обязательно должен найти и найдет ее...

Но какова она теперь? Столько лет прошло! Помнит ли она его вообще? А может быть, так же вот вычеркнула его из своего сердца, как он когда-то даже из воспоминаний вычеркнул Наташу? И Анюта, может быть, не вспоминает, начисто забыла его. Может, даже и не узнает: какой такой Мечетный, откуда? Ах да, тот... Может быть, она замужем. Нет-нет, выйдя замуж, она обязательно сменила бы фамилию, которая всегда тяготила ее. Да и вряд ли замужняя, семейная женщина осталась бы геологом-поисковиком.

Где-то в дальней своей мысли Мечетный рассчитывал, что, может быть, вместе вернутся они из Арктики, что привезет ее к себе в свой молодой город, на завод, выросший у него на глазах, ставший для него самым родным местом на земле, родным настолько, что он уже не мыслил себя вне его... Как знать, может, летит он сейчас в Арктику за своей судьбой...

Металлический голос радиодиктора то и дело объявлял посадку на различные рейсы — на Лондон и Киев, на Токио и Кострому, на Хабаровск, на Вену. А рейса, на котором летел Мечетный, все не объявляли. Ребята в черных бушлатах, перепев свои песни, сидели на рюкзаках и подремывали. Человек, похожий на матерого медведя, перестав ходить, достал книжку и, пристроившись на ступеньках трапа, читал и даже что-то подчеркивал, женщина в пестром маркизетовом платьице уселась на принесенный ей стул, извлекла своего вспотевшего младенца из мехового кокона и кормила его грудью. Какой-то пассажир брюзжал:

— Известное дело, где начинается Аэрофлот, там кончается порядок...

Мечетный переступал с ноги на ногу. Скорее бы уже! Соблазн махнуть рукой на неожиданную полярную экспедицию был велик и рос с каждой минутой ожидания. Ну куда, куда он летит так налегке? Вот как все они одеты, полярники. Но смотрел на кормящую молодую мать, и становилось стыдно: трусишь, ищешь повод дать задний ход? И вспомнился рассказ академика о том, как Анюта с презрением бросила тому в лицо: трусите, да?.. Трусите?..

Наконец в дверях машины показалась дородная стюардесса. Густые русые волосы выбивались у нее из-под форменной пилотки и падали на плечи. Глубоким звучным голосом, как-то по-домашнему сказала она:

— Заждались? Ничего-ничего, в пути наверстаем, прибудем вовремя. Ветер нам в спину.

Загорелые ребята в черных бушлатах сразу оживились.

— Здравствуйте, Тамарочка.

— Мы тут без вас истосковались.

— Тамара с нами, значит, будет хороший рейс.

Стюардесса улыбалась широкой, добродушной улыбкой, показывая два ряда безукоризненно белых крупных зубов.

Она бережно взяла у молодой мамаши кокон с младенцем и как-то очень ловко понесла его по трапу.

— А он у вас за месяц вырос. Честное слово!..

Стало очевидным, что эта Тамара была в Арктике своим человеком: все знали ее и она знала многих.

27

В самолете оказалось много свободных мест. Тамара опустила со стены сетчатую люлечку и уложила в нее мохнатый кокон. Мамаша смогла занять все три кресла. Тамара принесла подушку, накрыла ее пледом, и та сразу заснула.

Загорелые ребята уселись все вместе в хвостовой части салона, поснимали свои тяжелые бушлаты и стали вдруг разными и не похожими друг на друга. Рядом с Мечетным оказался широкоплечий, немолодой уже человек, напоминавший матерого медведя. Когда снял свой бушлат, на груди его оказалась Звезда Героя Советского Союза.

— Трофимов Александр Федорович,— отрекомендовался он и крепко тряхнул руку Мечетного своей большой рукой.

Мечетный назвал себя.

Трофимов показал на его Звезду.

— За что?

— За Одер. А у вас?

— За Арктику.

— Вы, собственно, кто же будете-то?

— Директор института, доктор географических наук. А вы?

— Инженер, кандидат наук технических. Александр Федорович, вы, по-видимому, тут человек свой. Скажите, бога ради, почему многие везут веники?

Вон эта блондинка с ребенком и тюльпаны и веник. И у других.

— А-а, дорогой Владимир Онуфриевич. Сразу видно, что вы высоких широт не нюхали. Веник там лучший подарок. Новая книга и веник. Там ни деревца, ни лесочка, кустика — и того не увидите, что может быть для полярника слаще, чем попариться вволю в бане с березовым, а лучше — с дубовым веничком. Вот вы-то, скажите, как это вы, дорогой мой, в Арктику направились в такой экипировке? Арктика — не Сочи и не Гагра.

— А я ведь как раз и собирался в Гагру. Но судьба — пришлось изменить маршрут.

— Что ж это так?

Несмотря на то что сосед занимал почти полтора кресла, голос у него был высокий, мелодичный, и было в незнакомом этом человеке что-то такое, что сразу располагало к нему. И Мечетный, суровый, немногословный человек, не терпевший людей, которые на стандартный вопрос «как поживаете?» принимаются за подробный рассказ о своих личных делах, вдруг сам пустился рассказывать соседу об Анюте, о своей неудачной любви и о том, почему он так неожиданно изменил маршрут поездки.

Новый знакомый обладал ценнейшим и редчайшим человеческим даром: он умел слушать. Слушал, не задавая вопросов, не перебивая, не торопя, не бросая поощряющих реплик. Он только кивал своей большой круглой и тоже будто медвежьей головой. Лишь потом, когда Мечетный закончил свое обстоятельное повествование и замолчал, он сказал приятным тенорком:

— Да, Владимир Онуфриевич, чую, ваш барометр показывает бурю.— И, подумав, добавил: — Сложные обстоятельства.

— Вылетел сгоряча, а теперь уж и не знаю, как я в этом обмундировании у вас по льдам ходить буду.

— Об этом меньше всего думайте. Полярники — народ дружный, на морозе голого не оставят. Не в этом сложность, Владимир Онуфриевич,— сложность, я бы сказал, в другом — в плане психологическом. Ведь сколько времени-то прошло! Целое поколение поднялось. У нас ведь как порою бывает — уедет человек на зимовку, а вернется — жена от него отвыкла, сам от нее отвык. За один год. А тут столько лет!.. Ну да чего там. Прилетите, увидите.

— Секретарь горкома у вас какой? Поможет?

— Мой секретарь горкома в Ленинграде. Я в Арктику на гастроли. Но тамошнего знаю. Душевный, толковый, только в силу того, что он душевный и толковый, вы его, наверное, в городе-то и не застанете. Наверняка в тундре. Май, оленеводы стада перегоняют. Страдная пора: как у нас в России в августе. На горкоме может висеть замок, все уехали на перегоны оленей... Ну ничего, Арктика не без добрых людей, помогут.

А потом, когда Тамара разносила по самолету обед, в котором конечно же была неистребимая и вездесущая курица, неизменно появляющаяся к обеду, независимо от того, летите ли вы в Кострому или в Нью-Йорк, сосед извлек из заднего кармана фляжку, отвинтил пробку и, выплеснув из стаканчиков боржоми, наполнил их коньяком.

— Ох, сосед, и царапнули вы мне сердце своей историей! Давайте-ка, Владимир Онуфриевич, за вашу удачу. А?

Выпили, повторили. Теперь, когда плотину как бы прорвало, Мечетному не терпелось говорить об Анюте, благо полярник умел так хорошо слушать.

— А как вы полагаете, она... свободна?

— Да как вам сказать... Вы-то сами не женаты?

— И да и нет.

— Выходит, семьи нет?

— Выходит, нет. Не знаю почему, не получилось у меня с семьей. Была когда-то, но это особая история. Военная. А после войны с семьей не повезло. Характер, что ли, стал скверный. Пытался, но все не то...

— Любви настоящей не чувствуете. Поэтому. Любовь-то вы свою на нее, на Анюту эту, всю израсходовали. Есть ведь однолюбы. Знавал я одного...

Моторы самолета источали мягкий и не очень громкий свист. Молодые загорелые ребята, отправлявшиеся в Арктику на зимовку, снова взялись за гитару. И вместе с ними пели два седых старика, на которых Мечетный обратил внимание в аэропорту. Со всеми в самолете — и с этими певунами, и с соседом Мечетного, и с этими стариками — стюардесса Тамара была знакома и вела себя с ними, как хозяйка с гостями. Старики тоже чувствовали себя в самолете как дома. Заговаривали, заходили даже в пилотскую кабину.

— Кто такие? — поинтересовался Мечетный.

— О, это наши знаменитые старожилы! Этот вот, что поплотнее, полярный летчик. Может, слышали? — И он назвал весьма известную еще по довоенным газетам фамилию.— А длинный бородач, это тоже наша знаменитость. Один из первых зимовщиков.

— А куда летят? Ведь, наверное, оба давно уже на пенсии?

— На пенсии. Да еще на какой. Оба — генеральские получают, да вот не могут дома сидеть, болеют Арктикой. А эта болезнь неизлечимая, до гробовой доски.

Мечетный понимал, что несет его сейчас судьба в какой-то особый, неизвестный ему мир. И все, что произошло за последние сутки — и эта газета с Указом, которую он везет с собой, и встреча с академиком, и веселая гроза над Москвой, и то, что он, Владимир Мечетный, усталый, стосковавшийся по отпуску и по своей многострадальной диссертации человек, вместо теплых черноморских берегов летит в неведомую ему страну льдов,— все это было будто сном, странным, тревожным сном, от которого все же не хотелось просыпаться.

— Извините, я вас потревожу.— Трофимов встал и направился по проходу к поющим. Его встретили веселым шумом. Еще громче, перебивая свист моторов, зазвучала гитара, и приятный тенорок полярника заметно вплелся в разноголосый хор.

28

А холодные эти края, в которые авиалайнер через несколько часов занес Мечетного, продолжали удивлять.

Во время короткой стоянки на аэродроме большого заполярного города в самолет ввалилась компания громкоголосых парней. В салоне стало тесно. Запахло крепким мужским потом, нестиранной одеждой и сивушным духом. Новые пассажиры были странно, почти одинаково одеты: в меховых куртках, в шапках с длинными, опущенными вниз наушниками, в штанах черного бархата, заправленных в сапоги, голенища которых были собборены гармошкой. Один под мышкой прижимал транзисторный приемник, исторгавший во всю свою электронную мощь какой-то концерт.

Вновь прибывшие расселись тоже кучно и, громко переговариваясь, наполнили чинный салон прекрасного авиалайнера хмельным бестолковым шумом.

— А это что за птицы? — спросил Мечетный у соседа, вернувшегося на свое место.

— Бичи,— усмехнулся тот.— Не слышали такого слова?.. Бичи за длинным рублем летят.

— Бичи? Что это такое?

— Так их тут зовут. Портовое словцо. Вероятно, происходит от английского бич — пляж,— пояснил сосед.— Перезимовали в благоустроенном городе, капиталы свои порастрясли, и вот весной к ледоходу летят в Арктику. Там ведь с началом навигации рабочие руки дороже золота. Ребята дюжие, большие деньги зашибают... Как птицы. Осенью на юг, весной на север.

— И всерьез работают?

— А как же. Сначала всю водку, какая есть, выпьют, потом одеколон, потом лекарства, что на спирту, а когда и это кончится да карманы опустеют, еще как работать-то примутся.

А между тем те, кого Трофимов назвал «бичами», расстегнули свои синие аэрофлотские сумки, и бутылки пошли по кругу. Поднявшийся шум совсем заглушил тихий свист моторов, взметнулась разудалая песня, и один из парней вдруг пошел вприсядку в проходе между кресел. В сетчатой своей люлечке проснулся и запищал младенец. Молодая мать, прижав его к себе, со страхом поглядывала на разгулявшуюся компанию. Мечетный вскочил было, чтобы прекратить хмельное безобразие, но многоопытный сосед остановил его:

— Не надо, не вмешивайтесь. Ничего хорошего не выйдет, Тамара их сейчас без вас успокоит.

И действительно, из пилотской кабины вышла статная белокурая красавица. Решительным шагом подошла она к веселящейся компании, встретившей ее, как старую знакомую.

— Тамара.. Все летаем, на приданое зарабатываем? — послышалось со всех сторон.

— Прекратить! — скомандовала она своим густым контральто.

Как изваяние, стояла опа в проходе. И произошло невероятное: компания вдруг стихла.

— Тамарочка, детка, зачем так строго? Мы же хорошие, мы пассажиры Аэрофлота. Нас любить и холить надо,— пропищал плясун, протягивая к ней руки.

— Сядь! — Стюардесса неуловимым движением своих больших рук бросила его в кресло.— Сядь и сиди. Слы-

шишь?.. И вы, чтобы сидеть у меня тихо, а то всех выброшу в следующем аэропорту.

Должно быть, угроза была реальной. Новые пассажиры стихли и даже попытались завести с девушкой разговор.

— Как там, на реке?.. Не рано мы поднялись? Работа есть?

Стюардесса присела на ручку кресла и спокойным, доброжелательным голосом поддержала деловой разговор.

— Видели, что такое Тамара? — не без гордости, даже будто хвастая, сказал Трофимов.— Ее весь Север знает. Спортсменка. Какой-то там рекорд держит. А между прочим, что особенно удивительно, но и важно, знает приемы самбо.

А Мечетный думал: да, в суровом этом краю Тамарам только и жить. А каково-то тут маленькой Анюте с ее детским голоском? Что же это занесло ее сюда, где полгода день, полгода ночь? Как она может жить и работать среди таких вот «бичей»?

Он смотрел в окно: синь, синь, синь до горизонта, до самого того места, где снежные пустыни почти незримо сливались с таким же небом. Ни дорог, ни домов, ни деревьев... Какие обстоятельства заставили Анюту ехать сюда, в этот холодный край, кажущийся сверху мертвым?

И еще думал Мечетный, поглядывая на своего соседа, который мирно спал и даже прихрапывал, сложив в трубочку свои толстые губы. Думал, как же это он, Мечетный, никогда не пускавший постороннего в свою душу, Мечетный, считавший себя гордым, привыкшим в одиночку переживать свои радости и горести, так вот, вдруг, раскрылся перед этим полярником, ввел его в курс своих сердечных дел? Что же такое с ним, Мечетным, творится? Неужели стал меняться характер? Почему? К добру ли это?

Он никогда как-то не задумывался над тем, почему, собственно, живет бобылем? Почему так яростно дорожит мужской свободой? Имеет благоустроенную квартиру, но не имеет гнезда. Почему не женился, хотя теперешнего его заработка хватило бы и на большую семью? Почему даже не привязался ни к одной из женщин, с которыми сводил случай? А ведь не одна была на его пути. Разной внешности, разных характеров. Они

ненадолго входили в его жизнь, так же легко и выходили, не оставив следа. Почему?

И вот теперь эта Серафима. Умна. Заботлива. Даже слишком заботлива и недурна собой... Живут на разных квартирах, ведут разное хозяйство. Совсем ведь недавно, вчера, думалось: вот и хорошо. Не примелькаешься, не надоешь... У нее определенные способности к точным наукам. В его лаборатории она не последний человек. Мечетный помогает ей работать над кандидатской. А она помогает ему при случае проводить сложные расчеты. Полное согласие. О чем еще мечтать? Чем не пара? Лабораторная общественность их давно уже поженила и даже объясняет их жизнь врозь нежеланием терять одну из квартир. Лабораторный вахтер иногда подзывает его к телефону.

— Владимир Онуфриевич, вас супруга требует...

Да и сама Серафима. Сколько уж раз заводила разговор о том, что не пора ли им съехаться, хотя бы для удобства совместной работы. Но он резко встречал эти ее попытки. Он даже боялся, что их странный холодный роман, который он для себя научно определял как «симбиоз взаимополезных существ», станет браком, а Серафима превратится в жену. К чему нарушать равновесие их отношений, которое казалось ему устойчивым и вполне его удовлетворяло?

Так все-таки почему же, проживший уже половину жизни, он до сих пор не устроил эту жизнь, как все люди? Он никогда не горевал об этом. И в первый раз всерьез задумался лишь после того, как этот «полярный медведь» дал на это, должно быть, единственно правильный ответ: любить по-настоящему человеку дано один раз. Да-да, наверное, так и есть. Тут, в самолете, несущем его над далеким северным краем, он понял: Анюта, все ушло в Анюту! В последние годы он в сутолоке жизни и дел своих ее даже и не вспоминал. Но, должно быть, подсознательно мерил всех женщин Анютиной меркой... Эх, только бы ее отыскать, увезти из этого пустого, холодного края!.. Вот тогда он, может быть, и заживет, как все люди.

С этой мыслью Мечетный уснул, а во сне он увидел Анюту в пушистой меховой парке, в унтах. Она шла по снегу ему навстречу, вытянув руки. Он знал, это Анюта, он различал даже кожаную аппликацию и вышивки по подолу парки, но лица не видел. Вместо лица в капю-

шоне парки вырисовывалось белое пятно. И все-таки это была Анюта, он это знал, и она шла ему навстречу.

Когда самолет, погасив скорость, коснулся колесами мерзлой земли и, подрагивая крыльями, побежал по не очень ровной посадочной площадке, Мечетный проснулся с ощущением большой радости. Ну да, скоро, может быть, сегодня, или завтра, или послезавтра он увидит Анюту уже не во сне!

В этом краю, куда авиалайнер доставил Мечетного за пять с половиной часов, было, должно быть, все необычно. Необычное начиналось уже на трапе. В белесом небе невысоко стояло бледное, будто пригвожденное к этому небу малокровное солнце. Кругом бело. Ничто не парушает и не разнообразит этой девственной белизны, разве что посадочная полоса, выутюженная бульдозерами и разъезженная колесами отлетавших и приземлявшихся машин.

В дверях у трапа возвышалась, именно возвышалась Тамара. В своем складном синем мундире, хорошо обрисовывавшем ее фигуру, в форменной пилотке, надетой набок и едва державшейся на кипе волос, в белых перчатках, она мило улыбалась положенной по правилам Аэрофлота улыбкой, провожая пассажиров. Когда мимо нее очередью проходили протрезвевшие и притихшие «бичи», она и им отвесила такую же точно улыбку, и парень с транзистором, которого она столь энергично усадила в кресло, с опаской прошел мимо нее и уже снизу, с земли, крикнул:

— Летайте самолетами Аэрофлота — быстро, комфортабельно и удобно! — и, подмигнув, добавил уже издали: — Благодарю за внимание.

И встречающие, толпой подошедшие прямо к трапу, были необыкновенные. Молодую мамашу в маркизетовом платье с ребенком, погруженным в меховой кокон, встретил офицер. Тут же у трапа он набросил ей на плечи пушистую меховую шубку, надел ей на голову шапку и, получив от нее в подарок березовый веник и несколько тюльпанов, еще сохраняющих московскую свежесть, растроганно и благодарно поцеловал ее.

Парни в черных бушлатах из чертовой кожи прямо-таки повысыпали из самолета и, минуя трап, спрыгивали на землю с ловкостью обезьян. Соседа Мечетного, который был, по-видимому, в этих краях крупной фигурой, встретило несколько человек.

Они обнимали его, целовали со щеки на щеку, трясли ему руку так, будто хотели ее оторвать.

Еще в самолете Трофимов достал из рюкзака унты, шапку с длинными ушами и сразу стал похож на всех тех, кто его встречал. Он тут же вручил всем по венику, и один из встречавших, прижав к сердцу веник, растроганно проговорил:

— Не забыл нас, Александр Федорович: обычаев наших не забыл. А я тут как раз финскую сауну соорудил. Таких саун и у вас, в Ленинграде, нет. Такой температуркой угощу, сразу кило-два оставишь. Всласть попотеем вместе.

— Тянет она-то, тянет, Арктика,— сипел немолодой человек с костистым, будто состоящим из углов лицом, у которого на голове была старая морская фуражка с большим крабом. Все называли его капитаном...

Мечетный в своем щегольском плащике и берете одиноко и растерянно стоял у трапа. Военный вездеход увез молодую мамашу с младенцем. На грузовой полуторке уехали полярники. Кого-то умчала оленья упряжка, а Мечетный, о котором все позабыли, топтался с чемоданчиком в руке и, чтобы согреть уже замерзающие ноги, притоптывал в своих тонких туфлях, одинокий и странный среди этих загорелых тяжелым арктическим загаром людей, знавших и понимавших друг друга с полуслова, связанных делами или судьбой, он чувствовал себя белой вороной и не знал, что ему делать.

Но когда были произнесены все приветственные слова, закончился обмен поцелуями и звучными шлепками, Трофимов рекомендовал его встретившей компании:

— Мечетный, Владимир Онуфриевич Мечетный, герой Одера. В Арктике, как видите, салага. Прибыл с весьма деликатной миссией. Хороший человек, прошу любить и жаловать.

Крепко, очень крепко умели жать руку эти арктические люди. Последним подошел к нему костистый человек в морской фуражке с крабом, которого все называли капитаном, и надсадно просипел:

— Садитесь со мной, довезу.

— Мне бы, знаете ли, куда-нибудь в гостиницу или какое-то общежитие, что у вас тут есть для приезжих?

— Довезу, куда надо,— сипел капитан и протянул Мечетному шапку и меховую куртку.— Оденьтесь. Арктика — старуха серьезная, шуток не любит.

— Но у вас же у самого?..

— Я не новичок, я с Арктикой на «ты», я здешний абориген,— сипел капитан.

— Абориген, абориген,— смеялся Трофимов, с трудом втиснувшийся в тот же вездеход.— У этого аборигенца судьба такая, какую и Джеку Лондону не доводилось описывать.

— Куда? — спросил шофер, молодой парень со смуглым плоским лицом и узкими раскосыми глазами.

— К Цишевскому, Ваня, к Цишевскому.

— Мне бы в гостиницу... Если, конечно, по пути,— деликатно попросил Мечетный.

— К Цишевскому! — даже не поглядев на него, повторил свое приказание капитан.

Они с Трофимовым оживленно разговаривали о каких-то непонятных Мечетному вещах, о ледовой обстановке, о ледоломе, который вот-вот может начаться на основных руслах дельты. Обсуждали весенние прогнозы погоды. Мечетный в разговоре участия не принимал. Он наклонился к слюдяному окошку машины и смотрел на странный, непривычный пейзаж. Вездеход шел на большой скорости по прочной снежной дороге, едва различимой на целине. Обогнали тех, кого Трофимов назвал «бичи». Они цепочкой тянулись по этой едва видимой тропе. Впереди шел парень с транзистором под мышкой. Приемник оглушительно ревел, возмущая снежную тишину Арктики.

— Раньше-то с гармошкой ходили, а теперь вон — электроника! — надсадно прохрипел капитан и скомандовал шоферу: — Ваня, притормози! — Высунувшись, он крикнул ребятам: — Давайте прямо в порт, к Щербакову.

— А какие деньги платить будешь, начальник?

— Хорошие деньги. Советский рубль.

— Сирот не обидите?

— Что же вы, меня не знаете?

— Знаем, знаем... А как у вас насчет пожевать?

— С голоду не помрете.

— А выпить?

— До начала навигации хватит... Трогай, Ваня! — Капитан усмехнулся: — Слетаются гуси-лебеди... Работать умеют, а вот настоящего пролетариата из них никак не сделаю, сплошные пережитки.

Поселок, который Мечетный представлял себе как

скопление яранг, показался настоящим, хотя и своеобразным городком.

Двухэтажные бревенчатые дома стояли как бы на цыпочках, приподнятые над землей. «Вечная мерзлота»,— догадался Мечетный. На снежной равнине тренировалась футбольная команда, обычно тренировалась, как, скажем, в Москве или в Киеве. Но футболки и трусы игроков были надеты поверх лыжных костюмов, а вратарь топтался у ворот в мягких собачьих унтах. Из большого и тоже приподнятого над землей на сваях здания выплеснула на улицу детвора. Мальчишки, как все мальчишки на земле, шумели, толкались, радуясь окончанию школьного дня. На большинстве были шубки, раскрасневшиеся от мороза лица выглядывали из меховых пушистых капюшонов. На перекрестке стоял милиционер, у которого поверх мундира была наброшена доха.

— К Цишевскому, Ваня, не забыл? — напомнил капитан, отрываясь от спора о ледовой обстановке этой весны.

— Александр Федорович, мне бы лучше прямо в райком,— попросил Мечетный, еще в Москве решивший начать поиски с районного комитета партии.

— А сейчас там только разве дежурный. Все в тундре. Весна. Оленей перегоняют. Первый еще третьего дня уехал «на оленей»...

— Но мне надо устроиться с ночлегом.

— На ночлег я вас сейчас и отвезу. Хороший ночлег. Можно сказать, московский. И машину завтра дам. До Рыбного тут не очень далеко. Вон Ваня вас и отвезет. Не бросим, не бросим! В высоких широтах людей бросать не принято.

Должно быть, Трофимов уже успел рассказать капитану о цели путешествия Мечетного. Во всяком случае, этот загорелый сиплоголосый моряк явно проникся к нему симпатией и интересом.

Заполярный городок напоминал Мечетному молодые городки, рождавшиеся в последние годы во множестве в его родных краях. Да и город, где он теперь жил, город с высокими домами, троллейбусом, торговым центром и всякими учреждениями, приличествующими каждому новому советскому поселению, пять лет назад был таким же, как этот,— стандартные рубленые двухэтажные дома, улицы, едва намеченные строем этих домов, и конечно же огромная пустынная площадь, которую обсту-

пали такие же деревянные здания размером побольше, райком, райисполком, универмаг, книжный магазин, клуб, школа. Но в отличие от своих уральских сверстников, прочно стоявших на земле, заполярный городок этот был весь как бы на ходулях, и все коммунальные коммуникации — водопровод, канализация, газ — тянулись над землей на деревянных стойках, окутанные войлочными кожухами.

Машина остановилась около одного из таких стандартных домов.

— А Цишевский когда отбыл? — спросил Трофимов, мягко вываливаясь из машины и разминаясь с дороги.

— Недели две назад,— просипел капитан, поправляя на голове свою морскую фуражку.

— С семьей?

— Ну, конечно, с женой и детишками... У него полярный двухмесячный отпуск.

— И куда же?

— Да куда-то на юг, на Кавказ — теплой водичкой кости отпаривать.

— А то, что мы к нему без спросу, ничего?

— У нас, Александр Федорович, порядок прежний.

Вошли в подъезд, поднялись по лестнице. Капитан приподнялся на носки, откуда-то сверху, из щели в бревнах, извлек ключ и отпер дверь.

— Ну, как говорится, милости прошу от имени Цишевского.

Они оказались в современной и немаленькой квартире, обставленной новой мебелью. На столе под торшером лежала записка: «В холодильнике кое-что есть, не стесняйтесь. Радиолой прошу не баловаться».

— Ну вот мы и дома,— сказал Трофимов, стаскивая в прихожей свои полярные доспехи: бушлат, шапку и унты.— Здорово замерзли? Ничего, сейчас согреемся.

Он вышел, и сразу же электрическая печка, стоявшая в комнате, которая, вероятно, служила гостиной, стала интенсивно источать тепло.

— Как же это без хозяев... Вроде бы не полагается.— Мечетный все еще нерешительно топтался в прихожей.

— Вы где? В Арктике. Тут свои законы. Читали у Джека Лондона, как всякие там золотишники останавливались в попутных хижинах, где для них всегда были припасены дрова. Дров-то, видно, Цишевский не запас.

— Электричество электричеством, а за дровами сходить придется. Это мы сейчас и сделаем! — Но в дверях Трофимов столкнулся с маленькой женщиной в пестром байковом халатике.

— Александр Федорович, вы? — радостно воскликнула она.— А я слышу, у Цишевских ходят. Думаю, кто бы это такой пожаловал. Они уехали...

— Знаю, знаю, Зоенька, знаю. Мне в Ленинграде звонили, приказали вам кланяться... А это вот Владимир Онуфриевич Мечетный, прилетел к нам судьбу искать...

— Вам тут ничего не нужно?

— Нет, нет, спасибо, не беспокойтесь. Здесь все на ходу. Закуска есть, а штопор и все, что к нему положено, с собой возим.

— Только если дрова сожжете, чур опять наколете.

— Непременно, а как же? Законы Арктики не забыты.

Маленькая женщина исчезла за дверью.

— Кто такая? — спросил Мечетный. Голос этой женщины своими инфантильными интонациями напомнил ему Анютин.

— Соседка. Жена механика с электростанции. Учительница.

Трофимов принес несколько охапок дров, ловко с одной спички затопил заледеневшую печь, принес из магазина всякой снеди. Полированный стол был тщательно застелен газетами. Квартира без хозяев, стол, накрытый газетами, поллитровка, извлеченная из рюкзака и тут же вспотевшая на столе,— все это напомнило Мечетному безыскусные гостевания в чужих квартирах, оставленных хозяевами во фронтовой полосе, и мысли его снова вернулись к Анюте. Она была где-то здесь, недалеко, рядом. От нее отделяли всего несколько часов езды. Хотелось, очень хотелось говорить об Анюте, порасспросить о ее житье-бытье, но полярники были увлечены своими делами, своими новостями, своими заботами, и просто неудобно было их перебивать.

После того, как бутылка опустела, капитан, который, как оказалось, вовсе и не был капитаном, а руководил большим заполярным портом, прервав разговор, сказал сам:

— Слышали, слышали мы об этой вашей симпатии. В газетах о ней писали. Действительно, лихая баба: школьников из ледяной полыньи вытащила.

— Вы ее знаете? — заволновался Мечетный, бросая на моряка благодарный взгляд.

— Знать не знаю, но наслышан... Они, геологи, тут уже второй сезон копаются и что-то такое, неназываемое, но весьма полезное нашли.

— А что в газете писали?

— Да уж и не помню подробностей, признаюсь, читал рассеянно. В эти дни у меня горячка на пристанях была, в самый ледостав это случилось. Уж потерпите как-нибудь, а завтра утром Ваня вас в Рыбачий доставит. Все и узнаете.

Трофимов зевнул, потянулся так, что затрещали кости, пошуровал в печке угли, закрыл трубу и, извинившись, направился в другую комнату.

— Пора и на покой, глухая ночь на дворе,— сказал он, открывая дверь, хотя в окно все так же светило белесое малокровное солнце. Только светило теперь в окно с другой стороны комнаты. Через минуту из спальни донесся богатырский храп. А моряк задавал вопросы, поощряя Мечетного к разговору.

— Не надоел я вам? — спросил Мечетный.

— Нет-нет, что вы! Так вы и не знаете, какова собой-то была эта ваша Анюта? Как же это все так?

— Так я ее видел только на фронте, но, признаться, не обращал на нее внимания, вот и не запомнил.

— Увидите, может, и не узнаете?

— Все может быть, все может быть!

— Да, ситуация... Я бы и сам с вами поехал. Очень захотелось мне ее повидать, да нельзя отлучаться, лед уже поголубел, вот-вот тронется. Работы невпроворот.

— Давно вы здесь?

— Давненько. После войны. Воевал на Севере. С флота сюда и пришел. Здесь он теперь, мой дом.

— И на Большую землю, как здесь у вас говорят, не ездите?

— Не к кому ездить.

— Вы женаты?

— Да как вам сказать...

И, отвечая на откровенность откровенностью, сиплоголосый этот человек рассказал Мечетному свою историю. Демобилизовавшись, вернулся в Мурманск к жене, ютившейся в довоенной маленькой комнатке. Завербовался в Арктику подкопить на домашнюю обстановку, на покупку кооперативной квартиры. Поднакопил, квартиру

купил и обставил. Казалось бы, что еще? Но вдруг заболел болезнью, считавшейся неизлечимой. Почти лишился голоса. Врачи только вздыхали, давали уклончивые ответы, предписывали строгий режим, покой. А тут весна. Начиналась полярная навигация, пора, когда истинных полярников неудержимо тянет в высокие широты. Не стерпел. Плюнул на предписание врачей и уехал вот в этот самый город. И как это ни странно, к удивлению медиков, то ли полярный пронзительный морозный воздух, то ли нелегкое существование не вылечили, конечно, а приостановили болезнь. Только голос вот не вернулся. И теперь который год здесь, работает, командует большими делами, сипит, конечно, как паршивый гудок на старом катере, но ведь ему не петь арии Ленского, а для общения с портовым народом сипение не помеха.

— Даже и помогает в разговорах с такими вот молодцами, как ваши сегодняшние спутники.

— А как же семья? Жена, дети тут, с вами?

— А семьи нет! — Моряк сидел, задумчиво постукивая ногтями пальцев по крышке стола.— Жена мне сказала: всю войну я была хорошей солдаткой, а в мирное время не желаю. Не выдержу... Я на нее не в обиде. Понимаю. Не каждая женщина такое выдержит.— Моряк встал, надел свою фуражку, темную форменную шинель.— Ну вот и я вам свое рассказал. Поздно. Вернее, рано. Три утра. Увидите свою Анюту, передайте ей привет от старого кадрового бобыля. Ложитесь-ка спать, я сейчас вам окно зашторю.

Три утра! А за окном все так же светло, за окном жил день, круглосуточный весенний день Арктики.

29

Шофер Ваня, как и условились, разбудил Мечетного в девять часов.

Разбудив, он бросил на диван целый ворох меховой одежды.

— Вам начальник прислал.

Мечетный надел черный топорщившийся бушлат, ушанку и просто-таки утонул в огромных мягких унтах. Проходя мимо зеркала, сам поразился своему преображению. Трофимов ушел или уехал куда-то по своим делам. На столе лежала записка-инструктаж, как запереть дверь

и куда положить ключ. В конце записки было пожелание: чем позавтракать, где взять еду, ни пуха ни пера.

Выполнив инструкцию, Мечетный спустился к машине и оглянулся на дом, где ночевал. Обычный стандартный двухэтажный дом, такой же, как все на этой улице, как все в этом городке, возникшем на вечной мерзлоте. Из окна на нижнем этаже, слегка затянутого морозными узорами, на него смотрели черные глаза соседки Зои. Она махала ему рукой и что-то неслышно говорила, очевидно, желая доброго пути. Было светло и как-то неестественно тихо.

Как только машина миновала последние дома, шофер свернул с ледяной, едва намеченной дороги и погнал ее по белой снежной отполированной метелями целине. Далеко вокруг, как только мог окинуть взгляд, лежала снежная пустыня, и лед ее был отполирован метелями так, что слепило глаза. Снег казался желтоватым, а тень, отбрасываемая машиной, густо-синей. И хотя на небе не было ни тучки, ни облачка, сверху медленно, посверкивая и искрясь, опускалась колючая пыль.

Снег, снег и снег. И Мечетный дивился, как это Ваня находит дорогу. Но машина бежала уверенно, резво, и шофер, небрежно бросив руки на баранку, негромко тянул какую-то однообразную песенку на незнакомом пассажиру языке. И хотя у песенки этой был баюкающий мотив, а Мечетный ночью почти не сомкнул глаз — сказывалась пятичасовая разница во времени,— ему и сейчас было не до сна: ведь он у цели, через какой-нибудь час или два он увидит Анюту.

Снега, снега, снега. До самого горизонта, где они почти незаметно сливались с белесым небом. Пустыня. Снежная целина, и никаких следов жизни. Множество геологических партий бродит сейчас по стране от этих вот высоких широт до благословенных субтропиков, где растут пальмы, вызревают цитрусы. Что заставило Анюту уехать именно сюда? Север — для таких вот сильных, закаленных людей, как Трофимов. Как же занесло сюда маленькую женщину с тонким детским голоском? Какой поворот судьбы, какие обстоятельства?

И опять пришла мысль: а что, если она его забыла? Забыла начисто? Удивится. Пожмет плечами: кто такой, откуда, зачем? И в самом деле, стоит ли ехать? Не повернуть ли назад, пока не поздно? Вечером как раз

самолет уходит в обратный рейс, и курортная путевка еще в кармане, и диссертация ждет его.

Нет-нет, не помнить его она не может! Такие не забывают. Вспомнит-то она его, конечно, вспомнит. Но как? Возможно, тогда, в день своего побега, она вычеркнула его из памяти...

Так незаметно и промолчали они всю дорогу. И только когда машину затрясло на наезженной колее, Мечетный оторвался от своих мыслей, выглянул в окно. Они въезжали в какой-то поселок. Четырехугольные сборные домики из утепленной фанеры образовали как бы улицу. Было в уличном ряду даже что-то вроде площади, где дома эти как бы раздвинулись пошире, на противоположных концах этой площади стояли два двухэтажных бревенчатых здания, одно из которых было, несомненно, школой, ибо перед ней возилась и бегала детвора в меховых одеждах, а в другом — напротив, как явствовало из вывески, был рыбокоптильный завод. Вдоль улицы этой стояли столбы, и к каждому домику тянулись провода.

Но была у этой улицы и своя странность. За спиной каждого домика возвышалась круглая, обложенная звериными шкурами яранга, и над этими кожаными конусами стояли дымные пушистые, как лисьи хвосты, столбы. Пахло смолой, рыбой, и тишину сотрясал работающий движок.

— Вы из газеты? — спросил вдруг шофер Ваня, промолчавший всю дорогу.

— Почему из газеты?

— А к ней, к геологине этой, из газет ездят. Она орден получила.

— Так она здесь? — воскликнул Мечетный.

— Может, здесь, а может, не здесь. Геологи в тундре ходят. Палатки их далеко. Сюда только baниться ездят. Тут баня хорошая есть. А она, начальница их, она болеть сюда приехала.

— Как болеть? Чем болеть? — встревожился Мечетный.

— Не знаю. Жаркая была. Горячая была.

— А геологи где работают?

— Сегодня здесь работают, завтра там работают. Копают. Веселые люди. Песни поют.

Машина остановилась у плоского рубленого домика, у крыльца которого стояли две оленьи упряжки. Стек-

лянная вывеска сообщала, что это правление промысловой артели имени Первого мая. Машина остановилась.

— Все. Приехали. Капитан приказал доставить вас прямо к правлению.

Нетерпеливо выпрыгнув из машины, Мечетный, мягко ступая в унтах, взбежал на крыльцо. Правление было как правление: выгоревшие плакаты на стенах, покрашенная под золото доска и на ней фотографии, доска Почета. Было и зальце с трибункой на сцене и длинным столом, покрытым выгоревшим кумачом, и вереница портретов на стенах, и комнатка, на двери которой было написано «Председатель». Но напоминала эта комнатка скорее капитанский кубрик на каком-нибудь рыболовном баркасе: скатки сетей в углу. Барометр. Термометр за окном. На гвозде брезентовая непромокаемая роба и шляпа-зюйдвестка.

Из-за стола навстречу вошедшим поднялся немолодой уже человек, невысокий, но такой толстый, что, как казалось, заполнял половину своего кабинетика. Раскосые глаза у него были маленькие, занимали на его широком лице небольшое место, но это были цепкие, хитрые, умные глаза. И они охватывали, как казалось, не только внешность, но и заглядывали человеку в душу.

Втиснувшись вместе с Мечетным в крохотный этот кабинетик, шофер доложил:

— Вот человека привез. Из Москвы человек... ту самую геологиню Анну ищет человек.

— Раздевайтесь, грейтесь,— сказал председатель, хорошо говоривший по-русски.— Есть хотите?

— Анна Алексеевна Лихобаба здесь живет? — нетерпеливо перебил его Мечетный, чувствуя, что сейчас вот, в это мгновение, может быть, и решается его судьба.

— Вы тоже из газеты? — спросил председатель. Плоское его лицо оставалось совершенно неподвижным, не выражало никаких чувств, а вот косо поставленные глаза уже изучали посетителя, заметили и Звезду Героя и необычную взволнованность человека и очень всем этим заинтересовались.

— Лихобаба Анна Алексеевна сейчас здесь не живет. Не у нас сейчас Лихобаба Анна Алексеевна.

— Как не у вас? — почти выкрикнул Мечетный.— Где она? Что с ней?

— Улетела Лихобаба Анна Алексеевна.

— Как? Куда улетела?

— Не знаем, куда улетела. Садитесь. Ваанге, дай приезжему воды.

Шофер Ваня, которого тут звали Ваанге, принес стакан воды, и Мечетный, присев на стул, жадно ее выпил. От волнения он весь вспотел, и у него закружилась голова.

— Так куда же она улетела?

— Не знаем, куда улетела. Улетела, и все. За ней вертолет приходил. Тут садился. Ваанге, принеси еще воды. Вы ей кто: муж? Брат? Начальник?

— Не муж, не брат и не начальник... Так что произошло? Почему улетела? Ваня говорит, что геологическая партия здесь.

— Заболела Лихобаба Анна Алексеевна. Детей спасала. Простудилась. Ее к нам из тундры на оленях привезли. Лежала у нас. Болела. Кровью плевала. Наш фельдшер лечил. И старик Омя лечил. Не вылечили. Вертолет прислали. Увезли Лихобабу Анну Алексеевну.

— Куда?

— Может, в Москву, может, в Ленинград, может, в Мурманск.

Мечетный бессильно опустился в роскошное, похожее на раковину кресло, неведомо как, кем и для чего занесенное в этот далекий рыбачий поселок. Новости обрушивались на него одна за другой. Они словно били его по голове. Все, о чем думал и мечтал в часы неблизкого пути в Арктику, все лопнуло: заболела... плевала кровью... не вылечили... увезли...

— Но куда же, куда?

— Не знаем, куда, не оставила адреса. Может быть, у Тыгрев, матери Ваанге, есть адрес.— Председатель показал на Ваню, который стоял в дверях, теребя свои меховые перчатки.— Она болела у Тыгрев, Лихобаба Анна Алексеевна. Может быть, и сказала Тыгрев свой адрес. Ваанге, отвези приезжего к своей матери. Скажи, чтоб она помогла Герою Советского Союза.

— Идемте,— сказал Ваня.— Идемте к моей матери.

30

Ваня, или, как его называли в родном поселке, Ваанге, провел Мечетного по улице. Они обошли один из фанерных стандартных домиков, и он подвел его к стоящей

позади домика яранге, куда вела протоптанная в снегу тропка. Откинул тяжелую полость, и оба они разом окунулись в жаркую, даже душную полутьму, тускло освещенную фитильком, плавающим в жидком жире. Посреди круглой этой яранги в очаге краснели угли, а над ними что-то кипело в подвешенном на проволоке котелке. Возле, на скрещенных ногах, сидела женщина с морщинистым лицом и что-то помешивала в котелке.

— Ваанге? — сказала она, поднимая глаза и даже не удивившись внезапному появлению сына с незнакомым человеком.

— Я, мать. Здравствуй. Прислал председатель. Вот у него к тебе дело.

— Кого ты привел, Ваанге?

— Владимир Мечетный,— немного церемонно рекомендовался гость, не зная, как ему держать себя в столь необычной обстановке.

— У этого человека к тебе дело, мать. Он Герой Советского Союза.

Женщина поднялась и подала Мечетному маленькую шершавую руку.

— Тыгрев приветствует Героя Советского Союза,— сказала она по-русски и перешла на родной, непонятный Мечетному язык, по-видимому, давая сыну какие-то распоряжения.

— Идемте,— сказал тот Мечетному. Взял его за руку, вышел из душной, пропахшей рыбьим жиром полутьмы на воздух и повел к тому из домиков, что стоял впереди яранги. Они остановились у крылечка. На крылечко, должно быть, давно никто не поднимался, и метель намела перед входом острый косой сугроб. Парень ногой откинул снег, открыл дверь. Она не была заперта, и, когда они вошли в домик, где было так же холодно, как и на улице, Мечетный удивился. В полутьме единственной комнаты, окна которой были затянуты слоем изморози, вырисовывалась обстановка обычной малогабаритной квартиры со всеми полагающимися в ней предметами.

Пока Ваня возился с голландской печкой, растапливая ее и раскочегаривая угли, Мечетный, присев в кресло, осматривался. Диван у стены был застелен простыней, одеялом, и лежащая на нем подушка как бы еще хранила след — вмятину от чьей-то головы. Перед диваном стоял журнальный столик, а на нем лекарства в пузырьках, коробочках и термометр.

То ли печка была какой-то особенно хорошей, то ли Ваня был умелым кочегаром, но промерзшая комната начала быстро наполняться животворным теплом. Начала оттаивать на окнах изморозь, в помещении стало светлее. Мечетный снял свой бушлат, подошел к столику, рассмотрел лекарства — на сигнатурках рецептов значилось: Анне Лихобабе. Так, стало быть, она совсем недавно была здесь, лежала на этом диване. Значит, оттиск ее головы еще виделся на подушке. Мечетный приложил к подушке ладонь. Она была холодна, ладонь ощутила сырость. Он отдернул руку и сел в сторонке. Совсем, совсем недавно она была здесь! И вот не застал. Улетела. Снова исчезла, будто испарилась. Хотя с того часа, когда из радиопередачи он узнал об Анюте, прошло менее суток, хотя еще вчера он любовался на нежно-зеленый, омытый грозою березовый лесок в Москве, ему казалось теперь, что добирался он сюда много дней и что очень устал от этой безрезультатной погони. Неужели она снова исчезла в большом пестром мире огромной страны? Иголка в стоге сена. Маленькая неяркая звездочка в гигантской галактической россыпи. Почему? Ну почему ему так не везет?

Вошла Тыгрев. Ради гостя она успела переодеться. На ней уже была праздничная парка, расшитая по подолу, украшенная аппликациями из кожи, с вышитым шерстяными нитками цветным узором у воротника и на рукавах.

— Тыгрев приветствует Героя Советского Союза,— сказала она, упорно называя себя почему-то в третьем лице.— Тыгрев спрашивает тебя, как твое имя?

— Владимир.

— Хорошее имя Владимир... Что тебе надо, Владимир, от старой женщины?

— Председатель сказал, что у вас жила начальница партии геологов Анна Лихобаба.

— Да, у Тыгрев жила Анна Лихобаба. Вот в этом доме жила. Она здесь болела, Анна.

— Так где же она теперь?

— Тыгрев не знает, где теперь Анна. Ее унес вертолет. Ты из газеты, Владимир?

— Почему из газеты?

— Тут приезжали из газеты. Записывали, карточку ее забрали. Она наших детей спасла, Анна, ты это знаешь?

— Знаю.

— Тыгрев спрашивает, зачем ты прилетел из Москвы? Ты муж Анны?

— Нет, я ей друг. Друг по войне. Мы вместе с ней воевали.

— Друг — это хорошо, друг. У ней много друзей. У хорошего человека всегда много друзей.

— Ну, а где она сейчас? Она не оставила вам адрес?

— Анна не оставила адрес. Анна не знала адрес. Анна сказала: пришлет адрес. Но Тыгрев не получила письма. А ты из Москвы летел к Анне?

— Да, летел к ней.

— Нехорошо. Столько летел, а Анны нет. Адреса нет. Тыгрев не знает адрес.

Домик быстро нагревался. Потрескивали стены, потрескивал пол, с окон текло, и большая лужа расплывалась под ногами. Старая женщина принесла из прихожей тряпку и принялась вытирать пол. Вернулась, села на стул перед Мечетным и застыла в неподвижной, будто каменной, позе.

— А геологи, те, что с ней работали, где они?.. Как к ним проехать?

— Тыгрев не знает. Ушли. Уехали. Они заезжали к Анне. Хорошие люди, веселые люди. Ее друзья. Нет-нет, Тыгрев не знает, где сейчас геологи.

— А она что-нибудь вам о себе рассказывала?.. Не говорила, где живет, как у вас тут выражаются, на Большой земле?

— Не рассказывала об этом Анна.

— А не знаете, как она сейчас: замужем или нет?

Старая женщина повернула к Мечетному неподвижное свое лицо, и ему показалось, что в первый раз за их беседу, при этом вопросе он уловил на этом лице удивление. Почувствовал, что краснеет под этим вопрошающим взглядом, и отвернулся к окну, за которым в это мгновение проносилась оленья упряжка. Четверо маленьких человечков в мехах сидели боком на длинных саночках. Будто все поняв, старая женщина улыбнулась одними своими черными узкими глазами.

— Она не замужем, Владимир... Нет мужа у Анны. Друзья есть, геологи друзья. Мужа нет. Детей нет. Она говорила Тыгрев.

— А какая она из себя, Анна? — спросил Мечетный, сознавая всю странность и даже нелепость этого вопроса.

Старая женщина и ее сын, сидевший на корточках у печки и шуровавший угли маленькой кочережкой, обменялись недоуменными взглядами. Ответа на свой вопрос Мечетный не получил. И тут снова, в который уже раз за эти дни, стал рассказывать незнакомой старой женщине свою невеселую историю.

Мать и сын сидели неподвижно. Каждый на своем месте. Слушали молча. И лица их не выражали ни интереса, ни сочувствия. Даже нельзя было установить, слушают ли они его, понимают ли его речь. Но оказалось, слушали и понимали. И когда он закончил рассказ свой словами: «Вот почему я не знаю ее лица»,— старая женщина сказала:

— Ваапге, поди в ярангу, на радиоприемнике, не на том, что говорит, а на том, что молчит, на большом, возьми карточку. Принеси сюда. И посмотри, готово ли мясо.

Когда сын ушел, женщина сказала:

— Она красивая, Анна. Она хорошая, Анна.— А когда малое время спустя сын принес фотографию, добавила: — Вот она тут, Анна Лихобаба.

В обтянутую мехом рамку, инкрустированную узором из рыбьей чешуи, была вставлена фотография. На фоне знакомого уже Мечетному поселка рядком сидели люди с заросшими лицами, с бородами и усами самых разнообразных фасонов. А в центре группы — маленькая немолодая уже женщина в унтах, в расшитой узорами, украшенной кусочками кожи парке. Сидела, зябко засунув руки в рукава, но с непокрытой головой. Сидела и улыбалась ласково и, как показалось Мечетному, насмешливо.

Мечетный впился глазами в ее лицо. Тыгрев только что назвала эту женщину красивой. Нет, оно красивым не было, это ее лицо. При случайной встрече на улице оно не бросилось бы в глаза. К тому же на фотографии оно было усталое и худое. Единственно, что было на нем примечательно, это веснушки, осыпавшие переносицу, тупой небольшой нос, и высокий просторный лоб, который не могла спрятать шапка коротко остриженных вьющихся волос.

Да, оно не было красиво, не было броско, и в то же время в нем было что-то неуловимо притягательное, не поддающееся рассудочному анатомированию, но что делало это лицо милым, привлекательным.

Мечетный смотрел на фотографию, не мог оторвать глаз. Ему не мешали. Тыгрев развернула топорщившуюся по углам скатерть, с которой не снята была еще магазинная этикетка, бросила на стол, расправила. Достала из шкафа вспотевшие в тепле тарелки, поставила два прибора.

— Тебе, Владимир, и тебе, Вааиге, обед.

Хотя с утра Мечетный ничего не ел, да и дорога была неблизкой, есть ему не хотелось. Побыть бы одному, обдумать все, что он узнал, решить, что делать дальше.

Он извинился, надел бушлат, шапку и, мягко ступая в непривычной обуви, пошел к двери. Перед этим еще раз внимательно посмотрел на фотографию.

— Извините, я скоро вернусь.

Ни мать, ни сын не удивились тому, что человек вот так уходит от обеда. В клубах пара Мечетный вышел из дома, прошел по пустынной улице, вышел на берег, где на кольях сушились растянутые на многие метры огромные сети. Сел на перевернутый старый баркас и, рассеянно смотря на открывшиеся перед ним покрытые торошенным льдом просторы, стал приводить в порядок свои мысли.

Ну вот, теперь он знает, какая она, Анюта. Летя сюда, старался нарисовать ее в своем воображении и как бы примерял ей разные облики, как это делают криминалисты, воспроизводящие словесные портреты. И хотя по смутным фронтовым воспоминаниям он знал, что это не так, она вопреки всему представлялась ему красивой. И вот он увидел это лицо, отнюдь не блещущее красотой, лицо уже немолодой, умной, работящей женщины, которую по совершенно непонятной причине хорошо знавшая ее Тыгрев называла красавицей. А ведь она повидала людей, эта старая Тыгрев с острыми черными глазами. Разочаровался ли он, Мечетный, увидев это лицо? Да нет же, конечно же нет, наоборот, в нем окрепло желание обязательно найти вот эту самую немолодую, усталую женщину. Пусть это будет стоить любых хлопот, пусть на это уйдет весь отпуск, пусть окончание диссертации снова оттянется на неопределенное время, пусть; но он обязательно, он непременно ее найдет.

Круглосуточный весенний день стоял над Арктикой. Не забираясь особенно высоко, солнце как бы ходило по кругу. Сверкали снега, синели взъерошенные весенними передвижками льды. С бледного неба летела, посверкивая,

острая снежная пыль и, хотя лицо смутно чувствовало прикосновение солнечных лучей, было холодно и тихо. Так тихо, что казалось — все звуки замерзали на лету. И все же крохотная птичка, похожая на воробья, с белой грудкой, прилетев откуда-то, присела у самого берега на лед и стала пить воду из проталинки.

Весна. Это была уже третья весна, которую довелось наблюдать Владимиру Мечетному за три беспокойных, столько вместивших в себя дня: крупитчатый, жухлый снег, замусоренный корой и хвоей, лежал еще местами в его родной уральской тайге, когда такси везло Мечетного на аэродром. Омытая буйной весенней грозой березовая роща приветствовала его на московском аэродроме. А тут, среди этих отполированных метелями снегов и взторошенных льдов, весна заявляла о себе пока что лишь маленьким белогрудым полярным воробьем. Он, этот воробей, сидел у воды и при каждом глотке приподнимал свою крохотную головку. Три весны... Огромная страна. Четверть миллиарда граждан. И в этой стране, в этой массе людей предстояло найти ту единственную, которая была желанна и необходима Мечетному.

И он найдет ее. Будет искать и обязательно найдет! Непременно найдет! Так он решил, сидя на опрокинутом баркасе на берегу хмурого океана, вдыхая аромат снега, воды и смолы.

Где ты, Анюта?

(1976)

КОММЕНТАРИИ

В том вошли две повести «Доктор Вера» (1966) и «Анюта» (1976).

Эти произведения, разделенные по времени их создания десятилетием активной творческой жизни Полевого — публициста, прозаика, мемуариста Великой Отечественной войны, роднит не только жанр, но и общность темы. Перед читателем — новые главы художественной летописи о Человеке на войне.

Поэтика личного подвига, в котором прочитывался подвиг страны («Повесть о настоящем человеке», см. наст. Собр. соч., т. 1); героические обстоятельства, формирующие героические характеры (роман «Золото», см. наст. Собр. соч., т. 3); будни войны и природа народного героизма (роман «Глубокий тыл», см. наст. Собр. соч., т. 4). И — новый ракурс, новый образный виток в развитии темы, ведущей, доминирующей в творчестве Полевого: исследование потенциала духовности, сил гуманизма советского человека в столкновении с драматическими коллизиями четырехлетнего военного сражения. Эта главная мысль объединяет повести «Доктор Вера» и «Анюта».

В пределах десятилетия, разделившего создание названных повестей, Борис Полевой активно работал в жанре военных мемуаров, так называемой «дневниковой прозы». В 1967 году он опубликовал документальную повесть «В большом наступлении» (Дневники военного корреспондента) (М., «Советская Россия», 1967), затем — нюрнбергские дневники «В конце концов» (М., «Советская Россия», 1969); после этого Полевой вернулся к документальному воссозданию событий первого года войны: о разгроме фашистских армий под Москвой он рассказал на страницах «Сокрушения «Тайфуна» (М., «Советский писатель», 1971). Завершил документальную тетралогию повесть «До Берлина 896 километров» о событиях четвертого года Великой Отечественной войны, освобождении Польши и Чехословакии Советской Армией и капитуляции рейха (М., «Советская Россия», 1973).

Есть прямая связь между работой Полевого над циклом документальных повестей, объединенных затем автором в двухтомник «Эти четыре года» (Из записок военного корреспондента) и вышедших впервые в 1974 году в издательстве «Молодая гвардия», там же вторично в 1978 году (см. наст. Собр. соч., т. 7—8), где зафиксированы сюжеты большинства произведений его военной прозы, и творчеством Полевого-прозаика 60—70-х годов; в «Докторе Вере» и в «Анюте» вновь проявилось главное в

художническом методе Б. Н. Полевого: изучать факт, видеть жизнь сквозь строку документа, достоверно сопрягать факт и вымысел.

Сближает повести, вошедшие в том 6, еще одна тема, последовательно развивавшаяся в прозе Б. Полевого: любовь на войне. Тема, многообразно освещенная в нашей литературе в разных ее жанрах, от короткой новеллы до романа-эпопеи, в произведениях Ю. Бондарева, Г. Бакланова, К. Симонова, Б. Васильева, Й. Авижюса, В. Астафьева, В. Кондратьева и многих других.

Кроме того, сюжеты «Доктора Веры» и «Анюты», как и «Повести о настоящем человеке», «Золота», в большей или меньшей мере связаны с госпиталем, с врачеванием. Корни художественного родства характера госпитальной сестры Клавдии Михайловны из «Повести о настоящем человеке», согревающей своим чувством последние дни комиссара Воробьева; героини романа «Золото» Муси Волковой, принимающей на себя обязанности медсестры в партизанском отряде Рудакова; врача-хирурга Веры Трешниковой («Доктор Вера») и санинструктора Анюты («Анюта») — в том, что милосердие (милость сердца) — это каждодневный подвиг преодоления, великий труд души.

Легко заметить тематическую близость повестей Б. Полевого, составивших содержание 6 тома настоящего Собрания сочинений, с прозой других авторов о войне. Назовем здесь хотя бы «Свет далекой звезды» А. Чаковского или «Звездопад» В. Астафьева...

Рассказ об *одной* женской судьбе — так можно определить содержание повестей данного тома — свет звездных часов и той и другой героини и сегодня идет к людям.

Героика их судеб, сама идея продолжения и преемственности подвига также сближает характеры названных здесь произведений.

В работах Бориса Полевого 60—70-х годов получил отражение и логическое развитие принцип историзма, один из наиболее существенных эстетических критериев современной советской прозы, который дал художнику возможность анализировать события прошлых десятилетий и исследовать судьбы героев с новой временнóй точки обзора, обогащенной опытом жизни общества и искусства. И в «Докторе Вере» и в «Анюте» автор использовал прием смещения пластов времени, смыкая минувшее и день сегодняшний. Такой пластичный переход из одной исторической эпохи в другую — при анализе событий, судеб, характеров — определил уровень объективности авторских оценок.

Судя по дневнику, сохранившему первоистоки многих сюжетов прозы Полевого, да и по многочисленным высказываниям самого писателя в прессе, ему необходима была дистанция времени,

чтобы заново осмыслить достоверные факты эпохи войны, проверить их и личным опытом гражданина, солдата, писателя.

В одном из своих интервью Борис Полевой упомянул о первостепенной важности некоего «увеличительного стекла» в писательском труде: оно «...позволяет максимально приблизить, до мельчайших деталей разглядеть каждый факт, разглядеть и осмыслить. Образно говоря, такое увеличение (не преувеличение!) фактов, характеров, событий реальности и предоставляет писателю большие возможности для художественного обобщения, широкого осмысления — в масштабах времени — прожитого» (Борис Полевой. Горизонты реальной фантазии.— Журн. «Литературное обозрение», 1974, № 5, с. 104).

Этот принцип нашел отражение в обеих повестях.

«Доктор Вера». Повесть в ненаписанных письмах (Стр. 5).— Впервые — М., «Советский писатель», 1966.

Фабула повести, написанной в 1964—1965 годах, подсказана Полевому реальными событиями, происходившими в Калинине в первые месяцы Великой Отечественной войны, в период оккупации города гитлеровцами. В центре повествования — судьба Веры Трешниковой, прообразом которой явилась Лидия Петровна Тихомирова, известный в Калинине врач-хирург. В течение многих послевоенных лет, вплоть до ухода на пенсию, Л. П. Тихомирова заведовала травматологическим отделением одной из городских больниц.

С калининской землей связана жизнь и других действующих лиц «Доктора Веры»: за большинством литературных характеров повести — реальные прототипы, судьбы людей, которых лично знал почетный гражданин города Калинина Борис Николаевич Полевой.

В столь последовательном единении героев этой книги, как и других произведений военной прозы Полевого («Повесть о настоящем человеке» — см. наст. Собр. соч., т. 1; «Золото» — см. наст. Собр. соч., т. 3; «Глубокий тыл» — см. наст. Собр. соч., т. 4), с городом, где вырос, вошел в журналистику, а позже — в литературу и сам прозаик, нет элементов случайности. Первый год Великой Отечественной войны Борис Полевой, специальный корреспондент «Правды», провел на Калининском фронте, оставаясь в рядах последних защитников города осенью сорок первого года, участвуя в освобождении Калинина в декабре того же года.

Конспект сюжета «Доктора Веры» изложен во фронтовых дневниках Б. Полевого, составивших главу «В ту тяжелую зиму». Здесь впервые упоминается имя Лидии Тихомировой, которую автор дневников знал с юных лет и «...слышанный от майора Николаева, очень удививший... слух, будто молодой врач Лидия Тихомирова... осталась в городе, работает в немецком госпитале...».

В тех же дневниках читаем запись, сделанную Полевым зимой 1942 года: «...Лидия Тихомирова, молодой хирург, оставшаяся с ранеными в госпитале, который не успели эвакуировать. Хотя всех раненых она выходила и сохранила, окрестили ее... предательницей и сейчас вот сидит. Следствие по ее делу ведется». («Эти четыре года». — См. наст. Собр. соч., т. 7).

Дневник сохранил и эмоциональную реакцию журналиста на последующие события жизни врача: «А Лиду Тихомирову... которая при немцах наш госпиталь вела и 80 раненых сохранила, так ее выпустили. ...Ей, говорят... предлагали любую работу в любой нашей больнице. Как ни уговаривали, ушла на фронт...» (там же).

В авторском послесловии к «Доктору Вере» («Несколько слов после...») Борис Полевой дополнил, пояснил для читателей, что невыдуманная героиня его книги «...стала главным хирургом медсанбата одной из самых боевых дивизий Отечественной войны. Меньше, чем через год, после боев под Тихвином, получила первый боевой орден. На фронте, в разгар боев, подала заявление и была принята в КПСС».

Дневниковые записи, по свидетельству Полевого, «пролежали без движения» более двадцати лет. По словам писателя, импульсом для начала работы над повестью послужила статья подполковника медицинской службы Н. Вишневского «Родина помнит» в газете «Медицинский работник», которую он прочитал в самолете, возвращаясь «из путешествия по Америке»: «Ничего нового, в сущности, я в статье не нашел. Обо всем, что в ней писалось, земляки уже рассказывали. Но одно дело — узнавать, пусть и самые необыкновенные вещи на родине, ...и совсем другое, когда эта история врывается в самолет, несущий тебя над чужими странами. ...И по-новому зазвучала одиссея женщины-солдата, совершившей в войну такое, что теперь, из мирного сегодня, кажется почти невероятным.

Тогда, в самолете, я дал себе слово описать эту историю» (см. наст. Собр. соч., т. 6).

Ориентируясь на опыт советской литературы о войне и тенденции прозы 60-х годов, акцентирующей интерес к нравственной стороне бытия человека — защитника Отечества, Борис Полевой продолжил в «Докторе Вере» художественное исследование поэтики личного подвига, героического начала в самых обыкновенных людях, проявляющегося с особой силой в героических обстоятельствах; это и подчеркнула критика, откликнувшаяся на выход его новой книги.

Следует, думается, отнестись с вниманием к еще одной авторской ремарке, предваряющей книгу (см. наст. Собр. соч., т. 6): «...должен предупредить вас, читатель,— повесть «Доктор Вера»,

хотя и выросла из жизненного материала, не биографический очерк, не хроника совершившегося».

В творчестве Полевого, последовательно утверждавшего работами разных жанров, от очерка до романа, свой девиз «Иду за фактом!»,— «Доктор Вера» занимает особое место. Впервые и единственный раз прозаик обратился к столь необычному для него стилевому приему, как «мысленные», «ненаписанные письма».

«Доктор Вера не писала писем, из которых строится повесть о моей героине. Но все, что я знал об этой женщине, о ее характере, о психологических особенностях ее, о ее судьбе, подсказало мне эту форму повествования» (Борис Полевой. Горизонты реальной фантазии.— Журн. «Литературное обозрение», 1974, № 5, с. 104).

Критика высоко оценила оригинальность композиции повести, художественную реализацию интересного творческого замысла прозаика: «...перед нами — произведение нового для писателя плана. Художник Полевой ищет и находит ту форму, ту особую стилистику, которая отвечает его потребности разобраться в сложном современном мире, в жестокой поступи века... Он отдает на суд читателя то, что им выношено, выстрадано. Не случайно повесть строится как своеобразная исповедь — письма героини к самому близкому человеку» (М. Протасова. Романтика подвига.— Журн. «Нева», 1968, № 9, с. 185—186).

«Для своего нового произведения,— справедливо акцентировал ту же мысль и Овидий Горчаков,— автор избрал несколько неожиданную форму: «повесть в ненаписанных письмах». И то, что эти «письма» — внутренние монологи — «адресованы» доктором Верой из оккупированного немцами города ее несправедливо репрессированному мужу, бывшему секретарю горкома партии, придает всей книге особую горькую остроту и взволнованность, освещает ярким светом душевную драму героини» (О. Горчаков. Доктор Вера — настоящий человек. — Журн. «Новый мир», 1967, № 6, с. 252).

Глубокий психологический анализ, с помощью которого Борис Полевой нарисовал облик героини, побудительные мотивы ее, по словам автора, «тихого, малоизвестного подвига» и истоки удивительной духовной стойкости этой женщины, стал предметом особого интереса критики, назвавшей Веру Трешникову «духовной сестрой Алексея Маресьева» (там же).

Новое действующее лицо в художественной летописи прозаика привлекло внимание исследователей и своей «непохожестью» на других героев военной прозы 60-х годов: «В повести «Доктор Вера» писатель находит новый вариант своей главный темы. Он вновь обращается к характеру настоящего советского человека в

самом подлинном и глубоком смысле этого слова. Но на этот раз ищет необыкновенное в обыкновенном, силу — в беззащитности, мужество — в вечно женственном начале своей героини» (М. Протасова.— Журн. «Нева», 1968, № 9, с. 186).

В таком рисунке образа действительно проявились глубоко личная позиция автора, его осмысление жизни и драматических коллизий времени, равно, как и то обстоятельство, что Борис Полевой всегда стремился вывести на авансцену повествования людей, внешне малогероичных, но способных на подвиг в экстремальных обстоятельствах.

«Героизм — это то, что делается каждый день»,— эти слова Константина Симонова в полной мере могут быть отнесены и к деянию Веры Трешниковой. «Многие поступки даются доктору Вере лишь... после мучительной борьбы с недоверием к самой себе, к своему мужеству»,— писал Б. Бялик (Журн. «Дружба народов», Спасибо, доктор Вера! — 1967, № 6, с. 278); «...В преодолении немыслимых для нее прежде трудностей происходит становление и утверждение недюжинного характера, идет процесс самопознания»,— развивал ту же мысль Овидий Горчаков (Журн. «Новый мир», 1967, № 6, с. 252).

Оценив «Доктора Веру» как произведение принципиально важное в эволюции Полевого-художника, характеризующее новый этап его литературной зрелости, критика, однако, не соглашалась принять логику облегченного, «благополучного» финала повести:

«За Верой Николаевной не было никакой вины ...тем более трагичными оказались для нее испытания, которые пришли в тот момент, когда она... имела право... радоваться вместе со всеми избавлению от страшного ига. Эти испытания доктора Веры мучительны не только для нее, но и для читателей. Это, пожалуй, самые волнующие страницы повести, заставляющие вспомнить о многом ...что далеко выходит за пределы судьбы героини» (Б. Бялик.— Журн. «Дружба народов», 1967, № 6, с. 273).

Высказывались суждения о фрагментарности, расплывчатости характеров отдельных лиц этой повести: «Образ доктора Веры ярок, а остальные персонажи теряются в некой дымке. Фигуры... Мудрика, Ланской, Винокурова, Кисляковой... еще угадываются, остальные же персонажи намечены лишь силуэтно» (О. Горчаков.— Журн. «Новый мир», 1967, № 6, с. 253). Мнение рецензента не без оснований оспаривали другие критики, откликнувшиеся на выход «Доктора Веры»: «Зрелость автора, нелегкий опыт прожитых лет нашли своеобразное отражение в этой книге,— писала, к примеру, М. Протасова.— «Доктора Веру» от «Повести о настоящем человеке» отделяют два десятилетия. Но если в «По-

вести...» черты героя даны крупно, размашисто, а манера письма графически точна и определенна, то «Доктора Веру» можно сравнить с тонкой акварелью, где основной тон подсвечен множеством полутонов и оттенков» (Журн. «Нева», 1968, № 9, с. 186).

В частности, внимание исследователей привлекла роль внутреннего монолога в повести, где он в письмах доктора Веры приобретает особую эмоциональную и смысловую функцию, ибо «тогда является действенным приемом, когда в человеке спорят два представления, два понятия, когда он ведет напряженный спор с самим собой или с другим, когда это помогает сопрягать прошлое и настоящее, страх и долг, намерения и возможности, сомнения и убежденность» (А. Бочаров. Человек и война.— М., «Советский писатель», 1978, с. 257).

«Рост писательского мастерства и углубление морально-психологической проблематики» (О. Горчаков), «достоверность... изображенных событий и явственный отпечаток подлинности в повести» (Б. Бялик), «нравственная чистота и цельность героини», которые «поистине выстраданы» (М. Протасова) — так в целом выразила свое отношение к «Доктору Вере» критика, оценившая эту новую главу Полевого о Человеке на войне как большую удачу прозаика.

Повесть «Доктор Вера» неоднократно переиздавалась в нашей стране на русском языке и языках народов СССР, переведена в ряде европейских стран социалистического содружества.

По мотивам повести был создан фильм «Доктор Вера» (сценарий Б. Н. Полевого и др., режиссер — Д. Вятич-Бережных. «Мосфильм», 1967).

«Анюта». Повесть (стр. 291).— Впервые — в журн. «Октябрь», 1976, № 1. Первое книжное издание — М., «Советский писатель», 1977.

«...За полвека жизни в литературе мне приходилось контактировать с читателем в самых неожиданных ситуациях и ипостасях. И влияние разных людей, мера воздействия их на мой труд проявлялись тоже по-разному. Вот однажды, в начале 50-х годов, получил я письмо с Урала от незнакомого мне человека, бывшего фронтовика. Он просил помочь отыскать ему любимую девушку...» (Борис Полевой. Ответы на анкету «ЛО» «Наедине со всеми».— Журн. «Литературное обозрение», 1977, № 10, с. 98).

Письмо, упомянутое Полевым (многостраничная исповедь инженера Краснотурьинского металлургического завода), заключало, по сути, конспект повести, к работе над которой прозаик смог обратиться лишь четверть века спустя, в середине 70-х годов. Ав-

тор письма рассказал не только о том, что ему спасла жизнь юная девушка, санинструктор Анна Лихобаба, но и о ее многодневном подвиге, борьбе за спасение жизни и возвращение зрения «ее капитану». Более того: по словам незнакомого писателю человека, эта девушка, добившись приема у академика Филатова, сумела убедить знаменитого окулиста сделать раненому операцию, казавшуюся безнадежной и... пожертвовала своим глазом — для пересадки его автору письма, командиру роты, с которым до боя на Одере была незнакома.

Как писал уральский инженер, он долгие годы безрезультатно разыскивал Анюту. И собственно потому обращался к Полевому за помощью: «Вашу «Повесть о настоящем человеке» читает вся страна. Если Вы напишете об Анюте, а Николай Николаевич Жуков сделает рисунки, она обязательно прочитает. Прочитает, узнает правду и вернется ко мне. *Умоляю Вас, напишите!»* (архив Б. Н. Полевого).

Б. Н. Полевой и народный художник СССР Н. Н. Жуков (иллюстратор первых изданий «Повести...») заинтересовались этой необычной судьбой, встававшей за строками письма. Они вместе побывали в клинике академика Филатова в Одессе, подробно беседовали с ним. Выяснилось, что автор письма был документально точен во всем, кроме одного, неизвестного ему обстоятельства. Согласившись на действительно уникальную по тем временам операцию, всемирно известный окулист не принял добровольной жертвы Анюты. По словам Филатова, глаз «сшили из кусочков»...

Писатель и художник приступили к работе. Н. Н. Жуков сделал немало эскизов будущих иллюстраций. Однако обстоятельства литературной и общественной жизни Б. Н. Полевого складывались так, что «написалась повесть» лишь в 1976 году.

Писем с Урала больше не приходило, попытки разыскать автора той тетрадки не увенчались успехом. Не стало в 1973 году и Н. Н. Жукова. И Борис Полевой написал *свою* «Анюту», «повесть о большой любви» (Б. Полевой), «...повесть о пробуждении чувства, которое хранилось в глубине души героя войны... считалось погибшим, замершим, но вдруг вырвалось наружу» (Ю. Яковлев. Где ты, Анюта? — «Литературная Россия», 1976, 11 июня).

Когда «Анюта» была опубликована, в откликах прессы прозвучало немало добрых слов о героине повести, «полной какого-то тихого очарования», в которой «отвага сочетается со скромностью и застенчивостью...» (там же).

К сожалению, вне обзора критики осталось существенное: причастность этой последней художественной повести Бориса Полевого об Отечественной войне к движению прозы 70-х годов, к понятию концепции личности в современной литературе. А это пред-

ставляется важным: именно чувство причастности ко всему, что происходит на земле, нравственная обеспокоенность, моральная ответственность за поступки, свои и других людей, сближают героиню «Анюты» с персонажами военной прозы Ю. Бондарева и В. Астафьева, О. Гончара и М. Слуцкиса, В. Быкова и П. Проскурина...

«В творчестве Бориса Полевого есть одна отличительная черта — в нем заключена такая неподдельная искренность, что все его повести воспринимаются как документальные, а герои как бы шагнули в книгу из жизни и имеют свой реальный адрес. Достигает писатель такого... эффекта глубоким знанием материала и своей непреклонной, порой даже наивной убежденностью в том, что его герои живут и здравствуют не только в книге» (там же).

Логичный и правомочный вывод критика хотелось бы оспорить лишь в одном: именно «Анюту» Полевой писал не под флагом «наивной убежденности» в реальном существовании своих героев, но с позиций художника, углубленно размышляющего (на удалении десятилетий) над романтизированными и обобщенными судьбами людей, типы которых выражают Эпоху и Время.

Критика внимательно отнеслась к тому, *как* прозаик развивает и продолжает тему настоящего человека, сохраняя верность героям своих предыдущих книг о войне: «Талант писателя с прежней силой ощущается в анализе переживаний Мечетного... Его герой остается верным тем нравственным ценностям, за которые он сражался в годы войны» (А. Власенко. Рецензия на повесть «Анюта» в рубрике «Из потока новых произведений».— Журн. «Литературное обозрение», 1976, № 7, с. 45—46).

Неоднократно отмечалось в прессе, что образ героини повести воспринимается в едином контексте с ее духовными родственниками по галерее настоящих людей, созданных в книгах Бориса Полевого и «углубивших наши представления о человеке на войне» (там же).

Подчеркивалось, что «Анюта» — это произведение, в котором ощущается движение Бориса Полевого-прозаика к разработке психологически достоверных характеров: «Много... настоящих людей живет в повести: они были на фронте, в госпиталях, в тылу. Они встречают инженера Мечетного в Арктике. Встречают как старого друга. Помогают искать Анюту. Окружают заботой бывшего капитана... потому, что они... настоящие люди» (Борис Бурков. О настоящих людях и большой любви.— «Советская культура», 1976, 27 апреля).

Существенно, думается, подчеркнуть: хотя многие страницы «Анюты» могут вызвать в памяти сюжетные ходы других повестей

и романов Б. Полевого о войне, эта книга заметно отличается от «Золота», «Глубокого тыла», «Доктора Веры». Пока критика оценила лишь верхние стилевые пласты повести, не обратив внимания на то, что здесь у Полевого впервые герои как бы вынесены «за скобки» быта. Писателя интересуют только крупные планы их судеб. Важно, думается, и то, что прозаик создал — на реальном фундаменте конкретной судьбы — новый образ, аккумулирующий лучшие душевные качества других героинь его прозы. Новое в трактовке героического характера обнаруживает себя в той графической обостренности, с какой выписан Полевым поединок Анюты, «воплощения красоты, верности и любви», с лавиной несчастий, обрушенных войной на человека, ставшего ей близким...

Повесть «Анюта» переведена на ряд европейских языков, по мотивам книги создана радиопостановка (1979 г.) и телеспектакль того же названия (1980 г.).

Стр. 311. «Тет де пон» — («Tete de pont» — фр.) — плацдарм, предмостное укрепление.

Надежда Железнова

СОДЕРЖАНИЕ

Полевой Б. Н.

П49 Собрание сочинений: В 9-ти т.— М.: Худож. лит., 1981.—

Т. 6. Доктор Вера: Повесть в ненаписанных письмах; Анюта: Повесть. Коммент. Н. Железновой. 1983.— 463 с.

В том вошли две повести: «Доктор Вера» (1966) и «Анюта» (1976). Обе они о мужественной и самоотверженной работе советских женщин — врачей и медсестер — в дни Великой Отечественной войны.

П $\frac{4702010200-150}{028(01)-83}$ подписное Р2

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ПОЛЕВОЙ

Собрание сочинений

Том шестой

Редактор
З. Батурина

Художественный редактор
Е. Еронко

Технический редактор
Т. Фатюхина

Корректор
Л. Лобанова

ИБ № 2439

Сдано в набор 16.06.82. Подписано в печать 05.03.83. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 25,99. Тираж 100 000 экз. Изд № III-403. Зак. № 250. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882. ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.